И. Ильф

Е. Петров

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Илья Ильф
Евгений Петров

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ПЯТИ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
художественной литературы
Москва 1961

Илья Ильф
Евгений Петров

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ТРЕТИЙ

РАССКАЗЫ, ФЕЛЬЕТОНЫ,
СТАТЬИ, РЕЧИ
1932—1937

ВОДЕВИЛИ и КИНОСЦЕНАРИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
художественной литературы
Москва 1961

Под редакцией

А. Г. ДЕМЕНТЬЕВА, В. П. КАТАЕВА,
К. М. СИМОНОВА

Примечания

Б. Е. ГАЛАНОВА, Л. Ф. ЕРШОВА

РАССКАЗЫ

Рисунки художников

Е. ВЕДЕРНИКОВА,

И. СЕМЕНОВА

ЗДЕСЬ НАГРУЖАЮТ КОРАБЛЬ

Когда восходит луна, из зарослей выходят шакалы.

Стенли. «Как я нашел Ливингстона»

Ежедневно собиралось летучее совещание, и ежедневно Самецкий прибегал на него позже всех.

Когда он, застенчиво усмехаясь, пробирался к свободному стулу, собравшиеся обычно обсуждали уже третий пункт повестки. Но никто не бросал на опоздавшего негодующих взглядов, никто не сердился на Самецкого.

— Он у нас крепкий,— говорили начальники отделов, их заместители и верные секретари.— Крепкий общественник.

С летучего совещания Самецкий уходил раньше всех. К дверям он шел на цыпочках. Краги его сияли. На лице выражалась тревога.

Его никто не останавливал. Лишь верные секретари шептали своим начальникам:

— Самецкий пошел делать стеннуху. Третий день с Ягуар Петровичем в подвале клеят.

— Очень, очень крепкий работник,— рассеянно говорили начальники.

Между тем Самецкий озабоченно спускался вниз.

Здесь он отвоевал комнату, между кухней и месткомом, специально для общественной работы. Для

этого пришлось выселить архив, и так как другого свободного помещения не нашли, то архив устроился в коридоре. А работника архива, старика Пчеловзводова, просто уволили, чтоб не путался под ногами.

— Ну, как стенновочка? — спрашивал Самецкий, входя в комнату.

Ягуар Петрович и две девушки ползали по полу, расклеивая стенгазету, большую, как артиллерийская мишень.

— Ничего стеннушка,— сообщал Ягуар Петрович, поднимая бледное отекшее лицо.

— Стеннуля что надо,— замечал и Самецкий, полюбовавшись работой.

— Теперь мы пойдем,— говорили девушки,— а то нас и так ругают, что мы из-за стенгазеты совсем запустили работу.

— Кто это вас ругает? — кипятился Самецкий.— Я рассматриваю это как выпад. Мы их продернем. Мы поднимем вопрос.

Через десять минут на третьем этаже слышался голос Самецкого:

— Я рассматриваю этот возмутительный факт не как выпад против меня, а как выпад против всей нашей советской общественности и прессы. Что? В служебное время нужно заниматься делом? Ага. Значит, общественная работа, по-вашему, не дело? Товарищи, ну как это можно иначе квалифицировать, как не антиобщественный поступок!

Со всех этажей сбегались сотрудники и посетители.

Кончалось это тем, что товарищ, совершивший выпад, плачущим голосом заверял всех, что его не поняли, что он вообще не против и что сам всегда готов. Тем не менее справедливый Самецкий в следующем номере стенгазеты помещал карикатуру, где смутьян был изображен в самом гадком виде — с большой головой, собачьим туловищем и надписью, шедшей изо рта: «Гав, гав, гав!»

И такая принципиальная непримиримость еще больше укрепляла за Самецким репутацию крепкого работника.

Всех, правда, удивляло, что Самецкий уходил домой ровно в четыре. Но он приводил такой довод, с которым нельзя было не согласиться.

— Я не железный, товарищи,— говорил он с горькой усмешкой, из которой, впрочем, явствовало, что он все-таки железный,— надо же и Самецкому отдохнуть.

Из дома отдыха, где измученный общественник проводил свой отпуск, всегда приходили трогательнейшие открытки:

«Как наша стеннушечка? Скучаю без нее мучительно. Повел бы общественную работу здесь, но врачи категорически запретили. Всей душой стремлюсь назад».

Но, несмотря на эти благородные порывы души, тело Самецкого регулярно каждый год опаздывало из отпуска на две недели.

Зато по возвращении Самецкий с новым жаром вовлекал сотрудников в работу.

Теперь не было прохода никому. Самецкий хватал людей чуть ли не за ноги.

— Вы слабо нагружены! Вас надо малость подгрузить! Что? У вас партийная нагрузка, учеба и семинар на заводе? Вот, вот! С партийного больше и спрашивается. Пожалуйте, пожалуйте в кружок балалаечников. Его давно надо укрепить, там очень слабая прослойка.

Нагружать сотрудников было самым любимым занятием Самецкого.

Есть такая игра. Называется она «нагружать корабль». Играют в нее только в часы отчаянной скуки, когда гостей решительно нечем занять.

— Ну, давайте грузить корабль. На какую букву? На «М» мы вчера грузили. Давайте сегодня на «Л». Каждый говорит по очереди, только без остановок.

И начинается галиматья.

— Грузим корабль лампами,— возглашает хозяин

— Ламбрекенами! — подхватывает первый гость.

— Лисицами!

— Лилипутами!

— Лобзиками!

— Локомотивами!
— Ликерами!
— Лапуасцами!
— Лихорадками!
— Лоханками!

Первые минуты нагрузка корабля идет быстро. Потом выбор слов становится меньше, играющие начинают тужиться. Дело движется медленнее, а слова вспоминаются совсем дикие. Корабль приходится грузить:

— Люмпен-пролетариями!
— Лимитрофами!
— Лезгинками!
— Ладаном!

Кто-то пытается загрузить корабль Лифшицами. И на этом игре конец. Возникает дурацкий спор: можно ли грузить корабль собственными именами?

Самецкий испытывал трудности подобного же рода.

Им были организованы все мыслимые на нашей планете самодеятельные кружки. Помимо обыкновенных, вроде кружка профзнаний, хорового пения или внешней политики, числились еще в отчетах:



Кружок по воспитанию советской матери.

Кружок по переподготовке советского младенца.

Кружок — «Изучим Арктику на практике».

Кружок балетных критиков.

Достигнув таких общественных высот, Самецкий напрягся и неожиданно сделал еще один шаг к солнцу. Он организовал ночную дежурку под названием: «Скорая помощь пожилому служащему в ликвидации профнеграмотности. Прием с двенадцати часов ночи до шести часов утра».

Диковинная дежурка помещалась в том же подвале, где обычно клеили стенгазету.

Здесь дежурили по ночам заметно осунувшиеся, поблекшие девушки и Ягуар Петрович. Ягуар Петрович совсем сошел на нет. Щек у него уже почти не было.

В ночной профилакторий никто не приходил. Там было холодно и страшно.

Все-таки неугомонный Самецкий сделал попытку нагрузить корабль еще больше.

Самецкий изобрел карманную стенгазету, которую ласкательно назвал «Стеннушка-карманушка».

— Понимаете, я должен довести газету до каждого сотрудника. Она должна быть величиной в визитную карточку. Она будет роздана всем. Вынул газету из жилетного кармана, прочел, отреагировал и пошел дальше. Представляете себе реагаж!..

Вся трудность заключалась в том, как уместить на крошечном листке бумаги полагающийся материал: и статью о международном положении, и о внутриучрежденской жизни, и карикатуру на одного служащего, который сделал выпад, одним словом — все.

Спасти положение мог только главный бухгалтер, обладавший бисерным почерком.

Но главный бухгалтер отказался, упирая на то, что он занят составлением годового баланса.

— Ну, мы это еще посмотрим,— сказал Самецкий,— я это рассматриваю как выпад.

Но здесь выяснилось, что Самецкий перегрузил свой корабль.

— Чем он, собственно, занимается? — спросили вдруг на летучем совещании.

— Ну, как же! Крепкий общественник. Все знают.

— Да, но какую работу он выполняет?

— Позвольте, но ведь он организовал этот... ну, ночной колумбарий, скорая помощь, своего рода профсоюзный Склифасовский... И потом вот... переподготовка младенцев. Даже в «Вечёрке» отмечали...

— А должность, какую он занимает должность?

Этого как раз никто не знал. Кинулись к ведомости на зарплату. Там было весьма кратко и неопределенно:

«Самецкий — 360 рублей».

— Туманно, туманно,— сказал начальник,— ах, как все туманно! Конечно, Склифасовский Склифасовским, но для государства это не подходит. Я платить не буду.

И судьба Самецкого решилась.

Он перегрузил свой корабль. И корабль пошел ко дну.

1932

БРОНИРОВАННОЕ МЕСТО

Рассказ будет о горьком факте из жизни Посиделкина.

Беда произошла не оттого, что Посиделкин был глуп. Нет, скорее он был умен.

В общем, произошло то, что уже бывало в истории народов и отдельных личностей,— горе от ума. Дело касается поездки по железной дороге.

Конечная цель усилий Посиделкина сводилась вот к чему: 13 сентября покинуть Москву, чтобы через два дня прибыть в Ейск на целительные купанья в Азовском море. Все устроилось хорошо: путевка, отпуск, семейные дела. Но вот — железная дорога. До отъезда оставалось только два месяца, а билета еще не было.

«Пора принимать экстренные меры,— решил Посиделкин.— На городскую станцию я не пойду. И на вокзал я не пойду. Ходить туда нечего, там билета не достанешь. Там, говорят, в кассах торгуют уже не билетами, а желчным порошком и игральными картами. Нет, нет, билет надо доставать иначе».

Это самое «иначе» отняло указанные уже два месяца.

— Если вы меня любите,— говорил Посиделкин каждому своему знакомому,— достаньте мне билет в Ейск. Жесткое место. Для лежания.

— А для стояния не хотите? — легкомысленно отвечали знакомые.

— Бросьте эти шутки,— огорчался Посиделкин,— человеку надо ехать в Ейск поправляться, а вы... Так не забудьте. На тринадцатое сентября. Наверное же у вас есть знакомые, которые все могут. Да нет! Вы не просто обещайте — запишите в книжечку. Если вы меня любите!

Но все эти действия не успокаивали,— так сказать, не давали полной гарантии. Посиделкин опасался конкурентов. Во всех прохожих он подозревал будущих пассажиров. И действительно, почти все прохожие как-то нервно посматривали по сторонам, словно только на минуту отлучились из очереди за железнодорожными билетами.

«Худо, худо,— думал Посиделкин,— надо действовать решительнее. Нужна система».

Целый вечер Посиделкин занимался составлением схемы. Если бы его сейчас поймали, то, несомненно, решили бы, что Посиделкин — глава большой подпольной организации, занятой подготовкой не то взрыва железнодорожного моста, не то крупных хищений в кооперативах открытого типа.

На бумажке были изображены кружочки, квадратики, пунктирные линии, литеры, цифры и фамилии. По схеме можно было проследить жизнь и деятельность по крайней мере сотни людей: кто они такие, где живут, где работают, какой имеют характер, какие слабости, с кем дружат, кого недолюбливают. Против фамилий партийных стояли крестики. Беспартийные были снабжены нуликами. Кроме того, значились в документе довольно-таки странные характеристики:

«Брунелевский. Безусловно может».

«Никифоров. Может, но вряд ли захочет».

«Мальцев-Пальцев. Захочет, но вряд ли сможет».

«Бумагин. Не хочет и не может».

«Кошковладельцев. Может, но сволочь».

И все это сводилось к одному — достать жесткое место для лежания.

«Где-нибудь да клюнет,— мечтал Посиделкин,— главное, не давать им ни минуты отдыха. Ведь это все ренегаты, предатели. Обещают, а потом ничего не сделают».

Чем ближе подходил день отъезда, тем отчаяннее становилась деятельность Посиделкина. Она уже начинала угрожать спокойствию города. Люди прятались от него. Но он преследовал их неутомимо. Он гнался за ними на быстроходных лифтах. Он перегрузил ручную и автоматические станции бесчисленными вызовами.

— Можно товарища Мальцева? Да, Пальцева. Да, да, Мальцева-Пальцева. Кто спрашивает? Скажите — Леля. Товарищ Мальцев? Здравствуйте, товарищ Пальцев. Нет, это не Леля. Это я, Посиделкин. Товарищ Мальцев, вы же мне обещали. Ну да, в Ейск, для лежанья. Почему некогда? Тогда я за вами заеду на такси. Не нужно? А вы действительно меня не обманете? Ну, простите великодушно.

Завидев нужного ему человека, Посиделкин, презирая опасность, бросался в самую гущу уличного движения. Скрежетали автомобильные тормоза, и бледнели шоферы.

— Значит, не забудете,— втолковывал Посиделкин, стоя посреди мостовой,— в Ейск, для лежания. Одно жесткое.

Когда его отводили в район милиции за нарушение уличных правил, он ухитрялся по дороге взять с милиционера клятву, что тот достанет ему билет.

— Вы — милиция, вы все можете,— говорил он жалобно.

И фамилия милиционера с соответствующим кружочком и характеристикой («Может, но неустойчив») появлялась в страшной схеме.

За неделю до отъезда к Посиделкину явился совершенно неизвестный гражданин и вручил ему билет в Ейск. Счастью не было предела. Посиделкин обнял гражданина, поцеловал его в губы, но так и не вспомнил лица (стольких людей он просил о билете, что упомнить их всех было решительно невозможно).

В тот же день прибыл курьер на мотоцикле от Мальцева-Пальцева. Он привез билет в Ейск. Посиделкин благодарил, но деньги выдал со смущенной душой.

«Придется один билет продать на вокзале»,— решил он.

Ах, напрасно, напрасно Посиделкин не верил в человечество!

Схема действовала безотказно, как хорошо смазанный маузер, выпуская обойму за обоймой.

За день до отъезда Посиделкин оказался держателем тридцати восьми билетов (жестких, для лежанья).. В уплату за билеты ушли все отпускные деньги и шестьдесят семь копеек бонами на Торгсин.

Какая подлость! Никто не оказался предателем или ренегатом!

А билеты все прибывали. Посиделкин уже прятался, но его находили. Количество билетов возросло до сорока четырех.

За час до отхода поезда Посиделкин стоял на гранитной паперти вокзала и несмелым голосом нищего без квалификации упрашивал прохожих:

— Купите билетик в Ейск! Целебное место — Ейск! Не пожалеете!

Но покупателей не было. Все отлично знали, что билета на вокзале не купишь и что надо действовать



через знакомых. Зато приехали на казенной машине Брунелевский, Бумагин и Кошковладельцев. Они привезли билеты.

Ехать Поседелкину было скучно.

В вагоне он был один.

И, главное, беда произошла не оттого, что Посиделкин был глуп. Нет, скорее он был умен. Просто у него были слишком влиятельные знакомые. А чудное правило — покупать билеты в кассе — почему-то было забыто.

1932

КЛООП

— Не могу. Остановитесь на минутку. Если я сейчас же не узнаю, что означает эта вывеска, я заболею. Я умру от какой-нибудь загадочной болезни. Двадцатый раз прохожу мимо и ничего не могу понять.

Два человека остановились против подъезда, над которым золотом и лазурью было выведено:

КЛООП

— Не понимаю, что вас волнует. Клооп и Клооп. Прием пакетов с часу до трех. Обыкновенное учреждение. Идем дальше.

— Нет, вы поймите! Клооп! Это меня мучит второй год. Чем могут заниматься люди в учреждении под таким вызывающим названием? Что они делают? Заготовляют что-нибудь? Или, напротив, что-то распределяют?

— Да бросьте. Вы просто зевака. Сидят себе люди, работают, никого не трогают, а вы пристаете — почему, почему? Пошли.

— Нет, не пошли. Вы лентяй. Я этого так оставить не могу.

В длинной машине, стоявшей у подъезда, за зеркальным стеклом сидел шофер.

— Скажите, товарищ,— спросил зевака,— что за учреждение Клооп? Чем тут занимаются?

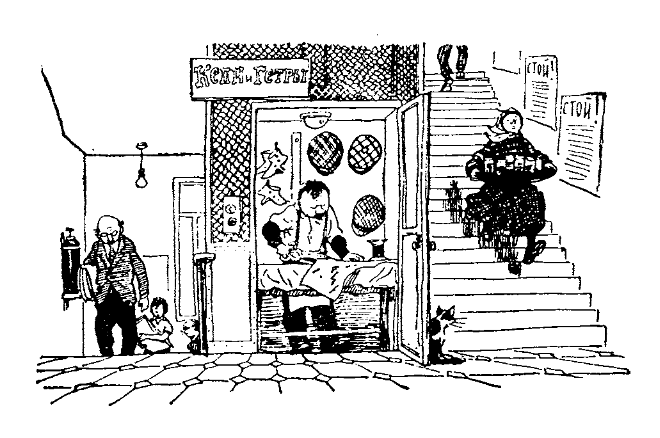
— Кто его знает, чем занимаются,— ответил шофер.— Клооп и Клооп. Учреждение как всюду.

— Вы что ж, из чужого гаража?

— Зачем из чужого! Наш гараж, клооповский. Я в Клоопе со дня основания работаю.

Не добившись толку от водителя машины, приятели посовещались и вошли в подъезд. Зевака двигался впереди, а лентяй с недовольным лицом несколько сзади.

Действительно, никак нельзя было понять придирчивости зеваки. Вестибюль Клоопа ничем не отличался



от тысячи других учрежденских вестибюлей. Бегали курьерши в серых сиротских балахончиках, завязанных на затылке черными ботиночными шнурками. У входа сидела женщина в чесанках и большом окопном тулупе. Видом своим она очень напоминала трамвайную стрелочницу, хотя была швейцарихой (прием и выдача калош). На лифте висела вывесочка «Кепи и гетры», а в самом лифте вертелся кустарь с весьма двусмысленным выражением лица. Он тут же на месте кроил свой модный и великосветский товар. (Клооп вел с ним отчаянную борьбу, потому что жакт нагло, без согласования, пустил кустаря в ведомственный лифт.)

— Чем же они могли бы тут заниматься? — начал снова зевака.

Но ему не удалось продолжить своих размышлений в парадном подъезде. Прямо на него налетел скатившийся откуда-то сверху седовласый служащий и с криком «брынза, брынза!» нырнул под лестницу. За ним пробежали три девушки, одна — курьерша, а другие две — ничего себе — в холодной завивке.

Упоминание о брынзе произвело на швейцариху потрясающее впечатление. На секунду она замерла, а потом перевалилась через гардеробный барьер и, позабыв о вверенных ей калошах, бросилась за сослуживцами.

— Теперь все ясно,— сказал лентяй,— можно идти назад. Это какой-то пищевой трест. Разработка вопросов брынзы и других молочнодиетических продуктов.

— А почему оно называется Клооп? — придирчиво спросил зевака.

На это лентяй ответить не смог. Друзья хотели было расспросить обо всем швейцариху, но, не дождавшись ее, пошли наверх.

Стены лестничной клетки были почти сплошь заклеены рукописными, рисованными и напечатанными на машинке объявлениями, приказами, выписками из протоколов, а также различного рода призывами и заклинаниями, неизменно начинавшимися словом «Стой!»

— Здесь мы все узнаем,— с облегчением сказал лентяй.— Не может быть, чтобы из сотни бумажек мы не выяснили, какую работу ведет Клооп.

И он стал читать объявления, постепенно передвигаясь вдоль стены.

— «Стой! Есть билеты на «Ярость». Получить у товарища Чернобривцевой». «Стой! Кружок шашистов выезжает на матч в Кунцево. Шашистам предоставляются проезд и суточные из расчета центрального тарифного пояса. Сбор в комнате товарища Мур-Муравейского». «Стой! Джемпера и лопаты по коммерческим ценам с двадцать первого у Кати Полотенцевой».

Зевака начал смеяться. Лентяй недовольно оглянулся на него и подвинулся еще немножко дальше вдоль стены.

— Сейчас, сейчас. Не может быть, чтоб... Вот, вот! — бормотал он.— «Приказ по Клоопу № 1891—35. Товарищу Кардонкль с сего числа присваивается фамилия Корзинкль». Что за чепуха! «Стой! Получай брынзу в порядке живой очереди под лестницей, в коопсекторе».

— Наконец-то! — оживился зевака.— Как вы говорили? Молочнодиетический пищевой трест? Разработка вопросов брынзы в порядке живой очереди? Здорово!

Лентяй смущенно пропустил объявление о вылазке на лыжах за капустой по среднекоммерческим ценам и уставился в производственный плакат, в полупламенных выражениях призывавший клооповцев ликвидировать отставание.

Теперь уже забеспокоился и он.

— Какое же отставание? Как бы все-таки узнать, от чего они отстают? Тогда стало бы ясно, чем они занимаются.

Но даже двухметровая стенгазета не рассеяла тумана, сгустившегося вокруг непонятного слова «Клооп».

Это была зауряднейшая стенгазетина, болтливая, невеселая, с портретами, картинками и статьями, получаемыми, как видно, по подписке из какого-то центрального газетного бюро. Она могла бы висеть и в аптекоуправлении, и на черноморском пароходе, и в конторе на золотых приисках, и вообще где угодно. О Клоопе там упоминалось только раз, да и то в чрезвычайно неясной форме: «Клооповец, поставь работу на высшую ступень!»

— Какую же работу? — возмущенно спросил зевака.— Придется узнавать у служащих. Неудобно, конечно, но придется. Слушайте, товарищ...

С внезапной ловкостью, с какой пластун выхватывает из неприятельских рядов языка, зевака схватил за талию бежавшего по коридору служащего и стал его выспрашивать. К удивлению приятелей, служащий задумался и вдруг покраснел.

— Что ж,— сказал он после глубокого размышления,— я в конце концов не оперативный работник.

У меня свои функции. А Клооп что же? Клооп есть Клооп.

И он побежал так быстро, что гнаться за ним было бы бессмысленно.

Хотя и нельзя еще было понять, что такое Клооп, но по некоторым признакам замечалось, что учреждение это любит новшества и здоровый прогресс. Например, бухгалтерия называлась здесь счетным цехом, а касса — платежным цехом. Но картину этого конторского просперити портила дрянная бумажка: «Сегодня платежа не будет». Очевидно, наряду с прогрессом имелось и отставание.

В большой комнате за овальным карточным столом сидело шесть человек. Они говорили негромкими, плаксивыми голосами.

Кстати, почему на заседаниях по культработе всегда говорят плаксивыми голосами?

Это, как видно, происходит из жалости культактива к самому себе. Жертвуешь всем для общества, устраиваешь вылазки, семейные вечера, идеологическое лото с разумными выигрышами, распределяешь брынзу, джемпера и лопаты — в общем, отдаешь лучшие годы жизни,— и все это безвозмездно, бесплатно, из одних лишь идейных соображений, но почему-то в урочное время. Очень себя жалко!

Друзья остановились и начали прислушиваться, надеясь почерпнуть из разговоров нужные сведения.

— Надо прямо сказать, товарищи,— замогильным голосом молвила пожилая клooповка,— по социально-бытовому сектору работа проводилась недостаточно. Не было достаточного охвата. Недостаточно, не полностью, не целиком раскачались, размахнулись и развернулись. Лыжная вылазка проведена недостаточно. А почему, товарищи? Потому, что Зоя Идоловна проявила недостаточную гибкость.

— Как? Это я недостаточно гибкая? — завопила ужаленная в самое сердце Зоя.

— Да, вы недостаточно гибкая, товарищ!

— Почему же я, товарищ, недостаточно гибкая?

— А потому, что вы совершенно, товарищ, негибкая.

— Извините, я чересчур, товарищ, гибкая.

— Откуда же вы можете быть гибкая, товарищ?

Здесь в разговор вкрался зевака.

— Простите,— сказал он нетерпеливо,— что такое Клооп? И чем он занимается?

Прерванная на самом интересном месте шестерка посмотрела на дерзких помраченными глазами. Минуту длилось молчание.

— Не знаю! — решительно ответила Зоя Идоловна.— Не мешайте работать,— и, обернувшись к сопернице по общественной работе, сказала рыдающим голосом: — Значит, я недостаточно гибкая? Так, так! А вы — гибкая?

Друзья отступили в коридор и принялись совещаться. Лентяй был испуган и предложил уйти. Но зевака не склонился под ударами судьбы.

— До самого Калинина дойду! — завизжал он неожиданно.— Я этого так не оставлю.

Он гневно открыл дверь с надписью: «Заместитель председателя». Заместителя в комнате не было, а находившийся там человек в барашковой шапке отнесся к пришельцам джентльменски холодно. Что такое Клооп, он тоже не знал, а про заместителя сообщил, что его давно бросили в шахту.

— Куда? — спросил лентяй, начиная дрожать.

— В шахту,— повторила барашковая шапка.— На профработу. Да вы идите к самому председателю. Он парень крепкий, не бюрократ, не головотяп. Он вам все разъяснит.

По пути к председателю друзья познакомились с новым объявлением: «Стой! Срочно получи в месткоме картофельные талоны. Промедление грозит аннулированием».

— Промедление грозит аннулированием. Аннулирование грозит промедлением,— бормотал лентяй в забытьи.

— Ах, скорей бы узнать, к чему вся эта кипучая деятельность?

Было по дороге еще одно приключение. Какой-то человек потребовал с них дифпай. При этом он грозил аннулированием членских книжек.

— Пустите! — закричал зевака.— Мы не служим здесь.

— А кто вас знает,— сказал незнакомец, остывая,— тут четыреста человек работает. Всех не запомнишь. Тогда дайте по двадцать копеек в «Друг чего-то». Дайте! Ну, дайте!

— Мы уже давали,— пищал лентяй.

— Ну и мне дайте! — стенал незнакомец.— Да дайте! Всего по двадцать копеек.

Пришлось дать.

Про Клооп незнакомец ничего не знал.

Председатель, опираясь ладонями о стол, поднялся навстречу посетителям.

— Вы, пожалуйста, извините, что мы непосредственно к вам,— начал зевака,— но, как это ни странно, только вы, очевидно, и можете ответить на наш вопрос.

— Пожалуйста, пожалуйста,— сказал председатель.

— Видите ли, дело в том. Ну, как бы вам сказать. Не можете ли вы сообщить нам,— только не примите за глупое любопытство,— что такое Клооп?

— Клооп? — спросил председатель.

— Да, Клооп.

— Клооп? — повторил председатель звучно.

— Да, очень было бы интересно.

Уже готова была раздернуться завеса. Уже тайне приходил конец, как вдруг председатель сказал:

— Понимаете, вы меня застигли врасплох. Я здесь человек новый, только сегодня вступил в исполнение обязанностей и еще недостаточно в курсе. В общем, я, конечно, знаю, но еще, как бы сказать...

— Но все-таки, в общих чертах?..

— Да и в общих чертах тоже...

— Может быть, Клооп заготовляет лес?

— Нет, лес нет. Это я наверно знаю.

— Молоко?

— Что вы! Я сюда с молока и перешел. Нет, здесь не молоко.

— Шурупы?

— М-м-м... Думаю, что скорее нет. Скорее, что-то другое.

В это время в комнату внесли лопату без ручки, на которой, как на подносе, лежал зеленый джемпер. Эти припасы положили на стол, взяли у председателя расписку и ушли.

— Может, попробуем сначала расшифровать самое название по буквам? — предложил лентяй.

— Это идея,— поддержал председатель.

— В самом деле, давайте по буквам. Клооп. Кооперативно-лесо... Нет, лес нет... Попробуем иначе. Кооперативно-лакокрасочное общество... А второе «о» почему? Сейчас, подождите... Кооперативно-лихоимочное...

— Или кустарное?

— Да, кустарно-лихоимочное... Впрочем, позвольте, получается какая-то чушь. Давайте начнем систематически. Одну минуточку.

Председатель вызвал человека в барашковой шапке и приказал никого не пускать.

Через полчаса в кабинете было накурено, как в станционной уборной.

— По буквам — это механический путь,— кричал председатель.— Нужно сначала выяснить принципиальный вопрос. Какая это организация? Кооперативная или государственная? Вот что вы мне скажите.

— А я считаю, что нужно гадать по буквам,— отбивался лентяй.

— Нет, вы мне скажите принципиально...

Уже покои Клоопа пустели, когда приятели покинули дымящийся кабинет. Уборщица подметала коридор, а из дальней комнаты слышались плаксивые голоса:

— Я, товарищ, чересчур гибкая!

— Какая ж вы гибкая, товарищ?

Внизу приятелей нагнал седовласый служащий. Он нес в вытянутых руках мокрый пакет с брынзой. Оттуда капал саламур.

Зевака бросил на служащего замороченный взгляд и смущенно прошептал:

— Чем же они все-таки здесь занимаются?

1932

СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦ

Товарищ Сундучанский ожидал прибавления семейства. В последние решающие дни он путался между столами сослуживцев и расслабленным голосом бормотал:

— Мальчик или девочка? Вот что меня интересует. Марья Васильевна! Если будет девочка, как назвать?

Марью Васильевну вопрос о продлении славного рода Сундучанских почти не интересовал.

— Назовите Клотильдой,— хмуро отвечала она,— или как хотите. По общественным делам я принимаю только после занятий.

— А если мальчик? — допытывал Сундучанский.

— Извините, я занята,— говорила Марья Васильевна,— у меня ударное задание.

— Если мальчик,— советовал товарищ Отверстиев,— назовите в мою честь — Колей... И не путайся здесь под ногами, не до тебя. Мне срочно нужно вырешить вопросы тары.

Однажды Сундучанский прибежал на службу, тяжело дыша.

— А если двойня, тогда как назвать? — крикнул он на весь отдел.

Служащие застонали.

— О черт! Пристал! Называй как хочешь! Ну, Давид и Голиаф.

— Или Брокгауз и Ефрон. Отличные имена.

Насчет Брокгауза сказал Отверстиев. Он был остряк.

— Вы вот шутите,— сказал Сундучанский жалобно,— а я уже отправил жену в родовспомогательное заведение.

Надо правду сказать, никакого впечатления не вызвало сообщение товарища Сундучанского. Был последний месяц хозяйственного года, и все были очень заняты.

Наконец удивительное событие произошло. Род Сундучанских продлился. Счастливый отец отправился на службу. Уши его горели на солнце.

«Я войду, как будто бы ничего не случилось,— думал он,— а когда они набросятся на меня с расспросами, я, может быть, им кое-что расскажу».

Так он и сделал. Вошел, как будто бы ничего не случилось.

— А! Сундучанский! — закричал Отверстиев.— Ну как? Готово?

— Готово,— ответил молодой отец зардевшись.

— Ну, тащи ее сюда.

— В том-то и дело, что не ее, а его. У меня родился мальчик.

— Опять ты со своим мальчиком! Я про таблицу говорю. Готова таблица? Ведь ее нужно в ударном порядке сдать.

И Сундучанский грустно сел за стол дописывать таблицу.

Уходя, он не сдержался и сказал Марье Васильевне:

— Зашли бы все-таки. На сына взглянули бы. Очень на меня похож. Восемь с половиной фунтов весит, бандит.

— Три с четвертью кило,— машинально прикинула Марья Васильевна.— Вы сегодня на собрании будете? Вопросы шефства...

— Слушай, Отверстиев,— сказал Сундучанский,— мальчик у меня — во! Совсем как человек: живот, ножки. А также уши. Конечно, пока довольно маленькие. Может, зашел бы? Жена как будет рада!

— Ну, мне пора,— вздохнул Отверстиев.— Мы тут буксир один организуем. Времени, брат, совершенно нет. Кланяйся своей дочурке.— И убежал.

В этот день Сундучанский так никого и не залучил к себе домой полюбоваться на сына.

А время шло. Сын прибавлял в весе, и родители начали даже распускать слух о том, что он якобы сказал «агу», чего с двухнедельным младенцем обычно никогда не бывает.

Но и эта потрясающая новость не вызвала притока сослуживцев в квартиру Сундучанского.

Тогда горемыка отец решился на крайность. Он пришел на службу раньше всех и на доске объявлений вывесил бумажку:

БРИГАДА
по обследованию ребенка Сундучанского начинает работу сегодня, в 6 часов, в квартире т. Сундучанского. Явка тт. Отверстиева, Кускова, Имянинен, Шакальской и Башмакова
ОБЯЗАТЕЛЬНА.

В три часа к Сундучанскому подошел Башмаков и зашептал:

— Слушай, Сундучанский. Я сегодня никак не могу. У меня кружок и потом... жена больна... ей-богу!

— Ничего не поделаешь,— холодно сказал Сундучанский,— все загружены. Я, может, тоже загружен. Нет, брат, в объявлении ясно написано: «Явка обязательна»...

С соответствующим опозданием, то есть часов в семь, члены бригады, запыхавшись, вбежали в квартиру Сундучанского.

— Надо бы поаккуратнее,— заметил хозяин,— ну да ладно, садитесь. Сейчас начнем.

И он вкатил в комнату коляску, где, разинув рот, лежал молодой Сундучанский.

— Вот,—сказал Сундучанский-отец.—Можете смотреть.

— А как регламент? — спросила Шакальская.— Сначала смотреть, а потом задавать вопросы? Или можно сначала вопросы?

— Можно вопросы,— сказал отец, подавляя буйную радость.

— Не скажет ли нам докладчик,— спросил Отверстиев привычным голосом,— каковы качественные показатели этого объекта...

— Можно слово к порядку ведения собрания? — перебила, как всегда, активная Шакальская.

— Не замечается ли в ребенке недопотолстения, то есть недоприбавления в весе? — застенчиво спросил Башмаков.

И машинка завертелась.

Счастливый отец не успевал отвечать на вопросы.

1933

РАЗГОВОРЫ ЗА ЧАЙНЫМ СТОЛОМ

В семье было три человека — папа, мама и сын. Папа был старый большевик, мама — старая домашняя хозяйка, а сын был старый пионер со стриженой головой и двенадцатилетним жизненным опытом.

Казалось бы, все хорошо.

И тем не менее ежедневно за утренним чаем происходили семейные ссоры.

Разговор обычно начинал папа.

— Ну, что у вас нового в классе? — спрашивал он.

— Не в классе, а в группе,— отвечал сын.— Сколько раз я тебе говорил, папа, что класс — это реакционно-феодальное понятие.

— Хорошо, хорошо. Пусть группа. Что же учили в группе?

— Не учили, а прорабатывали. Пора бы, кажется, знать.

— Ладно, что же прорабатывали?

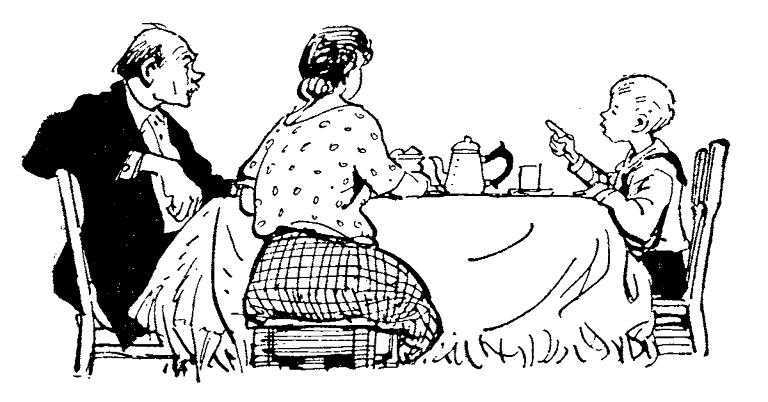
— Мы прорабатывали вопросы влияния лассальянства на зарождение реформизма.

— Вот как! Лассальянство? А задачи решали?

— Решали.

— Вот это молодцы! Какие же вы решали задачи? Небось трудные?

— Да нет, не очень. Задачи материалистической философии в свете задач, поставленных второй сессией Комакадемии совместно с пленумом общества аграрников-марксистов.



Папа отодвинул чай, протер очки полой пиджака и внимательно посмотрел на сына. Да нет, с виду как будто ничего. Мальчик как мальчик.

— Ну, а по русскому языку что сейчас уч... то есть прорабатываете?

— Последний раз коллективно зачитывали поэму «Звонче голос за конский волос».

— Про лошадку? — с надеждой спросил папа.— «Что ты ржешь, мой конь ретивый, что ты шейку опустил?»

— Про конский волос,— сухо повторил сын.— Неужели не слышал?

Гей, ребята, все в поля
Для охоты на
Коня!
Лейся, песня, взвейся, голос.
Рвите ценный конский волос!

— Первый раз слышу такую... м-м-м... странную поэму,— сказал папа.— Кто это написал?

— Аркадий Паровой.

— Вероятно, мальчик? Из вашей группы?

— Какой там мальчик!.. Стыдно тебе, папа. А еще старый большевик... не знаешь Парового! Это знаменитый поэт. Мы недавно даже сочинение писали — «Влияние творчества Парового на западную литературу».

— А тебе не кажется,— осторожно спросил папа,—

что в творчестве этого товарища Парового как-то мало поэтического чувства?

— Почему мало? Достаточно ясно выпячены вопросы сбора ненужного коню волоса для использования его в матрацной промышленности.

— Ненужного?

— Абсолютно ненужного.

— А конские уши вы не предполагаете собирать? — закричал папа дребезжащим голосом.

— Кушайте, кушайте,— примирительно сказала мама.— Вечно у них споры.

Папа долго хмыкал, пожимал плечами и что-то гневно шептал себе под нос. Потом собрался с силами и снова подступил к загадочному ребенку.

— Ну, а как вы отдыхаете, веселитесь? Чем вы развлекались в последнее время?

— Мы не развлекались. Некогда было.

— Что же вы делали?

— Мы боролись.

Папа оживился.

— Вот это мне нравится. Помню, я сам в детстве увлекался. Бра-руле, тур де-тет, захват головы в партере. Это очень полезно. Чудная штука — французская борьба.

— Почему французская?

— А какая же?

— Обыкновенная борьба. Принципиальная.

— С кем же вы боролись? — спросил папа упавшим голосом.

— С лебедевщиной.

— Что это еще за лебедевщина такая? Кто это Лебедев?

— Один наш мальчик.

— Он что, мальчик плохого поведения? Шалун?

— Ужасного поведения, папа! Он повторил целый ряд деборинских ошибок в оценке махизма, махаевщины и механицизма.

— Это какой-то кошмар!

— Конечно, кошмар. Мы уже две недели только этим и занимаемся. Все силы отдаем на борьбу. Вчера был политаврал.

Папа схватился за голову.

— Сколько же ему лет?

— Кому, Лебедеву? Да немолод. Ему лет восемь.

— Восемь лет мальчику, и вы с ним боретесь?

— А как по-твоему? Проявлять оппортунизм? Смазывать вопрос?

Папа дрожащими руками схватил портфель и, опрокинув по дороге стул, выскочил на улицу. Неуязвимый мальчик снисходительно усмехнулся и прокричал ему вдогонку:

— А еще старый большевик!

Однажды бедный папа развернул газету и издал торжествующий крик. Мама вздрогнула. Сын сконфуженно смотрел в свою чашку. Он уже читал постановление ЦК о школе. Уши у него были розовые и просвечивали, как у кролика.

— Ну-с,— сказал папа, странно улыбаясь,— что же теперь будет, ученик четвертого класса Ситников Николай?

Сын молчал.

— Что вчера коллективно прорабатывали?

Сын продолжал молчать.

— Изжили наконец лебедевщину, юные непримиримые ортодоксы?

Молчание.

— Уже признал бедный мальчик свои сверхдеборинские ошибки? Кстати, в каком он классе?

— В нулевой группе.

— Не в нулевой группе, а в приготовительном классе! — загремел отец.— Пора бы знать!

Сын молчал.

— Вчера читал, что этого вашего Аркадия, как его, Паровозова не приняли в Союз писателей. Как он там писал? «Гей, ребята, выйдем в поле, с корнем вырвем конский хвост»?

— «Рвите ценный конский волос»,— умоляюще прошептал мальчик.

— Да, да. Одним словом: «Лейся, взвейся, конский голос». Я все помню. Это еще оказывает влияние на мировую литературу?

— Н-не знаю.

— Не знаешь? Не жуй, когда с учителем говоришь! Кто написал «Мертвые души»? Тоже не знаешь? Гоголь написал. Гоголь.

— Вконец разложившийся и реакционно настроенный мелкий мистик...—обрадованно забубнил мальчик.

— Два с минусом! — мстительно сказал папа.— Читать надо Гоголя, учить надо Гоголя, а прорабатывать будешь в Комакадемии, лет через десять. Ну-с, расскажите мне, Ситников Николай, про Нью-Йорк.

— Тут наиболее резко, чем где бы то ни было,— запел Коля,—выявляются капиталистические противоре...

— Это я сам знаю. Ты мне скажи, на берегу какого океана стоит Нью-Йорк?

Сын молчал.

— Сколько там населения?

— Не знаю.

— Где протекает река Ориноко?

— Не знаю.

— Кто была Екатерина Вторая?

— Продукт.

— Как продукт?

— Я сейчас вспомню. Мы прорабатывали... Ага! Продукт эпохи нарастающего влияния торгового капита...

— Ты скажи, кем она была? Должность какую занимала?

— Этого мы не прорабатывали.

— Ах, так! А каковы признаки делимости на три?

— Вы кушайте,— сказала сердобольная мама.— Вечно у них эти споры.

— Нет, пусть он мне скажет, что такое полуостров? — кипятился папа.— Пусть скажет, что такое Куро-Сиво? Пусть скажет, что за продукт был Генрих Птицелов?

Загадочный мальчик сорвался с места, дрожащими руками запихнул в карман рогатку и выбежал на улицу.

— Двоечник! — кричал ему вслед счастливый отец.— Все директору скажу!

Он наконец взял реванш.

1934

ЧУДЕСНЫЕ ГОСТИ

Редакция газеты «Однажды вечером» находилась в смятении. Сотрудники часто выскакивали на лестницу и смотрели вниз, в пролет, уборщицы в неурочное время подметали коридор, ударяя щетками по ногам пробегающих репортеров, а из комнаты, на дверях которой висела табличка «Литературный отдел и юридическая консультация», исходил запах колбасы и слышался отчаянный стук ножей. Там засели пять официантов и метрдотель в визитке. Они резали батоны, раскладывали по тарелкам редиску с зелеными хвостами, колесики лимона и краковскую колбасу. На рукописях стояли бутылки и соусники.

Сотрудники, которые в ожидании банкета нарочно ничего не ели, часто заглядывали в эту комнату и, вдохновившись сверканием апельсинов и салфеток, снова устремлялись на лестницу.

Заведующий литературным отделом стоял перед редактором и, нервно притрагиваясь к своим маленьким усикам, говорил:

— Сейчас у них обед с народными и заслуженными артистами, потом они поедут на завтрак в ЦУНХУ, оттуда минут через десять — на обед со знатными людьми колхозов, а там уже стоит наш человек с машинами, схватит их и привезет прямо сюда закусывать.

— И капитан Воронин будет? — с сомнением спросил редактор.

— Будет, будет. Челюскинцами я редакцию обеспечил. Можете не сомневаться.

— А герои? Смотрите, Василий Александрович!

— Героями я редакцию обеспечил. У нас будут: Доронин, Молоков, Водопьянов и Слепнев.

— Слушайте, а их не перехватят по дороге? Ведь они подъедут со стороны Маросейки, а там в каждом доме учреждение.

— С этой стороны мы тоже обеспечены. Я распорядился. Наш человек повезет их по кольцу «Б», а потом глухими переулками. Привезем свеженькими, как со льдины.

— Ой, хоть бы уж скорей приехали! — сказал редактор.— С едой там все в порядке? Смотрите, они, наверно, голодные приедут.

По телефону сообщили последнюю сводку:

— Выехали из ЦУНХУ, едут к знатным людям.

Известие облетело всю редакцию, и ножи застучали еще сильнее. Метрдотель выгнул грудь и поправил галстучек. На улице возле дома стали собираться дети.

Час прошел в таком мучительном ожидании, какое едва ли испытывали челюскинцы, ища в небе самолетов. Василий Александрович не отрывался от телефона, принимая сообщения.

— Что? Едят второе? Очень хорошо!

— Начались речи? Отлично!

— Кто пришел отбивать? Ни под каким видом! Имейте в виду, если упустите, мы поставим о вас вопрос в месткоме. Может, вам нужна помощь? Высылаем трех на мотоциклетке: Гуревича, Гуровича и Гурвича. Поставьте их на пути следования.

Наконец было получено последнее сообщение:

— Вышли на улицу. Захвачены. Усажены в машины. Едут.

— Едут, едут!

И в ту же минуту в кабинет редактора ворвался театральный рецензент. В волнении он сорвал с себя галстук и держал его в руке.

— Катастрофа! — произнес он с трудом.

— Что случилось?

— Внизу,— сказал рецензент гробовым голосом,— на третьем этаже, в редакции газеты «За рыбную ловлю», стоят банкетные столы. Только что видел своими глазами.

— Ну и пусть стоят. При чем тут мы?

— Да, но они говорят, что ждут челюскинцев. И, главное, тех же самых, которых ждем мы.

— Но ведь челюскинцев везут наши люди.

— Перехватят. Честное слово, перехватят! Мы на четвертом этаже, а они на третьем.

— А мы их посадим в лифт.

— А в лифте работает их лифтерша. Они все учли. Я ее спрашивал. Ей дали приказ везти героев на третий этаж — и никаких.

— Мы пропали! — закричал редактор звонким голосом.— Я же вам говорил, Василий Александрович, что перехватят!

— А я вам еще полгода назад говорил не сдавать третий этаж этой «За рыбную ловлю». Сдали бы тихой Медицинской энциклопедии, теперь все было бы хорошо.

— Кто же знал, что «Челюскин» погибнет! Ай-яй-яй! Пригрели змею на своей груди.

— А какой у них стол! — кипятился рецензент.— Это ведь рыбная газета. Одна рыба. Лососина, осетрина, белуга, севрюга, иваси, копченка, налимья печень, крабы, селедки. Восемнадцать сортов селедок, дорогие товарищи!

Несчастный редактор газеты «Однажды вечером» взмахнул руками, выбежал на лестницу и спустился на площадку третьего этажа.

Там, как ни в чем не бывало, мелкими шажками прогуливался ответственный редактор газеты «За рыбную ловлю». Он что-то бормотал себе под нос, очевидно репетируя приветственную речь. Из дверей выглядывали сотрудники. От них пахло рыбой.

Сдерживая негодование, редактор «Однажды вечером» сказал:

— Здравствуйте, товарищ Барсук. Что вы тут делаете, на лестнице?

— Дышу воздухом,— невинно ответил рыбный редактор.

— Странно.

— Ничего странного нет. Моя площадка — я и дышу. А вы что тут делаете, товарищ Икапидзе?

— Тоже дышу свежим воздухом.

— Нет, вы дышите свежим воздухом у себя. На площадке четвертого этажа.

— Ой, товарищ Барсук,— проникновенно сказал «Однажды вечером»,— придется нам, кажется, встретиться в Комиссии партийного контроля.

— Пожалуйста, товарищ Икапидзе. К вашим услугам. Членский билет номер 1 293 562.

— Я знаю,— застонал «Однажды вечером»,— вы ждете тут наших челюскинцев.

— Челюскинцы не ваши, а общие,— хладнокровно ответил «За рыбную ловлю».

— Ах, общие!

И редакторы стали надвигаться друг на друга.

В это время внизу затрещали моторы, послышались крики толпы и освещенный лифт остановился на третьем этаже. На площадку вышли герои. Рыбная лифтерша сделала свое черное дело.

«Однажды вечером» бросился вперед, но тут беззастенчивый Барсук стал в позу и с невероятной быстротой запел:

— Разрешите мне, дорогие товарищи, в этот знаменательный час...

Дело четвертого этажа казалось проигранным. Хитрый Барсук говорил о нерушимой связи рыбного дела с Арктикой и о громадной роли, которую сыграла газета «За рыбную ловлю» в деле спасения челюскинцев. Пока Барсук действовал таким образом, «Однажды вечером» нетерпеливо переминался с ноги на ногу, как конь. И едва только враг окончил свое торжественное слово, как товарищ Икапидзе изобразил на лице хлебосольную улыбку и ловко перехватил инициативу.

— А теперь, дорогие гости,— сказал он, отодвигая плечом соперника,— милости просим закусить на четвертый этаж. Пожалуйста, пройдите. Вот сюда, пожалуйста. Что вы стоите на дороге, товарищ Барсук? Нет, пардон, пропустите, пожалуйста. Сюда, сюда, дорогие гости. Не обессудьте... так сказать, хлеб-соль...

И, ударив острым коленом секретаря «Рыбной ловли», который самоотверженно пытался лечь на ступеньку и преградить путь своим телом, он повел челюскинцев за собой.

Чудесные гости, устало улыбаясь и со страхом обоняя запах еды, двинулись в редакцию вечерней газеты.

В молниеносной и почти никем не замеченной вежливой схватке расторопный Барсук успел все-таки отхватить и утащить в свою нору двух героев и восемь челюскинцев с семьями.

Это заметили, только усевшись за банкетные столы. Утешал, однако, тот радостный факт, что отчаянный Василий Александрович дополнительно доставил на четвертый этаж по пожарной лестнице еще трех челюскинцев: двух матросов первой статьи и кочегара с женой и двумя малыми детками. По дороге, когда они карабкались мимо окна третьего этажа, рыбные сотрудники с криками: «Исполать, добро пожаловать!» — хватали их за ноги, а Василия Александровича попытались сбросить в бездну. Так по крайней мере он утверждал.

А дальше все было хорошо и даже замечательно. Говорили речи, чуть не плакали от радости, смотрели на героев во все глаза, умоляли ну хоть что-нибудь съесть, ну хоть кусочек. Добрые герои ели, чтоб не обидеть. И на третьем этаже тоже, как видно, все было хорошо. Оттуда доносилось такое сверхмощное ура, что казалось, будто целый армейский корпус идет в атаку.

После речей начались воспоминания, смеялись, пели, радовались. В общем, как говорится, вечер затянулся далеко за полночь.

Так вот, далеко за полночь на нейтральной площадке, между третьим и четвертым этажами, встретились оба редактора. В волосах у них запутались разноцветные кружочки конфетти. Из петлицы Барсука свисала бывшая чайная роза, от которой почему-то пахло портвейном № 17, а Икапидзе обмахивал разгоряченное лицо зеленым хвостиком от редиски. Лица у них сияли. О встрече в Комиссии партийного контроля давно уже не было речи. Они занимались более важным делом.

— Значит, так,— говорил Икапидзе, поминутно наклоняясь всем корпусом вперед,— мы вам даем Водопьянова, а вы нам... вы нам да-е-те Молокова.

— Мы вам Молокова? Вы просто смеетесь. Молоков, с вашего разрешения, спас тридцать девять человек!

— А Водопьянов?

— Что Водопьянов?

— А Водопьянов, если хотите знать, летел из Хабаровска шесть тысяч километров! Плохо вам?

— Это верно. Ладно. Так и быть. Мы вам даем Молокова, а вы нам даете Водопьянова, одного кочегара с детьми и брата капитана Воронина.

— Может, вам дать уже и самого Воронина? — сатирически спросил Барсук.

— Нет, извините! Мы вам за Воронина, смотрите, что даем: Слепнева с супругой, двух матросов первого класса и одну жену научного работника.

— А Доронин?

— Что Доронин?

— Как что? Доронин прилетел из Хабаровска на неотепленной машине. Это что, по-вашему, прогулка на Воробьевы горы?

— Я этого не говорю.

— В таком случае мы за Доронина требуем: Копусова, писателя Семенова, двух плотников, одного геодезиста, боцмана, художника Федю Решетникова, девочку Карину и специального корреспондента «Правды» Хвата.

— Вы с ума сошли!.. Где я вам возьму девочку? Ведь это дитя! Оно сейчас спит!

И долго еще эти два трогательных добряка производили свои вычисления и обмены. А обмен давно уже устроили без них. Героев водили снизу вверх и сверху вниз, и вообще уже нельзя было разобрать, где какая редакция.

Ночь была теплая, и на улице, в полярном блеске звезд, возле подъезда обеих редакций в полном молчании ожидала героев громадная толпа мальчиков.

1934

РАЗНОСТОРОННИЙ ЧЕЛОВЕК

Два человека лежали на постелях в доме отдыха и разговаривали. Был мертвый час, и поэтому они говорили вполголоса.

— Как приятно,— сказал один из них, натягивая простыню на свою мохнатую грудь,— поговорить с интеллигентным человеком. Возьмите, например, нашу науку. Она делает громадные шаги. Разные открытия, изобретения, усовершенствования. Не успеваешь даже за всем уследить.

— Да,— сказал второй,— науке сейчас уделяется большое внимание. Я вот в конце прошлого лета отдыхал в санатории ЦЕКУБУ, и, знаете, удивительно мне там понравилось. Встаешь утром, и сразу тебе первый завтрак: два яичка всмятку, икра, основательная такая пластинка ветчины, обязательно что-нибудь горячее, ну и кофе... Одним словом, очень-очень.

— Откроешь газету,— восторженно вставил первый,— сердце радуется. То золото нашли на Волге, то нефть обнаружили. Какой-нибудь старичок академик, чуть ли не восьмидесяти лет, а мчится в далекую степь, что-то там роет.

— Да, да, вы правы, громадные успехи. В этом ЦЕКУБУ я прибавил восемь кило. Прекрасный санаторий. Чистота идеальная, отличный персонал, обед ровно в два. Время немножко неудобное, но зато какой обед! Холодный борщок, два вторых, мороженое.

Я там полтора месяца провел. Нет, наука — это действительно.

— А искусство? — с горячностью сказал первый.— Какие грандиозные начинания! В одной Москве что делается! Прорубают новые проспекты, возводят величественные здания. И если кто-нибудь раньше сомневался в наших архитекторах, то теперь прямо можно сказать, что они знают свое дело, не отстают от требований эпохи.

— Совершенно верно. Я всегда это говорил. Как раз после ученых я поехал худеть на минеральные воды, именно в дом отдыха архитекторов. Маленький такой домик, а здорово поставлено. Встаешь утром, и подают тебе очень легкий, но необыкновенно вкусный завтрак. Потом идешь к источнику, совершаешь прогулки. Вы знаете, моя жена женщина довольно требовательная, но и ей понравилось. Что вы хотите? Интересное общество, первоклассное питание, души, массажи, по вечерам симфонический оркестр. Вы правы, архитекторы добились больших достижений.

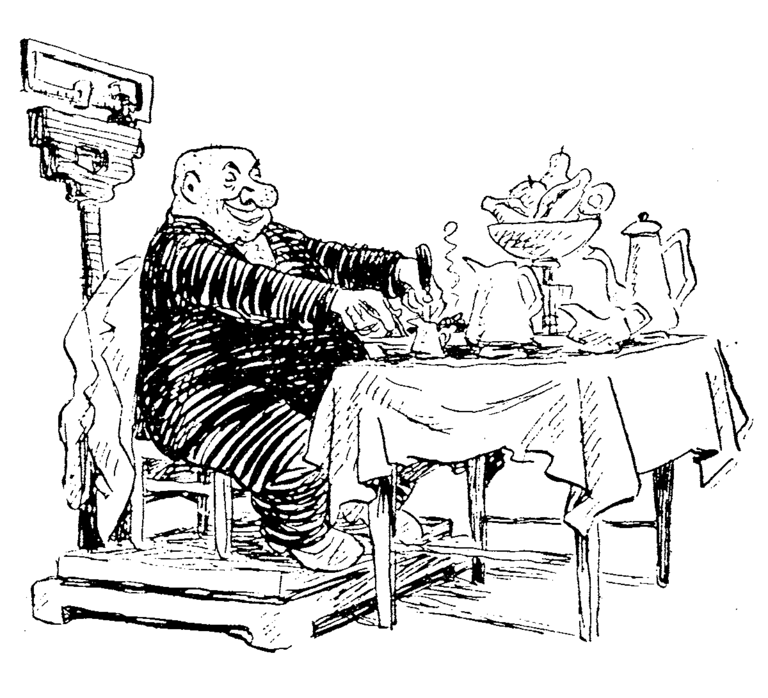
— Или возьмите литературу,— продолжал первый отдыхающий,— возьмите ленинградских писателей. Какая превосходная и увлекательная беллетристика. Например, «Похищение Европы» Федина. Вам нравится? Правда, замечательно?

— Что там у ленинградских писателей замечательного? Я жил у них в крымском доме отдыха не то в июне, не то в июле. Сбежал через две недели. На завтрак пустой чай с какими-то якобы булочками, да и обед в этом же стиле. Нет, ленинградские писатели мне не нравятся. Вот московские — эти будут получше. У них под Москвой есть творческий дом. Идеальные условия. Каждому дается отдельная творческая ячейка. Мне так понравилось, что я там прожил два месяца, отдыхал после ленинградцев. А жена и до сих пор живет. Встаешь утром, одно удовольствие. Сосны, солнце, ходишь по лесу, собираешь грибы, ну, к завтраку являешься, конечно, с волчьим аппетитом. Да еще трахнешь в своей отдельной творческой ячейке стопочку водки, чтоб никто не видел, и разъяряешься еще больше. Четыре с половиной кило прибавил. Нет,

что говорить! Литература у нас совсем не плохая. Вот живопись действительно отстала.

— Почему отстала? — всполошился первый.— А выставка «15 лет Октября»? Я провел там несколько приятных часов.

— Вот именно, что несколько часов. Больше выдержать невозможно. Вы меня извините, но это просто какая-то ночлежка. Понапихали в каждую палату по шесть человек, питание из рук вон, калорийность явно недостаточная. Мы с женой в тот же день уехали,— ну куда б вы думали? В крестьянский санаторий. Да, да, к крестьянам, к колхозникам. Признаться, когда ехали, у меня с женой сердце сжималось. Ну, думаю, приедем, а там какие-нибудь онучи сушатся, овин строят. Но то, что мы увидели, было черт знает как хорошо. Вы говорите — сдвиги. Конечно, сдвиги! Колоссальные! Встаешь утром: кулебяка, фаршированные



яйца, великолепный студень, какао. И это где? В простом колхозном санатории. Мы там прожили три месяца, горя не знали. Выйдешь на пляж, а там уже лежит какая-нибудь премированная доярка Одарка. Вот вам и сельское хозяйство. Вот вам и овин.

Первый отдыхающий беспокойно завертелся под своей простыней и снова попробовал направить разговор по интеллектуальной линии.

— Это не только в сельском хозяйстве,— сказал он.— В промышленности разве мы не видим громадных перемен к лучшему? Возьмите Магнитку, Бобрики, Днепрогэс.

— В днепрогэсовском доме я не был, так что судить не смею. А что касается магнитогорцев, то у них это получается очень недурно. Опытная сестра-хозяйка, горное солнце такое, какого в Берлине не найдете. Встаешь утром — традиционные яички, порядочный бутон сливочного масла и горячие отбивные. Заправишься с утра и уже на весь день получаешь зарядку бодрости. Я там был совсем недавно. Жалко, только один месяц прожили. Не дали нам продления. Старший врач оказался сволочеват.

— Сволочеват? — с испугом спросил первый.

— Со всеми признаками сволочизма,— бодро ответил второй.

Получив такой исчерпывающий ответ, первый отдыхающий немножко помолчал.

— А музыку вы любите? — спросил он упавшим голосом.— Согласитесь с тем, что наши композиторы...

— Позвольте, позвольте! — перебил второй.— Композиторы? Что-то припоминаю. Где же это мы были? В Абас-Тумане? Нет, не в Абас-Тумане. Кажется, в Мисхоре. Вот память проклятая стала. Ага! В Хосте. Теперь я вспомнил. Чепуха ваши композиторы! Копейки не стоят. Страшно подумать, мы с женой жили у композиторов, а продовольствоваться ходили к старым политкаторжанам. Ведь это смех. А почему? Потому что у композиторов кормят отвратительно. Встаешь утром, и сразу тебе тычут в морду колбасу и какие-то помидоры. Даже не говорите мне о композиторах. Слушать не желаю. Вот старые каторжане —

это другая музыка. Приходишь к ним утром усталый и озлобленный после ваших композиторов, а там уже все готово. За столом сидят чистенькие старички, у всех под бородами салфеточки, стол уставлен разной едой, никаких нет порций, бери что хочешь, понимаете, хватай что хочешь. Сыновнее отношение персонала. Прибавил там двенадцать кило. И это, принимая во внимание изнурительные ночевки у композиторов! В палатах комары, змеи, сороконожки, чуть ли не росомахи. Фу, мерзость! Если бы не отдых на теплоходе, мы с женой совсем бы пропали.

— Как на теплоходе? — удивился человек с мохнатой грудью.

— Очень просто. Из Батума в Одессу, из Одессы в Батум. Туда и обратно — пять дней. Я шесть круговых рейсов сделал, тридцать дней провел на теплоходе. Прекрасный комбинированный отдых. Что бы ни говорили, а водный транспорт у нас на высоте. Чудная каюта, собственная ванна, встаешь утром и действуешь смотря по погоде. Если качает, начинаешь прямо с коньяка. А если не качает, принимаешься за большую флотскую яичницу из восьми яиц с ветчиной. Морской воздух вызывает сумасшедший аппетит. Это очень полезно для здоровья. Все-таки я немножко перехватил, пришлось поехать в Ессентуки к артистам, сбавить три-четыре кило. Если будете в Ессентуках, обязательно устраивайтесь в доме отдыха артистов, там в шестом корпусе хорошенькая няня. Проситесь прямо в шестой корпус.

Первый отдыхающий ничего уже не говорил, ни о чем не спрашивал. А второй с жаром продолжал:

— Веселые люди эти артисты. Театр у нас действительно лучший в мире. Встаешь утром — анекдоты, истории, сценки. Совершенно неистощимые люди, нахохочешься. Потом идешь обедать. Курятину дают, гусятину, индюшатину, что хочешь. Я сам не артист, но и то с ними разные сценки разыгрывал. Только на бильярде с ними на интерес не беритесь. Артисты здорово играют в пирамидку. Свой шар у них всегда на коротком борту, как ниточкой привязан. Но никогда не приезжайте в Ессентуки зимой. Скучно и паршиво.

Зимой надо ехать в Карелию. Там, возле Петрозаводска, такой санаторий, просто сил нет. Встаешь утром — лыжи, коньки, холодная телятина с горчицей. Прямо скажу, производительные силы окраин растут с каждым днем. Встаешь утром... хотя, кажется, я вам уже говорил, что там дают на завтрак. А самое лучшее, езжайте в совхоз. Я вот кончу здесь курс отдыха и сейчас же со своей семьей поеду в свиносовхоз отдыхать. Там у меня директор приятель. Встаешь в свиносовхозе утром, и сразу тебе парного молочка из-под коровки, яичек из-под курочки, окорочек. Тут же дети, жена, бабушка. Утомляет, конечно, такое, как бы сказать, вечное скитанье. Но, с другой стороны, умственно обогащаешься, начинаешь видеть горизонты. Неправда?

Появилась дежурная сестра и, подав собеседникам по термометру, вышла.

Передовой человек с отвращением сунул термометр под мышку и, наморщившись, спросил:

— Скажите, голубчик... Я, конечно, знаю, но вот нашло какое-то затмение... Чей это дом отдыха?

— Этот?

— Ну да. Этот, в котором мы сейчас находимся.

— Это дом отдыха работников связи.

— Ах, совершенно верно! Работников связи! Я и забыл. Неплохой дом. Ведь какая, казалось бы, чепуха — связь, а вот налаживается. Ну, спите спокойно. Надо набираться сил. Ведь сегодня еще обедать, а в пять часов чай, а в семь — ужин! Все-таки тяжелая жизнь!

1934

СОБАЧИЙ ХОЛОД

Катки закрыты. Детей не пускают гулять, и они томятся дома. Отменены рысистые испытания. Наступил так называемый собачий холод.

В Москве некоторые термометры показывают тридцать четыре градуса, некоторые почему-то только тридцать один, а есть и такие чудаковатые градусники, которые показывают даже тридцать семь. И происходит это не потому, что одни из них исчисляют температуру по Цельсию, а другие устроены по системе Реомюра, и не потому также, что на Остоженке холоднее, чем на Арбате, а на Разгуляе мороз более жесток, чем на улице Горького. Нет, причины другие. Сами знаете, качество продукции этих тонких и нежных приборов не всегда у нас на неслыханной высоте. В общем, пока соответствующая хозяйственная организация, пораженная тем, что благодаря морозу население неожиданно заметило ее недочеты, не начнет выправляться, возьмем среднюю цифру — тридцать три градуса ниже нуля. Это уж безусловно верно и является точным арифметическим выражением понятия о собачьем холоде.

Закутанные по самые глаза москвичи кричат друг другу сквозь свои воротники и шарфы:

— Просто удивительно, до чего холодно!

— Что ж тут удивительного? Бюро погоды сообщает, что похолодание объясняется вторжением холодных масс воздуха с Баренцова моря.

— Вот спасибо. Как это они все тонко подмечают. А я, дурак, думал, что похолодание вызвано вторжением широких горячих масс аравийского воздуха.

— Вот вы смеетесь, а завтра будет еще холоднее.

— Не может этого быть.

— Уверяю вас, что будет. Из самых достоверных источников. Только никому не говорите. Понимаете? На нас идет циклон, а в хвосте у него антициклон. А в хвосте у этого антициклона опять циклон, который и захватит нас своим хвостом. Понимаете? Сейчас еще ничего, сейчас мы в ядре антициклона, а вот попадем в хвост циклона, тогда заплачете. Будет невероятный мороз. Только вы никому ни слова.

— Позвольте, что же все-таки холоднее — циклон или антициклон?

— Конечно, антициклон.

— Но вы сейчас сказали, что в хвосте циклона какой-то небывалый мороз.

— В хвосте действительно очень холодно.

— А антициклон?

— Что антициклон?

— Вы сами сказали, что антициклон холоднее.

— И продолжаю говорить, что холоднее. Чего вы не понимаете? В ядре антициклона холоднее, чем в хвосте циклона. Кажется, ясно.

— А сейчас мы где?

— В хвосте антициклона. Разве вы сами не видите?

— Отчего же так холодно?

— А вы думали, что к хвосту антициклона Ялта привязана? Так, по-вашему?

Вообще замечено, что во время сильных морозов люди начинают беспричинно врать. Врут даже кристально честные и правдивые люди, которым в нормальных атмосферных условиях и в голову не придет сказать неправду. И чем крепче мороз, тем крепче врут. Так что при нынешних холодах встретить вконец изоврашегося человека совсем не трудно.

Такой человек приходит в гости, долго раскутывается; кроме своего кашне, снимает белую дамскую

шаль, стаскивает с себя большие дворницкие валенки, надевает ботинки, принесенные в газетной бумаге, и, войдя в комнату, с наслаждением заявляет:

— Пятьдесят два. По Реомюру.

Хозяину, конечно, хочется сказать: «Что ж ты в такой мороз шляешься по гостям? Сидел бы себе дома»,— но вместо этого он неожиданно для самого себя говорит:

— Что вы, Павел Федорович, гораздо больше. Днем было пятьдесят четыре, а сейчас безусловно холоднее.

Здесь раздается звонок, и с улицы вваливается новая фигура. Фигура еще из коридора радостно кричит:

— Шестьдесят, шестьдесят! Ну, нечем дышать, совершенно нечем.

И все трое отлично знают, что вовсе не шестьдесят, и не пятьдесят четыре, и не пятьдесят два, и даже не тридцать пять, а тридцать три, и не по Реомюру, а по Цельсию, но удержаться от преувеличения невозможно. Простим им эту маленькую слабость. Пусть врут на здоровье. Может быть, им от этого сделается теплее.

Покамест они говорят, от окон с треском отваливается замазка, потому что она не столько замазка, сколько простая глина, хотя в ассортименте товаров значится как замазка высшего качества. Мороз-ревизор все замечает. Даже то, что в магазинах нет красивой цветной ваты, на которую так отрадно взглянуть, когда она лежит между оконными рамами, сторожа квартирное тепло.

Но беседующие не обращают на это внимания. Рассказываются разные истории о холодах и вьюгах, о приятной дремоте, охватывающей замерзающих, о сенбернарах с бочонком рома на ошейнике, которые разыскивают в снежных горах заблудившихся альпинистов, вспоминают о ледниковом периоде, о проваливающихся под лед знакомых (один знакомый якобы упал в прорубь, пробарахтался подо льдом двенадцать минут и вылез оттуда целехонек, живехонек и

здоровехонек) и еще множество сообщений подобного рода.

Но венцом всего является рассказ о дедушке.

Дедушки вообще отличаются могучим здоровьем. Про дедушек всегда рассказывают что-нибудь интересное и героическое. (Например: «мой дед был крепостным», на самом деле он имел хотя и небольшую, но все-таки бакалейную лавку.) Так вот во время сильных морозов фигура дедушки приобретает совершенно циклопические очертания.

Рассказ о дедушке хранится в каждой семье.

— Вот мы с вами кутаемся — слабое, изнеженное поколение. А мой дедушка, я его еще помню (тут рассказчик краснеет, очевидно от мороза), простой был крепостной мужик и в самую стужу, так, знаете, градусов шестьдесят четыре, ходил в лес по дрова в одном люстриновом пиджачке и галстуке. Каково? Не правда ли, бодрый старик?

— Это интересно. Вот и у меня, так сказать, совпадение. Дедушка мой был большущий оригинал. Мороз этак градусов под семьдесят, все живое прячется в свои норы, а мой старик в одних полосатых трусиках ходит с топором на речку купаться. Вырубит себе прорубь, окунется — и домой. И еще говорит, что ему жарко, душно.

Здесь второй рассказчик багровеет, как видно от выпитого чаю.

Собеседники осторожно некоторое время смотрят друг на друга и, убедившись, что возражений против мифического дедушки не последует, начинают взапуски врать о том, как их предки ломали пальцами рубли, ели стекло и женились на молоденьких, имея за плечами — ну как вы думаете, сколько? — сто тридцать два года. Каких только скрытых черт не обнаруживает в людях мороз!

Что бы там ни вытворяли невероятные дедушки, а тридцать три градуса это неприятная штука. Амундсен говорил, что к холоду привыкнуть нельзя. Ему можно поверить, не требуя доказательств. Он это дело знал досконально.

Итак, мороз, мороз. Даже не верится, что есть где-то на нашем дальнем севере счастливые теплые края, где, по сообщению уважаемого бюро погоды, всего лишь десять — пятнадцать градусов ниже нуля.

Катки закрыты, дети сидят по домам, но жизнь идет — доделывается метро, театры полны (лучше замерзнуть, чем пропустить спектакль), милиционеры не расстаются со своими бальными перчатками, и в самый лютый холод самолеты минута в минуту вылетели в очередные рейсы.

1935

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

В курительной комнате Художественного театра во время антракта встретились два человека. Сначала они издали посматривали один на другого, что-то соображая, потом один из них описал большую циркуляцию, чтобы посмотреть на второго сбоку, и, наконец, оба они бросились друг к другу, издавая беспорядочные восклицания, из которых самым оригинальным было: «Сколько лет, сколько зим!»

Минуты три ушло на обсуждение вопроса о том, какое количество воды утекло за пятнадцать лет, и на всякие там: «да, брат», «такие-то дела, брат», «а ты, брат, постарел», «да и ты, брат...»

Затем завязался разговор.

— Ты, значит, по военной линии пошел?

— Да, я уж давно.

— В центре?

— Нет, только сегодня с Дальнего Востока.

— Ну, как там японцы? Хотят воевать?

— Есть у них такая установочка.

— Так, так! Что-то знаков у тебя на петлицах маловато. Эти как называются?

— Шпалы.

— Три шпалы! Ага! А ромбов нет?

— Ромбов нет.

— Какой же это чин — три шпалы?

— Командир полка.

— Не густо, старик.

— Почему не густо? Командовать полком в Красной Армии — почетное дело. Полк — это крупное подразделение. Сколько учиться пришлось! Помнишь, мы с тобой даже арифметики не знали! Я все эти пятнадцать лет учился. После военной школы командовал взводом, потом ротой. Командиром батальона пошел в школу «Выстрел». Теперь командую полком. Очень сложно. В прошлом году был еще на курсах моторизации и механизации. И сейчас учусь.

— А ромбов все-таки нет?

— Ромбов нет. Ну, а ты по какой линии, Костя?

— Я, Леня, по другой линии.

— Но все-таки?

— Я, Леня, ответственный работник.

— Вот как! По какой же линии?

— Ответственный работник.

— Ну вот я и спрашиваю — по какой линии?

— Да я тебе и отвечаю — ответственный работник.

— Работник чего?

— Что чего?

— Ну, спрашиваю, какая у тебя специальность?

— При чем тут специальность! Честное слово, как с глухонемым разговариваешь. Я, голубчик, глава целого учреждения. Если по-военному считать, то это ромба два-три, не меньше.

— А какого учреждения?

— Директор строительного треста.

— Это здорово. Ты что, архитектор теперь? Учился в Академии искусств?

— Учился? Это когда же? А работать кто будет? У меня нет времени «Правду» почитать, не то что учиться. Очень хорошо, конечно, учиться, об этом и Сталин говорил. Только если бы все стали учиться, кто бы дело делал? Ну, идем в зал, мы тут последние остались.

Разговор возобновился в следующем антракте.

— Значит, ты учился, учился, а ромбов все-таки нет?

— Ромбов нет. Но вот скажи мне, Костя, следующее: раз ты не архитектор, то у тебя, вероятно, практический опыт большой?

— Огромный опыт.

— И скажем, если тебе приносят чертеж какого-нибудь здания, ты его свободно читаешь, конечно? Можешь проверить расчеты и так далее?

— Зачем? У меня для этого есть архитекторы. Что ж, я их даром в штате буду держать? Если я по целым дням буду в чертежах копаться, то кто будет дело делать?

— Значит, ты на себя взял финансовую сторону?

— Какая финансовая сторона? Чего вдруг я буду загружать себя всякой мелочью? На это есть экономисты, бухгалтерия. Там, брат, калькулируют день и ночь. Я даже одного профессора держу.

— А вдруг тебе твои калькуляторы подсунут какую-нибудь чепуху?

— Кто мне подсунет?

— Возьмут и подсунут! Ты же не специалист.

— А чутье?

— Какое чутье?

— Что ты дурачком прикидываешься? Обыкновенно — какое. Я без всякой науки все насквозь вижу.

— Чем же ты занимаешься в своем учреждении? Строительными материалами, что ли? Это отрасль довольно интересная.

— Да ни черта я не понимаю в твоих строительных материалах!

— Позволь, ты говорил, что у тебя громадный опыт?

— Колоссальный. Ведь я на моей теперешней работе только полгода. А до этого я был в Краймолоке...

— Так бы сразу и сказал, что ты знаток молочного хозяйства.

— Да, уж свиньи с коровой не спутаю. Значит, в Краймолоке три месяца, а до молока в Утильсырье, а до этого заведовал музыкальным техникумом, был на профработе, служил в Красном Кресте и Полумесяце, руководил изыскательной партией по олову, заворачивал, брат, целым банком в течение двух месяцев, был в Курупре, в отделении Вукопспилки и в Меланжевом комбинате. И еще по крайней мере на десяти постах. Сейчас просто всего не вспомню.

Командир полка немножко смутился.

— Не понимаю, какая у тебя все-таки основная профессия?

— Неужели непонятно? Осуществляю общее руководство.

— Да, да, общее руководство, это я понимаю. Но вот профессия... как тебе объяснить... ну вот пятнадцать лет назад, помнишь, я был слесаренком, а ты электромонтерничал... Так вот, какая теперь у тебя профессия?

— Чудак, я же с самого начала говорил. Ответственный работник. Вот Саша Зайцев учился, учился, а я его за это время обскакал. Да и большинство учится, а я ничего, обхожусь, даже карьерку сделал.

— Есть,— сказал командир.— Теперь понятно. Карьерку!

— Да,— зашептал вдруг глава треста, таинственно оглядываясь,— у меня новость. То есть, собственно, новости еще нет, но, может быть, будет. Понимаешь, я, кажется, вовремя попал на новую службу. На днях исполняется десятилетие нашего треста, и, говорят, будут награждать. Не может быть, чтоб всех наградили, а директора не наградили. Как ты думаешь, Леня?

— Пора, кажется, в зал,— нетерпеливо сказал командир.

— Вот ты военный,— продолжал Костя,— а ордена не имеешь. Это нехорошо.

— У меня есть.

— Да ну! Откуда?

— Да так. Участвовал в одном деле. В китайском конфликте.

— Там давали? — засуетился Костя.

— Там стреляли,— сухо ответил командир.

— Что же ты его не носишь?

— Ну чего ради я его в театр понесу?

— С ума ты сошел! А куда же? Именно в театр, чтобы все видели! Эх ты, вояка! Где ты его держишь?

— В коробочке.

— Действительно, нашел место! Ну, ладно, четвертое действие можно не смотреть, неинтересно. Сей-

час едем ко мне. У меня, брат, жена — красавица, есть на что посмотреть. Закусим, то да се, граммофончик заведем.

— Что ж, интересно будет посмотреть.

— Идем, идем, у меня, брат, дома полный комплект.

И верно, дома у него оказался большой комплект, так сказать, полный набор игрушек для пожилого ребеночка лет тридцати пяти: патефон с польским танго, радио с динамиком, фотоаппарат «Лейка» с пятью объективами, шестью штативами и двумя увеличителями. Жены еще не было.

— Замечательный у тебя фотоаппарат,— сказал командир.— Ты, наверно, прекрасные снимки делаешь.

— Да нет,— ответил Костя, возясь у буфета,— какой я фотограф! И времени нет, сказать правду, этим заниматься.

— Жалко, жалко. Ну, включай радио. Кажется, это ЭКЛ-4? Он, должно быть, весь мир принимает! Интересно послушать.

Костя сунул вилку в штепсель и повернул какую-то ручку. Раздалось тошнотворное мяуканье. Костя живо выключил радио.

— Я, знаешь ты, не специалист этого дела. Тут к нам мальчик один приходит из соседней квартиры, Вова. Восемь лет шарлатану, а все станции отлично ловит. И Копенгаген, и Маменгаген, и что ты только хочешь.

— Что ж,— со вздохом сказал командир,— заведи хоть граммофон.

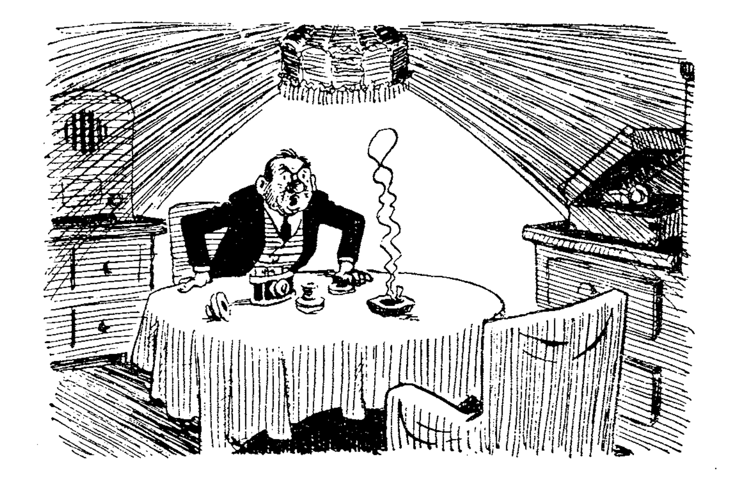
— Может, жену подождем? Она у меня специалистка по граммофонным делам. Впрочем, можно и завести.

Ответственный Костя принялся за граммофон.

— Да, брат,— говорил он, задумчиво крутя ручку,— все есть: квартира, радио, «Лейка», жена-красавица, только вот ордена нет. Вот бы мне еще ордено...

Тут раздался короткий, леденящий душу треск.

— Так и есть,— удивился Костя,— лопнула пружина. Говорил я: подождем жену... Жалко. Хороший такой граммофончик был. Не то импортный, не то



экспортный. Что ж теперь нам делать? Закусим, что ли?

И, потирая руки, он двинулся к столу. В это же самое время неожиданно погасло электричество.

— Что за черт! — раздался в темноте Костин голос.— Будем теперь сидеть без света.

— Почему же без света? — раздраженно сказал командир.— Простое дело — перегорела пробка. Возьми и почини. Был же ты когда-то электромонтером.

— Куда там! Я уже все перезабыл. Где там анод, где там катод. Нет, придется послать за специалистом.

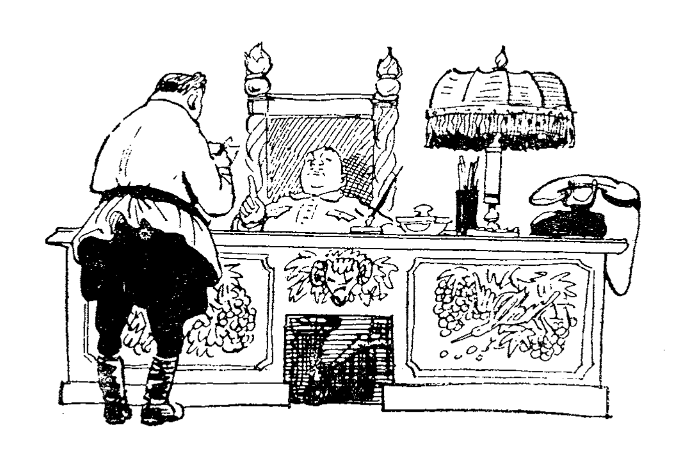
Он еще долго кряхтел в темноте.

Когда свет зажегся, командира уже не было.

1935

ШИРОКИЙ РАЗМАХ

За громадным письменным столом, на дубовых боках которого были вырезаны бекасы и виноградные гроздья, сидел глава учреждения Семен Семенович. Перед ним стоял завхоз в кавалерийских галифе с



желтыми леями. Завхозы почему-то любят облекать свои гражданские телеса в полувоенные одежды, как будто бы деятельность их заключается не в мирном пересчитывании электрических лампочек и прибивании

медных инвентарных номерков к шкафам и стульям, а в беспрерывной джигитовке и рубке лозы.

— Значит, так, товарищ Кошачий,— с увлечением говорил Семен Семенович,— возьмите семги, а еще лучше лососины, ну там ветчины, колбасы, сыру, каких-нибудь консервов подороже.

— Шпроты?

— Вот вы всегда так, товарищ Кошачий. Шпроты! Может, еще кабачки фаршированные или свинобобы? Резинокомбинат на своем последнем банкете выставил консервы из налимьей печенки, а вы — шпроты! Не шпроты, а крабы. Пишите. Двадцать коробок крабов.

Завхоз хотел было возразить и даже открыл рот, но ничего не сказал и принялся записывать.

— Крабы,— повторил Семен Семенович,— и пять кило зернистой икры.

— Не много ли? В прошлый раз три кило брали, и вполне хватило.

— По-вашему, хватило, а... по-моему, не хватило. Я следил.

— Сорок рублей кило,— грустно молвил завхоз.

— Ну, и что же из этого вытекает?

— Вытекает, что одна икра станет нам двести рублей.

— Я давно вам хотел сказать, что у вас, товарищ Кошачий, нет размаха. Банкет так банкет. Закуска, горячее, даже два горячих, пломбир, фрукты.

— Зачем же такой масштаб? — пробормотал Кошачий.— Конечно, я не спорю, мы выполнили месячную программу. И очень хорошо. Можно поставить чаю, пива, бутербродов с красной икрой. Чем плохо? И, кроме того, на прошлой неделе был банкет по поводу пятидесятилетия управделами.

— Я все-таки вас не понимаю, товарищ Кошачий. Извините, но вы какой-то болезненно скупой человек. Что у нас — бакалейная лавочка? Что мы, частники?

Завхоз потупился, сраженный аргументами.

— И потом,— продолжал Семен Семенович,— купите вы наконец приличный сервиз, а то вы подаете

уже черт знает на чем. Какие-то разнокалиберные тарелки, рюмки разных размеров. В последний раз вино пили из чашек. Понимаете, что это такое?

— Понимаю.

— А раз понимаете, то пойдите в комиссионный магазин и купите все, что нужно. Нельзя же так.

— Дорого очень в комиссионном, Семен Семенович. Ведь у нас определенный бюджет.

— Я лучше вашего знаю про бюджет. Мы не воры, не растратчики и себе домой эту лососину в рукаве не таскаем. Но зачем нам прибедняться? Наши предприятия убытков не приносят. И если мы устраиваем товарищеский ужин, то пусть будет ужин настоящий. Надо нанять джаз, пригласить артистов, а не эту тамбовскую капеллу, как она там называется...

— Ансамбль лиристов,— хрипло сказал завхоз.

— Да, да, не надо больше этих балалаечников. Пригласите хорошего певца, пусть нам споет что-нибудь. «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни».

— Так ведь такой артист,— со слезами в голосе сказал Кошачий,— с нас три шкуры снимет.

— Ну какой вы, честное слово, человек! С вас он снимет эти три шкуры? И потом не три, а две. И для нашего миллионного бюджета это не играет никакой роли.

— Такси для артиста придется нанимать,— тоскливо прошептал завхоз.

Семен Семенович внимательно посмотрел на собеседника и проникновенно сказал:

— Простите меня, товарищ Кошачий, но вы просто сквалыжник. Самый обыкновенный скупердяй. Такой, извините меня, обобщенный тип даже описан в литературе. Вы — Плюшкин! Гарпагон! Да, да, и, пожалуйста, не возражайте. У вас тяжелая привычка всегда возражать. Вы Плюшкин, и все. Вот и мой заместитель жаловался на вашу бессмысленную мещанскую скупость. Вы до сих пор не можете купить для его кабинета порядочной мебели.

— У него хорошая мебель,— мрачно сказал Кошачий.— Все, что надо для работы: стульев шведских —

шесть, столов письменных — один, еще один стол — малый, графин, бронзовая пепельница с собакой, красивый новый клеенчатый диван.

— Клеенчатый! — застонал Семен Семенович.— Завтра же купите ему кожаную мебель. Слышите? Пойдите в комиссионный.

— Кожаный, Семен Семенович, пятнадцать тысяч стоит.

— Опять эти деньги. Просто противно слушать. Что мы, нищие? Надо жить широко, товарищ Кошачий, надо, товарищ Кошачий, иметь социалистический размах. Поняли?

Завхоз спрятал в карман рулетку, которую вертел в руках, и, шурша кожаными леями, вышел из кабинета.

Вечером, сидя за чаем, Семен Семенович со скучающим видом слушал жену, которая что-то записывала на бумажке и радостно говорила:

— Будет очень хорошо и дешево. Четыре бутылки вина, литр водки, две коробочки анчоусов, триста граммов лососины и ветчина. Потом я сделаю весенний салат со свежими огурцами и сварю кило сосисок.

— Здравствуйте.

— Ты, кажется, что-то сказал?

— Я сказал: здравствуйте.

— Тебе что-нибудь не нравится? — забеспокоилась жена.

— Да, кое-что,— сухо ответил Семен Семенович.— Мне, например, не нравится, что каждый огурец стоит один рубль пятнадцать копеек.

— Но ведь на весь салат пойдет два огурчика.

— Да, да, огурчики, лососина, анчоусы. Ты знаешь, во сколько все это станет?

— Я тебя не понимаю, Семен. Мои именины, придут гости, мы уже два года ничего не устраивали, а сами постоянно у всех бываем, просто неудобно.

— Почему неудобно?

— Неудобно, потому что невежливо.

— Ну, ладно,— сказал Семен Семенович томно.—

Дай сюда список. Так вот, все это мы вычеркиваем. Остается... собственно, ничего не остается. А купи ты, Катя, вот что. Купи ты, Катя, бутылку водки и сто пятьдесят граммов сельдей. И все.

— Нет, Семен, так невозможно.

— Вполне возможно. Каждый тебе скажет, что селедка — это классическая закуска. Даже в литературе об этом где-то есть, я читал.

— Семен, это будет скандал.

— Хорошо, хорошо, в таком случае приобрети еще коробку шпрот. Только не бери ленинградских шпрот, а требуй тульских. Они хотя и дешевле, но значительно питательнее.

— Можно подумать, что мы нищие! — закричала жена.

— Мы должны строить свою жизнь на основах строжайшей экономии и рационального использования каждой копейки,— степенно ответил Семен Семенович.

— Ты получаешь тысячу рублей в месяц. К чему нам прибедняться?

— Катя, я не вор и не растратчик и не обязан кормить на свои трудовые деньги банду жадных знакомых.

— Тьфу!

— Я оставляю твой выпад без внимания. У меня есть бюджет, и я не имею права выходить за его рамки. Понимаешь, не имею права!

— И в кого он такой сквалыга уродился? — сказала жена, обращаясь к стене.

— Ругай меня, ругай,— сказал Семен Семенович,— но предупреждаю, что финансовую дисциплину я буду проводить неуклонно, что бы ты там ни говорила.

— Говорю и буду говорить! — закричала жена.— Коля уже месяц ходит в рваных ботинках.

— При чем тут Коля?

— При том тут Коля, что он наш сын.

— Ладно, ладно, не кричи! Купим этому пирату ботинки. С течением времени. Ну, что там еще надо? Говори уж скорее. Может быть, рояль надо купить, арфу?

— Арфу не надо, а табуретку на кухню надо.

— Табуретку! — завизжал Семен Семенович.— Зачем табуретку? Чего уж там! Купим для кухни сразу кожаную мебель! Всего только пятнадцать тысяч. Нет, Катенька, я наведу в доме порядок.

И он долго еще объяснял жене, что пора уже покончить с бессмысленными тратами, пирами и тому подобным безудержным разбрасыванием и разбазариванием социалистической копейки.

Спал он спокойно.

1935

ЛЕНТЯЙ

Ровно в девять часов утра небольшая комната сектора планирования наполнилась сотрудниками. Прогремел железный футляр, который сняли с ундервуда и поставили на подоконник, захлопали ящики письменных столов, и рабочий день начался.

Последним явился Яков Иванович Дубинин.

— Салют! — сказал он жизнерадостно.— Здравствуйте, Федор Николаевич, здравствуйте, Людмила Филипповна. Остальным — общий привет.

Но, повернувшись к своему столу и увидев на нем большую кучу деловых папок, он сразу увял.

Некоторое время он сидел, тупо глядя на бумаги, потом встрепенулся и развернул «Правду».

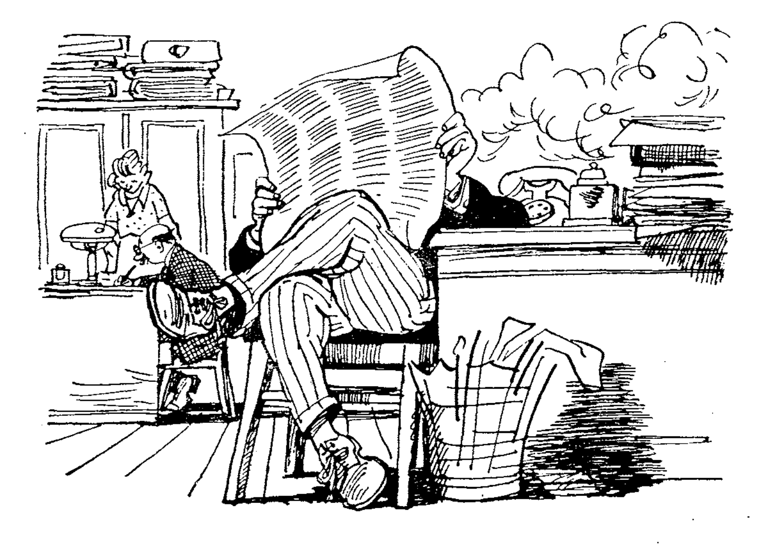
— Ого! — сказал он минут через десять.— Немцы-то, а? «Эр нувель» пишет...

Сектор безмолвствовал.

Дубинин, конечно, понимал, что надо бы заняться планированием, но какая-то неодолимая сила заставила его перевернуть страницу и углубиться в чтение большой медицинской статьи.

— Товарищи,— внезапно воскликнул он, высоко подымая брови,— вы только смотрите, что делается! Вы читали сегодняшнюю «Правду»?

Трудолюбивые сотрудники подняли на него затуманенные глаза, а Людмила Филипповна на минуту даже перестала печатать.



— Можно будет рожать без боли! Здорово, а?

Он так взволновался, как будто бы сам неоднократно рожал и испытывал при этом ужасные страдания.

Машинка снова застучала, а Яков Иванович принялся читать дальше. Он добросовестно прочитывал все по порядку, не пропуская ни одного столбца и бормоча:

— А сев ничего. Сеют, сеют, засевают. Что-то в этом году в грязь не сеют? А может, сеют, но не пишут? Ну-с, пойдем дальше. Ого! Опять хулиганы! Я бы с ними не стеснялся, честное слово! Профессор Пикар приехал в Варшаву. Я бы лично никогда не полетел в стратосферу. Хоть вы меня озолотите... Ну-с, в Большом театре сегодня «Садко», билеты со штампом «Град Китеж» действительны на двадцать восьмое. Дальше что? Концерт Беаты Малкин... Вечер сатиры и юмора при участии лучших сил... Партколлегия вызывает в комнату № 598 товарища Никитина... Так, так... Телефоны редакции... Уполномоченный Главлита 22 624...

Дубинин озабоченно посмотрел на часы: было всего только одиннадцать.

— Да, а «Известия» где? — деловито закричал он.— Дайте мне «Известия». Федор Николаевич, где «Известия»? Вечно эта проклятая курьерша куда-то их засовывает.

— Сегодня «Известий» нет,— сухо ответил Федор Николаевич.

— Как нет?

— После выходного «Известий» никогда не бывает.

Яков Иванович даже изменился в лице, когда понял, что читать больше нечего. В тоске он захрустел пальцами и четверть часа сидел, не будучи в силах пошевелиться. Потом собрался с духом и стал изготовлять картонный переплетик для своего паспорта. Он долго и старательно что-то резал, клеил и, высунув язык, выводил надпись: «Я. И. Дубинин».

К часу дня грандиозный труд был закончен. Приближалась роковая минута, когда придется все-таки заняться планированием. Яков Иванович отвернулся от письменного стола брезгливо, как кот, которому пьяный шутник сует в нос дымящуюся папиросу. Он даже фыркнул от отвращения.

За окном шумели голые весенние ветки.

— Сегодня солнечно, но ветрено,— сообщил Яков Иванович, набиваясь на разговор.

— Не мешайте работать,— ответила Людмила Филипповна.

— Я, кажется, всем здесь мешаю,— обидчиво сказал Дубинин.— Что ж, я могу уйти.

И он ушел в уборную, где сидел сорок минут, думая о нетоварищеском, нечутком отношении к нему сотрудников сектора планирования, о профессоре Пикаре и о том, что билеты на «Град Китеж» действительны на двадцать восьмое.

«Вот черт,— думал он,— ходят же люди по театрам. Времени у них сколько угодно, вот они и шляются».

В свой сектор Дубинин вернулся томный, обиженный.

— К вам посетитель приходил,— сказала Людмила Филипповна.— Относительно запланирования стеклянной тары. Он ждет в коридоре.

— Знаю без вас,— сурово сказал Яков Иванович.— Сейчас я с ним все вырешу. Уж, извините за выражение, человеку в уборную сходить нельзя.

Но в эту минуту его позвали к начальнику.

— Слушайте, товарищ Дубинин,— сердито сказал начальник.— Оказывается, вы сегодня опять опоздали на десять минут к началу служебных занятий. Это что ж получается? Не планирование, а фланирование. Вы понимаете, что такое десять минут, украденные у государства? Я вынужден объявить вам выговор в приказе. Я вас не задерживаю больше, товарищ Дубинин. Можете идти.

«Не задерживаю»,— горько думал Яков Иванович, медленно идя по коридору.— «Фланирование»! Скажите пожалуйста, какой юморист. Тут работаешь как зверь, а он... бюрократ паршивый! Городовой в пиджаке!»

— Нет, я этого так не оставлю,— кричал он в отделе, заглушая шум машинки.— Да, я опоздал на десять минут. Действительно, на десять минут я опоздал. Ну и что? Разве это дает ему право обращаться со мной, как со скотом? «Я вас не задерживаю!..» Еще бы он меня задержал, нахал. «Можете идти!» Что это за тон? Да, и пойду! И буду жаловаться!

Он хватал сотрудников за руки, садился на их столы и беспрерывно курил. Потом сел на свое место и принялся сочинять объяснительную записку.

«Объяснительная записка»,— вывел он посредине листа.

Он сбегал в соседний сектор, принес оттуда красных чернил и провел под фиолетовым заглавием красивую красную черту.

— Товарищ Дубинин,— сказал тихий Федор Николаевич,— готовы у вас плановые наметки по Южному заводу?

— Не мешайте работать! — заревел Яков Иванович.— Человека оскорбили, втоптали в грязь! Что ж,

ему уже и оправдаться нельзя, у него уже отнимают последнее право, право апелляций?

Федор Николаевич испуганно нагнул голову и притаился за своим столом.

— Я им покажу! — ворчал Дубинин, приступая к созданию объяснительной записки.

«25-го сего месяца я был вызван в кабинет товарища Пытлясинского, где подвергся неслыханному...»

Он писал с громадным жаром, разбрызгивая чернила по столу. Он указывал на свои заслуги в области планирования. Да, именно планирования, а не фланирования.

«Конечно, острить может всякий, но обратимся к непреложным фактам. Инкриминируемое мне опоздание на десять минут, вызванное трамвайной пробкой на площади имени Свердлова...»

— Пришел товарищ Дубинин? — раздался голос.— Я, собственно говоря, поджидаю его уже два часа.

— Что? — сказал Дубинин, обратив к посетителю страдающий взгляд.

— Я, товарищ, по поводу стеклянной тары.

— Вы что, слепой? — сказал Яков Иванович гнетущим шепотом.— Не видите, что человек занят? Я пишу важнейшую докладную записку, а вы претесь со своей стеклянной тарой. Нет у людей совести и чувства меры, нет, честное слово, нет!

Он отвернулся от посетителя и продолжал писать:

«Десятиминутное опоздание, вызванное, как я уже докладывал, образовавшейся на площади имени Свердлова пробкой, не могло по существу явиться сколько-нибудь уважительной причиной для хулиганского выступления тов. Пытлясинского и иже с ним...»

В половине пятого Дубинин поднялся из-за стола.

— Так и есть,— сказал он.— Полчаса лишних просидел в этом проклятом, высасывающем всю кровь учреждении. Работаешь как дикий зверь, и никто тебе спасибо не скажет.

Объяснительную записку он решил дописать и окончательно отредактировать на другой день.

1935

ИНТРИГИ

С товарищем Бабашкиным, освобожденным секретарем месткома, стряслась великая беда.

Десять лет подряд членская масса выбирала Бабашкина освобожденным секретарем месткома, а сейчас, на одиннадцатый год, не выбрала, не захотела.

Черт его знает, как это случилось! Просто непонятно.

Поначалу все шло хорошо. Председатель докладывал о деятельности месткома, членская масса ему внимала, сам Бабашкин помещался в президиуме и моргал белыми ресницами. В зале стоял привычный запах эвакопункта, свойственный профсоюзным помещениям. (Такой запах сохранился еще только в залах ожидания на отсталых станциях, а больше нигде уже нет этого портяночно-карболового аромата.)

Иногда Бабашкин для виду водил карандашом по бумаге, якобы записывая внеочередные мысли, пришедшие ему на ум в связи с речью председателя. Два раза он громко сказал: «Правильно». Первый раз, когда речь коснулась необходимости активной борьбы с недостаточной посещаемостью общих собраний, и второй раз, когда председатель заговорил об усилении работы по внедрению профзнаний. Никто в зале не знал, что такое профзнания, не знал и сам Бабашкин, но ни у кого не хватило гражданского мужества

прямо и откровенно спросить, что означает это слово. В общем, все шло просто чудесно.

На Бабашкине были яловые сапоги с хромовыми головками и военная гимнастерка. Полувоенную форму он признавал единственно достойной освобожденного члена месткома, хотя никогда не участвовал в войнах.

— А теперь приступим к выборам,— сказал председатель, делая ударение на последнем слоге.

Профсоюзный язык — это совершенно особый язык. Профработники говорят: вы́бора́, договора́, средства́, про́цент, по́ртфель, ква́ртал, до́ставка, до́быча.

Есть еще одна особенность у профработника. Начиная свою речь, он обязательно скажет: «Я, товарищи, короте́нько», а потом говорит два часа. И согнать с трибуны его уже невозможно.

Приступили к выборам.

Обычно председатель зачитывал список кандидатов. Бабашкин вставал и говорил, что «имеется предложение голосовать в целом»; членская масса кричала: «Правильно, давай в целом, чего там!»; председатель говорил: «Позвольте считать эти аплодисменты...»; собрание охотно позволяло; все радостно бежали по домам, а для Бабашкина начинался новый трудовой год освобожденного секретарства. Он постоянно заседал, куда-то кооптировался, сам кого-то кооптировал, иногда против него плели интриги другие освобожденные члены, иногда он сам плел интриги. Это была чудная кипучая жизнь.

А тут вдруг начался кавардак.

Прежде всего собрание отказалось голосовать список в целом.

— Как же вы отказываетесь,— сказал Бабашкин, демагогически усмехаясь,— когда имеется предложение? Тем более что по отдельности голосовать надо два часа, а в целом — пять минут, и можно идти домой.

Однако членская масса с каким-то ребяческим упрямством настояла на своем.

Бабашкину было ужасно неудобно голосоваться отдельно. Он чувствовал себя как голый. А тут еще

какая-то молодая, член союза, позволила себе резкий, наглый, безответственный выпад, заявив, что Бабашкин недостаточно проводил работу среди женщин и проявлял нечуткое отношение к разным вопросам.

Дальше начался кошмарный сон.

Бабашкина поставили на голосование и не выбрали.

Еще некоторое время ему представлялось, что все это не всерьез, что сейчас встанет председатель и скажет, что он пошутил, и собрание с приветливой улыбкой снова изберет Бабашкина в освобожденные секретари.

Но этого не произошло.

Жена была настолько уверена в непреложном ходе событий, что даже не спросила Бабашкина о результатах голосования. И вообще в семье Бабашкиных слова «выборы, голосование, кандидатура» хотя и часто произносились, но никогда не употреблялись в их прямом смысле, а служили как бы добавлением к по́ртфелю и ква́рталу.

Утром Бабашкин побежал в областной профсовет жаловаться на интриги, он ходил по коридорам, всех останавливал и говорил: «Меня не выбрали»,— говорил таким тоном, каким обычно говорят: «Меня обокрали». Но никто его не слушал. Члены совета сами ждали выборо́в и со страхом гадали о том, какой про́цент из них уцелеет на своих постах. Председатель тоже был в ужасном настроении, громко, невпопад говорил о демократии и при этом быстро и нервно чесал спину металлической бухгалтерской линейкой.

Бабашкин ушел, шатаясь.

Дома состоялся серьезный разговор с женой.

— Кто же будет тебе выплачивать жалованье? — спросила она с присущей женщинам быстротой сообразжения.

— Придется переходить на другую работу,— ответил Бабашкин.— Опыт у меня большой, стаж у меня тоже большой, меня всюду возьмут в освобожденные члены.

— Как же возьмут, когда надо, чтоб выбрали?

— Ничего, с моей профессией я не пропаду.

— С какой профессией?

— Что ты глупости говоришь! Я профработник. Старый профработник. Ей-богу, даже смешно слушать.

Жена некоторое время внимательно смотрела на Бабашкина и потом сказала:

— Твое счастье, что я умею печатать на машинке.

Это была умная женщина.

Вечером она прибежала домой, взволнованная и счастливая.

— Ну, Митя,— сказала она,— я все устроила. Только что я говорила с соседским управдомом, как раз им нужен дворник. И хорошие условия. Семьдесят пять рублей в месяц, новые метлы и две пары рукавиц в год. Пойдешь туда завтра наниматься. А сегодня вечером Герасим тебя выучит подметать. Я уже с ним сговорилась за три рубля.

Бабашкин молча сидел, глядя на полку, где стояло толстое синее с золотом Собрание сочинений Маркса, которое он в суматохе профсоюзной жизни так и не успел раскрыть, и бормотал:

— Это интриги! Факт! Я этого так не оставлю.

1935

КОЛУМБ ПРИЧАЛИВАЕТ К БЕРЕГУ

— Земля, земля! — радостно закричал матрос, сидевший на верхушке мачты.

Тяжелый, полный тревог и сомнений путь Христофора Колумба был окончен. Впереди виднелась земля. Колумб дрожащими руками схватил подзорную трубу.

— Я вижу большую горную цепь,— сказал он товарищам по плаванию.— Но вот странно: там прорублены окна. Первый раз вижу горы с окнами.

— Пирога с туземцами! — раздался крик.

Размахивая шляпами со страусовыми перьями и волоча за собой длинные плащи, открыватели новых земель бросились к подветренному борту.

Два туземца в странных зеленых одеждах поднялись на корабль и молча сунули Колумбу большой лист бумаги.

— Я хочу открыть вашу землю,— гордо сказал Колумб.— Именем испанской королевы Изабеллы объявляю эти земли принадлежа...

— Все равно. Сначала заполните анкету,— устало сказал туземец.— Напишите свое имя и фамилию печатными буквами, потом национальность, семейное положение, сообщите, нет ли у вас трахомы, не собираетесь ли свергнуть американское правительство, а также не идиот ли вы.



Колумб схватился за шпагу. Но так как он не был идиотом, то сразу успокоился.

— Нельзя раздражать туземцев,— сказал он спутникам.— Туземцы как дети. У них иногда бывают очень странные обычаи. Я это знаю по опыту.

— У вас есть обратный билет и пятьсот долларов? — продолжал туземец.

— А что такое доллар? — с недоумением спросил великий мореплаватель.

— Как же вы только что указали в анкете, что вы не идиот, если не знаете, что такое доллар? Что вы хотите здесь делать?

— Хочу открыть Америку.

— А публисити у вас будет?

— Публисити? В первый раз слышу такое слово.

Туземец долго смотрел на Колумба проникновенным взглядом и наконец сказал:

— Вы не знаете, что такое публисити?

— Н-нет.

— И вы собираетесь открыть Америку? Я не хотел бы быть на вашем месте, мистер Колумб.

— Как? Вы считаете, что мне не удастся открыть эту богатую и плодородную страну? — забеспокоился великий генуэзец.

Но туземец уже удалялся, бормоча себе под нос:

— Без публисити нет просперити.

В это время каравеллы уже входили в гавань. Осень в этих широтах была прекрасная. Светило солнце, и чайка кружилась за кормой. Глубоко взволнованный, Колумб вступил на новую землю, держа в одной руке скромный пакетик с бусами, которые он собирался выгодно сменять на золото и слоновую кость, а в другой — громадный испанский флаг. Но куда бы он ни посмотрел, нигде не было видно земли, почвы, травы, деревьев, к которым он привык в старой, спокойной Европе. Всюду были камень, асфальт, бетон, сталь.

Огромная толпа туземцев неслась мимо него с карандашами, записными книжками и фотоаппаратами в руках. Они окружали сошедшего с соседнего корабля знаменитого борца, джентльмена с расплющенными ушами и неимоверно толстой шеей. На Колумба никто не обращал внимания. Подошли только две туземки с раскрашенными лицами.

— Что это за чудак с флагом? — спросила одна из них.

— Это, наверно, реклама испанского ресторана,— сказала другая.

И они тоже побежали смотреть на знаменитого джентльмена с расплющенными ушами.

Водрузить флаг на американской почве Колумбу не удалось. Для этого ее пришлось бы предварительно бурить пневматическим сверлом. Он до тех пор ковырял мостовую своей шпагой, пока ее не сломал. Так и пришлось идти по улицам с тяжелым флагом, расшитым золотом. К счастью, уже не надо было нести бусы. Их отобрали на таможне за неуплату пошлины.

Сотни тысяч туземцев мчались по своим делам, ныряли под землю, пили, ели, торговали, даже не подозревая о том, что они открыты.

Колумб с горечью подумал: «Вот. Старался, добывал деньги на экспедицию, переплывал бурный океан, рисковал жизнью — и никто не обращает внимания».

Он подошел к туземцу с добрым лицом и гордо сказал:

— Я Христофор Колумб.

— Как вы говорите?

— Христофор Колумб.

— Скажите по буквам,— нетерпеливо молвил туземец.

Колумб сказал по буквам.

— Что-то припоминаю,— ответил туземец.— Торговля портативными механическими изделиями?

— Я открыл Америку,— неторопливо сказал Колумб.

— Что вы говорите! Давно?

— Только что. Какие-нибудь пять минут тому назад.

— Это очень интересно. Так что же вы, собственно, хотите, мистер Колумб?

— Я думаю,— скромно сказал великий мореплаватель,— что имею право на некоторую известность.

— А вас кто-нибудь встречал на берегу?

— Меня никто не встречал. Ведь туземцы не знали, что я собираюсь их открыть.

— Надо было дать кабель. Кто же так поступает? Если вы собираетесь открывать новую землю, надо вперед послать телеграмму, приготовить несколько веселых шуток в письменной форме, чтобы раздать репортерам, приготовить сотню фотографий. А так у вас ничего не выйдет. Нужно публисити.

— Я уже второй раз слышу это странное слово — публисити. Что это такое? Какой-нибудь религиозный обряд, языческое жертвоприношение?

Туземец с сожалением посмотрел на пришельца.

— Не будьте ребенком,— сказал он.— Публисити — это публисити, мистер Колумб. Я постараюсь что-нибудь для вас сделать. Мне вас жалко.

Он отвел Колумба в гостиницу и поселил его на тридцать пятом этаже. Потом оставил его одного в

номере, заявив, что постарается что-нибудь для него сделать.

Через полчаса дверь отворилась, и в комнату вошел добрый туземец в сопровождении еще двух туземцев. Один из них что-то беспрерывно жевал, а другой расставил треножник, укрепил на нем фотографический аппарат и сказал:

— Улыбнитесь! Смейтесь! Ну! Не понимаете? Ну, сделайте так: «Га-га-га!» — и фотограф с деловым видом оскалил зубы и заржал, как конь.

Нервы Христофора Колумба не выдержали, и он засмеялся истерическим смехом. Блеснула вспышка, щелкнул аппарат, и фотограф сказал: «Спасибо».

Тут за Колумба взялся другой туземец. Не переставая жевать, он вынул карандаш и сказал:

— Как ваша фамилия?

— Колумб.

— Скажите по буквам. Ка, О, Эл, У, Эм, Бэ? Очень хорошо, главное — не перепутать фамилии. Как давно вы открыли Америку, мистер Колман? Сегодня? Очень хорошо. Как вам понравилась Америка?

— Видите, я еще не мог получить полного представления об этой плодородной стране.

Репортер тяжело задумался.

— Так. Тогда скажите мне, мистер Колман, какие четыре вещи вам больше всего понравились в Нью-Йорке?

— Видите ли, я затрудняюсь...

Репортер снова погрузился в тяжелые размышления: он привык интервьюировать боксеров и кинозвезд, и ему трудно было иметь дело с таким неповоротливым и туповатым типом, как Колумб. Наконец он собрался с силами и выжал из себя новый, блещущий оригинальностью вопрос:

— Тогда скажите, мистер Колумб, две вещи, которые вам не понравились.

Колумб издал ужасный вздох. Так тяжело ему еще никогда не приходилось. Он вытер пот и робко спросил своего друга-туземца:

— Может быть, можно все-таки обойтись как-нибудь без публисити?

— Вы с ума сошли,— сказал добрый туземец, бледнея.— То, что вы открыли Америку,— еще ничего не значит. Важно, чтобы Америка открыла вас.

Репортер произвел гигантскую умственную работу, в результате которой был произведен на свет экстравагантный вопрос:

— Как вам нравятся американки?

Не дожидаясь ответа, он стал что-то быстро записывать. Иногда он вынимал изо рта горящую папиросу и закладывал ее за ухо. В освободившийся рот он клал карандаш и вдохновенно смотрел на потолок. Потом снова продолжал писать. Потом он сказал «о'кей», похлопал растерявшегося Колумба по бархатной, расшитой галунами спине, потряс его руку и ушел.

— Ну, теперь все в порядке,— сказал добрый туземец,— пойдем погуляем по городу. Раз уж вы открыли страну, надо ее посмотреть. Только с этим флагом вас на Бродвей не пустят. Оставьте его в номере.

Прогулка по Бродвею закончилась посещением тридцатипятицентового бурлеска, откуда великий и застенчивый Христофор выскочил, как ошпаренный кот. Он быстро помчался по улицам, задевая прохожих полами плаща и громко читая молитвы. Пробравшись в свой номер, он сразу бросился в постель и под грохот надземной железной дороги заснул тяжелым сном.

Рано утром прибежал покровитель Колумба, радостно размахивая газетой. На восемьдесят пятой странице мореплаватель с ужасом увидел свою оскаленную физиономию. Под физиономией он прочел, что ему безумно понравились американки, что он считает их самыми элегантными женщинами в мире, что он является лучшим другом эфиопского негуса Селасси, а также собирается читать в Гарвардском университете лекции по географии.

Благородный генуэзец раскрыл было рот, чтобы поклясться в том, что он никогда этого не говорил, но тут появились новые посетители.

Они не стали терять времени на любезности и сразу приступили к делу. Публисити начало оказы-

вать свое магическое действие: Колумба пригласили в Голливуд.

— Понимаете, мистер Колумб,— втолковывали новые посетители,— мы хотим, чтобы вы играли главную роль в историческом фильме «Америго Веспуччи». Понимаете, настоящий Христофор Колумб в роли Америго Веспуччи — это может быть очень интересно. Публика на такой фильм пойдет. Вся соль в том, что диалог будет вестись на бродвейском жаргоне. Понимаете? Не понимаете? Тогда мы вам сейчас все объясним подробно. У нас есть сценарий. Сценарий сделан по роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», но это не важно, мы ввели туда элементы открытия Америки.

Колумб пошатнулся и беззвучно зашевелил губами, очевидно читая молитвы. Но туземцы из Голливуда бойко продолжали:

— Таким образом, мистер Колумб, вы играете роль Америго Веспуччи, в которого безумно влюблена испанская королева. Он в свою очередь так же безумно влюблен в русскую княгиню Гришку. Но кардинал Ришелье подкупает Васко де Гаму и при помощи леди Гамильтон добивается посылки вас в Америку. Его адский план прост и понятен. В море на вас нападают пираты. Вы сражаетесь, как лев. Сцена на триста метров. Играть вы, наверно, не умеете, но это не важно.

— Что же важно? — застонал Колумб.

— Важно публисити. Теперь вас публика уже знает, и ей будет очень интересно посмотреть, как такой почтенный и ученый человек сражается с пиратами. Кончается тем, что вы открываете Америку. Но это не важно. Главное — это бой с пиратами. Понимаете, алебарды, секиры, катапульты, греческий огонь, ятаганы,— в общем, средневекового реквизита в Голливуде хватит. Только вам надо будет побриться. Никакой бороды и усов! Публика уже видела столько бород и усов в фильмах из русской жизни, что больше не сможет этого вынести. Значит, сначала вы побреетесь, потом мы подписываем контракт на шесть недель. Согласны?

— О'кей! — сказал Колумб, дрожа всем телом.

Поздно вечером он сидел за столом и писал письмо королеве испанской:

«Я объехал много морей, но никогда еще не встречал таких оригинальных туземцев. Они совершенно не выносят тишины и, для того чтобы как можно чаще наслаждаться шумом, построили во всем городе на железных столбах особые дороги, по которым день и ночь мчатся железные кареты, производя столь любимый туземцами грохот.

Занимаются ли они людоедством, я еще не выяснил точно, но, во всяком случае, они едят горячих собак. Я своими глазами видел много съестных лавок, где призывают прохожих питаться горячими собаками и восхваляют их вкус[1].

От всех людей здесь пахнет особым благовонием, которое на туземном языке называется «бензин». Все улицы наполнены этим запахом, очень неприятным для европейского носа. Даже здешние красавицы пахнут бензином.

Мне пришлось установить, что туземцы являются язычниками: у них много богов, имена которых написаны огнем на их хижинах. Больше всего поклоняются, очевидно, богине Кока-кола, богу Драгист-сода, богине Кафетерии и великому богу бензиновых благовоний — Форду. Он тут, кажется, вроде Зевеса.

Туземцы очень прожорливы и все время что-то жуют.

К сожалению, цивилизация их еще не коснулась. По сравнению с бешеным темпом современной испанской жизни американцы чрезвычайно медлительны. Даже хождение пешком кажется им чрезмерно быстрым способом передвижения. Чтобы замедлить этот процесс, они завели огромное количество так называемых автомобилей. Теперь они передвигаются со скоростью черепахи, и это им чрезвычайно нравится.

Меня поразил один обряд, который совершается каждый вечер в местности, называемой Бродвей.

---

[1] В Америке «горячими собаками» называют обыкновенные сосиски. *(Прим. авторов.)*

Большое число туземцев собирается в большой хижине, называемой бурлеск. Несколько туземок по очереди подымаются на возвышение и под варварский грохот тамтамов и саксофонов постепенно снимают с себя одежды. Присутствующие бьют в ладоши, как дети. Когда женщина уже почти голая, а туземцы в зале накалены до последней степени, происходит самое непонятное в этом удивительном обряде: занавес почему-то опускается, и все расходятся по своим хижинам.

Я надеюсь продолжить исследование этой замечательной страны и двинуться в глубь материка. Моя жизнь находится вне опасности. Туземцы очень добры, приветливы и хорошо относятся к чужестранцам».

1936

ДОБРОДУШНЫЙ КУРЯТНИКОВ

Мы впервые увидели Василия Петровича Курятникова лет десять тому назад в редакции одной профсоюзной газеты. Он ходил из комнаты в комнату вместе с секретарем редакции, который представлял ему сотрудников.

— Пожалуйста, товарищи, познакомьтесь,— говорил секретарь.— Это наш новый редактор, товарищ Курятников.

Редактор произвел на сотрудников впечатление человека добродушного и симпатичного. На нем был новый синий костюм. Голова у редактора была круглая, короткие черные волосы блестели, как у морского льва.

Газета в то время была хорошая, популярная. И редакция работала слаженно и дружно.

Новый редактор начал с того, что заперся в своем кабинете, где стояла сделанная из фанеры огромная профсоюзная членская книжка — подарок редакции от какой-то читательской конференции, и уже не выходил оттуда. Увидеться с ним было почти невозможно. Только иногда сотрудникам удавалось поймать его в коридоре, когда он направлялся в уборную. Но в таких случаях он, естественно, спешил и на вопросы сотрудников отвечал весьма кратко.

Хорошо налаженная газета месяца два проработала автоматически, а потом стала вдруг разваливаться. Те сотрудники, которым все-таки удавалось

прорваться в кабинет Курятникова, выходили оттуда, ошеломленно пожимая плечами и бормоча:

— Худо, товарищи, худо.

— А что такое? — спрашивали товарищи.

— Просто дуб. Ничего не понимает.

Еще через месяц все в редакции твердо знали, что Курятников — глупый, бесталанный человек. Но что было делать? Идти в профсоюз жаловаться на редактора? Но ведь он ничего конкретно плохого не сделал. Жаловаться на его глупость? Это — неопределенно, расплывчато, слишком общо. У нас любят факты. А фактов не было и не могло быть, потому что Курятников ничего не делал.

Началось бегство из редакции. Постепенно стал падать тираж. Когда почти все сотрудники перекочевали в соседние органы, к более расторопным и деятельным редакторам, а тираж газеты с четырехсот тысяч упал до пятидесяти,— в профсоюзе медленно заворочались. И после целого года размышлений Курятникова сняли.

Но он не огорчился. Он сам не раз за время своего редактирования говорил, что газетная работа — это не его стихия, что она ему не нравится.

Через полгода стало известно, что Курятников управляет консервным заводом. А еще через полгода в «Правде» появилась коротенькая, но леденящая душу заметка под названием «Баклажаны товарища Курятникова». В конце заметки сообщалось, что за полное пренебрежение вопросами качества продукции управляющий заводом снят с работы. Все-таки Василий Петрович продержался год, прежде чем общественность удостоверилась в том, что консервы не были его стихией.

Некоторое время Курятников ходил в запасе, таинственный и гордый. При встречах с знакомыми он говорил, что его зовет к себе заместителем Коля Саботаев.

— Но нема дураков,— говорил Василий Петрович.— В заместители я не пойду. Подожду чего-нибудь более подходящего по моему положению.

И, представьте себе, дождался. Не прошло и двух месяцев, как Московскому комнатному театру срочно понадобился директор взамен старого, перешедшего

на другую работу. Художественный руководитель театра безумно боялся, что ему подкинут какого-нибудь серьезного и умного человека.

Ему посчастливилось: достался Курятников.

В Комнатном театре Василий Петрович продержался очень долго — два года. Конечно, должность была менее ответственная, зато спокойная. Сиди себе в кабинете среди бронзовых подсвечников да знай снимай себе трубку телефона.

— Слушаю. Нет, нет, по вопросам репертуара обратитесь, пожалуйста, к художественному руководителю, заслуженному деятелю искусств товарищу Тицианову. Нет, по вопросам контрамарок тоже не ко мне. Это вы обратитесь к главному администратору товарищу Передышкину.

Хорошая была жизнь. Вечером Василий Петрович заходил в директорскую ложу и с удовольствием смотрел на сцену. Потом вызывал машину, садился рядом с шофером и ехал домой.

И все-таки он не удержался даже на этом тихом месте. Комнатный театр и до Курятникова не блистал свежестью репертуара и гениальностью художественных замыслов, а при нем дело совсем расползлось. Пьесы шли какие-то особенно глупые, актеры перестали учить роли, даже занавес заедал и не опускался донизу, так что зрителям отлично видны были сапоги театральных рабочих, перетаскивавших декорации. Продуктивно работал только товарищ Передышкин, главный администратор. Ежевечерне он выдавал около тысячи контрамарок, так как зрители совсем перестали покупать билеты.

Изгнанный из театра Курятников на некоторое время исчез. Мы потеряли его из виду.

Однажды началась ожесточенная кампания в газетах. Мишенью этой кампании была фабрика дачно-походных кроватей, так называемых раскладушек.

Пресса открыла ужасные неполадки в раскладушечном деле. Тысячи дачников и дачниц, которые приобрели эти прохвостовы ложа, ругались очень крепкими словами. Раскладушки ломались в первую же ночь. Была назначена ревизия. Пахло судом.

— Тут не могло обойтись без Курятникова,— решили мы.— Такой развал, да притом в такие сжатые сроки, мог вызвать один только Василий Петрович.

Мы почти угадали. Курятников оказался заместителем директора фабрики. Это его спасло, хотя он был правой рукой директора именно по линии раскладушек. Он отделался только выговором и снятием с работы.

Опять он ходил в запасе, гордый и загадочный. Опять его звал к себе верный Коля Саботаев, и, на горе этого Коли, Курятников пошел к нему и в феерически короткий срок — в две шестидневки — развалил большой, недурно налаженный завод граммофонных иголок. Вместо иголок стали получаться почему-то подковные гвозди. Дело пошло своим путем — снимали, судили и так далее. Курятников пошел на другую работу.

Так и двигался по стране Василий Петрович Курятников, неторопливо переходя с места на место.

А чего с ним только не делали! Уже и перемещали, и смещали, и пытались учить. Вся беда заключалась в том, что он был хороший человек. Никогда ничего не крал, вовремя приходил на работу, вежливо обращался с посетителями. Он имел только один недостаток — был бездарен, тяжело и безнадежно глуп.

Даже после того как становится ясно, что человек не годится для места, которое занимает, он по инерции держится еще год. Вот этот год иногда обходится очень дорого.

Странный жизненный путь проходят люди, подобные Курятникову!

С первого же дня поступления на новую должность Курятниковы начинают бояться, что их снимут. Поэтому все свои силенки они направляют не на выполнение порученной им работы, а на борьбу за сохранение занятого поста. В этой затяжной борьбе они выработали тысячи уловок и хитростей. Новая Конституция ускорит движение этих «карьер сверху вниз». Дуракам некуда будет уйти. Они будут освещены, как актеры на сцене. Тут сразу станет видно, на какую роль годится человек. Подходит ли ему роль героя,

или он способен только на то, чтобы промямлить два слова и тотчас же уйти со сцены.

Вчера мы встретили в Охотном ряду Курятникова.

Он ехал в старом «газике» с дрожащим кузовом и пожелтевшим ветровым стеклом. Увидев нас, он бешено замахал портфелем.

— Ну, как твои дела, Василий Петрович? Что-то, говорят, неважно? — спросили мы.

— Да, да,— озабоченно сказал Курятников,— имеется некоторая заминка. Стали меня как-то обижать в последнее время. Не могу понять, в чем дело! Работаю так же, как всегда, не жалею сил, а отношение почему-то уже не то. Преждевременно все это, товарищи!

— Что преждевременно?

— Да все это. Между нами говоря. Ну, Конституция. Дело хорошее. Кто же возражает? Но вот тайные выборы. Почему тайные? Кому это надо? Нам с вами? Ни на черта это нам не надо! То есть я понимаю — демократия и прочее. Я ж тоже не бюрократ. Но зачем тайные? Вдруг выберут не того, кого надо? Что тогда будет? А?

— Почему же не того?

Курятников внимательно посмотрел на нас и протянул:

— Ну, ладно! Может, я совсем дураком стал! Что-то мне непонятно все это. Ну, я поехал.

— Что же ты, Василий Петрович, сейчас делаешь?

— Еще работаю. Еще приносит Курятников пользу. Недавно ушел из Планетария, не поладил там немножко с этими психопатами астрономами. А сейчас меня взял к себе Саботаев Коля. Он теперь в районе заведует пивными-американками, а я — его заместителем. Ничего, еще услышите обо мне!

Но последние слова Курятников произнес очень уж вялым голосом. Видно, он не верил в свое будущее.

1936

ФЕЛЬЕТОНЫ, СТАТЬИ, РЕЧИ

Рисунки художников

Б. ЕФИМОВА, Е. ВЕДЕРНИКОВА,

И. СЕМЕНОВА

В ЗОЛОТОМ ПЕРЕПЛЕТЕ

Когда по радио передавали «Прекрасную Елену», бархатный голос руководителя музыкальных трансляций сообщил:

— Внимание, товарищи, передаем список действующих лиц:

1. Елена — женщина, под прекрасной внешностью которой скрывается полная душевная опустошенность.

2. Менелай — под внешностью царя искусно скрывающий дряблые инстинкты мелкого собственника и крупного феодала.

3. Парис — под личиной красавца скрывающий свою шкурную сущность.

4. Агамемнон — под внешностью героя скрывающий свою трусость.

5. Три богини — глупый миф.

6. Аяксы — два брата-ренегата.

Удивительный это был список действующих лиц. Все что-то скрывали под своей внешностью.

Радиослушатели насторожились. А руководитель музыкальных трансляций продолжал:

— Музыка оперетты написана Оффенбахом, который под никому не нужной внешней мелодичностью пытается скрыть полную душевную опустошенность и хищные инстинкты крупного собственника и мелкого феодала.

Распаленные радиослушатели уже готовы были броситься с дрекольем на всех этих лицемеров, чуть было не просочившихся в советское радиовещание, а заодно выразить свою благодарность руководителю музыкальных трансляций, столь своевременно разоблачившему менелаев, парисов и аяксов, когда тот же бархатный голос возвестил:

— Итак, слушайте оперетту «Прекрасная Елена». Через две-три минуты зал будет включен без предупреждения.

И действительно, через две-три минуты зал был включен без всякого предупреждения. И послышалась музыка, судя по вступительному слову диктора:

а) никому не нужная,

б) душевно опустошенная,

в) что-то скрывающая.

Удивлению простодушного радиолюбителя не было конца.

Вообще трудно приходится потребителю художественных ценностей.

Когда от радио он переходит к книге, то и здесь ждут его неприятности. Налюбовавшись досыта цветной суперобложкой, золотым переплетом и надписью «Памятники театрального и общественного быта — мемуары пехотного капитана и актера-любителя А. М. Сноп-Ненемецкого», читатель открывает книгу и сразу же сталкивается с большим предисловием.

Здесь он узнает, что А. М. Сноп-Ненемецкий:

а) никогда не отличался глубиной таланта;

б) постоянно скользил по поверхности;

в) мемуары написал неряшливые, глупые и весьма подозрительные по вранью;

г) мемуары написал не он, Сноп-Ненемецкий, а бездарный журналист, мракобес и жулик Танталлов;

д) что самое существование Сноп-Ненемецкого вызывает сомнение (может, такого Снопа никогда и не существовало) и

е) что книга тем не менее представляет крупный интерес, так как ярко и выпукло рисует нравы дореволюционного актерского мещанства, колеблющегося

между крупным феодализмом и мелким собственничеством.

Вслед за этим идет изящная гравюра на пальмовом дереве, изображающая двух целующихся кентавров, а за кентаврами следует восемьсот страниц текста, подозрительных по вранью, но тем не менее что-то ярко рисующих.

Читатель растерянно отодвигает книгу и бормочет:

— Говорили, говорили и — на тебе — опять включили зал без предупреждения!

Постепенно образовалась особая каста сочинителей предисловий, покуда еще не оформленная в профессиональный союз, но выработавшая два стандартных ордера.

По первому ордеру произведение хулится по возможности с пеной на губах, а в постскриптуме книжка рекомендуется вниманию советского читателя.

По второму ордеру автора театральных или каких-либо иных мемуаров грубо гримируют марксистом и, подведя таким образом идеологическую базу под какую-нибудь елизаветинскую старушку, тоже рекомендуют ее труды вниманию читателя.

К этой же странной касте примыкают бойкие руководители трансляций и конферансье, разоблачающие перед сеансом таинственные фокусы престидижитаторов, жрецов и факиров.

И потребитель художественного товара с подозрением косится на книгу. Сноп-Ненемецкий разоблачен и уже не может вызвать интереса, а в елизаветинскую старушку, бодро поспешающую под знамя марксизма, поверить трудно.

И потребитель со вздохом ставит книжку на полку. Пусть стоит. Все-таки, как-никак, золотой переплет.

1932

МНЕ ХОЧЕТСЯ ЕХАТЬ

Человек внезапно просыпается ночью. Душа его томится. За окном качаются уличные лампы, сотрясая землю, проходит грузовик; за стеной сосед во сне вскрикивает: «Сходите? Сходите? А впереди сходят?» — и опять все тихо, торжественно.

Уже человек лежит, раскрыв очи, уже вспоминается ему, что молодость прошла, что за квартиру давно не плачено, что любимые девушки вышли замуж за других, как вдруг он слышит вольный, очень далекий голос паровоза.

И такой это голос, что у человека начинает биться сердце. А паровозы ревут, переговариваются, ночь наполняется их криками — и мысли человека переворачиваются.

Не кажется ему уже, что молодость ушла безвозвратно. Вся жизнь впереди. Он готов поехать сейчас же, завернувшись в одно только тканьевое одеяло. Поехать куда попало, в Сухиничи, в Севастополь, во Владивосток, в Рузаевку, на Байкал, на озеро Гохчу, в Жмеринку.

Сидя на кровати, он улыбается. Он полон решимости, он смел и предприимчив, сейчас ему сам черт не брат. Пассажир — это звучит гордо и необыкновенно!

А посмотреть на него месяца через два, когда он трусливой рысью пересекает Каланчевскую площадь,

стремясь к Рязанскому вокзалу. Тот ли это гордый орел, которому сам черт не брат!

Он до тошноты осторожен.

На вокзал пассажир прибегает за два часа до отхода поезда, хотя в мировой практике не было случая, чтобы поезд ушел раньше времени. (Позже — это бывает.)

К отъезду он начинает готовиться за три дня. Все это время в доме не обедают, потому что посуду пассажир замуровал в камышовую дорожную корзину. Семья ведет бивуачную жизнь наполеоновских солдат. Везде валяются узлы, обрывки газетной бумаги, веревки. Спит пассажир без подушки, которая тоже упрятана в чемодан-гармонию и заперта на замок. Она будет вынута только в вагоне.

На вокзале он ко всем относится с предубеждением. Железнодорожного начальства он боится, а остальной люд подозревает. Он убежден, что кассир дал ему неправильный билет, что носильщик убежит с вещами, что станционные часы врут и что его самого спутают с поездным вором и перед самым отъездом задержат.

Вообще он не верит в железную дорогу и до сих пор к ней не привык.

Железнодорожные строгости пассажир поругивает, но в душе уважает, и, попав в поезд, сам не прочь навести порядок.

Иной раз в вагоне на верхней полке обнаруживается великий паникер.

— Почему вы поете? — говорит он, свешивая голову вниз.— В вагоне петь нельзя. Есть такое правило.

— Да я не пою. Я напеваю,— оправдывается пассажир.

— Напевать тоже нельзя,— отвечает паникер.— И вообще, если хотите знать, то к пению приравнивается даже громкий разговор.

Через пять минут снова раздается голос паникера.

— Если открыть тормоз Вестингауза, то за это двадцать пять рублей штрафа и, кроме того, показательный суд.

— Но ведь я не собираюсь открывать тормоз! — пугается девушка, отворачиваясь от змеиного взгляда паникера.

— Не собираетесь, а все-таки убрали бы локоть подальше. Сорвется пломба, тут вам и конец. Да и весь вагон по головке не погладит, такое правило.

Этот же голос спустя минуту:

— Нет, нет, гражданин, раму спускать нельзя. С завтрашнего дня вступает в силу осеннее расписание.

— Но ведь погода замечательная. Двадцать два градуса тепла.

— Тепло теплом, а расписание своим порядком.

— Позвольте, но ведь вы сами говорите, что новое расписание только завтра начнет действовать!

— А мы его сегодня применим. На всякий случай. Закройте, закройте! Не задохнетесь!

Через два часа в вагоне говорят уже только шепотом, сидят, выпрямив плечи и сложив руки на коленях.

А с верхней полки раздается равномерное ворчанье.

— Не курить, не плевать, не собирать в житницы! Есть такое правило! Уборную свыше трех минут не занимать, в тамбурах не стоять, в Девятый вал не играть! Есть такое правило!

Но какой реванш берут пассажиры, когда паникер, побежав за кипятком, опаздывает на поезд и гонится за ним, размахивая чайником. Пассажиры радостно опускают рамы и кричат несчастному:

— Ходить по шпалам строго воспрещается! Есть такое правило!

Но больше всего правил на вокзалах.

Правила были придуманы на все случаи жизни, но применялись они как-то странно.

Пассажира уговаривали не пить сырой воды, но не предлагали кипяченой. Запрещали сорить на пол, но не указывали, куда бросать мусор.

И когда вокзалы превратились в грязные сараи, долго жаловались на пассажиров:

— Вот людоеды! Сидят на полу, когда рядом висит правило: «Сидеть на полу строго воспрещается».

Положение коренным образом изменилось, когда чудное правило сняли, а вместо него поставили длинные деревянные диваны. И странно — никто уже не сидел на полу, хотя правило исчезло.

Все прочие повелительные изречения заменили предметами материальной культуры, и дикий, казалось, пассажир превратился в чистенького кроткого ягненка с розовым галстуком на шее.

Удивительное превращение!

И теперь ночью, заслыша паровозный гудок и воображая себе блеск и грохот высокого вокзала, видишь не взбудораженные толпы мечущихся по перрону людей, а чинно шествующих людей, которых познакомили наконец с самым важным и нужным правилом:

ПЛОХО ОТНОСИТЬСЯ К ПАССАЖИРАМ
СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ

1932

СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО И УХОДИ

Вы никогда не задумывались над тем, кто первый провозгласил поражающее своей краткостью и довольно-таки грубоватое изречение:

«Не курить, не плевать»

Кто выдумал все эти категорические, повелительные надписи:

«Вход воспрещается»

«Без дела не входить»

«Спускай за собой воду»

Откуда все это? Что это? Народная мудрость? Или беззаветная любовь к порядку? Или попросту полезное административное мероприятие?

Однако все приведенные тексты и заповеди, несомненно, вызваны необходимостью и не нуждаются в подкреплении доказательствами. В самом деле, если бы в московском трамвае курили бы! Да еще плевали бы! — совсем бы скучная была езда! Или, положим, входит в учреждение человек, а зачем пришел и сам не знает, без дела. Такого не грех пугнуть надписью. Или — вошел, сделал свое дело и не уходит. Сидит как проклятый. И, наконец, есть такие вурдалаки, которые стараются увильнуть от заповеди насчет спускания воды. Как быть с ними?

Нет. Положительно все эти надписи нужны. И интересует нас не их содержание, а самый стиль. У кого это так счастливо отлилаєь столь молодецкая безапелля-

ционная форма? Кто он, создатель комхозовских афоризмов?

Сейчас, кажется, все сомнения разрешены.

Путем длительного и всестороннего исследования нам удалось найти автора, проследить его литературный путь и ознакомиться с его последними произведениями.

Обеспечив нашу страну изречениями, кои вывешиваются в местах общего пользования, и создав на прощание такие шедевры стиля как «Соблюдай очередь» и «Не задавай кассиру вопросов», автор увидел, что создал все потребное в этой области, и быстро переключился на работу критика-искусствоведа.

Он не изменил себе. Он по-прежнему краток, сохранил трамвайную категоричность и административную безапелляционность. И по-прежнему считает излишним подкреплять свои молодецкие афоризмы доказательствами.

Местом своей деятельности он избрал журнал «Бригада художников» и тотчас же (в № 5—6) разрешил все вопросы советской архитектуры. Сделано это в подписях к снимкам новых зданий.

Итак, фотография.

Подпись: «Клуб «Красный пролетарий». Производит впечатление приморского ресторана. Специфичность рабочего клуба не выявлена совсем».

Это все о здании клуба «Красный пролетарий». Больше ничего не сказано.

Никаких доказательств! «Производит» и «не выявлено». А почему? Неизвестно! Просто: «Не курить, не плевать».

Еще фотография. Еще подпись:

«К. Мельников. Клуб «Свобода». Очередной трюк «отца» советского формализма — цистерна, зажатая между пилонами».

Ну, хорошо. Отец так отец. Очередной трюк? Верим на слово! (Кстати, по фотографии судить нельзя, показан не весь клуб, а только его часть.) Давайте же бороться с «отцом» советского формализма! Но хотелось бы получить хоть какое-нибудь обоснование для предстоящей тяжелой борьбы с «отцом». Но обоснова-

ния нет. Критик, очевидно, не имеет никаких мыслей по этому поводу. Иначе, если бы они шевелились в его голове, он бы их высказал, вместо того чтобы безобразно и повелительно орать:

— Вход воспрещается!

Дальше изображен Дом правительства в Москве,



сфотографированный так, что на переднем плане оказался фонарь с площадки бывшего храма Христа.

Подпись:

«Дом Правительства на Берсеневской набережной. Фонарь в стиле «ампир» хорошо гармонирует с домом, показывая неприемлемость данного объекта для искусства СССР».

Точка. Объект неприемлем. Обвинение тяжелое. Мы готовы даже допустить, что справедливое, предварительно узнав, в чем дело. Но полсжение безнадежное. «Не задавай кассиру вопросов».

После такой лаконичной и беспардонной критики обхаянному архитектору остается одно — снять лиловые подтяжки и повеситься на том самом фонаре в

стиле «ампир», который «так хорошо гармонирует с домом». Хорошо, что фонарь снесли уже вместе с храмом, и жизнь архитектора покуда в безопасности.

Иногда, очень редко, критик хвалит. Но хвалит он как-то противно и бездоказательно, по той же форме № 1 — «Соблюдай очередь».

«Дом Стройкома на Гоголевском бульваре. Фасад с переулка. Стеклянные стаканчики приятно акцентируют высокий фасад, лишая его элементов корбюзианизма».

Зная тяжелый характер критика, не будем задавать ему надоедливых вопросов — «почему да почему», почему «приятно», почему «лишают»? От него толку не добьешься.

Обратимся прямо к редакции.

— Товарищи редколлегия, дорогие товарищи (по алфавиту) Вильямс, Вязьменский, Дейнека, Кондраков, Малкин, Моор, Мордвинов, Новицкий, Перельман, Соколов-Скаля и Точилкин! Не считаете ли вы, что критик уже сделал свое дело и ему давно пора уйти из журнала? Не бойтесь! Вперед! Ведь вас много (если считать по алфавиту), а он один. Его очень легко взять врасплох. Подстерегите его, когда он будет сочинять очередные трамвайно-архитектурные выпады, схватите его (вас так много!) и унесите из редакции.

И, главное, не забудьте проследить, чтобы он обязательно спустил за собой воду. Так теперь принято в новых домах, будь они со стеклянными стаканчиками или в виде цистерны, сжатой между пилонами.

1932

ЧЕЛОВЕК В БУТСАХ

Человек, пробиравшийся по учрежденскому коридору, не был похож на обыкновенного посетителя. И взгляд у него был не робкий, и одежда была какая-то не совсем обыкновенная — пальто с желтым кожаным воротником, каракулевая кепка и голубоватые футбольные бутсы, однако без шипов.

Высокомерно расталкивая секретарей, он без доклада вошел в кабинет главы учреждения. Вошел как раз в ту минуту, когда там происходило летучее совещание.

Все недовольно повернули головы, а глава учреждения даже издал некий гневный звук — не то «пошел вон», не то «прошу садиться».

— Может быть, я помешал? — спросил человек в бутсах.

— У нас летучка,— грубо заметил глава.

— Тогда я могу уйти.

— Хорошо. Идите.

Человек поправил на голове каракулевую кепку и, грозно улыбаясь, молвил:

— Я ухожу. Но, уж будьте любезны, всю ответственность берите на себя. Возлагаю ее на вас.

Это было сказано так торжественно, словно незнакомец собирался возложить на главу учреждения жестяной могильный венок с муаровыми лентами.

Глава испугался. Он терпеть не мог ответственности, а потому торопливо сказал:

— В чем же дело? Садитесь, товарищ.

Человек выбрал стул получше и начал:

— Как, по-вашему? Нужно проводить технику в массы?

— Нужно.

— Может быть, не нужно? Вы скажите откровенно. Тогда я уйду.

— Почему же не нужно! Я ведь с вами согласился сразу.

— Нет,— сказал незнакомец.— Я вижу, что вы против технической пропаганды. На словах вы все за, а на деле... Положительно придется возложить ответственность на вас.



Он подумал и прибавил:

— А также на летучее совещание. Я ухожу.

И тут всем сидевшим в кабинете явственно представился страшный могильный венок. Так было хорошо, все тихо сидели, обменивались мнениями, пили чай, никому не причиняли зла — и вдруг пришел ужасный незнакомец.

— Честное слово,— сказал глава,— мы всей душой...

— Всем сердцем,— беспокойно подтвердили члены летучего совещания.

Однако незнакомец с кожаными отворотами долго еще капризничал и ломался.

— Нужно организовать театр технической пропаганды,— сказал он наконец.— Понимаете?

Никто ничего не понял, но пришелец быстро все растолковал.

Это будет театр, построенный на совершенно новых началах. Пьеса уже есть. То есть не совсем еще есть, но скоро будет. Замечательная пьеса о моторах. Пишет ее он сам, человек в бутсах. Актеров не будет. Декораций тоже не будет. Вообще ничего не будет, и поэтому беспокоиться совершенно не о чем. Нужно только помещение и немного денег, тридцать тысяч. Всю ответственность он, человек в каракулевой кепке, берет на себя. (Вздох облегчения.)

— Одно меня только смущает,— сказал глава,— где взять помещение и тридцать тысяч?

— Нет, вижу, мне придется уйти,— сухо молвил незнакомец.— У меня не может быть ничего общего с людьми, которые смазывают важнейший вопрос о технической пропаганде. А ответственность возлага...

Все бросились за незнакомцем, лепеча различные жалкие слова. Сразу нашлось и помещение, и тридцать тысяч, и еще какие-то четыре тысячи для выдачи аванса артели гардеробщиков при будущем театре. В панике забыли даже узнать фамилию незнакомца. Долгое время считали, что его фамилия Лютиков, но потом оказалось, что вовсе не Лютиков, а Коперник, только не тот, а совершенно неизвестно кто.

Лютиков-Коперник в течение трех месяцев приходил к главе, садился на его стол и, покачивая ножками, обутыми уже не в бутсы, а в штиблеты на каучуковом ходу, требовал денег.

— Скоро премьеру покажем,— говорил он.— Будет замечательно. Декораций нет, актеров нет, ничего нет. Спектакль идет без суфлера.

— Как же это без суфлера? — страдальчески вопрошал глава.

— Нет, Яков, недооцениваешь ты технической пропаганды,— отвечал Коперник.— Что-то ты смазываешь.

— А пьеса как называется?

— Без названия. В этом весь трюк. Названия не будет, реквизита не будет, ни черта не будет. Замечательно будет. Первый такой театр в мире. Гордись,

Яков. Тебя театральная общественность на руках носить будет. Тебя сам Литовский заметит.

— А ответственность?

— Беру на себя.

Постановка немножко затянулась против поставленных сроков, но все же через семь месяцев от начала великой борьбы за новое начинание в области техпропаганды Лютиков-Коперник объявил премьеру.

Пригласительные билеты он принес лично. На этот раз он был в розовом пальто с кенгуровым воротником и почему-то держал в руке чемоданчик.

Премьера началась ровно в восемь часов вечера.

Занавеса не было. Реквизита не было. Декораций не было. Актеров не было. На пустой, грязноватой сцене стояло деревянное веретено.

— Скоро начнем,— объявил Лютиков.— Вы тут посидите, товарищи, а я сейчас приду.

Поглядев минут десять на веретено, глава учреждения зажмурился и вспомнил, что этот прибор он видел недавно в опере «Фауст», музыка Гуно. Тогда за этим веретеном сидела Гретхен, а где-то неподалеку трепался Фауст. Теперь к веретену никто не подходил.

Внезапно на сцену вышла старушка в очках и сказала:

— Итак, ребята, это веретено употреблялось в феодальную эпоху и является прообразом современного ткацкого станка. Сейчас, ребята, мы пойдем в фойе и посмотрим чертежи этого прообраза нынешней техники.

Кашляя и сморкаясь, все учреждение повалило в коридор и уставилось на чертеж ручной швейной машинки. Но старушка, вместо того чтобы продолжать объяснения, подошла к главе и, заливаясь слезами, объявила, что ей еще ни разу не платили жалованья и замучили репетициями.

— А как же Лютиков? — оторопело спросил глава.— Где он?

Организатора неслыханного театра бросились искать. Глава учреждения вдруг вспомнил, что последние дни Лютиков не расставался с чемоданом. От страха глава даже покачнулся.

— Может, поискать его среди декораций? — спросил секретарь.

— Найдешь его теперь! Ведь декораций нет.

А Лютиков-Коперник уже стоял в здравотдельском кабинете и говорил:

— Медицину в массы. Путем театрального воздействия. Понимаете? Актеров нет, суфлера нет, гардероба нет. Театр инфекции и фармакологии. Можно сокращенно назвать «Тиф». Нужно только помещение и немного денег. Что? Тогда я уйду. Но уж ответственность...

Заведующий ошалело слушал и таращил добрые глаза.

1932

ПЯТАЯ ПРОБЛЕМА

Есть неумирающие темы, вечные, всегда волнующие человечество.

Например, наем дачи или обмен получулана без удобств в Черкизове на отдельную квартиру из трех комнат с газом в кольце «А» (телефон обязательно), или, скажем, проблема взаимоотношений главы семейства со свояченицей, или покупка головки для примуса.

И никак нельзя разрешить все эти важные проблемы. Дачник всем сердцем стремится на Клязьму, поближе к электропоезду, а дачный трест грубо посылает его на реку Пахру, в бревенчатую избушку, добраться до которой труднее, чем до Харькова. Горемычный хозяин получулана никак не может сговориться с обитателем отдельной квартиры в кольце «А», хотя переговоры с необыкновенным упрямством ведутся через «Вечернюю Москву». Что касается свояченицы, то половые разногласия здесь настолько велики, что их не удается разрешить даже отдельным представителям ВАПП. А головка для примуса — это вообще глупая фантазия домашней хозяйки, которой кооперация дает вежливый, но чрезвычайно холодный отпор.

Несколько лет назад к даче, получулану, свояченице и примусным частям прибавилась новая неразрешимая проблема — кинохроника.

Это была странная проблема. Вокруг нее было много шума. Но никогда она не вызывала споров. Напротив, трудно найти проблему, по поводу которой существовало бы столь редкое единодушие.

Все были за кинохронику.

«Давно пора»,— писала пресса.

— О,— говорили председатели киноправлений,— кинохроника!

— Жизнь отдам за кинохронику,— обещал директор фабрики.

Консультанты тоже были за и даже без оговорок, что с их стороны нельзя не признать большой жертвой.

Об операторах и говорить нечего. Они рвались в бой.

Зрители же вели себя выше всяких похвал. Они требовали хронику. Они стучали ногами, свистели, писали письма в редакции газет, посылали делегации.

Одно время казалось, что в результате всех этих усилий стране грозит опасность наводнения хроникой. Боялись даже, что кинохроника вытеснит все остальные жанры киноискусства.

Однако обнаружилось, что эти жанры благополучно существуют. Афиши бесперебойно объявляли о новых художественно-показательных боевиках с минаретами, медвежьими свадьбами, боярышнями и хромыми барами.

А хроники не было. А годы шли.

Стали искать врага хроники. Раздавались голоса, что не худо бы дать кой-кому по рукам. Впопыхах дали по рукам какому-то кинодеятелю в расписной заграничной жилетке, случайно проходившему по коридору Союзкино. Но тут же выяснилось, что это страшная ошибка, что человек в жилетке всей душой за хронику, в доказательство чего он представил пятнадцать собственных статей и еще большее количество протоколов на папиросной бумаге.

Тогда набросились на администрацию кинотеатров. Ее обвинили в том, что из вредного коммерческого расчета она тормозит дело показа кинохроники.

Но администраторы в тот же день доказали, что

именно они и являлись главными борцами за кинохронику и даже застрельщиками всего этого дела.

— Ничего не понимаю,— сказал новый председатель правления.— И мой предшественник, и я, мы оба всегда были горячими защитниками хроники. А ее нет.

— Ведь я жизнь обещал отдать за кинохронику, — удивлялся директор фабрики,— и вот на тебе!

Правда, это был не тот директор, а пятый по счету, но он уже в день приема дел обещал отдать жизнь.

— По линии хроники,— печально говорили консультанты,— у нас большое отставание. Но мы не виноваты. Мы всегда были за.

И они привезли на трех извозчиках такую кучу оправдательных документов, что правление ахнуло и с перепугу перевело этих консультантов в высший разряд тарифной сетки.

Даже те отдельные работники кинематографии, которых судебные органы на некоторое время изолировали от общества за различные плутни,— и те из своих жилищ, снабженных на всякий случай решетками, слали письма:

«Что было, то было. Но чего не было, того не было. Мы всегда были горой за хронику».

Все стало как-то так непонятно и удивительно, что о хронике на время даже перестали говорить. Иногда вдруг на экране проскакивали кусочки хроники. А потом и это прекратилось.

И так как все были за, то оказалось, что бороться не с кем и можно перейти к очередным делам. Остались только горячие доклады и протоколы на папиросной бумаге.

Сейчас в кинопрессе снова раздался трезвый голос:

— Товарищи, где же все-таки кинохроника?

И мы уже знаем, что будет. Начнется суета, пойдут клятвы, обнаружится полное единодушие, и все это закончится тем, что хроники никто не увидит.

А работу надо поставить так: бросить разговоры о хронике и начать ее делать. Это, конечно, странно, не-

привычно и, может быть, на первый взгляд даже диковато.

Но другого средства нет.

Если же продолжать систему болтовни вхолостую, то хроника по-прежнему останется в ряду «вечных проблем», вроде найма дачи или обмена плохой квартиры на хорошую, с уплатой какой-то подозрительной задолженности и с согласием идти на какие угодно варианты.

1932

ГОРЮ—И НЕ СГОРАЮ

Спокойно и величаво жила в своей квартире стандартная дореволюционная бабушка. Дверь квартиры была обита войлоком и блестящей зеленой клеенкой. Была на двери еще большая гербовая бляха с надписью: «Горю — и не сгораю». Застраховано от огня в об-ве «Саламандра». Больше всего в жизни бабушка боялась, что ее мебель сгорит. Бабушка уважала свою мебель.

Здесь царил буфет, огромный дубовый буфет с зеркальными иллюминаторами, с остроконечными шпилями-башенками, нишами, с барельефными изображениями битой дичи, виноградных гроздьев и лилий. Цоколь буфета был рассчитан на такую неимоверную тяжесть, что на нем без опасения можно было бы установить конный памятник какому-нибудь Скобелеву. Буфет походил на военный собор, какие обычно строили при кадетских корпусах и юнкерских училищах, и был разукрашен цветными пупырчатыми стеклами. Грандиозен был буфет, и тем не менее его полки и ящики были так малы, что вмещали только чайный сервиз. Остальная посуда стояла на буфетной крыше, за шпилями и башенками, и покрывалась пылью.

На большом столе лежала парадная бархатная скатерть с бомбошками по углам. Вообще у бабушки все было с бомбошками. Драпри с бомбошками, гардины с бомбошками, пуфы с бомбошками. Эти разно-

цветные плюшевые шарики приводили котов в ярость. Они постоянно их подстерегали, хватали когтями и раскачивали. Стол был так же величествен и бесполезен, как буфет. За него никак нельзя было сесть. Коленки постоянно сталкивались с какими-то острыми дубовыми украшениями, и смельчак, пытавшийся было использовать стол по его прямому назначению, тотчас же отскакивал от него, яростно растирая ладонью ушибленное место.

Был еще стол — малый, бамбуковый — зыбкое сооружение, предназначенное для семейного альбома с толстой плюшевой крышкой и медными застежками величиной в складские засовы. Но достаточно было сдвинуть альбом хотя бы на миллиметр вправо или влево от геометрического центра, как равновесие нарушалось, и столик валился на атласную козетку.

Бабушке очень нравилась козетка, нравилась главным образом красотой форм, так сказать гармоничностью линий. Странная это была штука! Для лежания она не годилась — была слишком коротка. Не годилась она и для сидения. Сидеть мешали главным образом гармоничность линий и красота форм. Мастер предназначил ее для полулежания, совершенно не учтя, что такое небрежно-аристократическое положение тела допустимо только в великосветских романах и в жизни не встречается. Так что на козетке обычно лежала кошка, да и то только в те редкие минуты, когда бомбошки не раскачивались.

Повсюду стояли длинные, вытянутые в высоту, и узкие вазочки для цветов с толстой стеклянной пяткой. Они походили на берцовую кость человека и вмещали только по одному цветку. Цветки были бумажные. Висели картинки неизвестных старателей-акварелистов в рамках в виде спасательных кругов, в рамках из ракушек, бамбуковых палочек или из багета с золотыми листочками. На шатких этажерках могли помещаться только фарфоровые слоны, мал-мала меньше.

Удивительная это была мебель! Она не только не приносила пользы человеку, но даже ставила его в подчиненное, унизительное положение. В своих резных

выступах, углах, барельефах и загогулинах она собирала чертову уйму пыли и паутины. Постоянно надо было за мебелью ухаживать, просить гостей на нее не садиться. Кроме того, ее надо было страховать от огня. Не ровен час — сгорит!

— Никогда я не буду жить, как моя бабушка! — восклицал иной внук, больно ударяясь о стол большой или опрокидывая стол малый.— Вырасту — заведу совсем другую мебель, удобную, простую, а эта дрянь — хорошо, если бы сгорела.

И она действительно сгорела. Случилось то, чего бабушка боялась больше всего на свете.

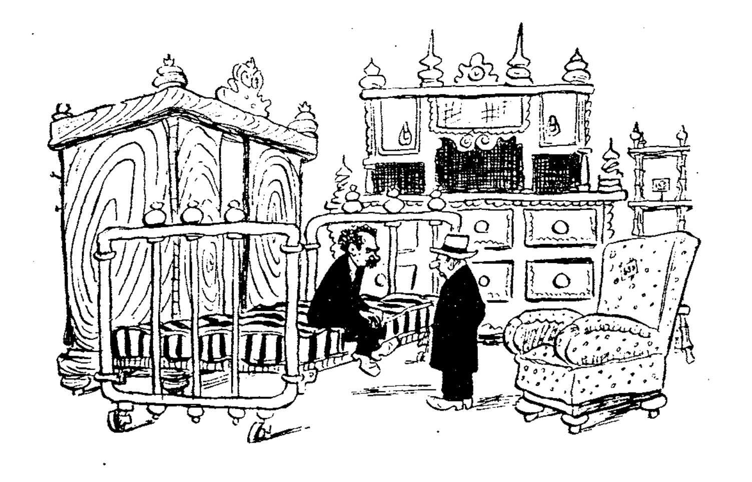
В восемнадцатом и девятнадцатом и даже в двадцатом году внук обогревался бабушкиной мебелью. С наслаждением отрубал он от стола его львиные лапы и беспечно кидал в «буржуйку». Он особенно хвалил соборный буфет, которого хватило на целую зиму. Все пригодилось: и башенки, и шпили, и разные бекасы, а в особенности многопудовый цоколь. Горели в печке бамбуковые столики, этажерки для семи слонов, кои якобы приносят счастье, дурацкие лаковые полочки, украшенные металлопластикой, и прочая дребедень, которую внук для краткости называл «гаргара» или «бандура».

С тех пор ушли годы, внук вырос, сделался сперва молодым, а потом уж и не очень молодым человеком, обзавелся комнатой в новом доме и наконец решил приобрести мебель, о которой мечтал в детстве,— удобную и простую.

Он стоял перед огромной мебельной витриной универмага Мосторга, по замыслу заведующего изображавшей, как видно, идеальную домашнюю обстановку благонамеренного советского гражданина.

Если бы внук не сжег в свое время бабушкину мебель собственными руками, то подумал бы, что это именно она и стоит за зеркальной стеной магазина.

Здесь царил буфет, коренастый буфет, с вырезанными на филёнках декадентскими дамскими ликами, с дрянными замочками и жидкими латунными украшениями. Были на нем, конечно, и иллюминаторы, и ниши, и колонки. А на самом верху, куда человек не



смог бы дотянуться, даже став на стул, неизвестно для чего помещалось сухаревское волнистое зеркало. Перпендикулярно буфету стояла кровать, сложное сооружение из толстых металлических труб, весьма затейливо изогнутых, выкрашенных под карельскую березу и увенчанных никелированными бомбошками. (Бабушка была бы очень довольна,— она так любила всякие бомбошки!)

Кровать была застлана стеганым одеялом. Одеяло было атласное, розовое, цвета бедра испуганной нимфы. Оно сразу превращало кровать, эту суровую постройку из дефицитного металла, в какое-то ложе наслаждений.

Был здесь и диванчик для аристократического полулежания, в чем, несомненно, можно было бы усмотреть особенную заботу о потребителе. Был и адвокатский диван «радость клопа» со множеством удобных щелей и складок, с трясущейся полочкой, на которой лежал томик Карла Маркса (дань времени!), и этажерка на курьих ножках, и стол, под который никак нельзя подсунуть ноги.

Была бы жива бабушка, она сейчас же с радостным визгом поселилась бы в этой витрине. Так здесь было хорошо и старорежимно. Все как прежде. Вот

только Маркс! Впрочем, Маркса можно заковать в плюшевый переплет с медными засовами и показывать гостям вместо семейного альбома.

— А это вот Маркс! Видите! Тут он еще молодой, даже без усов. А вот тут — уже в более зрелых годах.

— Смотрите, довольно прилично одевался. А это что за старичок?

— Это один его знакомый. Энгельс по фамилии.

— Ничего, тоже приличный господин.

И текла бы за мосторговской витриной тихая, величавая бабушкина жизнь.

С поразительным упорством работает наша мебельная промышленность на ветхозаветную дуру бабушку! На рынок с непостижимой методичностью выбрасывается мебель того нудного, неопределенного, крохоборческого стиля, который можно назвать банковским ампиром,— вещи громоздкие, неудобные и чрезвычайно дорогие.

Из существующих в мире тысяч моделей шкафов древтресты облюбовали самую тоскливую, так называемый «славянский шкаф». Заходящие в магазины «советские славяне», а именно: древляне, поляне, кривичи и дреговичи, а также представители нацменьшинств, советские половцы, печенеги, хозары и чудь белоглазая, первым долгом тревожно спрашивают:

— Скажите, а других шкафов у вас нету?

— Других не работаем,— равнодушно отвечает древтрестовский витязь.— А что, разве плохо? Типа «гей, славяне!» Все равно возьмете. Ведь выбора нету.

Выбора действительно нет. Потребитель вынужден уродовать новое жилье безобразной мебелью. Он покупает низкорослые ширмы, которые ничего не заслоняют, но зато ежеминутно падают. Он везет на извозчике гадкий, рассыхающийся уже по дороге комодик с жестяными ручками. Письменные столы изготовляются или только канцелярские, сверхъестественно скучные, или крохотные дамские, больше всего пригодные для маникюрши. Обыкновенных полок для книг достать нельзя. Их не делают. Но зато есть полочки, предна-

значенные для предметов, которые должны украшать жилье.

Вот, кстати, эти предметы искусства:

1. Гипсовая статуэтка «Купающаяся трактористка» (при бабушке эта штука называлась «Утренняя нега»).

2. Толстолицый немецкий пастушок, вымазанный линючими красками. Гипс.

3. Кудреватый молодой человек с хулиганской физиономией играет на гармонике. Гипс.

4. Пепельница с фигурками:

а) охотник, стреляющий уток;
б) бегущая собака;
в) лошадиная морда.
} Луженый чугун

5. Чернильный прибор, могучий агрегат, сооруженный из уральского камня, гранитов, хрусталя, меди, никеля и высококачественных сталей. Имеет название: «Мы кузнецы, и дух наш молод». Лучший подарок уезжающему начальнику. Цена — 625 рублей 75 копеек.

И когда слышатся робкие протестующие голоса, начальники древтрестов и командующие статуэтками и чернильными приборами отчаянно вопят:

— Вы не знаете потребителя! Вы не знаете условий рынка! Рынок этого требует!

А кричат они потому, что привыкли работать на стандартную дореволюционную старуху, законодательницу сухаревских вкусов и мод.

И в силу этой пошлейшей инерции новому человеку приходится жить среди свежепостроенных бабушкиных мебелей и украшений.

1932

КОГДА УХОДЯТ КАПИТАНЫ

Заказчик хочет быть красивым.

От портного он требует, чтобы брюки ниспадали широкими мягкими трубами. От парикмахера он добивается такой распланировки волос, чтобы лысина как бы вовсе не существовала в природе. От писателя он ждет жизненной правды в разрезе здорового оптимизма.

Таков заказчик.

Ему очень хочется быть красивым. Он мучится.

— Кто отобразит сахароварение в художественной литературе? — задумчиво говорит сахарный командующий.— О цементе есть роман, о чугуне пишут без конца, даже о судаках есть какая-то пьеса в разрезе здорового оптимизма, а о сахароварении, кроме специальных брошюр,— ни слова. Пора, пора включить писателей в сахароваренческие проблемы.

Секретарю поручают подработать вопрос и в двадцать четыре часа (иногда в сорок восемь) мобилизовать писательскую общественность.

— Я полагаю,— сообщает секретарь,— что нам надо идти по линии товарищеского ужина. Форма обычная. Дорогой товарищ... то да се... ваше присутствие необходимо.

Решают пойти именно по этой линии, тем более что сахар свой, а остальные элементы ужина можно добыть при помощи натурального обмена с другими учреждениями.

Список приглашенных составляется тут же.

— Значит, так: Алексей Толстой, Гладков, Сейфуллина, потом на Л... ну, который «Сотьсаранчуки»... да, Леонов. Еще Олеша, он это здорово умеет. Парочку из пролетарских поглавнее, Фадеева и Афиногенова на предмет пьесы. Для смеха можно Зощенко, пусть сочинит чего-нибудь вроде «Аристократки», но в разрезе сахарной свеклы. Хорошо бы еще критика вовлечь. Они пусть пишут, а он их пусть тут на месте критикует.

— И подводит базу.

— Да, и, конечно, базу. Пишите какого-нибудь критика. Явка обязательна.

И вот плетется курьерша с брезентовой разносной книгой. И солнце светит ей в стриженый затылок. И весна на дворе. И все хорошо.

Еще немножко — и загадочный процесс сахароварения будет наконец отображен в художественной литературе.

Но на земле нет счастья. Вечером выясняется, что произошел тяжелый, непонятный прорыв.

Стоит длинный стол, на столе — тарелочки, вокзальные графинчики, бутерброды, незаконно добытые при помощи натурального обмена, семейные котлеты и пирожные.

Все есть. А писателей нет. Не пришли. Подло обманули. Дезертировали с фронта сахароварения.

Секретарь корчится под уничтожающими взглядами начальства. Мерцают бутерброды с засохшим сыром. Ах, как плохо!

— Кто ж так делает? — неожиданно говорит заведующий хозяйством.— Кто ж так мобилизует творческий актив? Вы сколько человек пригласили? Тридцать? И никто не пришел? Значит, нужно пригласить триста. И придет человек десять. Как раз то, что нам нужно. А бутерброды можно спрыснуть кипятком. Будут как живые.

— Позвольте, откуда же взять триста? Разве есть так много... художников слова?

— Ого! Вы не знаете, что делается! Один горком писателей может выставить три тысячи сабель! А Все-

росскомдрам? А малые формы? Это же Золотая орда! Нашествие Батыя! А Дом самодеятельности имени Крупской? Это же неиссякаемый источник творческой энергии! Они вам все чисто отобразят. Идите прямо в Дом Герцена и кройте приглашения по алфавиту. А о бутербродах не беспокойтесь. Подадим как новенькие.

Так и делают. Искусство требует жертв.

На этот раз в уютном конференц-зале сахарного заведения становится довольно людно. Правда, Алексей Толстой, Фадеев и многие другие опять подло обманули, но все-таки кое-кто пришел. Имен что-то не видно, но все-таки имеется здоровяк в капитанской форме с золотыми шевронами. Да и другие как-то вызывают доверие. Они еще не очень знаменитые, но среди них есть один в пенсне,— как видно, писатель чеховского толка.

В общем, можно начинать прения.

— Вот вы тут сидите и ни черта не делаете,— сразу начинает здоровяк в капитанской форме,— а между тем происходят события огромной важности. Мейерхольд сползает в мелкобуржуазное болото! Если я человек живой, так сказать, сделанный из мяса, я этого так не оставлю.

Он говорит долго и убедительно. Главным образом о Мейерхольде. Ему аплодируют.

— А сахароварение? — робко спрашивает секретарь.

— Какое к черту сахароварение,— сердится писатель,— когда, с моей точки зрения, сейчас главное — это маринизация литературы!

И он уходит, злой, коренастый и симпатичный.

Как-то незаметно ускользают и другие. Остаются только трое, в том числе писатель в пенсне, чеховского толка.

Их мало, но зато это не люди, а клад.

Они со всем соглашаются. Да. Их интересует сахароварение. Да. Они уже давно мечтали включиться. Мало того. Они желают сейчас же, немедленно приступить к разрешению практических вопросов.

Например:

а) куда ехать (хорошо бы поюжнее);

б) сколько за это дадут (вы понимаете, специфика вопроса);

в) можно ли получить натурой (сахаром, патокой и малясом).

Это чудные, отзывчивые люди. Уж эти отобразят. Непонятно только, зачем им сахар. Впрочем,— может быть, они хотят получше изучить самую, так сказать, продукцию. Это интересно. Пусть изучают.

Писатель чеховского толка требует еще сапоги, теплые кальсоны и пятьсот штук папирос «Норд». Это уже труднее, но завхоз обещает устроить.

Они очаровательные люди — Ж. Н. Подпругин, Ал. Благословенный и Самуил Децембер (Новембер).

Тихо смеясь, они покидают банкетный зал. И в то время как добрые сахаровары обмениваются впечатлениями, хвалят литературу и толкуют об идеалах, Подпругин, Благословенный и Децембер (Новембер) катят в трамвае. Держась за ремни и раскачиваясь, они кричат друг другу:

— Знатная малина!

— Мировая кормушка!

— Ну! Кормушка не кормушка, а лежбище глупых тюленей. Только и знай, что ходи и глуши их гарпуном!

— Ах, какого маху дал! Можно было сорвать еще бобриковое пальто «реглан ВЦСПС». Ах, забыл! Ах, дурак! Они бы дали!

— Глубинный лов я уже отобразил. Отображу и сахарный песок. А роман можно назвать «Герои рафинада».

И все трое смеются журчащим русалочьим смехом. Они все понимают. Это промышленники, зверобои, гарпунщики.

Пусть другие кипятятся, говорят о мировоззрении, о методе, о метафоре, даже о знаках препинания. Гарпунщику все равно. Он сидит на очередном товарищеском ужине в очередном учреждении и, достойно улыбаясь, помешивает ложечкой чай. Пусть литературные капитаны говорят высокие слова. Это размагниченные

интеллигенты. Гарпунщик знает их хорошо. Они поговорят и уйдут. А он останется. И, оставшись, сразу приступит к практическому разрешению вопроса. Уж на этот раз он возьмет «реглан типа ВЦСПС» и еще кое-что возьмет. Не дадут маху ни Децембер (Новембер), ни Ж. Н. Подпругин, ни Ал. Благословенный.

Осенью они разносят по учреждениям свой литературный товар. Больше всего тут очерков («Герои водопровода», «В боях за булку», «Стальное корыто», «Социалистическая кварта»). Однако попадаются и крупные полотна: «Любовь в штреке» (роман, отображающий что-то антрацитное, а может быть, и не антрацитное), «Соя спасла» (драматическое действо в пяти актах. Собственность Института сои), «Веселый колумбарий» (малая форма. По заказу кладбищенского подотдела).

Чудную, тихую жизнь ведут гарпунщики. Печатают они свой товар в таких недосягаемых для общественности местах, в таких потаенных бюллетенях, журналах и балансовых отчетах, что никому никогда не докопаться до «Веселого колумбария» или «Стального корыта».

Но есть у гарпунщика слабое место. Сквозь продранный носок видна его Ахиллесова пята. Ежегодно возникает страшный слух, что из горкома писателей будут вычищать всех, кто не напечатался отдельной книгой. Тогда не будут приглашать на товарищеские ужины, тогда будет плохо.

Тут гарпунщик собирает свои разнокалиберные опусы, склеивает их воедино и, дав общее незатейливое название, везет рукопись на извозчике в ГИХЛ.

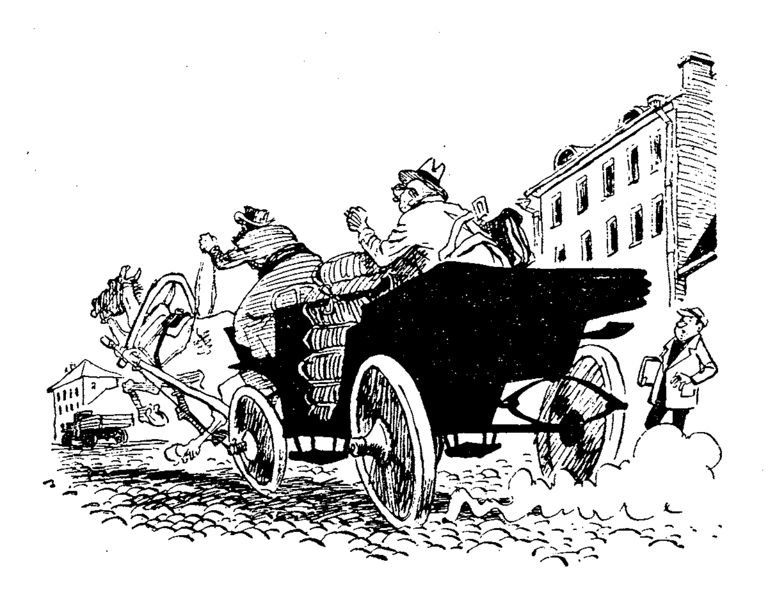
Вокруг рукописи начинается возня. Ее читают, перетаскивают из комнаты в комнату, над ней кряхтят.

— Ну что?

— Ах,— говорит утомленный редактор,— Исбах далеко не Бальзак, но этот Подпругин такой уже не Бальзак!

— Что ж, забракуем?

— Наоборот. Напечатаем. Отображены актуальнейшие темы. Язык суконноватый, рабочие схема-



тины, но настроение бодрое, книга зовет. Потом вот в конце ясно написано: «Это есть наш последний».

— «И решительный» написано?

— «И решительный».

— Тогда надо печатать. Книжка, конечно,— заунывный бред, но зато не доставит нам никакого беспокойства. Никто не придерется.

Это — роковая ошибка.

Как только книга гарпунщика появляется в свет и ведомственная литература предстает глазам всех, подымается ужасный крик.

Критика не стесняется в выражениях. Автора называют пиратом, жуликом, крысой, забравшейся в литературный амбар, шарлатаном. Редактора книги снимают с занимаемой должности и бросают в город Кологрив для ведения культработы среди местных бондарей. «Веселый колумбарий» изымают из продажи и сжигают в кухне Дома Герцена (после чего котлеты долго еще имеют препротивный вкус). Разнос происходит страшнейший.

В то же утро бледный, серьезный гарпунщик хватает чемодан, жену и еще одну девушку и уезжает в Суук-Су. Оттуда он возвращается через три месяца, отдохнувший, покрытый колониальным загаром, в полном расцвете творческих сил. О нем уже все забыли.

И в первый же вечер он отправляется на товарищеский варенец, имеющий быть в конференц-зале Москоопклоопкустсоюза.

Жизнь продолжается.

Заказчиков много. Все хотят, чтобы их отобразили в плане здорового оптимизма.

Все хотят быть красивыми.

1932

СКВОЗЬ КОРИДОРНЫЙ БРЕД

Обыкновенный мир. Смоленский рынок. Аптека (молочные банки с красными крестами, зубные щетки, телефон-автомат). Тесная булочная. Лоточники. Милиционер на маленькой трибуне поворачивает рычажок светофора. Все в порядке. Ничто особенно не поражает.

Но в пяти шагах от всего этого, у начала Плющихи, тесно сомкнувшись, стоит кучка людей из другого мира. Они ждут автобуса № 7.

Какие странные разговоры ведут они между собой!

— Да. Ему вырвали двенадцать зубов. Так надо было по режиссерской экспликации. Вставили новые. Фабрике это стоило массу денег, потому что в горлечебнице заявили, что здоровых зубов они не рвут. А частник... Можете себе представить, сколько взял частник?..

— Ну как, обсуждали вчера короткометражку «Чресла недр»?

— Провалили.

— А в чем дело?

— Подача материала при объективно правильном замысле субъективно враждебна. И потом там тридцать процентов нейтрального смеха и процентов двенадцать с половиной не нашего.

— В АРРКе не любят нейтрального смеха. Там за нейтральный смех убивают.

— В общем, Виктору Борисовичу поручили «Чресла» доработать.

— Ну вот, приходит он с новыми зубами в павильон сниматься. Ничего. Начали. Пошли. Улыбнитесь. Улыбнулся. И тут — стоп! Отставить! Не понравилась улыбка.

— Ай-яй-яй!

— Да, да. Говорят — не та улыбка. Не чисто пролетарская. Есть, говорят, в этой улыбке процентов двадцать восемь нейтральности и даже какого-то неверия. Со старыми зубами у вас, говорят, выходило как-то лучше. А где их теперь взять, старые зубы?

— А я знаю случай...

— Подождите. Я же еще не сказал самого интересного. По поводу этих самых «Чресл недр» завязался принципиальный спор. Стали обсуждать творческий метод режиссера Славься-Славского. А зима между тем проходит, а по сценарию надо снимать снег, а промфинплан весьма и весьма недовыполнен. Тут Иван Васильевич не выдержал: «Раз так, то ваш творческий метод мы будем обсуждать в народном суде».

— А зубы?

— При чем тут зубы? Зубы — это по фильму «И дух наш молод».

Какие странные разговоры!

Расхлестывая весеннюю воду, подходит автобус, и в поднявшемся шуме теряются горькие фразы о чреслах, зубах и прочих кинематографических новостях.

Ехать надо далеко.

По элегантному замыслу строителей московская кинофабрика воздвигалась с таким расчетом, чтобы до нее было как можно труднее добраться. Нужно прямо сказать, что замысел этот блестяще осуществлен.

Автобус доставляет киноработников и посетителей к мосту Окружной железной дороги и, бросив их посреди обширной тундры, уезжает обратно в город.

Киноработники, размахивая руками и продолжая интересную беседу о «Чреслах», совершают дальнейший путь пешком и вскоре скрываются между избами деревни Потылихи. Они долго идут по деревне, сопро-

вождаемые пеньем петухов, лаем собак и прочими сельскими звуками, берут крутой подъем, проходят рощу, бредут по проселку, и очень-очень не скоро открываются перед ними величественные здания кинофабрики, обнесенные тройным рядом колючей проволоки. Впечатление таково, будто фабрика Союзкино ожидает неожиданного ночного нападения Межрабпомфильма и приготовилась дать достойный отпор.

Мимо павильона-сторожки, по фасаду которого выведена большая гранитная надпись «Выдача пропусков», все проходят не останавливаясь, так как пропусков здесь не выдают. Выдают их в другой сторожке, на полкилометра дальше, где, однако, о пропусках ничего не сказано. Нет ни гранитной надписи, ни даже извещения, нацарапанного химическим карандашом.

В вестибюле равнодушный швейцар предлагает снять калоши. Посетители с неудовольствием выполняют это требование, но калоши внизу не оставляют, а с независимым видом несут их в руках, чтобы за первым же лестничным поворотом снова их надеть. Так, в калошах, они и бродят весь день по фабрике. Почему они так любят свои калоши? Почему обманывают бедного швейцара и не сдают калоши в гардероб — непонятно. Впрочем, многое странно на кинофабрике.

В коридоре, куда выходит много дверей, стоит, согнувшись, пожилой почтенный человек и смотрит в замочную скважину. Ему хорошо известно, что подглядывать стыдно, но другого выхода у него нет. На двери, над его головой трепещет бумажонка:

ЗДЕСЬ ИДЕТ ЗАСЕДАНИЕ.
НЕ СТУЧИ! НЕ МЕШАЙ!

Войти в комнату нельзя, а в ответ на стук раздается недовольный рев. Как же узнать, здесь ли находится нужный работник, из-за которого почтенный посетитель долго ехал в автобусе № 7, шел по деревне, пересекал тундру, останавливался на подъеме, чтобы схватиться за сердце, нес в руках калоши и обманы-

вал бедного швейцара? И стоит он, прильнув к замочной скважине, далеко отставив зад, как водевильный герой, в шубе и шапке. И кашне ниспадает с шеи до самого пола. И все проходящие с проклятиями натыкаются на него.

В коридоре тоже идет своеобразное заседание. Сюда, в коридор, люди приходят с утра и уходят отсюда только вечером.

Здесь любят и умеют поговорить. Высказываются смелые суждения, критикуются начинания, кого-то ругают, что-то хвалят, без конца обсуждают неудобства географического положения фабрики.

— Говорят, что паводок в этом году будет что надо!

— Опять нас отрежет от города.

— Вот увидите, как только пойдет можайский лед и нас отрежет, бухгалтерия объявит выплату гонорара. Они хитрые. Знают, что никто за ним не сможет приехать из города.

— Ну, я вплавь доберусь!

— Скажите, что же наконец произошло с «Чреслами недр»?

— Очень просто. Автора законсультировали.

— Что это значит?

— Одним словом, залечили.

— Не понимаю.

— Сразу видно, что в кино вас перебросили недавно. Ну, заболевает человек ангиной, а его лечат от тифа. Не помогает. Ставят банки. Не помогает. Делают операцию аппендицита. Плохо. Тогда вскрывают череп. Как будто лучше. Но больной вдруг умирает. Так и с «Чреслами недр». Законсультировали.

— Между нами говоря...

В коридоре неожиданно наступает тишина. Все начинают шептаться. И что же в конце концов произошло с «Чреслами», так и остается невыясненным.

Стены коридора дрожат от слухов и киноанекдотов. Иногда кажется даже, что заседание за закрытой дверью будет продолжаться вечно и что человек в шубе и кашне никогда в жизни не найдет нужного ему работника.

Но есть на фабрике другие коридоры, где никто не толчется, где в комнатах постановочных групп идет работа. Есть огромные павильоны. Там деловой воздух. Он очищен от коридорного бреда. Там не шепчутся, не стоят в сторонке, саркастически обсуждая, справится ли новое руководство с прорывом или не справится.

Там хотят, чтобы прорыва не было. Замысел обрастает декорациями, идет проба актеров, фильм начинает жить.

И когда, выходя оттуда, снова попадаешь в порочный коридор, уже без особенного испуга слушаешь неустанную трескотню неудачников, склочников, маломощных гениев и разобиженных авторов актуального сценария, где изобретатель что-то изобрел, у него это что-то кто-то украл и что из этого вышло.

День кончается.

В полутьме коридора ослепительно сверкает чья-то улыбка. Надо полагать, что улыбается тот самый актер, которому вставили казенные зубы.

Черт возьми! Как будто улыбка в самом деле не на все сто. Есть в ней действительно какой-то небольшой процент нейтральности.

Но это не важно, не страшно. Важно миновать болтовню в коридоре и начать работать.

Как говорят на киноязыке: «Начали, пошли».

Вот это — самое главное.

1932

ДЕТЕЙ НАДО ЛЮБИТЬ

Вечер и ветер. У всех подъездов прощаются влюбленные. Они прощаются бесконечно долго, молчаливо, нежно. Это весна. И когда влюбленные наконец расстаются, она подымается к себе в бедную комнату (так принято по литературной традиции), а он, поправив на голове фуражечку с лакированным козырьком, бредет домой, и губы его по забавной инерции все еще сложены для поцелуя (это уже новость! Как говорит Олеша, распад романной формы).

На мокрых садовых скамейках, где перочинным ножом вырезаны сердца, пробитые аэропланными стрелами, сидят окаменевшие парочки. Как их много! Они сидят на ступеньках музеев, на гранитных бортах тротуаров, в трамвайных павильонах. И в тишине по всему городу слышится мерное причмокивание, как будто бесчисленные извозчики подгоняют своих лошадок.

И в эти весенние минуты особенно горько думать о детской литературе.

Что ожидает детей, которые, надо полагать, родятся в результате таких вот законных действий населения?

Что они будут читать? Как они начнут познавать мир? Что предложит им чадолюбивый Огиз?

Сейчас папа сажает на колени дошкольное чадо (пусть знают холостые редакторы и авторы, что дошкольное чадо — очень маленькое чадо) и говорит:

— Ну, пигмей, я купил тебе книжку про пожарных. Интересно. Правда? Пламя, факелы, каски. Слушай.

И он, сюсюкая, начинает:

— «Пожарное дело в СССР резко отличается от постановки пожарного дела в царской России...» Ай, кажется, я совсем не то купил. Почему же в магазине мне говорили, что это для пятилетнего возраста?

Родитель ошеломленно смотрит на обложку. Он ожидает увидеть марку Учтехиздата, фирмы солидной, известной изданием специальных трудов. Но нет. «Молодая гвардия». Да и по картинкам видно, что книжка для детей. Пожарные нарисованы в виде каких-то палочек, а из окон горящего здания высовывается желтое пламя, имеющее форму дыни.

Между тем чадо ждет. Оно хочет познать мир.

И, странно улыбаясь, папа откладывает книжку в сторону и быстро произносит старое, проверенное веками заклинание:

— Жилбылубабушкисеренькийкозлик.

Услышав про козлика, дитя смеется каким-то вредным биологическим смехом и машет пухлыми ручонками (не сердитесь на пухлые ручонки — литературная традиция).

Папа чувствует, что творит какое-то темное дело, что воспитывает не в том плане. Он начинает исправлять сказочку кустарным образом:

— Видишь ли, пигмейчик, эта бабушка не простая. Она колхозница. И козлик тоже не простой, а обобществленный.

Однако в душе папа знает, что козлик старорежимный, может быть даже с погонами. Но что делать? Не читать же сыну тяжеловесный доклад о пожарном деле.

— Теперь про котика,— неожиданно требует чадо.

Тут папа шалеет. Что это еще за котик? Какими словами говорить о котике? Обобществленный котик? Это уже левый загиб. Просто котик? Беспредметно. Бесхребетно. Непедагогично.

Ужасно трудно! Ужасно!

Или попадется вдруг весело раскрашенная книжонка, где большими детскими буквами напечатано:

Не шалите, ребятишки,
Уважайте тракторишки.
Трактор ходит на врага,
Обрабатывает га,
                          га, га.
Га, га, га!
    Вот так штука,
Ха, ха, ха!

Так как будто все хорошо. Современная тематика. Призыв беречь механизмы («уважайте тракторишки»). Указание на соотношение сил в деревне («трактор ходит на врага»). Новая терминология («обрабатывает га», а не десятину). Есть даже элементы направленного детского веселья («вот так штука, ха-ха-ха»). Не к чему придраться.

А все же почему так совестно читать это ребенку вслух? И если даже прочтешь, почему ребенок из всего стишка запоминает только «га, га, га, га», что и выкликает, как гусь, несколько дней подряд?

Конечно, стихотворная техника шагнула вперед, например: «врага» и «га». Раньше бывало хуже.

Жил когда-то в Одессе цензор Сергей Плаксин, который по совместительству баловался стихами. Печатался он по табельным дням в газете «Ведомости одесского градоначальства» и на правах цензора писал совсем уже просто:

Скажи, дорогая мамаша,
Какой нынче праздник у нас?
В блестящем мундире папаша,
Не ходит брат Митенька в класс.

Он рифмовал «папаша» и «мамаша». Кто ему мог запретить эту шалость пера, если сам автор был цензор, редактор — представитель отдельного корпуса жандармов, читатели — сплошь городовые, а стихи посвящены трехсотлетию дома Романовых?

А как поступать, когда читаешь изданную в 1931 году книгу для детей, где автор рифмует «мосты» и «холмы», «спешит» и «кипи»? Это хуже, чем «папа-

ша» и «мамаша». Это уже разбойное нападение на детей, подпадающее под действие 2-го пункта 184-й статьи Уголовного кодекса: нападение, сопряженное с физическим или психическим насилием.

Это насилие психическое. А «га, га, га» — даже физическое.

Кому подсовывают все эти художественные произведения? Детям или взрослым? Сначала кажется, что детям, а потом видишь, что взрослым. Ведь у нас в издательствах дети не работают. Уж будьте покойны, заведующий отделом «Хороводов у костра» не маленький, не дитя. Да и начальница младенческого журнала «Догонялочка-перегонялочка» (бывшая «Палочка-выручалочка») — тоже не грудной ребенок.

Как же все это произошло? Несомненно, что когда создавался детский питательный продукт — «Пожарное дело в СССР резко отличается от...», то позаботились обо всем: чтоб не было мистики, чтоб не было биологии, взятой изолированно от прочих факторов, чтоб не было голого техницизма, упадочничества, шулятиковщины, упрощенства. Учли положительно все, кроме возраста читателя.

И получилось произведение, которое можно прочесть разве только на конгрессе теоретиков пожарного дела. Да и то старые брандмейстеры покачают обгоревшими головами и скажут:

— Установка правильная, но уж слишком как-то учено. Для нас, огнеработников, надо бы попроще.

Иногда же заведующий «Хороводами у костра» вспоминает, с кем, собственно говоря, имеет дело. Может быть, он уступил в трамвае место женщине с ребенком и сам растрогался, а может быть, просто получил какую-нибудь бумажку с печатью, где указывалось, напоминалось и даже предлагалось. Одним словом, он вспоминает о детях.

И тогда начинается громчайшее «га, га, га», будто бы на современную тематику. Впопыхах проскакивает и голый техницизм, и фетишизирование вещей, и проклятая биология, взятая изолированно.

Между тем на бульварах, которые являются главными детскими магистралями, галдят и смеются ма-

ленькие читатели. Их много и становится все больше (пора уже ставить для них специальные детские светофоры). Они роют в песке каналы, катаются на верблюде, на боку которого написано «ГОМЭЦ», играют в «учреждение» и прыгают через веревочку.

Они хорошие. Их не надо обижать.

Употребим очень осторожные слова:

— Отдельные авторы отдельных книг, в единичных случаях изданных отдельными издательствами! Любите детей! Уважайте их! Ничего, что они маленькие. Они заслуживают хорошего обращения. Любите, не бойтесь, тут нет биологии!

1932

ЧЕТЫРЕ СВИДАНЬЯ

Путь из Винницы в Ленинград лежит через Витебск.

Но Иосиф Евгеньевич Ауэ всегда, то есть один раз в четыре года, ездил в Ленинград через Москву.

Этот путь был дольше, мучительней и дороже. Однако не заехать в Москву товарищ Ауэ не мог. Там были друзья и любимая женщина.

— Когда-то и я был Ромео,— говорил Иосиф Евгеньевич.— Когда-то и у меня была Джульетта. Теперь она замужем. Ее фамилия Протопопуло. Все было. Она стояла на балконе. Я стоял под балконом. На мне были диагоналевые брюки. Ах, вся моя молодость прошла в Москве!

Теперь понятно, почему Ауэ ездил в Ленинград кружным путем.

— Как же мне не посмотреть на нее — на нашу дорогую матушку Москву! А друзья! Иван Сундукевич, монстр, грубиян, но замечательный человек! Имею я право раз в четыре года бросить взгляд на Ваньку Сундукевича? Имею я право перекинуться двумя-тремя словами с Левиафьяном? Это мой друг, доктор Левиафьян, болезни уха, горла и носа. Мы так его и звали в институте — Ухогорлонос. Потом есть у меня еще два дружка, два брата — Савич и Авич. Могу я их обнять на правах старой дружбы?!

И вот на регулярный конгресс работников по культуре бобовых растений Иосиф Евгеньевич Ауэ ехал через Москву.

Времени было очень мало, от поезда до поезда — четыре часа. За этот короткий срок надо было повидаться со всеми: и с Джульеттой Протопопуло, и с друзьями детства мужского пола. Кроме того, хотелось посмотреть и самую Москву.

План, по которому Ауэ действовал каждое четырехлетие, был прост, удобен и проверен на опыте. Друзьям посылались открытки («дорогой», «дорогая»), где Иосиф Евгеньевич назначал свидания в излюбленных местах («были когда-то и мы москвичами») и строго требовал пунктуальности («будем американцами!»).

И его никогда не обманывали. Все любили своего трогательного провинциального друга. Даже грубиян Сундукевич не обманывал. Он бросал все дела и бежал куда-нибудь к памятнику Гоголя или к часам на Садово-Каретной, где знатоку бобовых приходило в голову назначить очередную встречу. О Джульетте же и говорить нечего. Уже за день до приезда Ромео она сидела в парикмахерской, где ей железными приборами завинчивали локоны.

Все празднично шумело на Иосифе Евгеньевиче, когда он вышел на вокзальную площадь Москвы. Шумел резиновый плащ, шумел люстриновый пиджак (откуда только берутся на пожилых научных работниках эти люстриновые пиджаки?).

Открытки были посланы давно. Места встреч были точно обозначены. Время было распределено самым идеальным образом.

Ауэ прибыл на Красную площадь минута в минуту. Здесь, у памятника Минину и Пожарскому, его должен был поджидать специалист по уху, горлу и носу, нежный доктор Левиафьян.

Новая, слегка выпуклая гранитная мостовая площади очень понравилась товарищу Ауэ. Не надо было смотреть под ноги, спотыкаться о проклятый булыжник. Можно было двигаться, гордо задрав голову. И, гордо задрав голову, Иосиф Евгеньевич двинулся вперед и тут же увидел, что место свидания исчезло.

Исчез памятник Минину и Пожарскому, который воздвигла им благодарная Россия. Ауэ повертелся.

Да. Место было совершенно гладкое, как и вся площадь,— ровные диабазовые кубики.

Постоять на месте памятника и поразмыслить, что же произошло, не представлялось возможным, потому что по мостовой с шорохом пробегали грузовики.

На расспросы прохожих о судьбе гражданина Минина и князя Пожарского ушло порядочно времени. Наконец выяснилось, что монумент находится в полной исправности, но стоит сейчас в ограде Василия Блаженного. Оказалось, что Россия благодарна попрежнему, но памятник перетащила подальше с дороги.

— Чтоб не мешал заниматься! — сказал прохожий.

Когда Ауэ прибыл к подножию гражданина и князя, которые, кстати сказать, указывали своими зелеными ручищами уже не на Кремль, а на далекий магазин Мостропа по Тверской, то доброго Ухогорлоноса уже не было. Конечно, он не дождался и побежал к своим больным вырезать им полипы в носах.

Горевать было некогда. Нужно было спешить к Иверской, на свидание с Ваней Сундукевичем. Ауэ двинулся стрелковым маршем. Сундукевич человек занятой и долго ждать не будет.

Три обстоятельства поразили Иосифа Евгеньевича, когда он прибыл на рандеву, причем все эти три обстоятельства вытекали одно из другого, а равно и вливались одно в другое, создавая таким образом какой-то порочный круг.

Сундукевича не было.

Очевидно, его не было потому, что не было никакой Иверской и поджидать ему было негде.

А Иверской не могло быть по той причине, что раньше она была прислонена к воротам, а ворот-то и не существовало. Их снесли.

Ничего не было. Был широкий проезд, по которому двигались колонны пешеходов и опять-таки зловредные грузовики. Были и гранитные кубики, только на этот раз выложенные дугами.

— Клейнпфлястер,— объяснил прохожий,— усовершенствованная мостовая.

Про Иверскую Ауэ даже не спросил. Стало совестно.

Некоторое время он мыкался в толпе, крича: «Сундукевич, Сундукевич!», — потом, взглянув на часы и ахнув, заторопился в Охотный ряд, где в левом углу, у магазина старинной советской фирмы «Пух и перо» так приятно будет увидеться с двумя друзьями, братьями — тт. Савичем и Авичем.



Здесь было уже черт знает что!

Во-первых, асфальт, во-вторых, молодые деревья, в-третьих, справа — грандиозная постройка и, в-четвертых, слева — полное отсутствие того самого угла, где у магазина «Пух и перо» должны были, взявшись за ручки, поджидать Ауэ два брата — Авич и Савич.

Вполне возможно даже, что аккуратные братья ждали его там, но проникнуть к ним было невозможно. Угол был обшит высоким забором, на котором имелись надписи: «Постройка метрополи-

тена», «Вход посторонним лицам воспрещается» и «Предъявляй пропуск, не ожидая требования».

Оставалась любимая женщина — Джульетта Протопопуло. Свидание предполагалось на Лубянской площади, у фонтана, где бронзовые бамбино держат в пухлых ручонках виноградные гроздья.

— Посмотрим, посмотрим,— шептал Ауэ, с трудом подымаясь по Театральному проезду,— может быть, уже и площади нету.

Нет! Площадь была (новая диабазовая мостовая).

Но фонтана не было.

Через то место, где он стоял, проходили трамваи, стуча на пересечении путей. И там, где должна была стоять трепетная Джульетта с подвинченными локонами, стоял милиционер.

Помимо всего этого, по площади ходить воспрещалось во избежание несчастных случаев.

Где-то по городу, может быть даже совсем близко, в десяти шагах, бродили друзья и любимая женщина, и все они были недосягаемы.

А во всем был виноват Ауэ, любвеобильный, хороший Ауэ. Он думал, что знает Москву, но он знал не ту Москву.

Что же будет через четыре года, когда Иосиф Евгеньевич Ауэ снова устремится на конгресс работников по культуре бобовых растений?

Маленькое добавление. Когда автор настоящего труда явился в редакцию «Крокодила», чтобы сдать рукопись, сотрудники стояли в шляпах, а курьеры, кряхтя, уносили столы на тумбах, пишущие машинки и прочую утварь.

— Идем отсюда скорее,— сказал редактор,— наш дом сносят. Здесь будет гостиница Моссовета на тысячу номеров.

И действительно, дом уже обносили забором.

1932

ВЕЛИКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ШЛЯХ

Недавно в литературном мире произошло чрезвычайно крупное событие.

Нет, нет! Совсем не то, о котором вы думаете.

Это было другое событие, случай, если хотите. Но весьма важный случай. Между тем никто не обратил на него внимания. Мы вообще как-то равнодушны, многого не замечаем, привыкли. В ГИХЛе черт знает сколько месяцев висело над кассой печатное сообщение:

ОСТАВЛЯЙ ИЗЛИШКИ НЕ В ПИВНОЙ, А НА СБЕРКНИЖКЕ

И ничего. Писатели не обижались, хотя намек был более чем прозрачный. Если принять в расчет, что в этой кассе получают гонорар только литераторы, а также то, что ГИХЛ является почти единственным издателем изящной литературы, то в беспробудном пьянстве подозревались все наличные кадры беллетристов, поэтов и критиков. И все-таки претензий не поступило. Прочли, но не осознали, не почувствовали всей обидности намека, как-то недопереварили и побежали по своим делам в соседний коридор,— скажем, в «Редакцию поэзии» (тоже странное название, а все молчат, привыкли).

Итак, событие.

В литературное учреждение,— есть такие учреждения,— пришел писатель Алексей Самообложенский, получивший известность выдержанной повестью «Пни и колдобины» из жизни мороженщиков. В руках он держал бумагу, на которой с боевой краткостью было написано:

РАПОРТ

Ввиду перегрузки общественной работой лишен возможности мобилизовать себя для написания давно задуманного романа-двулогии, выпуск которого я хочу приурочить к пуску первой очереди московского метрополитена.

Настоящим прошу предоставить мне четырехмесячный творческий отпуск.

Основание: Необходимость сочинения указанной выше двулогии.

Приложение: Без приложений.

Подпись: *Алексей Самообложенский.*

Эту бумагу он показал другим писателям, которые судачили, сидя в коридоре на подоконниках.

И опять никто не удивился. Никто не спросил, почему бумага озаглавлена «рапорт» и при чем тут метрополитен. А главное, никто даже не подумал о странности и ненатуральности требования отпуска на предмет исполнения основных писательских обязанностей. Ведь почтальон не уходит в специальный отпуск, чтобы разнести по квартирам письма и телеграммы. Вагоновожатый тоже занимается своим делом, не испрашивая на это особой резолюции.

Вообще действия Самообложенского показались всем естественными. Ему даже сказали:

— Сильно написано, Алеша. В особенности насчет метрополитена. Очень убедительно. Тебе обязательно дадут отпуск.

— Конечно, дадут,— радовался Самообложенский.— Буду писать. Знаешь, подлежащее, сказуемое, какая-нибудь идея, какая-нибудь метафора. Прелесть!

— А ты кому, собственно, собираешься подать сей рапорт?

— Да уж подам. Где-нибудь здесь, в Доме Герцена. В Союз писателей.

— А ты подай копию в РЖСКТ «Советский писатель». Смотри, Алешенька, уедешь в творческий, а они как раз тебе квартиры и не дадут.

— Да, да,— забеспокоился Самообложенский,— копия в РЖСКТ, копия в столовую.

И вдруг обнаружился скептик. Он сказал:

— Почему же рапорт нужно подавать в Союз писателей? При чем тут Союз? Они скажут: «Пожалуйста, пишите. Ваше дело. А отпусков мы не даем. У нас никто не состоит на службе». А вместе с этим отпадут и копии.

Самообложенский очень испугался.

— Кому же подавать? Может, в ГИХЛ? Или в Наркомпрос?

— Да садись просто за стол и пиши себе на здоровье.

— Нет, просто за стол я не могу. Тут есть какая-то индивидуалистическая, антиобщественная нотка. Какой-то анархизм чувствуется, бесплановость. Знаете, я, кажется, попрошу мой отпуск в Главлите.

— Как сказать! Это, правда, тоже не их дело, но они, понимаешь, могут не разрешить. Ты уж лучше в Главлит не подавай.

— Тогда в Литературную энциклопедию? Все-таки солидное учреждение. Я у них скоро выйду на букву «С». Они не посмеют мне отказать. А копии можно будет в Большую советскую энциклопедию, в Малую, в Техническую, в Медицинскую. Ну, и на всякий случай копию московскому прокурору. А?

— Что ж, это идея.

И бедный Самообложенский побрел по коридору, насыщенному бензиновым запахом супов, свинобобов, старых пальто и канцелярских чернил.

Как дошел Самообложенский до такого странного состояния? Что привело его к составлению трагического документа?

Это было три года назад. Он был молод и наивен, писал свои «Пни и колдобины» и вдруг совершенно случайно,— кажется, затем, чтобы попросить спичку,

вошел в одну из комнат Дома Герцена. Там сидели четыре человека. Прикурить они ему не дали, а вместо того, зловеще посмеиваясь, избрали вице-президентом комиссии по установлению единого образца писательской членской книжки.

Самообложенский не знал еще того правила, что нельзя входить в комнату, где собралось больше четырех писателей. Обязательно куда-нибудь выберут. Новый вице-президент стал ходить по комнатам, чтобы все-таки у кого-нибудь прикурить, и к концу дня состоял уже в пятнадцати комиссиях. В иные он был избран единогласно, в другие — кооптирован, тоже единогласно. (Вот, дети, весь вред курения! Никогда не курите, дети!)

И началась для Алексея Самообложенского новая, не то чтоб счастливая, но необыкновенно кипучая жизнь. Он стал известен, гораздо более известен, чем когда сочинял свою повесть. Имя его постоянно упоминалось в газетах. Он много заседал и помогал выносить полезные решения.

Но писать он перестал. Его пишущая машинка заржавела, а стопа бумаги, полученная в ГИХЛе для творческих надобностей, незаметно разошлась на протоколы.

И замечательная молодость ушла на создание всяческих «слушали — постановили». «Слушали вопрос о перекраске забора в экономический зеленый цвет. Постановили забор перекрасить в зеленый экономический цвет, а вопрос об олифе проработать т. Самообложенскому совместно с т. Сексопильщиковым из киносекции». «Слушали об организации междугородной переклички писателей с талдомскими кустарями. Постановили перекличку организовать, поручив т. Самообложенскому подготовить материалы».

И через три года такой гордой жизни появился невероятный на первый взгляд рапорт о желании получить творческий отпуск.

Ему дали отпуск. На рапорте появилась чья-то резолюция. Может быть, действительно сжалился прокурор, а может быть, разрешило домоуправление (по месту жительства).



Говоря коротко, Алексей Самообложенский, писатель, сел за письменный стол. Все было прекрасно. Чернильница была полна. На столе лежала новая стопа гихловской бумаги. Верный друг, отремонтированная пишущая машинка сияла белыми кнопками и велосипедным звонком.

Вдохновение пришло не сразу. Роман-двулогия не сразу обозначился на бумаге.

Название — «Первая любовь». Зачеркнуто. «Вторая молодость». Зачеркнуто. «Третий звонок». Зачеркнуто. «Четвертый этаж». Зачеркнуто. «Пятое колесо». Тут что-то есть. Итак, «Пятое колесо».

И здесь застопорило на два дня. Не пролилась ни одна капля чернил. Двулогия не вязалась. Не подбирался нужный тон. Вообще никакого тона не было. Писатель не мог извлечь из себя ни одной ноты. Он забыл, как это делается.

— Может быть, ты, Алешенька, пошел бы в какую-нибудь комиссию, рассеялся бы,— посоветовала жена.

— Да, да, комиссия! Комиссия — это хорошо. Тут что-то есть. Напрашивается какая-то новая форма, какое-то новое слово в литературе.

Писатель вспомнил. Да, да, листки папиросной бумаги, лиловый шрифт, зеленый забор, олифа, звучная перекличка с кустарями.

И рука сама погнала давно задуманных героев по дороге, пробитой заседателями, по великому канцелярскому шляху.

ПЯТОЕ КОЛЕСО

Роман-двулогия

СЛУШАЛИ	ПОСТАНОВИЛИ
1. Был весенний вечер, когда Николай Кандыба, молодой осодмилец, вышел из ярко освещенного клуба бумажников.	1. Принять к сведению.
2. Ганка уже ждала его на лавочке, как и в прошлый раз, как и в многие прошлые разы их затянувшейся связи.	2. Создать комиссию для исследования отношений т. Кандыбы с т. Ганкой.
3. И хотя Кандыба знал, что между ними все кончено, и знал, что и Ганка знает об этом, как знают об этом все члены добровольного общества содействия милиции, где они с Ганкой раньше дружно работали, но знание это не могло придать ему силы, чтобы честно, по-комсомольски сказать ей о том, что хотя он не хочет причинить ей неприятности, но он, Кандыба, может и должен причинить ей неприятность, хотя осодмильский коллектив считает, что он не должен и не может поступать так, как он поступать не должен.	3. Указанный вопрос доработать на следующем заседании.

Новая, блестящая форма была найдена. Двулогия писалась легко. Она вязалась.

Уже задолго до истечения творческого отпуска Алексей Самообложенский доставил готовую рукопись в издательство. Для большей, так сказать, впе-

чатляемости она была отпечатана на папиросной бумаге.

Через две недели явился за ответом.

— Прекрасно,— сказал заведующий издательством.— Ваша двулогия — великолепный творческий документ, говорящий за то, что вы смогли бы занять у нас должность начальника канцелярии. Какой слог! Какая форма! Хотите? А? Тем более что бумаги у нас все равно мало.

Под давлением жены Самообложенский согласился.

Сейчас он служит и считается дельным работником. Правда, в составляемых им отношениях проскальзывает иногда излишняя писательская легкость, ненужная метафоричность, но его непосредственное начальство убеждено, что со временем это пройдет бесследно.

1932

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕНЯ

Зима окончилась. Дни становились все прекраснее, но вечерняя газета продолжала запальчиво информировать читателя, что Москва по-прежнему обеспечена топливом и калошами. А весна уже вкралась в последние дни апреля, незаметно и проворно, как вкрадывается увлекательная опечатка в газетную передовицу. И уже не о калошах нужно беспокоиться, но о каком-нибудь дедушкином квасе.

В общем, вместе с зимой окончился сезон.

Между тем авторы что-то помалкивают. За лето быстрые халтуртрегеры напечатали множество индустриальных тропарей, житий ударников, спасокооперативных романов и прочей изящной словесности, а отмежевываться от всего этого даже еще не начали. Это тем более удивительно, что в прошлом году в это же время сладкая пора литотмежеваний была уже в полном разгаре. Неповоротливость, какая-то негибкость халтуртрегеров в этом отношении просто непонятна.

Именно сейчас, когда май-чародей веет свежим своим опахалом и лучезарны вечера в залах Комакадемии, самое время начинать отмежевываться. Об этом забывать нельзя. Надо торопиться.

Необходимо помнить, что на сочинителей, не отмежевавшихся своевременно, начисляется идеологическая пеня из расчета 0,2 (ноль целых две десятых)

ругательной статьи на печатный лист художественной прозы.

У всех перед глазами должен стоять ужасный пример автора мелкобуржуазного романа «Жена предместкома». Преисполненный гордыни, он не пожелал отмежеваться вовремя от своего литературно-художественного произведения. И что же? Сейчас наступает юбилейная дата. Исполняется два года с тех пор, как мелкобуржуазный автор все отмежевывается, все отмежевывается и все недостаточно, все недостаточно.

А почему? Пропущено было золотое время, наросла пеня.

Необходимость отказа от ошибок застигла его врасплох, и отмежевываться он начал беспорядочно и вульгарно, теряя запятые, метафоры и даже целые придаточные предложения. Он бежал с поля битвы, как румынский полковник, тряся животом и размазывая по лицу грязные слезы.

Ужасен этот пример, и давно уже пришло время внести стройность и порядок в литотмежевательное дело. Халтуртрегерам необходимо беспрестанно помышлять о спасении. Нужны некие нормы. Необходимо расставить вехи на этом нелегком пути.

Конечно, приходится начинать не на голом месте. Кое-что сделано уже и сейчас. Отдельные сочинители накануне выхода в свет своего нового произведения письмом в редакцию извещают гр. гр. критиков о том, что автор сам знает недостатки своей книги, что имеющиеся в книге идеологические бреши спешно заделываются для второго издания и что ввиду этих обстоятельств подвергать книгу разбору несвоевременно.

Как ни странно, но такая простейшая прививка часто помогает. Однако дело отмежевания от литературных грехов и срывов нельзя оставить во власти подобного самотека.

Отмежевание никоим образом нельзя отделять от самого произведения. Оно должно составлять как бы часть самой книги.

Между последней фразой сочинения и тем местом, где издательство обычно печатает патетиче-

ский возглас: «Читатель! Пришли свой отзыв об этой книге в ГИХЛ, Никольская, 10», должно быть помещено краткое отмежевание автора по стандартной форме «А»:

«Считаю мой роман «Отрыжка прошлого» реакционным как по содержанию, так и по форме и представляющим собой развернутый документ узколобого кретинизма и мещанской пошлости. Сейчас я нахожусь в развернутой стадии перестройки и работаю над идеологически выдержанным романом «Апатиты» (название условное), с каковой целью выезжаю на месторождения этого полевого шпата. Валерьян Молокович».

Однако эта в общем удовлетворительная форма — еще не все. Хорошо бы пойти дальше и включить литотмежевание в издательский типовой договор на будущую книгу.

«Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, Государственное издательство художественной литературы, именуемое в дальнейшем «Издательство», и, с другой стороны, Валерьян Молокович, именуемый в дальнейшем «Автор», заключили настоящий договор в том, что... (идут обычные пункты договора).

§ 18. Автор признает свой роман «Апатиты» (название условное), который он должен сдать не позднее 1 августа 1933 года, грубой, приспособленческой халтурой, где убогость формы достойно сочетается с узколобым кретинизмом содержания, беззастенчивой лакировкой, ячеством и преклонением перед голой техникой.

§ 19. Издательство, со своей стороны, признает свою ошибку, выразившуюся в издании десятитысячным тиражом книжонки некоего Молоковича под зазывно-кинематографическим названием «Апатиты» (название условное), в то время как бумажные ресу...»

От тех литературных старателей, кои не озаботились помещением отмежевания ни в договор, ни в книгу, запоздалых писем в редакцию принимать не следует, чтобы не загромождать газет.

Всякого рода литотмежевки и посыпания главы пеплом и мусором следует помещать за плату по нормальному тарифу в отделе объявлений, между извещениями: «Пропала сука» и «Я, такой-то, порвал связь с родителями с 18 часов 14 минут 24 мая 1926 года».

По условиям места отмежевка должна занимать не больше трех строк нонпарели.

«**Счит.** ром. «Шестеренки и четверенки» разверн. документ, узколоб. кретин. и мещ. пошл. Пр. крит. считать наход. стад. перестр. Там же прод. нов. дуб. письменный стол и дамский велосипед. Спросить Валерьяна Молоковича».

В области театра обыкновенное отмежевание можно сделать зрелищно занимательным, насыщенным и достигающим большой художественной впечатляемости.

Пользуясь принципами comedia dell'arte, можно ввести авторское отмежевание в пьесу в виде злободневной интермедии.

Автор и режиссер появляются перед занавесом и, взявшись за руки, под музыкальное сопровождение доказывают публике, что настоящий спектакль — это пройденный этап и что они со дня общественного просмотра неустанно перестраиваются. Здесь возможен эффектный конец: автор и режиссер проваливаются в люк, из которого бьют серный дым и пламя.

В цирке и мюзик-холле отмежевание можно заканчивать «табло 30 лошадей» или «чудесами пиротехники».

Авторы малых форм, где существует обезличка и неизвестно, кто чтó написал, должны приводиться к отмежеванию все скопом не реже одного раза в месяц в помещении Всероскомдрама по окончании служебного дня.

Что касается поэтов, то пора уже покончить с их попытками ублаготворить общественность отмежева-

ниями в прозаической форме. Нет, и еще раз нет! Раз нашкодил в стихах, то в стихах и отмежевывайся!

ПОСЛЕСЛОВИЕ К КНИГЕ «КОТЛЫ И ТРУБЫ»

Спешу признать с улыбкой
                                        хмурой
Мой
      сборничек
                        «Котлы и трубы»
Приспособленческой халтурой,
Отлакированной
                        и грубой.

Евт. Аэроплун. Группа «За бой»

И как приятно, проделав своевременно все потребные манипуляции, сидеть на балконе, среди фикусов и уважающих твой талант родственников, взирать на перестраивающуюся по случаю весны природу и сознавать, что где-то, задыхаясь и разрывая на себе толстовки, бегут рвачи-энтузиасты, халтуртрегеры и золотоискатели, просрочившие все сроки.

Они бегут, а пеня все растет, растет.

1932

РОЖДЕНИЕ АНГЕЛА

Задание было дано серьезное. Нужно было создать киносценарий на индустриальную тему. Трудно, трудно писать сценарий на такую тему. Но главная трудность заключалась в том, что герой обязательно должен быть положительным.

Сценарий создавали восемь человек: Патушинский, Учетов и Самозвонский, два Попова, Анна-Луиза Кошкина, Семен Агентов и Голенищев-Кутузов 2-й.

Для успешности работы к сценарной группе были приданы два отдельных эскадрона консультантов.

Полки вел Голенищев-Кутузов 2-й. Он был главный, он и открыл заседание.

— По линии наименьшего сопротивления,— сказал он,— у нас все обстоит благополучно. Отрицательные типы нам удаются. Пора создать положительный тип нашего времени.

— Верно,—сказал Самозвонский,— положительный тип — это вам не отрицательный.

И все с жаром заговорили о том, как легко работать над созданием отрицательных персонажей.

— Кадры так и льются,— со вздохом сказала Анна-Луиза Кошкина,— так и льются.

— Положительный тип должен быть с бородой,— ни к селу ни к городу заметил один из консультантов.— Так убедительнее.

Патушинский и Учетов подняли ужасный крик. Они решительно не понимали, при чем тут борода. Она не казалась им убедительной. Почему борода? Не пахнет ли это отрыжкой допетровской Руси? При этом оба сценариста кричали, словно их резали.

— А впрочем,— неожиданно сказал Патушинский,— можно и с бородой. В бороде чувствуется какая-то связь с деревней.

За Патушинским приутих и Учетов.

— Значит, с бородой,— подвел итог председатель.— Пойдем дальше.

Но дальше пойти не удалось. Посыпались протесты. Говорили, что фильм до некоторой степени все-таки должен быть молодежный. И уместен ли будет главный персонаж с бородой? Снова поднялся крик. Одни говорили, что уместен, другие убеждали, что неуместен. Рассказывали, что пятнадцатилетний юноша с бородой — далеко не единичный случай. Пошли разговоры о чудесах природы, о двухголовых телятах, даже о русалках. Кто-то сообщил, что своими глазами видел женщину с бородой.

— Кстати,— задумчиво сказал Семен Агентов,— не сделать ли нам женщину с бородой центральной положительной фигурой нашего фильма? Но уже, конечно, не в героическом плане, а в разрезе бытовой комедии. А? Что вы скажете, товарищи?

— Надо обсудить,— молвили братья Поповы (Борис и Глеб).

Тут взял слово двенадцатилетний консультант-вундеркинд, выученик Академии пространственных искусств при Мострополе.

— Женщина с бородой может иметь место,— возвестил он,— только надо избежать комикования, чтобы не вышло, как у Чарли Чаплина.

— Ты, мальчик, не бойся,— рассудительно заявил Голенищев-Кутузов 2-й,— как у Чаплина не выйдет. За это можно поручиться.

— С ума вы посходили! — закричала вдруг Кошкина.— Кто вам разрешит женщину с бородой? Репертком ни за что на это не пойдет. Репертком почему-то не любит феноменов.

— К делу, к делу, к делу! — сказал председатель.— Каким же должен быть положительный персонаж?

И все принялись думать тяжкую думу. Консультанты беззвучно шевелили губами. Сценаристы рассеянно рисовали в блокнотах фигурки карликов и женщин с бородами.

— Знаете что? — решительно сказал Самозвонский.— Я нашел выход. В конце концов положительный тип — это есть антипод отрицательного. Они — два полюса. Поэтому давайте подходить к положительному от отрицательного. Например, отрицательный тип пьет. Положительный — не пьет. Отрицательный — лодырничает, положительный — ударно работает...

Новая установка Самозвонского произвела большое впечатление.

— Затем,— продолжал он,— отрицательный — курит, положительный — не курит, отрицательный — некрасивый, положительный — красивый. Один обедает, другой не обедает.

— Как? Совсем не обедает?

— Нет. Он обедает. Но, скажем, не ест мяса. Положительный должен быть вегетарьянцем.

— Позвольте, раз вегетарьянец, значит — толстовец.

— Ну что вы навалились, товарищи! — заныл Самозвонский.— Дайте кончить. Он, конечно, ест мясо, но где-нибудь за кулисами, не на экране. Чтобы не было этого физиологизма, всех этих биологических штучек.

— Правильно,— сообщил консультант-вундеркинд,— главное, чтобы не было, как у Довженко или Пудовкина.

— Что ты, мальчик, волнуешься? — рассудительно заметил Голенищев.— Не будет, как у Довженко. И как у Пудовкина не будет. Но достаточно ли положительных признаков у нашего героя?

— Мало! мало! — закричали консультанты.— Еще давай!



И после длительных прений решено было наградить героя еще следующими достоинствами:

а) Он должен быть членом всех добровольных обществ, работу коих было бы, кстати, не плохо отразить в фильме.

б) Он одинок, так как семейная жизнь может совратить его с правильного пути.

в) Посещает ли он заседания месткома? — Безусловно.

г) Борода, конечно, утверждается (связь с деревней).

д) Утром он работает. А вечером? — Учится. А ночью? — Читает газеты, чем расширяет свой кругозор. А по дороге с завода домой? — Борется с плохой кооперацией.

е) Борется ли он с прочими бытовыми неполадками? — Да. А как это показать? — Пустяки. Для этого есть надписи.

— Ну что, кажется, можно начинать? — бодро спросил Самозвонский.— Тип ясен? Кое-что доработаем по ходу сценария. Анна Мартыновна, возьмите листок бумаги и карандаш. Значит, так...

И на бумаге появилась первая запись:

1. Волнующе-призывно звучит заводской гудок...

2. Из помещения ячейки общества «Друг детей» выходит Никаноров, держа под мышкой «Анти-Дюринг»...

Эта картина, по всей вероятности, уже готова, и мы скоро увидим на экране сверхположительного героя, которому не хватает только крыльев, чтобы стать заправским ангелом, играющим на цимбалах в райских кущах.

1932

ПЫТКА РОСКОШЬЮ

Стоит только недосмотреть за каким-нибудь незначительным явлением жизни, как оно сразу превращается в проблему и уже в качестве таковой начинает волновать умы.

Так родилась проблема бритья и стрижки.

В старину человечество уделяло непомерно много внимания борьбе с лысиной. В газетных объявлениях главное место обычно занимала радостная исповедь пехотного майора французской службы, господина Адольфа Шантажу о том, как он, пехотный майор, натирая свою лысую, как детский горшок, голову пастой «Анти-Лысотикон», в два дня добился поразительных результатов.

На его голове со свистом и грохотом выросла густая и красивая шевелюра.

Счастливая судьба не существующего в природе господина Шантажу вызывала суматоху среди лысых. И они тоже втирали в свои плеши различные «Анти-Лысотиконы», «Вырастатели» и прочие волшебные средства, рекомендованные капитанами и тамбурмажорами преимущественно французской службы. В общем, все хотели быть волосатыми.

Сейчас парикмахерская проблема повернулась другой стороной.

Граждане хотят избавиться от своих волос. И это почти так же трудно, как вырастить их на голом месте по способу Адольфа Шантажу.

Московские парикмахерские превратились в читальни. Где-то в глубине салона, перед голубоватым зеркалом, трудится мастер в полубелом фельдшерском халате. Но его почти не видно. Он затерт толпой ожидающих клиентов. Самые молодые и неопытные коротают время, перечитывая по двадцать раз единственный номер детского журнала «Козявка», который от частого употребления готов рассыпаться в порошок. Тоскливо шевеля губами, они моментально заучивают наизусть слова задушевного детского стишка:

«Толя, Коля и Машутка
Закричали: «Вот так шутка!
После разных неудач
Стал папаша наш избач.
Динь-бом,
Динь-динь-бом!
Свет несет в деревню он».

Совсем не так поступает опытный клиент. Опытному клиенту точно известно, сколько часов придется прождать в парикмахерской очереди. Потому он и является с соответствующей по тоннажу книгой. Чаще всего это бывает «Граф Монте-Кристо», роман в шести частях с прологом и с эпилогами, или современная эпохальная трилогия в шестьсот страниц текста и вступительной статьей, отмечающей ошибки автора. Этого хватает в обрез. Приглашение мастера занять место совпадает с благополучной концовкой романа.

Но тут начинается новое мученье — пытка роскошью.

— Голову рекомендую мыть хной,— тихо говорит мастер.

Клиент бросает косой взгляд на прейскурант (мытье головы хной — 2 р. 50 к.) и начинает врать, что он недавно был в бане.

— Перхоти много,— угрожающе говорит мастер,— может, помоем «Пиксапо»?

Но клиент отказывается и от «Пиксапо» (1 р. 50 к.). Тогда на лице мастера появляется выражение, которое нужно понимать так: «Что ж, а ля гер, ком а ля

гер,— на войне как на войне. Бывают раненые, бывают убитые».

Вслед за сим обездоленный мастер начинает бритье, стараясь вместе с волосяными покровами снять также и кожные.

Уже в середине операции клиент сознает, какую гибельную ошибку он совершил, и говорит дрожащим голосом:

— А может быть, в самом деле помоем голову «Пиксапо»?

— Помоем хной,— сурово отвечает мастер.

Клиент готов на все. И пытка роскошью начинается. Клиенту моют голову дорогой персидской жижей и сушат волосы электрической машинкой, потом снова поливают, на этот раз хинной водой, и снова сушат салфеткой. Дальше в ход идут бриолин, горячий компресс на щеки, сухой пресс на голову, одеколон «Сирень», цветочная вода Фармзавода № 8, причесывание бровей специальной щеточкой и, сверх прейскуранта, насильственное выщипывание волос из носа и из ушей хирургическими клещами.

Счет достигает пяти рублей, и когда клиент направляется к двери, шатаясь от горя, его неожиданно по спине бьет веником швейцар с преданными и льстивыми, как у сеттера, глазами. Он отбирает последние, припасенные на трамвай десять копеек и, по старинному обычаю, низко кланяется.

Домой страдалец идет пешком, бессмысленно лепеча: «Динь-бом, динь-динь-бом», и размышляет о самовластии парикмахеров.

Самовластие это безгранично. В поселке Клязьма, под Москвой, есть парикмахерская, где под обыкновенным кличем: «Одеколон — не роскошь, а гигиеническое средство», висит сообщение хозяина:

КРЕПКИЕ, ЖЕСТКИЕ ГОЛОВЫ И БОРОДЫ Я НЕ БРЕЮ

А так как на Клязьме скопилось много зимогоров с крепкими и жесткими головами и бородами, то бриться они ездят поездом в Пушкино, где их подвергают пытке роскошью.

В Надеждинске на семьдесят тысяч рабочего населения есть только три парикмахерские. Проблема бритья и стрижки достигла там предельной остроты. Если бы Большой театр решил вдруг выехать в Надеждинск на гастроли, особенным успехом пользовался бы там «Севильский цирюльник», а то место, где Фигаро без всякой очереди бреет Бартоло, несомненно вызвало бы громовые аплодисменты, бурю рукоплесканий, овацию.

Раньше, когда человек вдруг начинал отращивать бороду, было ясно, что это киноактер, готовящийся сниматься в роли опричника в фильме «Приключения Иоанна Грозного». Теперь свежая и длинная борода показывает, что собственник ее устал бороться с парикмахерскими очередями, что ему надоело читать «Графа Монте-Кристо» и что, наконец, ему невмоготу посвящать своему подбородку выходные дни, мудро предназначенные для отдыха.

Нужно торопиться.

Надо либо пригласить в консультанты легендарного майора Адольфа Шантажу, мастера на все руки, который, вероятно, имеет в запасе какой-нибудь «Анти-Волосатин», вызывающий молниеносную потерю волос, либо открыть много хороших парикмахерских (без пытки роскошью), изжив, таким образом, разросшуюся проблему бритья и стрижки и сведя ее до размеров обыкновенного жизненного явления.

1932

ОТДАЙТЕ ЕМУ КУРСИВ

Когда отменили букву ять, учитель очаковской казенной прогимназии И. Ф. Канторский сошел с ума. Он поджег двухэтажное здание благотворительного о-ва «Капля молока» и бежал в степь. Поймали его только через три дня силами пожарной команды и роты бывших потешных указанной прогимназии. Любопытно отметить, что, когда г. Канторского вели по улице, он громко выкрикивал: Звѣзды, сѣдла, цвѣл, приобрѣл».

Хроника б. Херсонской губернии

Вначале в общем шуме ничего нельзя было разобрать.

Писатели говорили все разом.

Вполне возможно, что они лили воду на чью-то мельницу. Но чья это была мельница, никто точно сказать не мог, потому что РАПП уже закрылась и некому было провернуть этот животрепещущий вопрос.

В конце концов выяснилось, что говорили главным образом о критиках. И надо прямо сказать, что суждения художников слова отличались некоторой пристрастностью. Высказывались, например, в том смысле, что критиков хорошо бы вешать на цветущих акациях. Это было слишком поэтично и чуть-чуть бес-

сердечно. Придумывались еще худшие казни. Предлагали поймать известного младокритика и отобрать у него литературный инструмент (кавычки, многоточия, sic, восклицательные знаки и «курсив мой»).

Очень, очень жесткие слова говорили. И, конечно, несправедливые слова.

Критики должны иметь место. Без них не может быть полного счастья.

Пусть только не будут первыми учениками, зубрилами с вытаращенными от усердия глазами.

Кто их не помнит, гимназистов, в синих фуражках с белым кантом и серебряным гербом!

На большой перемене, когда ученики играли в скок-скок-скакуна и в «ушки» или предавались чтению выпусков «Этель Кинг — женщина-сыщик», зубрила сидел на подоконнике и горестно бормотал:

Бѣло-сѣрый бѣдный бѣс
Убѣжал, бѣдняга, в лѣс,
Лѣшим по лѣсу он бѣгал,
Рѣдькой с хрѣном пообѣдал
И за горький тот обѣд
Дал обѣт не дѣлать бѣд.

И форма и содержание этого стиха говорят за то, что писал его не Пушкин, не Александр Сергеевич. Как-то не очаровывал этот стих. Не дул от него ветер вдохновенья. Но зато таились в нем волшебные свойства. В стихотворение входили только слова с ятями. Это было специальное педагогическое произведение, которое в популярной художественной форме вбивало в мозги учеников столь необходимый « five».

Зубрила никогда не пытался проникнуть в глубь грамматического вопроса. Он не допытывался, почему вдруг бес бегает по лесу и жрет хрен. Он знал только, что нужно ответить без запинки. Тогда все будет хорошо. И родителей не вызовут для объяснений, и в кондуитном журнале не будет о нем гадких, компрометирующих записей.

А главное, не надо было думать. Выпалил заученное, получил пятерку и пошел прочь. Завтра выпалил то же самое. Послезавтра — опять то же самое.

Хорошо быть первым учеником, критическим зубрилой литературной прогимназии!

Автор ночью сидит за столом. И чай леденеет в стакане. И мысль не дается в руки. И язык получается непрозрачный, а так хочется, чтобы был прозрачный. В общем — множество дел.

И покуда автор волнуется и скачет, тут же, за перегородкой, в писательском доме монотонно бормочет свои критические вирши первый ученик:

Бойтесь, дети, гуманизма,
Бойтесь ячества, друзья.
Формализма, схематизма
Опасайтесь, как огня.
Страшен, дети, техницизм,
Биология вредна —
Есть в ней скрытый мистицизм,
лефовщина, феодализм, механицизм,
непреодоленный ремаркизм,
непреодоленный ревматизм,
а также шулятиковщина в ней видна.
Разделяйте все моменты
На шаги и на проценты.
Шаг вперед,
Два назад,
Автор плачет, критик рад.
Задавим «Новый мир»
И др. и др.

Зазубрив такой стих, примерный ученик без лишних дум и сомнений приступает к написанию критической статьи. Он уже овладел техникой. Он знает все слова на ять. Основа статьи имеется.

Остальное — мелочь. Но и для мелочей хранятся заголовки.

Для названия статьи употребляется так называемая формула сомнения. Если рецензируемая книга называется «Жили два товарища», статья о ней первого ученика имеет заголовок «Жили ЛИ два товарища?»

Произведение носит название «Трагедийная ночь». Рецензия — «Трагедийная ночь ли?»

Это хорошо. Это удобно. Автор сразу берется под сомнение. По заголовку статьи сразу видно, что писал

ее первый ученик, а не какой-нибудь второй. Тут стесняться нечего. Формула заголовков удобная.

«Список ли благодеяний ли?»

«Наследник ли?» или «Чей наследник?»

«Последний ли из удэге ли?»

«Севастополь ли?»

Почему он все время сомневается? Неужели он думает, что автор пытался всучить рабочему-читателю Симферополь вместо Севастополя или, скажем, Серпухов?

Да нет, ни о чем он не думает. Просто формула готова, а менять ее для какого-то попутчика не хочется. Некогда.

Начиная свою статью, первый ученик никогда не скажет: «Автор изобразил», «Автор нарисовал». Тут есть более осторожная фраза: «Автор пытался изобразить», «Автор сделал попытку нарисовать».

Привычка настолько велика, что даже о Шекспире стали писать: «В пьесе «Отелло» автор попытался изобразить ревность». Кстати, и статья называется «Мавр ли?» И читатель в полной растерянности. Может быть, действительно не мавр, а еврей? Шейлок? Тогда при чем тут Дездемона? Ничего нельзя понять!

Если писатель, не дай бог, сочинил что-нибудь веселое, так сказать, в плане сатиры и юмора, то ему немедленно вдеваются в бледные уши две критические серьги — по линии сатиры: «Автор не поднялся до высоты подлинной сатиры, а работает вхолостую»; по линии юмора: «Беззубое зубоскальство». Кроме того, автор обвиняется в ползучем эмпиризме. А это очень обидно, товарищи,— ползучий эмпиризм! Вроде стригущего лишая.

Особенно не любит первый ученик произведений, где герои объясняются в любви, женятся и так далее. Он заостряет вопрос, он ставит его ребром: нужно ли в наши дни отображать это чувство в художественной литературе? Никакой любви нет. Позвольте! Откуда же берутся дети? Чепуха! Пожилого советского читателя не трудно убедить в том, что детей приносят аисты.

Под ударами первого ученика писатель клонится все ниже и ниже. А зубрила, бормоча (чтобы не позабыть): «Есть в нем скрытый мистицизм, биологья в нем видна», принимается за самую ответственную операцию (нечто вроде трепанации черепа) — вскрывание писательского лица. Тут он беспощаден и в выражениях совершенно не стесняется. Формула требует энергичного сравнения. Поэтому берутся наиболее страшные. Советского автора называют вдруг агентом британского империализма, отождествляют его с П. Н. Милюковым, печатно извещают, что он не кто иной, как объективный Булак-Булахович, Пуанкаре или Мазепа, иногда сравнивают даже с извозчиком Комаровым.

Все эти страшные обвинения набираются курсивом и неуклонно (такова традиция) снабжаются замечанием: «Курсив мой».

Курсив мой! Курсив мой! *Мой! Мой!*

Это его курсив. Курсив первого ученика.

И эти придирчивые притязания хорошо бы наконец удовлетворить.

— Не мучьте ученика, отдайте ему его вещи, пусть возьмет свой курсив и чуть-чуть поразмыслит над ним. Пусть опомнится от зубрежки.

1932

Я, В ОБЩЕМ, НЕ ПИСАТЕЛЬ

Позвольте омрачить праздник.

Позвольте явиться на чудные именины советской сатиры не в парадной толстовке, ниспадающей на визиточные брюки, и не с благополучным приветствием, выведенным пером «рондо» на куске рисовальной бумаги. Разрешите прибыть в деловых тапочках, выцветшей голубой майке и замечательных полутеннисных брюках, переделанных из кальсон.

Конечно, легче всего было бы ограничиться шумными аплодисментами, переходящими в овацию, но все же разрешите в гром похвал внести любимую сатирическую ноту.

Дело в следующем. Не очень давно в редакцию явился довольно обыкновенный человек и предложил свое сотрудничество.

— Я,— сказал он,— в общем, не писатель. В общем, я интеллигент умственного труда, бывший гимназист, ныне служащий. Но я, видите, женился, и теперь, вы сами понимаете, мне нужна квартира. А чтобы купить квартиру, мне нужно укрепить свою материальную базу. Вот я и решился взять на себя литературную нагрузку: сочинять что-нибудь.

— Это бывает,— заметил редактор,— как раз Гете так и начинал свою литературную деятельность. Ему нужно было внести пай в РЖСКТ «Веймарский

квартирник-жилищник», а денег не было. Пришлось ему написать «Фауста».

Посетитель не понял горечи этой реплики. Он даже обрадовался.

— Тем лучше,— сказал он.— Вот и я сочинил несколько юморесок, афоризмов и анекдотов для укрепления своей материальной базы.

Редактор прочел сочинения бывшего гимназиста и сказал, что все это очень плохо. Но бедовый гимназист и тут не смутился.

— Я и сам знаю, что плохо.

— Зачем же вы принесли свой товар?

— А почему же не принести? Ведь у вас в журнале известный процент плохих вещей есть?

— Есть.

— Так вот я решил поставлять вам этот процент.

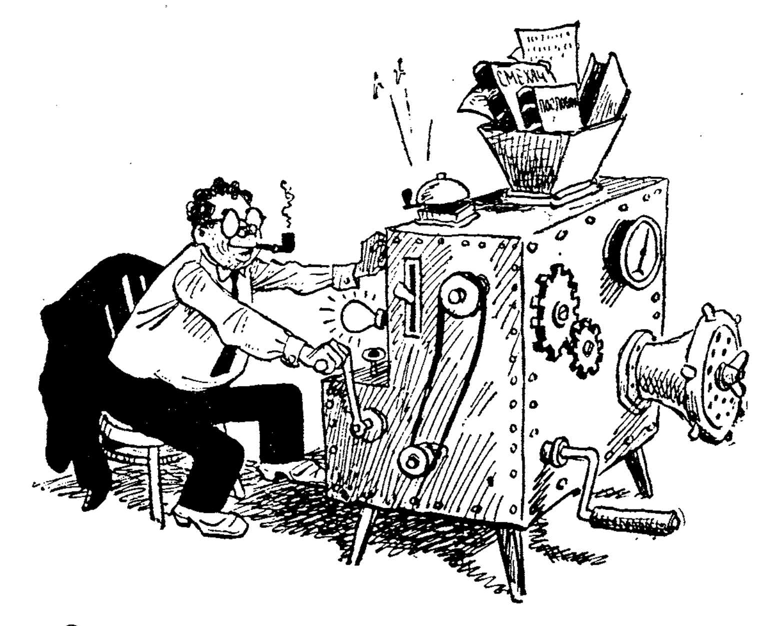
После такого откровенного заявления отставного гимназиста прогнали. А случай с процентами забылся, и о нем никто не упоминал.

Между тем хорошо было бы о нем вспомнить сейчас, в юбилейную декаду, потому что это не маленький, видно, процент плохих произведений, если человек собирался построить на него квартиру.

Неизвестно, как это произошло, но в сатирико-юмористическом хозяйстве слишком рано появились традиции. Лучше бы их вовсе не было. Кто-то уже слишком проворно разложил по полочкам все явления жизни и выработал краткие стандарты, при помощи коих эти явления нужно бичевать.

Как-то незаметно проник в веселую сатирико-юмористическую семью злодей-халтуртрегер. Он все знает и все умеет. Он может написать что угодно. У него есть полный набор литературных отмычек.

Когда-то на железных дорогах существовал трогательный обычай. На вокзалах вывешивались портреты (анфас и в профиль) особо знаменитых поездных воров. Таким образом, пассажир вперед знал, с кем ему придется столкнуться на тернистом железнодорожном пути. И всю дорогу пассажир не выпускал из рук чемодана, тревожно изучал профили и фасы своих соседей. Он был предупрежден.



О читателе нужно заботиться не меньше, чем о пассажире. Его нужно предостеречь.

Именно с этой целью здесь дается литературная фотография (анфас и в профиль) поставщика юмористической трухи и сатирического мусора.

Работа у него несложная. У него есть верный станок-автомат, который бесперебойно выбрасывает фельетоны, стихи и мелочишки, все одной формы и одного качества.

А. СТИХОТВОРНЫЙ ФЕЛЬЕТОН НА ВНУТРЕННЮЮ ТЕМУ

Басенка о коопголовотяпах и метрической системе

Сплошь и рядом наблюдается, что в единичных случаях отдельные заведующие кооплавками, невзирая на указания районных планирующих организаций и неоднократные выступления общественности и лавочных комиссий, частенько делают попытки плохого обращения с отдельными потребителями, что выражается в невывешивании прейскурантов розничных цен на видном месте и нанесении ряда

ударов метрическими гирями по голове единичных членов-пайщиков, внесших полностью до срока новый дифпай. Пора ударить по таким настроениям, имеющим место среди отдельных коопголовотяпов.

ИЗ ГАЗЕТ

Нет места в кооперативном мире
Головотяпским сим делам.
Не для того создали гири,
Чтоб ими бить по головам.

Б. МЕЛОЧИ (ШУТКИ)

— Солнце село.
— На сколько лет?

— Вечер наступил.
— На кого?

— Отчего у тебя пиджак порван? За гвоздь зацепился?
— Нет. В кооперативе купил.

В. АФОРИЗМЫ И МЫСЛИ

Если римский папа сказал «а», то Лига Наций говорит «б».

Не всякий заведующий имеет казенный автомобиль.

Жить с личной секретаршей — это еще не значит жить в мире с подчиненными.

Какая разница между казенной лошадью и казенным автомобилем? Никакой. И та и другой частенько в единичных случаях привозят отдельных заведующих на скамью подсудимых.

Вот все, что есть у владельца литературных отмычек. Вот все его мысли, его шутки, его сатира на кооперативные дела, его представление о международных проблемах.

Больше почти ничего у него и нет. Разве только так называемые юмористические фамилии. Их штук шесть. Дудочкин (совслужащий), Обиралкин (подкулачник), Добывалкин (плохой кооператор), Помадочкина (несчастная, затравленная машинистка), Канцеляркин (бюрократ и головотяп), Никишин (положительный тип, появляется в конце фельетона).

Кажется, профиль обозначился полностью. Да и фас виден довольно отчетливо. Читатель предупрежден.

А теперь, когда в гром похвал внесена родимая сатирическая нота, можно уже надеть визиточные брюки, нарядиться в парадную толстовку и бархатным голосом зачитать теплое приветствие, написанное пером «рондо» на куске рисовальной бумаги.

1932

ХОТЕЛОСЬ БОЛТАТЬ

Внезапно заговорили о пробке.

Пробка!

На время это обыкновенное и, так сказать, второстепенное слово стало главным. Его склоняли во всех шести падежах, произносили всюду, где только возможно, и весьма часто ни к селу ни к городу.

Как же такое в общем мизерное слово выскочило вперед и сделало головокружительную карьеру?

О, это началось просто. Появилась в газете заметка:

МИЛЛИОНЫ НА СМЕТНИКЕ

Заголовок серьезный, но не самый свежий. В газетах часто можно найти такие заголовки: «Миллионы ржавеют», «Миллионы под ногами», «Миллионы на ветер». Заметка «Миллионы на сметнике» без журналистской нарядности и щегольства ставила простенький вопрос — использованная пробка не должна пропадать, ее снова можно пустить в дело, и таким образом миллионы избегнут печальной необходимости валяться где-то в мусорных ящиках.

Предложение имело успех. Один видный хозяйственник высказался в том смысле, что пробку действительно не худо бы собирать. С этим согласились все.

Тут-то и надо было начать сбор пробки, сухо, поделовому, не сопровождая свои действия вызываю-

щими возгласами, извлечь миллионы из сметника и вернуть их на производство.

Но произошло совсем не то.

Первой откликнулась киноорганизация. Там зорко следят за прессой и торопятся все что ни на есть немедленно отобразить в художественных произведениях. Вскоре было обнародовано сообщение, что сценарист Мурузи приступил к работе над сценарием (название еще не установлено), в котором ставятся вопросы сбора пробки в свете перерождения психики отсталого старьевщика-единоличника. Через два дня последовало новое сообщение. Оказывается, Мурузи сценарий уже окончил (условное название — «На последней меже»), создана крепкая съемочная группа и составлена смета на девяносто четыре тысячи ориентировочных рублей.

И все закипело.

В отделе «Над чем работает писатель» можно было прочесть, что писатель Валерьян Молокович заканчивает повесть, трактующую вопросы сбора пробки, однако уже не в свете перерождения психики какого-то жалкого старьевщика, а гораздо шире и глубже — в свете преодоления индивидуалистических навыков мелкого кустаря, подсознательно тянущегося в артель.

Главы из своей новой повести Молокович уже читал на районном слете управдомов. Управдомы нашли, что повесть заслуживает пристального внимания, но что автору не мешает еще больше углубить свое мировоззрение. Автор обещал слету мировоззрение подвинтить в декадный срок.

Решительно пробка захватывала все большие участки жизни.

Странные колебания эфира показали, что радиообщественность тоже не дремлет. Были отменены утренние концерты. Вместо них исполнялась оратория. Дружно гремели хор и оркестр:

Мы были пробкой не богаты,
Богаты пробкой станем мы.
Смелей, дружней вперед, ребяты,
Штурмуйте сметников холмы!

На всякий случай отменили и дневные концерты, чтобы размагничивающей музыкой Шопена не портить впечатления от оратории.

Жару поддала газетная статья, напечатанная, как потом выяснилось, по недосмотру редакции.

Статья была смелая. В ней горизонт необыкновенно расширялся. Уже и речи не было о простом использовании старой пробки. Заварена была совершенно новая каша. Автор статьи утверждал, что обыкновенная пробка есть не только затычка для закупоривания бутылей, банок и бочек, не только материал, идущий на спасательные пояса, изоляционные плиты и тропические головные уборы, но нечто гораздо более важное и значительное. Ставился вопрос не голо практически, но принципиально, а именно — о применении в сборе пробки диалектико-материалистического метода. Автор всячески клеймил работников, не применявших до сих пор этого метода в борьбе за пробку. В качестве примера недиалектического подхода к пробке приводился киносценарий, сочиненный торопливым Мурузи.

Мурузи ужаснулся, и картину стали переделывать на ходу. Заодно увеличили смету (сто шестьдесят три тысячи ориентировочных рублей).

Юмористы пустили в ход старый каламбур насчет пробки бутылочной и пробки трамвайной.

Вообще трескотня шла необыкновенная. Взору уже рисовались большие прохладные склады, наполненные пахучими пробками, как вдруг произошел ужасный случай.

Жил на свете мальчик, чудесный мальчик с синими глазами. Его звали Котя.

Котя прочел самую первую заметку «Миллионы на сметнике», и пока в эфире бушевала оратория, пока Молокович подвинчивал мировоззрение и кто-то вел титаническую борьбу за внедрение диалектического метода в пробочное дело,— умный мальчик собирал пробки. Он собрал четыреста шестьдесят восемь пробок больших и триста шестьдесят пять пробок малого калибра.



Но сдать этот товар было некуда. Вопрос о пробках успели поднять на такую принципиальную высоту, что забыли открыть склады.

Такой чепухой никто не хотел заниматься. Хотелось болтать, рассуждать о высоких материях, искать метода, закапываться в глубь вопроса.

Некоторое отрезвление внесла лишь новая заметка. Правда, называлась она так же, как и старая,— «Миллионы на сметнике», но содержание ее было другое. Имелись в виду ориентировочные рубли, потраченные на художественный фильм о переломе в душе старьевщика-единоличника, на многократное колебание эфира музыкальной фразой: «Богаты пробкой станем мы», печатанье боевой повести Валерьяна Молоковича,— на что угодно, кроме пробки.

И на тему этой заметки почему-то не было сотворено ни одного художественного произведения.

1932

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТРАМВАЙ

Жарко. По летнему времени трудно сочинить нечто массивное, многословное, высокохудожественное, вроде «Соти». Тянет написать что-нибудь полегче, менее великое, вроде «Мадам Бовари».

Такая жара, что противно вкладывать персты в язвы литературы. Не хочется придираться, допускать сатирические вольности и обобщения.

Хочется посмеяться. И, верите ли, смеяться хочется почему-то так называемым утробным смехом. Тем более это уже разрешено вполне официально и, есть слух, даже поощряется.

Хочется, а с другой стороны — колется. Вдруг не выйдет! Как-никак, а молодость прошла, нет уж того порыва. «И одинокий тонкий волос блестит на праздной голове» (кажется, Тютчев).

В ужасных препирательствах прошла молодость. Мы спорили без конца. Враги говорили, что юмор — это низкий жанр, что он вреден. Плача, мы возражали. Мы говорили, что юмор вроде фитина. В небольших дозах его можно давать передовому читателю. Лились блестящие детские слезы. Кто-то учился на своих ошибках (орфографических). Кого-то куда-то бросили.

Теперь все хорошо.

К тому же лето, жарко, съезд писателей соберется не скоро, и литературный трамвай еще не вошел в прохладное депо.

Последняя посадка была 23 апреля.

И опять кто-то в давке не успел попасть в вагон и гонится за трамваем, задыхаясь и жалуясь:

— Я был первым в очереди. Меня рапповцы замалчивали. И вот такая несправедливость!

Как всегда в трамвае, пассажиры сначала радуются своему маленькому счастью. Идет размен впечатлений. Потом потихоньку начинается дифференциация.

— Чуть Габрилович не остался. Спасибо, Славин подсадил. Буквально в последнюю минуту. Написал о нем статью в «Вечёрке».

— Смотрите, нонпарель, а подействовала.

— Хоть бы обо мне кто-нибудь нонпарелью.

— Читали Никулина?

— «Время, пространство, движение»? Читал. Мне нравится. Совсем как Герцен стал писать. Просто «Былое и думы».

— Да, с тем только различием, что былое налицо, а дум пока никаких не обнаружено. Потом у него в мае месяце арбуз на столе истекает соком. А в окно смотрит белая ночь. А арбузы вызревают в августе. Герцен!

— Не люблю застольных речей. Опять Олеша не то сказал. Сказал о Грине, что умер последний фабулист. Не понимаю, что это значит — последний фабулист. Последний флибустьер — это еще бывает. Не то, не то сказал.

— Сходите?

— С ума вы сошли! Только влез.

— А впереди сходят?

— У выхода рапповцы пробку образовали. Ни за что не хотят сходить. А один товарищ, тот даже лег поперек двери. Ни за что, говорит, не сойду. А его билет уже давно кончился.

— Какое безобразие! Задерживают вагон на повороте!

— А о Зощенко опять ничего не пишут.

— Граждане, осторожнее. Среди нас оказался малоформист. Покуда вы тут спорили и толкались, он успел сочинить на ходу приспособленческий лозунг взамен старого: «Не курить, не плевать». Слушайте. Вот что он написал: «В ответ на запрещение плевания и курения ответим займом социалистического наступления».

— Товарищ Кирпотин, остановите на минутку вагон. Тут одного типа надо высадить.

— Сойдите, гражданин. Ничего, ничего! До ГОМЭЦа пешком дойдете!

— А о Зощенко опять ничего не пишут.

— Кондуктор, дайте остановку по требованию у ГИХЛа.

— Удивительно! Что писателю могло в ГИХЛе понадобиться? Ведь там денег за принятые произведения не платят.

— Но платят за потерянные. Там даже висит особое извещение: «Выплата гонорара за утерянные рукописи производится по четным числам».

— А-а-а!

— Только он выпустил первую книжку, как стали его спрашивать:

— Вы марксист?

— Нет.

— Кто же вы такой?

— Я эклектик.

Уже так было и хотели записать. Но тут раздались трезвые голоса:

— За что губите человека?

Ну, снова стали спрашивать:

— Значит, вы эклектик?

— Эклектик я.

— И вы считаете, что эклектизм — это хорошо?

— Да уж что хорошего!

Тогда записали: «Эклектик, но к эклектизму относится отрицательно».

— Это все-таки прошлые времена. Теперь, в свете решений...

— А про Зощенко все еще ничего не пишут. Как раньше не писали, так и сейчас. Как будто и вовсе его на свете нет.

— Да. И знаете,— похоже на то, что этот ленинградский автор уже немножко стыдится своего замечательного таланта. Он даже обижается, когда ему говорят, что он опять написал смешное. Ему теперь надо говорить так: «Вы, Михаил Михайлович, по своему трагическому дарованию просто Великий Инквизитор». Только тут он слегка отходит, и на его узких губах появляется осмысленно-интеллигентная улыбка. Приучили человека к тому, что юмор — жанр низкий, недостойный великой русской литературы. А разве он Великий Инквизитор? Писатель он, а не инквизитор...

Такие и еще другие разговоры ведутся в литературном трамвае. Кто-то упрямо сидит, делая вид, что любуется асфальтированной мостовой, а сам только и думает о том, как бы не уступить место женщине с ребенком (лобовой перенос понятия — здесь, конечно, имеется в виду писательница, робко держащая на руках свое первое произведение).

Кто-то роется в своем кармане, выгребая оттуда вместе с крошками хлеба завалявшиеся запятые. Кто-то в свете решений требует к себе неслыханного внимания. О ком-то, конечно, опять забыли.

Жара.

Но хорошо, что трамвай движется, что идет обмен впечатлениями и что походная трамвайная дифференциация, с обычной для нас перебранкой и толкотней, готова перейти в большой и нужный спор о методах ведения советского литературного хозяйства.

1932

ПОД СЕНЬЮ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Шли годы. Никто не спрашивал нас о том, что мы думаем о мещанстве, о внутрирапповских попутчиках, о роли критики в литературе. Никто не задавал нам вопросов, какие принято задавать писателям раза два в год.

И произошло ужасное. Мы не научились плавно высказываться. Нет в нас того огня и пыла, которые нужны на этом ответственном участке литературной работы.

Собранные здесь отрывочные суждения и мысли упакованы нами в маленькую анкету и дают ответ на вопросы, с которыми к нам часто обращаются отдельные лица и небольшие организации.

— Как вы пишете вдвоем?

— О, это очень просто! Значит, так: стол, ну, естественно, чернильница, бумага, и мы двое. Посмотреть со стороны — так совсем не интересно. Никаких особенных писательских странностей! Озабоченные, встревоженные лица (такие бывают у людей, которым обещали комнату с газом и вдруг не дали), взаимные попреки, оскорбления и, наконец, начало романа: «Белоснежный пароход рассекал своим острым носом голубые волны Средиземного моря». Разве это хорошо, такое начало? Может быть, написать как-нибудь иначе, лучше? Тревожно на душе, тревожно!

— Почему вы печатались в полутолстых «30 днях», а не в каком-нибудь совсем уже толстом журнале?

— О, это очень сложно! В толстый журнал нас приглашали только затем, чтобы предложить завести «уголок юмора» — шутки, экспромты, блестки, юморески (редакционные панычи очень любят слово «юмореска»). Заодно предлагали делать шарады, логогрифы, ребусы и шашечные этюды. В общем, все то, что раньше называлось «Смесь», а сейчас «Рабочая смекалка». И выражали удивление, когда мы надменно отказывались. «Ведь вы же юмористы,— говорили в толстом журнале.— Что вам стоит?»

— Правда ли, что ваш смех это не наш смех, а их смех?

— Не будьте идиотом![1]

— Как относятся в редакциях к вашим творческим исканиям?

— Чрезвычайно однообразно. Всегда просят вычеркнуть из рукописи две строчки и дописать полторы страницы. С течением времени мы приобрели опыт и, сдавая рукопись, заявляем, что две строчки вычеркнуты, а полторы страницы дописали еще в процессе работы. Но даже эта профилактическая мера не помогает.

— Что вам больше всего понравилось в «Литературной газете» за тысяча девятьсот тридцать второй год?

— Постановление ЦК партии от двадцать третьего апреля.

— Ваш любимый писатель?

— Сейчас Дос-Пассос. Может быть, всем теперь он нравится и любовь к этому писателю не оригинальна, но такова ситуация на текущий квартал.

— Ваш любимый читатель?

— Трамвайный пассажир. Ему тесно, больно, его толкают в спину, а он все-таки читает. О, это совсем не то, что железнодорожный пассажир. В поезде читают потому, что скучно, в трамвае — потому что интересно.

— Ваш любимый редактор?

— Тут сложнее. Не успеваешь полюбить какого-нибудь редактора всей душою, как его уже снимают.

---

[1] Ответ заимствован у Б. Шоу. *(Прим. авторов.)*

— Как же вы все-таки пишете вдвоем?

— Так вот все-таки и пишем, препираясь друг с другом по поводу каждой мысли, слова и даже расстановки знаков препинания. И самое обидное, что, когда мы будем сдавать эту рукопись в редакцию, нас обязательно попросят вычеркнуть две строчки и дописать полторы страницы. А сделать это очень трудно, потому что, как уж было сообщено, мы не научились плавно высказываться.

1932

КОРОЛЕВСКАЯ ЛИЛИЯ

Богатые врачи или бывшие присяжные поверенные любят искусство.

Не думайте, что это вредное обобщение. Здесь нет желания произвести выпад, бросить тень или, скажем, лить воду на чью-то мельницу. Это просто невинное наблюдение.

Врачи (и бывшие присяжные поверенные) двигают искусство вперед. Да, да, и обижаться тут нечего!

Было бы смешно, если бы все женщины вдруг обиделись, узнав, что в немецкой научной книге «Уголовная тактика» имеется следующая формула: «Женщины никогда не сознаются».

Конечно, обидно читать такое решительное утверждение, но уголовная практика показала, что женщина, совершившая какой-нибудь антиобщественный поступок (кража, хипес, притонодержательство), действительно никогда не сознается на допросе.

Так что иногда можно делать обобщения, если они подкрепляются многолетним опытом.

Итак, еще раз. Врачи обожают искусство. Главным образом врачи-гинекологи. И главным образом живопись. Она им необходима для себя, для приемной, для пациентов.

«Пока живы врачи-гинекологи, живопись не умрет».

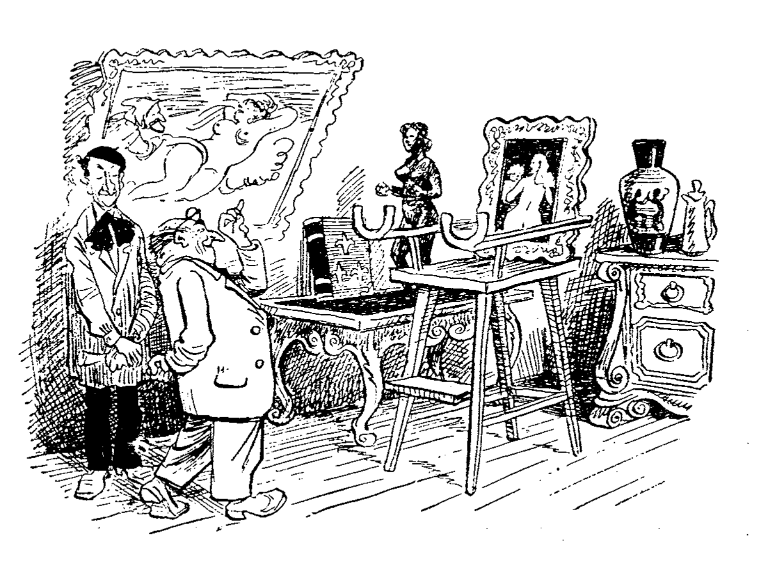
Этот блестящий афоризм сказан был одним екатеринославским, ныне днепропетровским художником,

который, собственно, не художник, а такой, что ли, своеобразный переводчик. Он делает «юберзецен». Он переводит. Одним словом, он изготовляет фальшивых Рубенсов, Айвазовских, Куинджи и других мастеров кисти. Написать какой-нибудь морской вид, пир полубогов или ядовитый натюрморт с рябчиком ему не трудно. Потребитель, в общем, больше разбирается в медицине, чем в живописи. Трудно придать полотну старинный вид. Но и эта задача в наши дни значительно упростилась.

Просохшая картина сворачивается в трубу. Рубенс-Айвазовский вскакивает в трамвай, и уже через полчаса шумной трамвайной жизни полотно приобретает все необходимые следы памятника искусства XVI или XVII веков — трещины, пятна, оборванные края.

И долго потом врач стоит среди своей плюшевой бамбучьей мебели, смотрит сквозь кулак на новое приобретение и шепчет:

— Наконец-то, наконец у меня есть настоящий Веронезе. Ах, как я люблю именно Веронезе! Сколько воздуха!



За свои деньги эстет требует, чтобы в картине было очень много воздуха. И екатеринославский, ныне днепропетровский художник знает это. Он дает столько озона, сколько врачу нужно, даже больше, чем дал бы сам Веронезе.

Вообще наклонность к изящному немножко ослепляет эстета. Главным образом его магнетизирует великая подпись на картине, выведенная шкодливой рукой днепропетровского живописца.

Ведь так хочется жить среди статуэток, золотого багета, книжных переплетов, среди перламутра и металлопластики.

И эстет реконструктивного периода делает, как говорят французские коммерсанты, усилие. Он покупает в антикварном магазине четыре рюмки и одну перечницу с баронскими гербами.

На этом путешествие в прекрасное, однако, не кончается. Полумесячное жалованье уходит на большую компотницу эпохи Манасевича-Мануйлова и специальную вилку для омаров, коими кооперативы, как известно, не торгуют. Таким образом, вилка доставляет только лишь моральное удовлетворение и вызывает аппетит к новым покупкам.

На стенах появляются акварельные портретики различных красавиц из созвездия Наталии Гончаровой и другие миниатюры времен, так сказать, Дантеса и Аллигиери.

Тогда меняются и обои. Появляются новые, синие — стиль декабрист. А на синих обоях как-то сам по себе возникает портрет чужого прадедушки, генерала с отчаянными баками и с кутузовским бельмом на глазу.

Риск ужасный! Чужого дедушку могут посчитать за родного и вычистить примазавшегося внука со службы. Но эстет идет на все. Он обожает искусство.

Вслед за баронской перечницей, компотницей, Наташей Гончаровой, вилкой и портретом неизвестного солдата неизбежно приходит первый томик издательства «Preludium» (ферлаг «Прелюдиум»).

Это пир роскоши и тонкого вкуса.

Что бы в книге ни было напечатано (воспоминания ли крепостного кларнетиста, антология ли испанских

сегидилий и хабанер, стихи ли древнегреческой поэтессы Антилопы Кастраки) — все равно сатиновый переплет, сделанный из толстовки заведующего производственным отделом издательства, украшен золотыми королевскими лилиями.

Покупатель очень доволен. Настоящие бурбонские лилии! Не какие-нибудь пчелы узурпатора Бонапарта, а настоящие лилии Людовика-Солнца (того самого — «после меня хоть делюж — потоп»).

Ах, однажды в Версале! Ах, Тюильри! Ах, мадам Рекамье на бамбуковой скамье!

Ах, если бы Маркса издавали с такими лилиями, в суперобложке художника Лошадецкого, с фронтисписом XVIII века, с виньетками, где пожилые девушки склоняют головы на гробовые урны, с гравюрами на дереве, на меди, на линолеуме, на велосипедных шинах! Стоило бы купить!

Роскошь магнетизирует. Золото и серебро тиснения ослепляют. Так хочется иметь под рукой предметы красоты, что советский виконт охотно принимает толстовочную обложку за атласную, не замечает, что стихи Антилопы Кастраки отпечатаны на селедочной бумаге, из которой торчат какие-то соломинки и древесная труха, что самые лилии осыпают свое золото уже на третий день, что никакой роскоши нет, а есть гинекологический ампир второй сорт, попытка выдать ситро за шампанское.

1932

МЫ УЖЕ НЕ ДЕТИ

— Есть у тебя друг блондин, только он тебе не друг блондин, а сволочь.

Гадание цыганки

Лето прошло в невинных удовольствиях.

Писатели собирали разноцветные камушки в Коктебеле, бродили ночью по Нащокинскому переулку, алчно поглядывая на строящийся дом РЖСКТ «Советский писатель», подписывали договоры на радиооратории и звуковые кинофеерии (летом даже ягнята ходят по тропинке хищников), клохча высиживали большие романы, ругали ГИХЛ, хвалили «Федерацию». Осип Брик написал оперу. И Эдуард Багрицкий написал оперу. А Михаил Кольцов побывал в норе у зверя, откуда вернулся цел и невредим, не получив даже царапины.

Некоторым образом все шло правильно. День есть день, ночь есть ночь, а лето есть лето, то есть такое время года, когда допускаются различные шалости.

Все же можно подбить итоги двум истекшим творческим кварталам.

Странное дело, в литературных кругах почему-то воцарился великопостный дух смиренномудрия, терпения и любве. Подчеркиваем, люб-ве.

Такие все стали вежливые, добрые, голубоглазые, что вот-вот снимутся с насиженных мест и переедут на постоянное жительство в Ясную Поляну, громко проповедуя по дороге вегетарьянство, воздержание и опять-таки великое чувство любве к посредственным произведениям.

Со всех сторон доносится какой-то безубойный шепот: «Я никого не ем». Джентльменство, сверхъестественное джентльменство разлито в воздухе. Всё время пахнет вежеталем, манной кашей, чувствуется приторная тещина ласка.

Где ж вы, бодрые задиры?

Где вы, мои друзья, мои враги? Ничего нельзя разобрать. Все друзья, все блондины.

А какие были у нас титаны критической мысли! Не успевал человек сочинить первые две главы небольшой сравнительно трилогии, в шестьдесят с гаком печатных листов, как появлялась быстроходная, словно межпланетная ракета, рецензия под заголовком, не оставляющим места благоуханной надежде:

«В мусорный ящик!»

И так становилось страшно, что не хотелось уже думать, кого это в мусорный ящик — книгу ли, автора, а может, обоих вместе, и даже с издателем, а возможно, и с читателем.

Был такой стиль, была такая повадка.

Теперь все поголубело, гораздо стало уважительней. Теперь жарят прямо из «Вишневого сада»:

«Дорогой, глубокоуважаемый шкаф».

Лидин — глубокоуважаемый шкаф, и Панферов — шкаф, и Валентин Катаев — глубокоуважаемый, и Афиногенов — дорогой, и Алексей Толстой — «примите и проч.», и Феоктист Березовский — «позвольте в этот знаменательный день», и ужасное дитя салонов и диспутов — неукротимый Вишневский, и маленький, кроткий Лапин — все зачислены в шкафы.

И стоят они в ряд, сияя лаком, зеркальными иллюминаторами, очками, латунными ручками и резными загогулинами.

Впопыхах попал в шкафы даже поэт Миних. И только через три недели пришли литературные воз-

чики и, кряхтя, вынесли его из пантеона великой, многотомной отечественной литературы.

Но за исключением этого факта, который можно отнести не к воспитательной работе, а скорее к области погрузочно-разгрузочных операций, почти во всем остальном наблюдается неуемное джентльменство.

«В основном море спокойно»,— как говорил грек Попандопуло.

Между тем хочется ссориться.

Мы уже не дети. Советской литературе пятнадцать лет. Совсем не интересны взаимное ласкательство, медоточивость и всякое там, как мог бы сказать Крученых, хухушка хвалит кекуха.

Мы не однородны, не похожи друг на друга. Есть вкусы, есть взгляды, есть точки зрения.

Высказывайтесь, товарищи, начинайте великий спор. Есть о чем спорить, хотя из Ленинграда и донесся протяжный стон Чумандрина, напоминающий сетования старушки из очереди на тему о том, что все погибло и жизнь уж не красна с 23 апреля сего года.

И вовсе нет надобности ждать съезда писателей или пленума оргкомитета, чтобы потом начать писать всем враз и примерно одно и то же.

Хочется ссориться, и есть из-за чего.

Лето урожайное по произведениям и весьма засушливое по критическим работам (джентльменство и немотивированное зачисление в шкафы, конечно, в счет не идут).

Вам нравится «Время, вперед!» Катаева?

Вам нравится «Энергия» Гладкова?

Вам нра... «Москва слезам не верит» Эренбурга?

«Время, пространство, движение» Никулина?

«Поднятая целина» Шолохова?

«Сталинабадский архив» Лапина и Хацревина?

«Скутаревский» Леонова?

«Собственность» Зозули?

«Цусима» Новикова-Прибоя?

«Последний из удэге» Фадеева?

«Новые рассказы» Бабеля?

Может быть, не нравятся? Или одно нра, а другое не нра? Если так, то расскажите по возможности



внятно и, главное, не скрывая своей литературной приязни или неприязни.

Почему так горячи литераторы за чайным столом, так умны и обаятельны? И почему так сладковаты и безубойны на кафедре? Почему полны смиренномудрия и любве? Откуда это терпениум мобиле?

Мы привыкли к оговоркам. Поэтому специально для муравьедов и сейчас прилагается оговорка.

Здесь нет призыва к избиению литгугенотов, дело не в том, чтобы против некоторых фамилий поставить меловые кресты, а затем учинить Варфоломеевскую ночь с факелами и оргвыводами, нет даже желания, чтобы кого-либо огрели поленом по хребту (в свое время это называлось «ударить по рукам»).

А ведь как давали по рукам! И еще в этом году давали. Чтобы оживить отвращение к такому критиканству, надо каждому сделать настольным третий номер «Иностранной книги» (издание Огиза, тираж 5000 экземпляров, 1932 год).

О, здесь все было просто. Площадь рецензии 2 $\times$ 5 сантиметров. Число строк не выше восьми. Трудно было уложиться, но укладывались.

1. Автор не поднимается над уровнем...

2. Автор не выходит из рамок...

3. Книга не представляет интереса...

А об одной книге было состряпано уже сверхрадикальное:

«Описание путешествия автора, французского губернатора Джебель-Друза, по Палестине. Ревностный протестант, автор повсюду ищет подтверждения данных евангелия, уделяет все свое внимание историческим памятникам христианства. Книга *не представляет*». (Курсив наш! Ага!)

И все. Точка. Не представляет. Что не представляет? Куда именно не представляет? Не представляет — и конец. Отстаньте! Есть еще восемьсот иностранных книг, и обо всех надо написать на трех страничках.

И выходит в свет пять тысяч экземпляров столь веской критической мысли. А потом сразу — глубокоуважаемый шкаф. Прямо из проруби на верхнюю полку мавританских бань. Дистанция!

Хотелось бы иначе. Без ударов палашом по вые («книга не представляет»), но и без поцелуйного обряда, шкафолюбия и довольно-таки скучной любве.

1932

САВАНАРЫЛО

Странный разговор велся в одной из фанерных комнат Изогиза.

Редактор. Дорогой Константин Павлович, я смотрел ваш плакат... Одну минутку, я закрою дверь на ключ, чтобы нас никто не услышал...

Художник *(болезненно улыбается)*.

Редактор. Вы знаете, Константин Павлович, от вас я этого не ожидал. Ну что вы нарисовали? Посмотрите сами!

Художник. Как что? Все соответствует теме «Больше внимания общественному питанию». На фабрике-кухне девушка-официантка подает обед. Может быть, я подпись переврал? *(Испуганно декламирует.)* «Дома грязь, помои, клоп — здесь борщи и эскалоп. Дома примус, корки, тлен — эскалоп здесь африкен».

Редактор. Да нет... Тут все правильно. А вот это что, вы мне скажите?

Художник. Официантка.

Редактор. Нет, вот это! Вот! *(Показывает пальцем.)*

Художник. Кофточка.

Редактор *(проверяет, хорошо ли закрыта дверь)*. Вы не виляйте. Вы мне скажите, что под кофточкой?

Художник. Грудь.

Редактор. Вот видите. Хорошо, что я сразу заметил. Эту грудь надо свести на нет.

Художник. Я не понимаю. Почему?

Редактор (*застенчиво*). Велика. Я бы даже сказал — громадна, товарищ, громадна.

Художник. Совсем не громадная. Маленькая, классическая грудь. Афродита Анадиомена. Вот и у Кановы «Отдыхающая Венера»... Потом возьмите, наконец, известный немецкий труд профессора Андерфакта «Брусте унд бюсте», где с цифрами в руках доказано, что грудь женщины нашего времени значительно больше античной... А я сделал античную.

Редактор. Ну и что из того, что больше? Нельзя отдаваться во власть подобного самотека. Грудь надо организовать. Не забывайте, что плакат будут смотреть женщины и дети. Даже взрослые мужчины.

Художник. Как-то вы смешно говорите. Ведь моя официантка одета. И потом, грудь все-таки маленькая. Если перевести на размер ног, то выйдет никак не больше, чем тридцать третий номер.

Редактор. Значит, нужен мальчиковый размер, номер двадцать восемь. В общем, бросим дискуссию. Все ясно. Грудь — это неприлично.

Художник (*утомленно*). Какой же величины, по-вашему, должна быть грудь официантки?

Редактор. Как можно меньше.

Художник. Однако я бы уж хотел знать точно.

Редактор (*мечтательно*). Хорошо, если бы совсем не было.

Художник. Тогда, может быть, нарисовать мужчину?

Редактор. Нет, чистого, стопроцентного мужчину не стоит. Мы все-таки должны агитировать за вовлечение женщин на производство.

Художник (*радостно*). Старуху!

Редактор. Все же хотелось бы молоденькую. Но без этих... признаков. Ведь это, как-никак, согласитесь сами, двусмысленно.

Художник. А бедра? Бедра можно?

Редактор. Что вы, Константин Павлович! Никоим образом — бедра! Вы бы еще погоны пририсовали. Лампасы! Итак, заметано?

Художник (*уходя*). Да, как видно, заметано. Если нельзя иначе. До свиданья.

Редактор. До свиданья, дружочек. Одну секунду. Простите, вы женаты?

Художник. Да.

Редактор. Нехорошо. Стыдно. Ну ладно, до свиданья...

И побрел художник домой замазывать классическую грудь непроницаемой гуашью.

И замазал.

Добродетель (ханжество плюс чопорность из штата Массачузетс, плюс кроличья паника) восторжествовала.

Красивых девушек перестали брать на работу в кинематографию. Режиссер мыкался перед актрисой, не решался, мекал:

— Дарование у вас, конечно, есть... Даже талант. Но какая-то вы такая... с физическими изъянами. Стройная, как киевский тополь. Какая-то вы, извините меня, красавица. Ах, черт! «Она была бы в музыке каприччио, в скульптуре статуэтка ренессанс». Одним словом, в таком виде никак нельзя. Что скажет общественность, если увидит на экране подобное?

— Вы несправедливы, Люцифер Маркович,— говорила актриса,— за последний год (вы ведь знаете, меня никуда не берут) я значительно лучше выгляжу. Смотрите, какие морщинки на лбу. Даже седые волосы появились.

— Ну что — морщинки! — досадовал режиссер.— Вот если бы у вас были мешки под глазами! Или глубоко запавший рот. Это другое дело. А у вас рот какой? Вишневый сад. Какое-то «мы увидим небо в алмазах». Улыбнитесь. Ну, так и есть! Все тридцать два зуба! Жемчуга! Торгсин! Нет, никак не могу взять вас. И походка у вас черт знает какая. Грациозная. Дуновение весны! Смотреть противно!

Актриса заплакала.

— Отчего я такая несчастная? Талантливая — и не кривобокая?

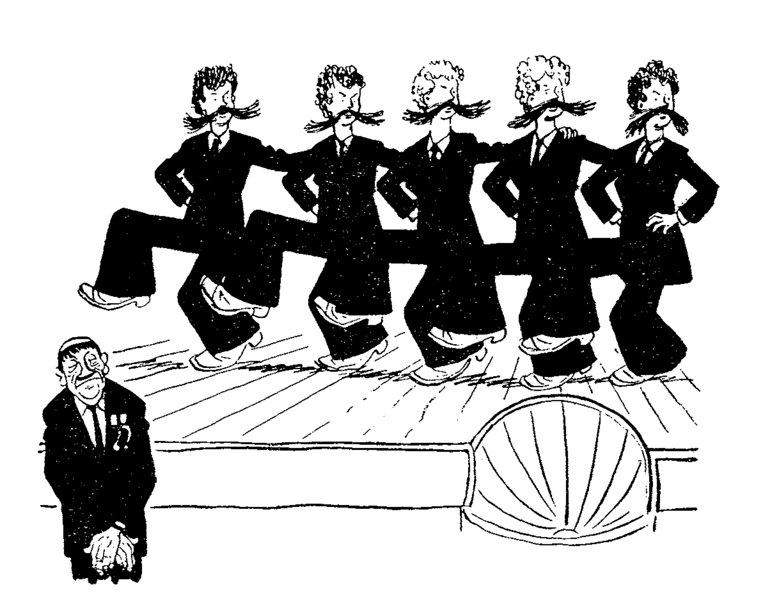
— В семье не без урода,— сухо заметил режиссер.— Что ж мне с вами делать? А ну, попробуйте-ка

сгорбиться. Больше, гораздо больше. Еще. Не можете? Где ассистент? Товарищ Сатанинский, навесьте ей на шею две-три подковы. Нет, не из картины «Шурупчики граненые», а настоящие, железные. Ну как, милуша, вам уже удобнее ходить? Вот и хорошо. Один глаз надо будет завязать черной тряпочкой. Чересчур они у вас симметрично расположены. В таком виде, пожалуй, дам вам эпизод. Почему же вы плачете? Фу, кто его поймет, женское сердце!

Мюзик-холл был взят ханжами в конном строю одним лихим налетом, который, несомненно, войдет в мировую историю кавалерийского дела.

В захваченном здании была произведена рубка лозы. Балету из тридцати девушек выдали:

30 пар чаплинских чоботов . . .	30
30 штук мужских усов	30
30 старьевщицких котелков . . .	30
30 пасторских сюртуков	30
30 пар брюк	30



Штаны были выданы нарочно широчайшие, чтоб никаким образом не обрисовалась бы вдруг волшебная линия ноги.

Организованные зрители очень удивлялись. В программе обещали тридцать герлс, а показали тридцать замордованных существ неизвестного пола и возраста.

Во время танцев со сцены слышались подавленные рыданья фигуранток. Но зрители думали, что это штуки Касьяна Голейзовского — искания, нюансы, взлеты.

Но это были штуки вовсе не Голейзовского.

Это делали и делают маленькие кустарные Савонаролы. Они корректируют великого мастера Мопассана, они выбрасывают оттуда художественные подробности, которые им кажутся безнравственными, они ужасаются, когда герой романа женится. Поцелуйный звук для них страшнее разрыва снаряда.

Ах, как они боятся, как им тяжело и страшно жить на свете!

Савонарола? Или хотя бы Саванарыло?

Нет! Просто старая глупая гувернантка, та самая, которая никогда не выходила на улицу, потому что там можно встретить мужчин. А мужчины — это неприлично.

— Что ж тут неприличного? — говорили ей.— Ведь они ходят одетые.

— А под одеждой они все-таки голые! — отвечала гувернантка.— Нет, вы меня не собьете!

1932

КАК СОЗДАВАЛСЯ РОБИНЗОН

В редакции иллюстрированного двухдекадника «Приключенческое дело» ощущалась нехватка художественных произведений, способных приковать внимание молодежного читателя.

Были кое-какие произведения, но все не то. Слишком много было в них слюнявой серьезности. Сказать правду, они омрачали душу молодежного читателя, не приковывали. А редактору хотелось именно приковать.

В конце концов решили заказать роман с продолжением.

Редакционный скороход помчался с повесткой к писателю Молдаванцеву, и уже на другой день Молдаванцев сидел на купеческом диване в кабинете редактора.

— Вы понимаете,— втолковывал редактор,— это должно быть занимательно, свежо, полно интересных приключений. В общем, это должен быть советский Робинзон Крузо. Так, чтобы читатель не мог оторваться.

— Робинзон — это можно,— кратко сказал писатель.

— Только не просто Робинзон, а советский Робинзон.

— Какой же еще! Не румынский!

Писатель был неразговорчив. Сразу было видно, что это человек дела.

И действительно, роман поспел к условленному сроку. Молдаванцев не слишком отклонился от великого подлинника. Робинзон так Робинзон.

Советский юноша терпит кораблекрушение. Волна выносит его на необитаемый остров. Он один, беззащитный, перед лицом могучей природы. Его окружают опасности: звери, лианы, предстоящий дождливый период. Но советский Робинзон, полный энергии, преодолевает все препятствия, казавшиеся непреодолимыми. И через три года советская экспедиция находит его, находит в расцвете сил. Он победил природу, выстроил домик, окружил его зеленым кольцом огородов, развел кроликов, сшил себе толстовку из обезьяньих хвостов и научил попугая будить себя по утрам словами: «Внимание! Сбросьте одеяло, сбросьте одеяло! Начинаем утреннюю гимнастику!»

— Очень хорошо,— сказал редактор,— а про кроликов просто великолепно. Вполне своевременно. Но, вы знаете, мне не совсем ясна основная мысль произведения.

— Борьба человека с природой,— с обычной краткостью сообщил Молдаванцев.

— Да, но нет ничего советского.

— А попугай? Ведь он у меня заменяет радио. Опытный передатчик.

— Попугай — это хорошо. И кольцо огородов хорошо. Но не чувствуется советской общественности. Где, например, местком? Руководящая роль профсоюза?

Молдаванцев вдруг заволновался. Как только он почувствовал, что роман могут не взять, неразговорчивость его мигом исчезла. Он стал красноречив.

— Откуда же местком? Ведь остров необитаемый?

— Да, совершенно верно, необитаемый. Но местком должен быть. Я не художник слова, но на вашем месте я бы ввел. Как советский элемент.

— Но ведь весь сюжет построен на том, что остров необита...

Тут Молдаванцев случайно посмотрел в глаза редактора и запнулся. Глаза были такие весенние, такая

там чувствовалась мартовская пустота и синева, что он решил пойти на компромисс.

— А ведь вы правы,— сказал он, подымая палец.— Конечно. Как это я сразу не сообразил? Спасаются от кораблекрушения двое: наш Робинзон и председатель месткома.

— И еще два освобожденных члена,— холодно сказал редактор.

— Ой! — пискнул Молдаванцев.

— Ничего не ой. Два освобожденных, ну и одна активистка, сборщица членских взносов.

— Зачем же еще сборщица? У кого она будет собирать членские взносы?

— А у Робинзона.

— У Робинзона может собирать взносы председатель. Ничего ему не сделается.

— Вот тут вы ошибаетесь, товарищ Молдаванцев. Это абсолютно недопустимо. Председатель месткома не должен размениваться на мелочи и бегать собирать взносы. Мы боремся с этим. Он должен заниматься серьезной руководящей работой.

— Тогда можно и сборщицу,— покорился Молдаванцев.— Это даже хорошо. Она выйдет замуж за председателя или за того же Робинзона. Все-таки веселей будет читать.

— Не стоит. Не скатывайтесь в бульварщину, в нездоровую эротику. Пусть она себе собирает свои членские взносы и хранит их в несгораемом шкафу.

Молдаванцев заерзал на диване.

— Позвольте, несгораемый шкаф не может быть на необитаемом острове!

Редактор призадумался.

— Стойте, стойте,— сказал он,— у вас там в первой главе есть чудесное место. Вместе с Робинзоном и членами месткома волна выбрасывает на берег разные вещи...

— Топор, карабин, бусоль, бочку рома и бутылку с противоцинготным средством,— торжественно перечислил писатель.

— Ром вычеркните,— быстро сказал редактор,— и потом, что это за бутылка с противоцинготным сред-



ством? Кому это нужно? Лучше бутылку чернил! И обязательно несгораемый шкаф.

— Дался вам этот шкаф! Членские взносы можно отлично хранить в дупле баобаба. Кто их там украдет?

— Как кто? А Робинзон? А председатель месткома? А освобожденные члены? А лавочная комиссия?

— Разве она тоже спаслась? — трусливо спросил Молдаванцев.

— Спаслась.

Наступило молчание.

— Может быть, и стол для заседаний выбросила волна?! — ехидно спросил автор.

— Не-пре-мен-но! Надо же создать людям условия для работы. Ну, там графин с водой, колокольчик, скатерть. Скатерть пусть волна выбросит какую угодно. Можно красную, можно зеленую. Я не стесняю художественного творчества. Но вот, голубчик, что нужно сделать в первую очередь — это показать массу. Широкие слои трудящихся.

— Волна не может выбросить массу,— заупрямился Молдаванцев.— Это идет вразрез с сюжетом.

Подумайте! Волна вдруг выбрасывает на берег несколько десятков тысяч человек! Ведь это курам на смех.

— Кстати, небольшое количество здорового, бодрого, жизнерадостного смеха,— вставил редактор,— никогда не помешает.

— Нет! Волна этого не может сделать.

— Почему волна? — удивился вдруг редактор.

— А как же иначе масса попадет на остров? Ведь остров необитаемый?!

— Кто вам сказал, что он необитаемый? Вы меня что-то путаете. Все ясно. Существует остров, лучше даже полуостров. Так оно спокойнее. И там происходит ряд занимательных, свежих, интересных приключений. Ведется профработа, иногда недостаточно ведется. Активистка вскрывает ряд неполадок, ну хоть бы в области собирания членских взносов. Ей помогают широкие слои. И раскаявшийся председатель. Под конец можно дать общее собрание. Это получится очень эффектно именно в художественном отношении. Ну, и все.

— А Робинзон? — пролепетал Молдаванцев.

— Да. Хорошо, что вы мне напомнили. Робинзон меня смущает. Выбросьте его совсем. Нелепая, ничем не оправданная фигура нытика.

— Теперь все понятно,— сказал Молдаванцев гробовым голосом,— завтра будет готово.

— Ну, всего. Творите. Кстати, у вас в начале романа происходит кораблекрушение. Знаете, не надо кораблекрушения. Пусть будет без кораблекрушения. Так будет занимательней. Правильно? Ну и хорошо. Будьте здоровы!

Оставшись один, редактор радостно засмеялся.

— Наконец-то,— сказал он,— у меня будет настоящее приключенческое и притом вполне художественное произведение.

1932

«ЗАУРЯД-ИЗВЕСТНОСТЬ»

Выслуга лет нужна не только для получения пенсии. Она требуется и для славы. Прошло то волшебное время, когда о писателе говорили: «Он лег спать никому не известным, а проснулся знаменитым». Теперь бывает скорее обратное — писатель ложится в постель знаменитым, а утром, еще сонный, читает газету, где о нем написано, что писатель он, в сущности, гадкий (омерзительный), и весь предыдущий трехлетний фимиам был роковой ошибкой критики.

Пяти лет какой бы то ни было работы в литературе достаточно, чтобы создать автору маленькую домашнюю славу. Одноколесная фортуна осыпает его повестками, приглашениями на заседания, диспуты и товарищеские чаи («непринужденная беседа затянулась далеко за»). В общем, его впускают в вагон. Теперь ему хорошо.

Писатель Полуэксов отбарабанил установленный срок и получил положенную по штату зауряд-известность. Жизнь его была всем хороша. Утром он писал для души, днем для славы, а вечером для Радиоцентра.

И вдруг ровная приличная жизнь окончилась.

Его спросили:

— Почему вы не напишете пьесы?

Он не ответил, не обратил внимания. Мало ли о чем спрашивают писателя: почему вы не пишете для детей? Почему бы вам не писать водяную пантомиму с

чудесами пиротехники или монолог с пением и чечеткой для разъездного агитфургона?

Но фургон фургоном, а вопрос о пьесе стал повторяться все чаще. Спрашивали в редакциях, на улицах останавливали приятели. Один раз оконфузили Полуэксова даже в трамвае.

— Филипп Семеныч! — закричал страшным голосом через весь вагон мало знакомый гражданин в каракулевом пирожке.— Это уже свинство, Филипп Семеныч. Хамство. Почему ты не напишешь пьесы?

И все пассажиры посмотрели на Полуэксова с гадливостью. Он замешался и в смущении соскочил на ходу с задней площадки, за что и был оштрафован на три рубля.

«Ну,— подумал он,— меня уже начинают штрафовать за то, что я не пишу пьесы».

Дома приставали родственники. Кольцо сжималось. Наконец в квартиру ворвался человек весь в желтой коже и бросил на письменный стол договор.

— Подписывайте, подписывайте,— сказал он быстро и повелительно,— вот здесь, внизу.

— А вверху что? — спросил растерявшийся писатель.

— А вверху известно что,— отвечала кожа,— с одной стороны Филипп Семеныч Полуэксов, именуемый в дальнейшем автором, и передвижной стационар драмкомедии, именуемый с другой стороны... Но это не важно. Подписывайте.

— Но тут у вас обозначено, что я обязан представить пьесу из быта ИТР и прочей интеллигенции, объединившейся вокруг ВАРНИТСО? Тема мне, так сказать, мало знакома...

— Тема условная, голубчик,— ласково ответила кожа.

— Но тут уже и название проставлено — «Зразы».

— Н... название условное. Все условное.

— Как, неужели все условное?

— Абсолютно все. Подписывайте скорей. Иначе я сам подпишу за вас.

Тогда человек, именуемый в дальнейшем «автор», подписал.

Что он мог еще сделать? Сопротивляться было нелепо. К тому же все условно и, может быть, обойдется мирно.

— Пришлось, однако, отложить работу для души, славы и Радиоцентра и заняться обдумыванием пьесы.

Знакомство с шедеврами мировой драматургии принесло Полуэксову первые крупицы знания в этом новом для него деле.

Выяснилось, что герой пьесы совершает обычно нижеследующие поступки:

а) Входит.

б) Уходит.

в) Снова входит.

г) Смеется.

д) Застреливается.

Писателю стало легче.

Усадив жену и свояченицу за подсчет реплик в пьесах Мольера и Бомарше, Полуэксов принялся разрабатывать сюжет.

Главное действующее лицо ВХОДИТ в свою комнату и видит, что жена изменяет ему с не менее важным действующим лицом. Пораженный этим фактом, он УХОДИТ. Затем СНОВА ВХОДИТ с револьвером в руке. СМЕЕТСЯ и, произнеся горький монолог, ЗАСТРЕЛИВАЕТСЯ.

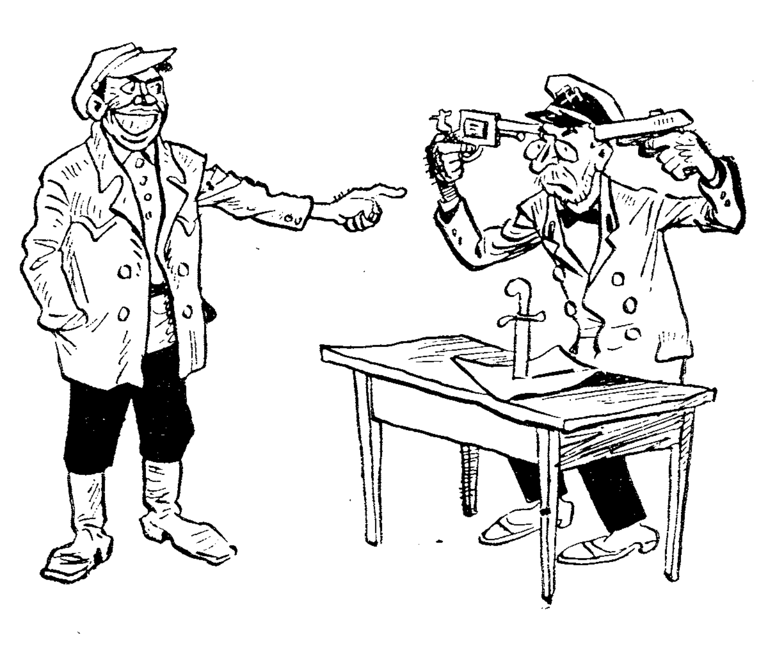
Выходило очень неплохо. Свежо.

Но тут в квартиру вломился человек в брезентовом костюме и сурово сказал:

— Редакция газеты «Искусство не для искусства» поручила мне узнать, что вы собираетесь отобразить в пьесе «Зразы»?

И, знаете, у Полуэксова не повернулся язык сказать, что «Зразы» — это чистая условность и что он собирается писать о любовном треугольнике (входит, уходит, смеется, застреливается). Он постыдно соврал. Сказал, что будет писать о борьбе двух миров.

Теперь отступления не было. Будущее рисовалось уже менее ясно, потому что у Бомарше о борьбе двух миров не было сказано ни слова, и вся семейная работа по освоению наследия классиков могла свестись на нет.



Пришлось изворачиваться. В пределах, конечно, классических ремарок.

— Значит так, вредитель ВХОДИТ и, пользуясь тем, что честный специалист УХОДИТ, делает свое грязное дело. Но тут честный специалист СНОВА ВХОДИТ и разоблачительно смеется. А вредитель ЗАСТРЕЛИВАЕТСЯ. Это не Бомарше, но для передвижного стационара сойдет. К тому же человек в желтой коже совершенно ясно говорил, что абсолютно все должно быть условно.

Дальше пошла, как говорится, техника дела. Режиссер Кошкин-Эриванский дописывал пьесу, так как, по его словам, не хватало целого акта. Полуэксов обижался, но Кошкин говорил... что все это условно, на сцене будет иначе и очень хорошо.

Вообще условностей было многое множество. Состоялась премьера, автора вызывали свояченица с мужем, возникла горячая дискуссия, в газетах прогре-

мели публичные диспуты, где автора условно называли талантливым.

Одна лишь публика почему-то приняла пьесу всерьез и перестала на нее ходить после первого же представления.

Полуэксов сначала волновался, но потом увидел, что мнение зрителей в конце концов вещь условная.

Человек в желтой коже был прав — все оказалось условным, кроме послужного списка.

А вот в послужной список легло новое, ничем не запятнанное художественное произведение. Для выслуги лет в искусстве это очень важно.

1932

ВЕСЕЛЯЩАЯСЯ ЕДИНИЦА

Вернемся к лету.

Было такое нежное время в текущем бюджетном году. Был такой волшебный квартал — июнь, июль, август, когда косили траву на московских бульварах, летал перинный тополевый пух и в чистом вечернем небе резались наперегонки ласточки.

И, ах, как плохо был проведен этот поэтический отрезок времени!

В одном из столичных парков, где деревья бросали пышную тень на трескучий песок аллей, целое лето висел большой плакат:

«Все на борьбу за здоровое гулянье!»

Но никто здесь не гулял. Деревья праздно бросали свою тень, и ничья пролетарская пята не отпечаталась на отборном аллейном песке.

Здесь не гуляли. Здесь только боролись. Боролись за здоровое гулянье.

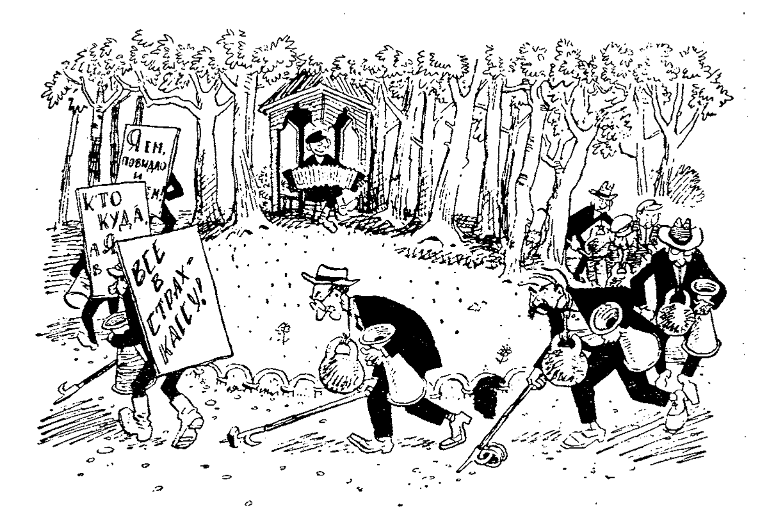
Борьба за этот весьма полезный и, очевидно, еще недостаточно освоенный вид отдыха происходила так. С утра идеологи отдыхательного дела залезали в фанерный павильон и, плотно закрыв окна, до самого вечера обсуждали, каким образом следует гулять. Курили при этом, конечно, немыслимо много. И если на лужайке появлялась робкая фигура гуляющего, его тотчас же кооптировали в президиум собрания как представителя от фланирующих масс.

И с тех пор он уже не гулял. Он включался в борьбу.

По поводу здорового гулянья велись болезненно страстные дебаты.

— Товарищи, давно уже пора дать отпор вредным и чуждым теорийкам о том, что гулять можно просто так, вообще. Надо наконец осмыслить этот гулятельно-созидательный процесс, который некоторыми вульгаризаторами опошляется названием прогулки. Просто так, вообще, гуляют коровы *(смех)*, собаки *(громкий смех)*, кошки *(смех всего зала)*. Мы должны, мы обязаны дать нагрузку каждой человеко-гуляющей единице. И эта единица должна, товарищи, не гулять, а, товарищи, должна проводить огромную прогулочную работу. (*Голос с места:* «Правильно!») Кое-какие попытки в этом направлении имеются. Вот проект товарища Горилло. Что предлагает товарищ Горилло? Товарищ Горилло предлагает навесить на спину каждого человеко-гуляющего художественно выполненный плакат на какую-нибудь актуальную тему — другдитевскую или госстраховскую. Например: «Пока ты здесь гуляешь, у тебя, может быть, горит квартира. Скорей застрахуй свое движимое имущество в Госстрахе». И прочее. Но, товарищи, как сделать так, чтобы человеко-единицы ни на минуту не упускали из виду плакатов и чтобы действие таковых было, так сказать, непрерывным и стопроцентным. Этого товарищ Горилло не учел, слона-то он и не приметил. *(Смех.)* А это можно сделать. Нужно добиться, чтобы гуляющие шли гуськом, в затылок друг другу, тогда обязательно перед глазами будет какой-нибудь плакат. В таком здоровом отдыхе можно провести часа два-три. *(Голос с места:* «Не много ли?») Да, товарищи, два-три часа. А если нужно, то и четыре и пять, товарищи. Ну-с, после короткого пятиминутного политперерыва устраивается веселая массовая игра под названием «Утиль-Уленшпигель». Всем единице-гуляющим выдаются художественно выполненные мусорные ящички и портативные крючья. Под гармошку затейника все ходят по парку, смотрят себе под ноги, и чуть кто заметит на земле тряпочку, старую калошу или бутылку из-под водки, то

сейчас же хватает этот полезный предмет крючком и кладет в художественно выполненный мусорный ящичек. При этом он выкрикивает начало злободневного лозунга, а остальные хором подхватывают окончание. Кроме того, счастливчик получает право участия в танцевальной игре «Узники капитала». *(Голос с места: «А если играющие не будут смотреть под ноги, тогда что?»)* Не волнуйтесь, товарищ! *(Смех.)* Они будут смотреть под ноги. По правилам игры каждому участвующему навешивается на шею небольшая агитгирька, двадцать кило весу. Таким образом, воленс-неволенс он будет смотреть под ноги, и игра, так сказать, не потеряет здоровой увлекательности. Таков суммарно, в общих чертах, план товарища Горилло.



— А вот мне, товарищи, хотелось бы сказать два слова насчет плана товарища Горилло. Не слишком ли беспредметно такого рода гулянье? Нет ли тут голого смехачества, развлеченчества и увеселенчества! Нужно серьезней, товарищи. Для пожилого рабочего, которого мы хотим вовлечь в парк, это все слишком легкомысленно. Ему после работы хочется чего-нибудь более. Его прогулочные отправления должны происхо-

дить в трудовой атмосфере. Он, товарищи, вырос вширь и вглубь. Мы должны создать ему родную производственную обстановку. Вот, например, прекрасный летний аттракцион. Надо в нашем парке вырыть шахту глубиной в тридцать метров и спустить туда в бадье отдыхающего пожилого рабочего. И представляете себе его радость: на дне шахты он находит подземный политпрофилакторий, где всегда может получить нужные сведения по вопросам профчленства и дифпая. Тут вносят поправку, что хорошо бы там, в шахте, продавать нарзан. Я против, товарищи. Это в корне неверно, это отвлечет пожилую единицу от работы в профилактории. Лучше уж вместо нарзана продавать нашу брошюру: «Доведем до общего сознанья вопросы здорового гулянья».

И вот что получилось. Государство отвело чудную рощу, ассигновало деньги и сказало: «Гуляйте! Дышите воздухом! Веселитесь!» И вместо того чтобы все это проделать (гулять, дышать, веселиться!), стали мучительно думать: «Как гулять? С кем гулять? По какому способу дышать воздухом? По какому методу веселиться?»

Ужасно скучное заварили дело. Так вдруг стало панихидно, что самый воздух, так сказать, эфир и зефир, не лезет в рот гуляющим единицам.

Могут не поверить тому, что здесь было рассказано, могут посчитать это безумным враньем, потребовать подкрепленья фактами, может быть, даже попросят предъявить живого товарища Горилло с его сверхъестественным планом культурного отдыха.

Между тем все это чрезвычайно близко к истине. В любом парке можно найти следы титанической борьбы за здоровое гулянье при блистательном отсутствии самого гулянья.

Великолепна, например, идея организации Центрального парка культуры и отдыха для московских пролетариев. Превосходна территория, отведенная под этот парк. Велики траты на его содержание.

Но почему на иных мероприятиях парка лежит печать робости, преувеличенной осторожности, а главное — самой обыкновенной вагонной скуки?

Не хочется умалять заслуги огромного штата работников парка, который, несомненно, безостановочно стремится к созданию подлинного Магнитостроя отдыха, но надо сказать прямо, что в парке господствует второй сорт культуры и второй сорт отдыха.

А что касается развлечений, то тут дело уже не в сорте. Их нет, этих развлечений.

— Как нет? — заголосит весь огромный штат.— А наш родимый спиральный спуск, краса и гордость увеселенческого сектора? Чего вам еще надо! А популярное перекидное колесо? А... а...

Но вслед за этим «а» не последует никакого «б», потому что больше ничего нет. В лучшем и самом большом парке нашей страны, куда приходят сотни тысяч людей, есть два аттракциона: ярмарочное перекидное колесо и сенсация XIX века — спиральный спуск. Впрочем, если хорошо разобраться, то не очень он уж спиральный и вовсе не какой-нибудь особенный спуск. В сооружении его сказалась та робость, которая так свойственна парковым затеям. Спирали спуска сделаны такими отлогими, что вместо милой юношескому сердцу головокружительной поездки на коврике (в XIX веке это называлось сильными ощущениями), веселящаяся единица, кряхтя и отпихиваясь от бортов ногами, ползет вниз и прибывает к старту вся в поту. И только крупный разговор с начальником спуска дает те сильные ощущения, которые должен был принести самый спуск.

Аттракционов в парке меньше, чем было в год его открытия. Куда, кстати, девалась «чертова комната»? То есть не чертова (черта нет, администрация парка это учла сразу,— раз бога нет, то и черта нет), а «таинственная комната»?

Комната была не ахти какая, она не являлась пределом человеческой изобретательности. Но все же оттуда несся смех и бодрый визг посетителей. Она всем нравилась. А ее уничтожили.

Почему же уничтожили эту чертову, то есть, извините, таинственную комнату?

Воображению рисуются страшные подробности.

Надо полагать, что смущение, внесенное этим ат-

тракционом в сердца работников отдыхательного дела, было велико.

— Что это за комната такая? Стены вертятся, люди смеются, черт знает что! Абсолютно бесхребетный, беспринципный аттракцион. Надо этой комнате дать смысловую нагрузку.

Дали.

Как у нас дается смысловая нагрузка? Повесили на стены плакаты — и все. Но тут выяснилось новое обстоятельство. Смысловая нагрузка не доходит. А не доходит потому, что стены все-таки вертятся и нельзя прочесть плакаты.

— Надо, товарищи, остановить стены. Ничего не поделаешь.

— Но тогда не будет аттракциона!

— Почему же не будет? Будет чудный, вполне советский аттракцион. Человеко-гуляющий платит десять копеек и получает право просидеть в комнате пять минут, читая плакаты и расширяя таким образом свой кругозор.

— Но ведь тут не будет ничего таинственного и вообще завлекательного!

— И не надо ничего таинственного. И аттракцион надо назвать не вульгарно — вроде «комнаты чудес», а по-простому, по-нашему — «комната № 1». Очень заманчивое название. Увидите, как будет хорошо. Сразу исчезнет этот дурацкий, ничем не нагруженный смех.

Было это так или несколько иначе — не важно. Главное было достигнуто. Таинственная комната исчезла, а вместе с ней исчезло и процентов сорок того смеха, который слышался в парке.

Парковая администрация отыгрывается на всевозможных надписях, таблицах, диаграммах, призывах и аншлагах. Но вызывают большое сомнение эти картонные и фанерные методы работы. Особенно когда натыкаешься на огромную стеклянную заповедь, утвержденную в центре парка:

ПРЕВРАТИМ ПАРК В КУЗНИЦУ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ

Превратим парк в кузницу!

Что может быть печальней такой перспективы! Как это нелучезарно! Какое надо иметь превратное понятие об отдыхе, чтобы воображать его себе в виде кузницы. Хотя бы даже кузницы выполнения решений.

Иной из работников отдыхательного дела взовьется на дыбы.

— Вот вы кто такие! Вы против выполнения решений!

Нет, мы за выполнение решений. Мы только против превращения парка в кузницу канцелярских лозунгов и принадлежностей. И самым лучшим делом было бы не только призывать к выполнению решений, а выполнять эти решения. Превратить парк в место настоящего пролетарского отдыха, а не в городское четырехклассное училище для детей недостаточных мороженщиков, на которое парк очень сейчас походит.

Естественно, что все живое устремляется на реку, каковую еще не успели перегородить картонной плотиной с надписью:

ПРЕВРАТИМ РЕКУ В НЕЗЫБЛЕМУЮ ГРАНИТНУЮ ЦИТАДЕЛЬ ЗДОРОВОГО ОТДЫХА

Между тем, невзирая на усилия отдыхательных идеологов, в парке сквозь «левый» культзагиб слышится радостный смех. Но парк тут ни при чем.

Посетители смеются сами по себе. Они молоды. Им семнадцать лет. Молодость всегда смеется. Однако если не остановить борьбы за «превращение парка в кузницу», если не прекратить отчаянной свалки по поводу методов «борьбы за здоровое гулянье», то вскоре перестанут смеяться даже они — семнадцатилетние.

Вот о чем необходимо столковаться зимой, чтобы опять не увидеть этого будущим летом.

1932

РАВНОДУШИЕ

В том, что здесь будет рассказано, главное — это случай, происшедший на рассвете.

Дело вот в чем.

Молодые люди полюбили друг друга, поженились, говоря высокопарно — сочетались браком. Надо заметить, что свадьбы — вообще нередкое явление в нашей стране. Сплошь и рядом наблюдается, что люди вступают в брак, и дружеский обмен мнений, а равно звон стопочек на свадьбах затягиваются далеко за полночь.

В изящной литературе эти факты почему-то замалчиваются. Будущий исследователь, может быть, никогда и не узнает, как объяснялись в любви в 1932 году. Было ли это как при царском режиме («шепот, робкое дыханье, трели соловья») или как-нибудь иначе, без соловья и вообще без участия пернатых. Нет о любви сведений ни в суперпроблемных романах, написанных, как видно, специально для потомства, ибо современники читать их не могут, ни в эстрадных номерах, сочиненных по бригадно-лабораторному методу ГОМЭЦа.

Разговор о любви возвращает нас к случаю на рассвете.

В семье художника ожидали ребенка. Роды начались немного раньше, чем предсказывали акушеры. Это бывает почти всегда. Начались они в самое неудобное время — в конце ночи. Это тоже бывает

всегда. Все шло стремительно. Родовые схватки возникали через каждые десять минут. Жену надо было немедленно везти в родильный дом. Первая мысль была о такси.

А телефона в квартире не было. Свою биографию художник мог бы начать фразой, полной глубокого содержания: «Я родился в 1901 году. Телефона у меня до сих пор нет». Эта спартанская краткость дает возможность пропустить длительные описания того, как художник подавал заявления в абонементное бюро, подговаривал знакомых, интриговал и ничего не добился.

Итак, на рассвете он ворвался в чужую квартиру и припал к телефонной трубке. Он много читал о ночных такси, которые являются по первому зову желающего, а номер гаража — 42—21 — художник знал на память уже три месяца. Он был предусмотрителен. Он учел все.

Но из гаража мягко ответили, что машин нет. Ночные такси свою работу уже закончили, а дневные еще не начинали.

— Но у меня жена, роды...

— С девяти часов, гражданин.

А было семь.

«Скорая помощь» на такие случаи не выезжает. Художник это знал. Он все знал. И тем не менее ему было очень плохо. Он побежал на улицу.

Натурально, никаких приборов для передвижения в этот час утра столица предоставить не могла. Трамваи еще только вытягивались из депо (к тому же трамвай никак сейчас не годился), а извозчиков просто не было. Где-то они, вероятно, толпились у вокзалов, размахивая ручищами и пугая приезжих сообщениями о цене на овес.

Художник оторопел.

И вдруг — радость сверх меры, счастье без конца — машина, и в ней два добрых шофера. Они благожелательно выслушали лепет художника и согласились отвезти его жену в родильный дом.

С великими предосторожностями роженицу свели с четвертого этажа вниз и усадили в машину. Худож-

ник очень радовался. В памяти помимо воли всплывали какие-то пошлые прописи: «Свет не без добрых людей», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» и, совсем уже не известно почему: «Терпенье и труд все перетрут». Машина тронулась. Теперь все должно было пойти хорошо. Но все пошло плохо.

Автомобиль пробежал десять метров и остановился. Заглох мотор.

И такое дьявольское невезение! До родильного дома всего только пять минут езды. Но было видно по шоферам, которые начинали злиться, что они потеряли власть над машиной, что она пойдет не скоро. А у жены схватки возникали уже через каждые две минуты. Ждать было бессмысленно. Художник выскочил из автомобиля и снова побежал. От Кропоткинских ворот он бежал до самого Арбата. Извозчиков он не встретил, но по Арбату машины проходили довольно часто.

Что же вам сказать, товарищи, друзья и братья? Он остановил больше пятидесяти автомобилей, но никто не согласился ему помочь. Событие это настолько мрачное и прискорбное, что не нуждается ни в подчеркивании, ни в выделении курсивом. Ни один из ехавших в тот час по Арбату не согласился уклониться в сторону на несколько минут, чтобы помочь женщине, рожающей на улице.

Сначала художник стеснялся. Он бежал рядом с машиной, объяснял на ходу свое горе, но его даже не слушали, не останавливались, хотя видели, что человек чем-то чрезвычайно взволнован.

Тогда он стал действовать решительней. Ведь уходило время. Он сошел на мостовую и загородил дорогу зеленому форду. Сидел в нем человек, довольно обыкновенный и даже не со злым лицом. Он выслушал художника и сказал:

— Не имею права. Как это я вдруг повезу частное лицо? Тратить казенный бензин на частное лицо!

Художник стал что-то бормотать о деньгах. Человек с незлым лицом рассердился и уехал.

Бежало по улице полуразвалившееся такси. Шофер попытался обогнуть бросившегося навстречу худож-

ника, но художник вскочил на подножку, и весь последовавший затем разговор велся на ходу.

В такси ехала веселая компания. Людей там было много — четверо с девушкой в купе (один — на чужих коленях), а шестой рядом с шофером (он-то и оказался потом главная сволочь). На молодых долдонах были толстые, как валенки, мягкие шляпы. Девушка, болтушка-лепетушка, часто, не затягиваясь, дымила папиросой. Им было очень весело, но как только они услышали просьбу художника, все сразу поскучнели и отвечали противными трамвайными голосами. Но от просителя было нелегко отделаться.

— Ну что вам стоит,— говорил он,— ведь вы не очень торопитесь! Ведь такой случай.

— То есть как — что нам стоит? — возражали из машины.— Почему ж это мы не торопимся?

— Но ведь вам не на вокзал. Пожалуйста!

— Вам пожалуйста, другому пожалуйста, а мы два часа такси искали.

— На десять минут! Через десять минут я вам доставлю машину назад.

Долдоны упорно говорили, что они никак не могут и что лучше их даже не просить.

— Подумайте, она каждую минуту может родить!

— Ей-богу, он нас считает за пижонов! Что это такое, в самом деле? Уже в такси толкаться начинают!

— В конце концов я могу требовать! — настаивал художник.

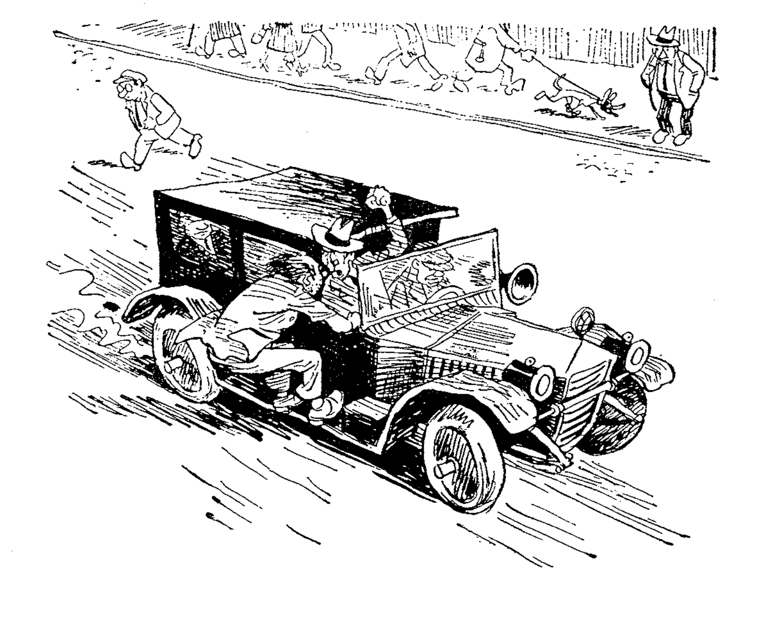
— Ну, это уже нахальство,— заметила болтушка-лепетушка.

Тогда обернулся молчавший до сих пор шестой, тот, который сидел рядом с шофером. Он задрожал от гнева.

— Хулиган! — завизжал он на всю улицу.— Сойдите с подножки, я вам говорю. Он еще будет требовать, мерзавец!

И он высунулся из машины, чтобы сбросить художника на ходу.

Машина завернула на Смоленский рынок, грозя



завести художника черт знает куда, и он соскочил.

Ах, как хотелось драться, поносить долдонов различными благородными словами! Но было некогда.

Он увидел машину, остановившуюся у обочины. Счастливый отец высаживал на тротуар жену и двоих детей. Художник бросился к нему.

Надо сказать, что по природе своей он был человек не застенчивый, скорее даже натура драматическая. Он умел убеждать и волновать. И сейчас он без стеснения заговорил так называемыми жалкими словами, которые вызывают слезы в театре и которыми так стыдно пользоваться в быту.

— Вы — отец,— говорил он,— вы меня поймете. У вас у самого маленькие дети. Вы счастливы, помогите мне!

В театре счастливый отец заплакал бы. Но здесь поблизости не было занавеса с белой чайкой, не было седых капельдинеров. И он ответил:

— Товарищ, мне некогда. Я опоздаю на службу.

— Я заклинаю вас,— молил художник,— понимаете, заклинаю! Во имя...

— Товарищ, я все понимаю, но у меня нет ни одной минуты свободного времени. Позвольте мне войти в машину.

— Ну, хорошо,— сказал несчастный, перейдя почему-то на шепот: — Ну, если река и тонет человек, что вы сделаете?

— Товарищ, я так занят, что два года не был в кино, даже «Путевки в жизнь» не видел, а вы... буквально нет ни одной минуты.

Художник опять остался один. Снова он бежал за кем-то, прижимая руки к груди и бормоча:

— Русским языком заклинаю вас!

Снова он вскакивал на подножки автомобилей, упрашивал, предлагал деньги, произносил речи, грозил или плакал, и — вы знаете — это не подействовало. Оказалось, что все очень заняты делами, не терпящими отлагательства. И машины катились одна за другой, и не было в эту минуту силы, которая могла бы их свернуть с предначертанного пути.

Ленин, погруженный в работу, громадную, неизмеримую, находил время, чтобы узнать, как живут не только его ближайшие товарищи, но и люди, которых он видел мельком, несколько лет назад,— не нужно ли им чего-нибудь, здоровы ли они, не мешает ли им кто-нибудь работать и жить.

А у этих пятидесяти человек, которые, конечно, считают себя исправными жителями социалистической страны, не нашлось ни времени, ни желания, чтобы выполнить первейшую обязанность члена коллектива и гражданина Советского Союза — броситься на помощь.

Это не изящный вымысел писателя, а история, происшедшая этим летом в Москве.

Как жалко, что номера машин остались неизвестными, что нельзя уже собрать всех этих безумно занятых людей, собрать в Колонном зале Дома Союзов, чтобы судить их всей страной с прожекторами, микрофонами-усилителями, с громовой речью прокурора, су-

дить как отчаянных врагов социалистического общества за великое преступление — равнодушие[1].

О, равнодушие! С ним всегда встречаешься неожиданно. Созидательный порыв, которым охвачена Советская страна, заслоняет его. Равнодушие тонет в большой океанской волне социалистического творчества. Равнодушие — явление маленькое, но подлое. И оно кусается.

Был дом, счастливый дом, семьдесят две квартиры, семьдесят две входных двери, семьдесят два американских замка. Утром жильцы уходили на работу, вечером возвращались. Летом уезжали на дачи, а осенью приезжали назад.

Ничто не предвещало грозы. О кражах даже не думали. В газетах отдел происшествий упразднен, очевидно за непригодностью уголовной тематики. Возможно, что какое-нибудь статистическое ведомство и выводит раз в год кривую краж, указывающую на рост или падение шнифа и домушничества, но граждане об этом ничего не знают. Не знали об этом и жильцы счастливого дома в семьдесят две квартиры, запертые семьюдесятью двумя массивными американскими замками — производство какой-то провинциальной трудовой артели. Отправляясь в свои предприятия и учреждения, жильцы беззаботно покидали квартиры.

---

[1] Вот конец этой истории. Он нашел машину. Не важно, какая она была — пятьдесят вторая или пятьдесят третья. Важно лишь то, что ее пассажир не заставлял себя просить, а тотчас же согласился помочь, хотя ехал по делу весьма значительному. Финиш был совсем неожиданный. На месте происшествия художник не нашел ни замороженной машины, ни жены. Он не нашел ее также в родильном доме. Только тогда он догадался вернуться домой. Оказалось, что жена ждать не могла, потащилась на свой четвертый этаж и немедленно родила у себя в комнате. Ребенка принимали перепуганные соседки. Пуповину перерезали обыкновенными ножницами, которые впопыхах забыли хотя бы вытереть спиртом. Ожидали заражения крови, гибели матери, гибели ребенка. Но тут наконец повезло — все окончилось благополучно. Одна беда: ожидали мальчика, а родилась девочка. Но это уже общественного значения не имеет. *(Прим. авторов.)*

Сперва обокрали квартиру номер восемь. Унесли все, кроме мебели и газового счетчика. Потом обокрали квартиру номер шестьдесят три. Тут захватили и счетчик. Кроме того, варварски поломали любимый фикус. Дом задрожал от страха. Кинулись проверять псевдоамериканские замки, изготовленные трудолюбивой артелью. И выяснилось. Замки открываются не только ключом, но и головной шпилькой, перочинным ножиком, пером «рондо», обыкновенным пером, зубочисткой, ногтем, спичкой, примусной иголкой, углом членского билета, запонкой от воротничка, пилкой для ногтей, ключом от будильника, яичной скорлупой и многими другими товарами ширпотреба. К вечеру установили, что если дверь просто толкнуть, то она тоже открывается.

Пришлось завести семьдесят третий замок. Это был человек-замок, гражданин пятидесяти восьми лет, сторож по имени Евдоким Колонныч. Парадные подъезды заколотили наглухо. И сидит теперь старик Колонныч при воротах, грозя очами каждому, кто выходит из дома с вещами в руках. И платится Колоннычу жалованье. И уже закупается Колоннычу на особые фонды громаднейший тулуп для зимней спячки. И все же дом в страхе. И непрерывно в доме клянут ту буйную артель, которая бросила на рынок свое странное изделие.

А ведь артель знает, что ее продукция отмыкается и пером «рондо», и простым пером, и вообще любой пластиночкой. И работники прилавка знают. И начальники торгсектора в курсе. И все-таки идет бойкая торговля никому не нужным миражным замком — продуктом полного равнодушия.

Чья равнодушная рука забросила в ялтинские книжные магазины одни лишь медицинские труды, так что на благовонных крымских берегах духовная пища состоит исключительно из сумрачного изложения основ гистологии, детального описания суставного ревматизма, золотухи, язвы желудка и стригущего лишая?

Иногда в трамвае, пересекающем Свердловскую площадь, остолбенелому взору потомственного почет-

ного горожанина предстоит отечески увещевающий картонный плакат:

Коль свинью ты вдруг забил,
Шкурку сдать ты не забыл?
За нее, уверен будь,
Ты получишь что-нибудь!

В проникновенном куплете, изготовленном по бригадно-лабораторному методу ГОМЭЦа, вам, московские трамвайные пассажиры, предлагают сдавать свиные шкуры.

Хорошо, посмотрим. В вагоне двадцать восемь мест для сиденья, шесть мест на задней площадке, разговаривать с вагоновожатым воспрещается, пройдите вперед, там совсем свободно,— итого, следовательно, двести сорок пять человек в различных прихотливых позах. Кто ж из них мог бы вдруг забить свинью?

Вот этот, в парадной толстовке, читающий журнал «Рабис»? Или маляр с кистью, закутанной в газетную бумагу? Или две девочки, напуганные отчаянно пихающимися взрослыми дядями и тетями? Или сами дяди и тети, уже начавшие извечную склоку насчет того, кто ходит в шляпе, кто «дурак» и кто «сама дура»?

Товарищи, друзья и братья! Разве похож московский трамвайный пассажир на свинодержателя или поросятовладельца? Не относится ли плакат скорее к деревне? Чья же равнодушная лапа наводнила им шумную столицу?

Это все тот же человек из ведомости, безразличный ко всему на свете, пугающийся даже мысли о том, что можно потратить пол-литра казенного бензина, чтобы спасти женщину, рожающую на улице. Его кислая одышка слышится рядом с молодым дыханием людей, строящих мир заново.

Так открывается вдруг цепочка унылых людей, работающих только для видимости, комариная прослойка граждан, связанных с коллективом исключительно ведомостью на жалованье.

Человек из ведомости хитер. Если спросить его, почему он так равнодушен ко всему на свете, он сей-

час же подведет под свое равнодушие каменную идеологическую базу. Он скажет преданным голосом:

— Это все мелочи — замочки, детки, всякая ерунда. Надо смотреть шире, глубже, дальше, принципиальнее. Я люблю класс, весь класс в целом, а не каждого его представителя в отдельности. Интересы отдельных единиц не поколеблют весов истории.

Вот маска человека из комариной прослойки. На деле он любит только самого себя (и ближайших родственников — не дальше второго колена).

По своей толстовочной внешности и подозрительно новеньким документам он — строитель социализма (хоть сейчас к фотографу!), а по внутренней сущности — мещанин, себялюбец и собственник.

1932

ГОЛОВОЙ УПИРАЯСЬ В СОЛНЦЕ

> Что мы называем славой, товарищи? Славой, товарищи, мы называем яркую заплату, каковая имеется на ветхом рубище певца.
>
> *Из наследия классиков*

По некоторым признакам можно было судить, что надвигаются события. Выражаясь языком оборонной литературы, в воздухе пахло порохом (сделаем уступку забияке Вишневскому — пахло бездымным порохом). Выражаясь совсем уж точно — пахло скандалом. В общем, добром это кончиться не могло. Жертва созрела. Все это знали, но никто не решался первым занести над ней пылающий меч здоровой критики.

Был, правда, случай. Инцидент. На каком-то товарищеском чае какой-то писатель выкрикнул какую-то фразу. Но этому не придали значения, притворились, что ничего не произошло. Кстати, еретик немедленно после этого заснул, положив голову на плечо тамады из Оргкомитета.

Между тем слава писателя Оловянского росла. Девушки прогуливались в садах, шепча его имя. Издатели тоже любили его.

А что может быть упоительней первой любви издателя! Ничего, милостивые государыни, не может

быть упоительней. Тут все — и массовое издание, и не массовое издание, и супердешевое издание, и, напротив, супердорогое, в суперобложке и специальном картонном ларце с перламутровыми пуговицами и вензелями. Одним словом, не жизнь, а бывшая масленица. Критики ничем не попрекали Оловянского. Им все нравилось в его сочинениях, и об этом они говорили часто, скучно и громко.

Итак, Оловянский находился на вершине славы. Он упирался головою в солнце. И неизвестно, сколько еще времени продолжалось бы это сидение на высотах, если бы не послышалось ворчанье из литературного коридора.

Надо объяснить, что такое коридорное мнение. Коридор — всюду. И на улице, и дома, и в редакциях — везде, где встречаются и разговаривают между собой писатели.

Мы любим гимназические трафареты и до сих пор считаем, что коридорная болтовня — это что-то нехорошее, мещанское, сплетни, враки, что если говорить, то уж обязательно речь, и обязательно большую, и обязательно с кафедры, и обязательно с последующей правкой стенограммы («Уважаемый товарищ редактор. Некий горе-критик удосужился выхватить из моей неправленной стеногра... это возмути... я протесту...»). Это надоело, и это неверно. Нельзя из-за каждого слова взгромождаться на эстраду или возить за собой на извозчике кафедру-передвижку, чтобы вовремя предоставлять ее писателю, желающему высказать какое-нибудь суждение.

Так парадно жили только римские консулы. Советским писателям неудобно так жить. К тому же в коридорных разговорах нет никакой литературной нелегальщины. Коридор справедлив и строг. В поисках истины он иногда обгоняет кафедру. И покуда на кафедре длится вальпургиев юбилей в честь чьих-то шестилетних трудов на изящной ниве литературы, в коридоре уже все известно — и юбилея не надо было, и труды не бог весть какие, и юбиляру самое время начать изучение языка, каковой у него наравне с содержанием весьма и весьма хромает.

К коридору надо прислушиваться. В коридоре дует сильный ветер. Там, как самолеты в аэродинамической трубе ЦАГИ, испытываются писатели, проверяется их стиль, идейность, дарование. Уж если тут воздушным потоком оторвало крыло, ничто не поможет,— этот писатель летать не будет. Ему надо менять конструкцию. Он не выдержал испытания. Жить он будет, но петь — никогда, как говорят в народе.

Итак, девушки прогуливались в садах, нежно цитируя произведения Оловянского. А в это время в литературный коридор вышел бледный и встревоженный человек.

— Что с вами, молодой стилист? — спросили его писатели.

— Я всю ночь читал Оловянского.

— И что же?

— Плохо.

— Нет. Вам нельзя верить. Вы у себя в хедере имени Марселя Пруста считаете, что все плохо пишут.

— Да нет, уверяю вас. Это очень слабо. Просто скверно написано. Убого.

— Быть этого не может. Оловянский — знаменитый писатель. Его все хвалят и гладят.

— А вы его читали? Ну, так прочтите. Тогда и будете говорить.

Оловянского прочли. До сих пор не читали, верили на слово, что у него все в порядке. Лучше бы уж молодой человек из хедера имени Марселя Пруста никогда не приходил в коридор. Оловянского втянуло в испытательную аэродинамическую трубу. И сразу же лопнули его сюжетные тяги, разъехались композиционные скрепления, посыпались к черту части, детали, метафоры и кавычки. И все увидели, что эта машина летать не может.

Кафедра еще серенадила по инерции под балконом прозаика, но вскоре в расстройстве замолчала. Умолкли критические бандуры и мандолины, после чего в наступившей тишине литературная общественность явственно услышала тонкий, леденящий душу свист. Это летела первая ласточка. В клюве она несла

статью, где творчество Оловянского подвергалось всестороннему и чрезвычайно обидному рассмотрению. За ласточкой с отчаянным гулом летели трехмоторные критические кондоры. И каждый кондор держал в клюве статью, и все статьи были ужас какие справедливые и обидные.

Оловянский заметался. Он привык к славе и совсем забыл про откровенный, прямолинейный коридор. Он ничего не понимал. Еще несколько дней назад кондоры и ласточки любовно парили над ним, сбрасывая на его голову экспортные тюльпаны и даже цельные венки. Ах, лавровый запах славы, запах супа и маринованной рыбы!

Гром похвал утих так неожиданно, что захотелось кричать «караул», захотелось побежать в милицию жаловаться, захотелось биться за свою мягкую койку на Парнасе.

«Нет, тут какая-то ошибка,— думал поверженный автор,— они не имеют права. Я буду судиться».

Он почему-то считал, что против него ведется тайная интрига, и обращался к организациям и отдельным лицам с просьбой оказать ему законное содействие,— в общем, пытался восстановить славу по знакомству.

— Это что ж такое? — говорил он негодующе.— Безобразие. Сегодня обо мне сказали, что я написал посредственную книгу, а завтра и до кого угодно доберутся. Таких критиков надо просто снимать.

— Как это снимать? — удивилось отдельное лицо.

— Ну, я не знаю... С занимаемых должностей, что ли.

— Да, но ведь тут, так сказать, критическая мысль... Человеку не нравится,— что я могу сделать?

— Вы все можете сделать. Честное слово. Телефон вы мне в два дня поставили, а какого-то критика не можете снять. Снимите! Ну пожалуйста!

— А вдруг ваша книга действительно... не совсем?

— Нет, именно совсем. Девушки прогуливались в садах, шепча мое имя.

— Девушек легко обмануть. Чьи только имена, скороспело вошедшие в школьные программы, они не

шептали! К тому же теперь в школе строго, пятибальная система. Поневоле зашепчешь.

— Может быть, все-таки хоть какие-нибудь репрессии. Хоть немножко. А? Для порядка.

— Нет, товарищ,— грустно сказало отдельное лицо.— Лучше я вам еще один телефончик поставлю.

— А может, все-таки лучше репрессии?

— Нет, лучше телефончик.

От Оловянского отвернулись даже знакомые. А критические кондоры перешли на бреющий полет и полосовали его длиннющими и злющими статьями.

И уж где-то на диспуте Оловянского стали добивать в порядке регламента: докладчику на побиение автора камнями и цитатами — полчаса, выступающим в прениях на осыпание автора мусором и утильсырьем — по пяти минут на человека.

Начинался перегиб.

Что же после этого, товарищи, мы условно назовем славой?

Не будем, товарищи, преувеличивать. Славой, товарищи, мы назовем яркую, так сказать, заплату на ветхом рубище певца, товарищи. Не больше.

Так сказал, так сказать, Пушкин.

И это все о славе. Не будем преувеличивать.

1933

ЧЕЛОВЕК С ГУСЕМ

Один гражданин пожелал купить электрическую лампочку. В магазине лампочки были, но все не те — в пятьдесят, двадцать пять и даже пятнадцать свечей. А гражданин обязательно хотел сто свечей. Такая это была капризная и утонченная натура.

Казалось бы, происшествие ничем не замечательное. Но надо же было случиться тому, что опечаленный гражданин столкнулся на улице со старым своим другом.

Друг был рыжий, веселый, напудренный и держал под мышкой большого битого гуся.

(Здесь опускается описание довольно продолжительных приветствий и объятий, во время которых гусь несколько раз падал на тротуар, а рыжий живо поднимал его за лиловатую мерзлую ножку.)

— Да, Миша! — воскликнул вдруг гражданин.— Где можно купить стосвечовую лампочку?

— Нигде, конечно,— загадочно ответил рыжий.

— Что же мне делать?

— Очень просто. Достать по блату.

Неудачливый покупатель не понял своего веселого друга. Он впервые слышал такое странное выражение. Задумчиво он повторил его вслух и долго бы еще растерянно топтался посреди тротуара, мешая пешеходному движению, если бы рыжий не набросился на него, размахивая гусем:



— Чего ты не можешь понять? Да, по блату! Не слышал?

И, многократно повторяя это неизящное воровское слово, Миша пихал гуся под нос другу. Друг отгибал голову назад и испуганно закрывал глаза.

— Вот! — возбужденно вскричал рыжий.— Этого гуся я получил по блату. За тридцать копеек. Одного жиру тут на пятьдесят рублей. А пальто? Видел? Инснабовское маренго. Двенадцать рублей. Одна подкладка теперь на базаре... Да ты погоди...

Он положил гуся на землю и, не сводя с него глаз, расстегнул пальто, чтобы показать костюм. Костюм

действительно был неплохой. Такие костюмы снятся пижонам в длинные зимние ночи.

— Сколько, по-твоему, стоит?

— Рублей шестьсот? — нетвердо сказал искатель лампочки.

— А двадцать два дуба не хочешь? Шито по фигурке. Мировой блат!

Это слово, которое скрытно жило в малинах и употреблялось исключительно в интимных беседах между ширмачами и скупщиками краденого (каинами), выскочило наружу. А рыжий веселый друг все подпрыгивал и радовался. Наконец он наклонился к уху собеседника и, оглянувшись, зашептал:

— Надо понимать. Блат — великая вещь.

Искатель лампочки тоже оглянулся. Но он уже вошел во вкус нового слова и застенчиво спросил:

— Что же это все-таки значит... по блату?

— По блату — это по знакомству. Тебе нужна лампочка? Сейчас... Кто у меня есть по электричеству? Ах, жалко. Бешенский в отпуску. Но, знаешь, все-таки пойдем. Может, что-нибудь достанем.

К вечеру искатель стосвечовой лампочки вернулся домой. Двусмысленно улыбаясь, он поставил на стол черный экспортный патефон и восьмидюймовую банку с медом. Веселый друг оказался прав. Бешенский еще не вернулся. К счастью, на улице встретился директор объединения «Мембрана», и беспокойный Миша сразу выпросил у него записку на патефон по сверхтвердой цене и со скидкой в тридцать процентов, так что почти ничего платить не пришлось. Что же касается банки с медом, то отчаянный друг с такой ловкостью выхватил ее из какого-то ГОРТа, что искатель лампочки даже не успел заметить, какой это был ГОРТ.

Весь вечер он ел мед и слушал пластинки. И в диких выкриках гомэцовской хоровой капеллы чудилась ему дивная, почти сказочная жизнь, по каким-то чужим броням, почему-то вне всяких очередей и даже с правом посылать семейные телеграммы с надписью «посевная».

Утром, на свежую голову, он стал вспоминать и записывать в книжечку фамилии и телефоны своих зна-

комых. Оказалось, что многие полезны, из них особенно:

кассиров железнодорожных — 1

привратников ЗРК — 3,

хозяйственников — 2,

управляющих финансовыми секторами — 1,

председателей РЖСКТ — 1.

А он, дурак, с иными пил чай, с другими играл в карты и даже в фанты, с третьими жил в одной квартире, приглашал их на вечеринки и сам бывал у них на вечеринках — и никогда ни о чем их не просил. Это было какое-то непонятное затмение.

Теперь ясно, что надо делать. Надо просить!

Просить все: бесплатный билет в Сочи, свинобобы по твердым ценам, письменный стол за счет какого-нибудь учреждения, скидку на что-то, преимущества в чем-то, одним словом — все.

Через год человек, искавший когда-то лампочку, оглянулся на пройденный путь. Это был путь человека с вечно протянутой за подаянием рукой.

Теперь он часто без дела разъезжал в поездах, занимая мягкие места, а на пароходах его иной раз даже даром кормили.

Среди пассажиров по томному блеску глаз и по умению держать проводников в страхе он узнавал тех, кто тоже устраивался по блату.

Если эти люди ехали с женами, то чудилось, что даже женились они по протекции, по чьей-то записочке, вне всякой очереди,— такие у них были подруги, отборные, экспортные, лучше, чем у других.

И когда они переговариваются между собой, кажется, что они беспрерывно твердят некое загадочное спряжение:

я — тебе,

ты — мне,

он, она, оно — мне, тебе, ему,

мы — вам,

вы — нам,

они, оне — нам, вам, им.

Теперь понятно выражение «по блату». Просто оно оказалось наиболее точно обозначающим бурную дея-

тельность некоторого количества людей, думающих, что если они и не ангелы, то уж во всяком случае хорошие ребята и крепкие парни.

Но их выдает уже самое выражение «по блату». Оно вышло, как бы сказать, из официально воровского мира и пришло в мир воров неофициальных, растаскивающих советское имущество по карманам толстовок, по плетенкам. Это еще более предприимчивые и наглые расхитители социалистической собственности, чем те, кто ночью где-нибудь на товарном дворе взламывают вагоны, за что и судятся по соответствующей статье.

Тут есть все, предусмотренное уголовным кодексом: и гортовская кража со взломом по записке, и строительный бандитизм по протекции, и похищение чужой квартиры среди бела дня и вне всякой очереди.

Рыжие молодцы не всегда ходят с битым гусем под мышкой.

Иногда они хватают чужие вагоны с алебастром или мандаринами, мороженымн судаками или табуретками. Они рвут. Оказывается, им все нужно.

— Сегодня отхватил пять тысяч штук кирпича! Мировой блат! По твердой. А на рынке, знаете, сколько?.. Пусть полежит. Когда-нибудь пригодится. Мы тут наметили года через два начать строить авгиевы коттеджи.

И наверно же у нас есть домики, выстроенные по блату, против плана, вопреки прямому запрещению государственных органов, выстроенные только потому, что какой-то очень энергичный человек обманным путем, в ущерб государству, в ущерб новому жилью для рабочих, ученых или специалистов вырвал где-то все элементы своего гнездышка: и цемент, и крышу, и унитазы, и рамы, и паркет, и газовые плиты, и драгоценный телефонный кабель. Вырвал из плана, смешал карты, спутал работу, сломал чьи-то чудные начинания, проник микробом в чистый и сильный советский организм.

Товарищи, еще одна важная новость! Но помните — это секрет! Никому ни слова!

Тише!

У нас есть писатели по блату! (Немного, но есть.)
Композиторы по блату! (Бывают.)

Художники
Поэты — по блату.
Драматурги — (Имеется некоторый процент.)
Кинорежиссеры

Это тонкая штука. И это очень сложная штука. В искусстве все очень сложно. И это большое искусство — проскочить в литературу или музыку без очереди.

Все эти люди — и веселый приобретатель с протянутой рукой, и строительный разбойник, с кистенем в руках отбивающий магнитогорский вагон с пиленым лесом, и идеологический карманник с чужой славой на озабоченном челе,— все эти «ятебетымне» думают, что по блату можно сделать все, что нет такого барьера, который нельзя было бы взять с помощью семейственности, что по блату, по записке можно примазаться и к социалистическому строительству. Но это им не удастся. Столь любимый ими «блат» приведет их в те же самые камеры, откуда вышло это воровское, циничное, антисоветское выражение.

1933

ЛИСТОК ИЗ АЛЬБОМА

Теперь уже окончательно выяснилось, что юмор — это не ведущий жанр. Так что можно наконец поговорить серьезно, величаво. Кстати, давно хочется застегнуться на все пуговицы и создать что-нибудь нетленное.

Не сразу, конечно.

Здесь покуда приводятся только черновые записи, суждения, слова, подхваченные на лету, некоторым образом еще не отшлифованные алмазы.

Самый страшный персонаж в плохой современной пьесе — это так называемый пожилой рабочий.

Зрители трепеща ждут его появления. И вот он выходит на сцену. И вот, под громовой кашель публики, начинает вырисовываться его характер.

О, это сложная фигура, рядом с которой шекспировский венецианский купец кажется неизящной провинциальной схемой.

Разумеется, пожилой рабочий уж не молод (56 лет). Обязательно носит сапоги на высоких скороходовских каблучках. Разумеется, на нем стальные калининские очки, сатиновая косоворотка под пиджаком, и усы, о которых прейскуранты театральных парикмахерских сообщают кратко и нагло: «Усы колхозные — 80 коп.»

Пожилой рабочий всегда и неукоснительно зовется по имени-отчеству: Иван Тимофеевич, Кузьма Егорыч, Василий Фомич.

Пожилой рабочий — беспартийный, но обладает сверхъестественным классовым чутьем, хотя до некоторой степени находится в тисках прошлого (икону сбрасывает со стены только в третьем действии). Как правило, пожилой рабочий обожает свой станок. Пожилой рабочий часто ворчит и жалуется на кооперацию, но этим он никого не обманет — под грубой оболочкой ворчуна скрывается верное сердце.

Никаких отступлений от этого художественного образа драматурги себе не позволяют. И едва только под огнем рампы сверкнут стальные очки пожилого — суфлер спокойно может идти из своей пыльной будки в буфет,— публика сама подскажет Кузьме Егорычу его реплику, если он ее забудет.

Таков старожил советской сцены, чудно вычерченный в литературных канцеляриях.

— Все хотят писать пьесу на конкурс.

— А как писать?

— Ну, это просто. Чтобы было значительно и в трех актах.

— И подымут на щит?

— Могут поднять.

— Интересно, должно быть, на щите, а?

— О-о-о!

— Завидую Шолохову.

— А вы напишите хороший роман, вас тоже подымут на щит.

— Что роман! Вы сначала подымите, а я потом напишу.

— Вы, однако, не глупый.

— О, я далеко не глупый. Там и буду писать. На щите. Свободно, просторно, никто не мешает.

Почему население так не любит критиков? Надо полагать, причины есть. Не стоит об этом распространяться.

Но во всяком деле, даже в таком интересном, как

травля критиков, надо сохранять меру, такт, наконец профсоюзную дисциплину.

Между тем с недавнего времени в этой области наблюдается известное излишество, граничащее с заезжательством, заушательством и заштукатуриваньем собственных недочетов, коих, ох, как много, наряду с достижениями. Завелись грубые чикагские манеры, какой-то такой аль-капонизм в действии, начались похищения среди бела дня.

Стоит критику неблагоприятно отозваться то ли о выставке картин, то ли о новой пьесе, как заинтересованная сторона увозит его к себе на заседание и там начинает пытать повесткой дня:

1. О подлом, хамском, мерзком, дерзком выпаде критика N.

2. Дача отпора указанной газетно-журнальной шавке N.

3. Разное.

И сидит бедная шавка среди разъяренных творцов, с ужасом ожидая пункта третьего. Он не ждет добра от «разного». По этому пункту критику забивают под ногти резолюции и канцелярские скрепки, вымогая у него отречение от рецензии.

Травля критиков — дело, конечно, безумно увлекательное, но нельзя же, товарищи, такое Чикаго.

— Слушайте, где здесь подымают на щит?

— Кажется, в двенадцатой комнате.

— Да нет, я там был. Насилу вырвался. Там приносят в жертву.

— Тогда обратитесь в девятую.

— А там очередь. На три года хватит. Нельзя ли как-нибудь сбоку, по блату? Я могу представить удостоверение о болезни.

— Нет, на щит по блату не подымают.

— Черт знает что! Безобразие!

Жил на свете автор. Был он молод, неизвестен, но дьявольски опытен. Вот он и написал пьесу в семи картинах с прологом, под названием «Первые этажи».

Пролог неинтересен, семь картин тоже не разгорячают воображение (мол. инж., изобр., лесопил., комбайн, но вылаз. клас. враг., порт. маш. Раб. выдв., встречн. пл. Варьянт. невозможн.). Отдыхает глаз лишь на списке действующих лиц.

«Парфил — раскулаченный. Вредитель под маской ударника».

«Силантий — недавно из деревни».

Здесь зал уже может подхватывать рифму. Поскольку наивный Силантий недавно из деревни, он... Ну, угадайте! И зал гремит ликующим хором: «Находится под сильным влиянием Парфила».

Но вот новинка драматургической техники.

«Профорганизатор. Одутловат».

Что такое? Почему он одутловат? Это неспроста. Молодой специалист Соколов, тот, например, не одутловат. Напротив, он «энтузиаст». Так написано. Уборщица Власьевна тоже не одутловата, хотя «старушка очень уважает директора. Пуглива». И тут нет никаких горизонтов. Все уборщицы — старушки, все пугливы. Профессор Горбунов — «близорук». Тоже все понятно. Работник умственного труда. Испортил зрение за учебой. В общем — все по Бомарше и Мольеру. Один только профорганизатор мучит, волнует, заставляет сердце тревожно биться. Почему он одутловат?

Добираешься до первой его реплики:

«Профорганизатор... Десять минут на шамовку, остальные на храпака...»

Так вот оно как! Он одутловат потому, что любит спать! Это сатира (знаете — «местком спит»).

Здесь автор подымается до высот подлинной сатиры, заостряя свое оружие против бездеятельной профорганизации.

Кончаются «Первые этажи» оптимистической ремаркой:

«Машина начинает сильнее грохотать». Будто бы она недостаточно грохотала в течение всех семи картин! Ах, как грустно!

Издал книгу ГИХЛ. Тираж — 6000, чтобы поосновательней насытить рынок. Подписана к печати 19 авг. 1932 года. Кого же вы найдете в ГИХЛе в чуд-

ном отпускном августе месяце? Безусловно, подписывал книгу к печати дворник дома № 10 по Никольской улице. А не то какая-нибудь гихловская Власьевна (очень уважает пьесы с машинной идеологией. Пуглива).

Ужасно грустно!

— Прохожу мимо оргкомитета, слышу какой-то бранный звон. Заглядываю в окно, прямо сердце дрогнуло. Подымают на щит Новикова-Прибоя. До чего стало завидно.

— Почему завидно?

— А за что его подымать? Никогда не высказывается, в прениях не выступает, в анкетах участвует недостаточно регулярно. Так... Написал что-то морское.

— И вы напишите морское.

— Я морского не знаю.

— Ну, сухопутное что-нибудь напишите.

— Сухопутное у меня не выходит, как-то не рождается.

— Что ж вы хотите?

— Хочу на щит. Честное слово, буду жаловаться. У меня все права. Если уж кто щитовик, то это я. Ни одного заседания не пропустил. Одному Цвейгу написал триста писем. Наконец, только недавно публично отрекся от своей мещанской сущности. Подымите меня! Слышите! Я категорически требую. Подымите!

— Что же я могу сделать! Напишите все-таки что-нибудь! Кроме того, сегодня вообще неподъемный день. Приходите после съезда. И не забудьте захватить с собой рукопись, где в художественной форме изобража...

— Вот это самое «изобража» у меня и не изобража...

Очень приятно поговорить серьезно, застегнувшись на все пуговицы.

1933

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СТРАДАНИЯ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

Просматривая утреннюю почту, директор Горьковского автозавода натолкнулся на письмо, полное оптимизма.

«Дорогие товарищи,— читал он.— Для большевиков нет ничего невозможного, и вот мы решили своим рабочим коллективом в сезон 1933 года выработать сверх плана 10 тонн арбузного цуката не дороже 4 рублей 50 копеек за килограмм, являющегося в нашей кондитерской промышленности прекрасным предметом ширпотреба...»

— Что это такое? Иван Васильевич, зачем вы мне это дали? При чем тут наш завод? Это, наверно, адресовано в какой-нибудь верховный кондитерский трест. Давайте следующее письмо.

«Наша республика — бывшая царская колония... При царизме в Дагестане не было ни одного исследовательского учреждения, теперь — десятки...»

— Хорошо, а при чем тут мы?

«Конкретной задачей нашей Дербентской опытной станции по виноградарству и овощам является доведение дешевого и хорошего качества винограда до рабочего стола...»

— Иван Васильевич, что вы со мной делаете? Я же не против доведения винограда до стола. Пусть производят свои головокружительные опыты. Но какое это имеет отношение к производству автомобилей?

— Вы прочтите до конца. Там дальше есть и про автомобили.

— Где?

— А вот: «...Дагестан по богатству природных условий может быть назван советской Калифорнией...»

— Это какая-то глупая география!

— Они всегда начинают с географии. Вы слушайте: «...Огромным злом является малярия. Единственное спасение от малярии — это выехать ночью, когда появляется комар, из малярийной местности в город, где больше принято профилактических мер...» Видите? Мы уже дошли. Вые-хать! А на чем выехать? На извозчике от быстроходного комара не убежишь. Нужен автомобиль.

— Да, но ведь с малярией борются другими средствами. Что-то я помню, хинизация, нефтевание водоемов...

— Теперь это уже отменено. Директор станции товарищ Улусский считает, что от малярии можно спастись только на автомобиле. Понимаете?

— Не понимаю.

— А между тем все очень просто. Они предлагают нам, хотят, так сказать, довести до нашего стола один вагон ранней капусты, один вагон ранних томатов и один вагон винограда и взамен просят один автомобиль.

— Знаете что,— мрачно сказал директор,— доведите это письмо до мусорной корзинки.

В кабинет вошел курьер и, странно улыбаясь, поставил на стол тяжелый ящик.

— Цукаты,— сообщил секретарь кратко.

— Какие цукаты?

— Арбузные. Вы же только что читали: являются прекрасным предметом ширпотреба. Где первое письмо? Вот видите: «Посылая одновременно вам образцы нашей продукции, просим обсудить наше предложение». А предложение вы знаете. Они — Дубовской арбузопаточный завод-совхоз — нам десять тонн чудного цуката, этого роскошного ширпотреба, а мы им... шесть автомобилей.

Через час начался прием посетителей.

В дверях сразу же застряли три человека: двое штатских и третий тоже штатский, но с морским укло-

ном в одежде. На нем был черный пиджак с золотыми торговыми пуговицами. Произошла короткая схватка, в результате которой усеянный пуговицами морской волк был отброшен в переднюю, и перед директором предстали двое просто штатских. Они были возбуждены борьбой и начали, задыхаясь:

— Мы из Ленинграда,— сказал первый штатский.

— От Государственного оптико-механического завода,— сообщил второй.

— Это товарищ Дубно, помощник директора,— представил первый.

— Вот товарищ Цветков, секретарь комитета ВЛКСМ,— представил второй.

— Мы вам два звуковых киноаппарата последней конструкции инженера Шорина для культурного обслуживания рабочих и ИТР,— начал первый.

— А вы нам два автомобильчика,— закончил второй.

— Уходите,— кротко сказал директор.

— Нас прислал треугольник.

— Все равно уходите.

— А автомобильчики?

— Я вам покажу автомобильчики! Знаете что? Поезд в Ленинград отходит ровно в восемь. Не опоздайте.

На пороге кабинета сверкнули золотые пуговицы.

— Я — Гнушевич,— сказал вошедший.

— Что?

— Гну-ше-вич. Из Черноморского управления кораблевождения. Нашему управлению кораблевождения стало известно, что ваш комсостав страдает от отсутствия часов. И вот управление кораблевождения считает своим долгом моряков, хранящих славные традиции управления и кораблевождения, обеспечить весь автозаводской комсостав импортными хронометрическими часами системы Буре. Управление кораблевождения...

— Подождите, у меня головокружение.

— Управление кораблевождения...

— Что вам надо?

— Три машины,— застенчиво прошептал Гнушевич,— три крохотных машинки. Они у вас так здорово получаются.

Директор поднялся и исторг из груди глухой звук, что-то среднее между «брысь» и «пошел ты со своими машинками, знаешь куда!»

— Спокойно,— сказал Гнушевич, выбегая из кабинета,— я не спешу.

На производственном совещании директора постиг новый удар. Во время рассмотрения вопроса о работе малого конвейера в комнату ворвался молодой энтузиаст из завкома. Щеки его пылали. В руке он держал письмо.

— Товарищи, необыкновенно приятное известие! Севастопольский институт физических методов лечения хочет изучить наши организмы. Да, да. Он проявляет исключительный интерес к исследованию физического состояния рабочих автомобильного производства. Так они пишут. Именно автомобильного. Они хотят установить систематическое наблюдение за изменениями, происходящими в организмах наших ударников. Ура! И вы знаете, они отводят нам у себя в санатории пять постоянных коек. Совершенно бесплатно! Ура!

— А автомобили они просят?

— Нет.

— А ты посмотри хорошенько там, внизу...

— Да, просят,— пробормотал энтузиаст.— Две штуки.

— Нас не любят бескорыстно,— промолвил директор со слезами на глазах,— нас любят только по расчету.

Когда он проходил по коридору, к нему подошел неизвестный гражданин и, таинственно шевеля усами, спросил:

— Вам не треба ширпотреба?

Директор молча пихнул его локтем и прошел дальше.

Он уже садился в автомобиль, чтобы ехать домой, как ему подали телеграмму и маленький розовый конвертик. Телеграмма была такая:

«Вперед светлому будущему шлите одну машину расчет возможности пятьдесят процентов продуктами Алма-Ата Райпартком».

Директор уронил телеграмму и бессильно повалился на сиденье автомобиля. Только через несколько минут он вспомнил про конвертик. Там была записка. Она благоухала.

«Я люблю вас. Вы такой интересный, непохожий на других директоров. Буду ждать у почтамта в шесть часов. В зубах у меня будет красная роза. Придете? Приходите! Ваша Женевьева».

А было как раз шесть часов. А путь как раз пролегал мимо почтамта. А чужая душа — потемки. А сердце — не камень. А директора — тоже люди. Так устаешь от бездушного отношения. И мы же, в общем, не монахи, так сказать, не игумены. А тут, кстати, весна, и вскрываются реки, и гремит лед, и дует какой-то бешеный ветер. И директор попросил остановиться у почтамта.

На ступеньках почтамта с красной бумажной розой в перламутровых зубах стоял Гнушевич.

Уносясь в пепельную весеннюю даль, директор долго еще слышал позади топот и страстные крики:

— П-с-с-с-т! Подождите! Полное великих традиций управления и кораблевождения, наше управление кораблевождения...

«И я поверил,— думал директор в тоске.— Тоже. Ария Хозе из оперы Бизе. Так мне и надо».

Вечер прошел сравнительно спокойно. Одна из фабрик Москвошвея дозналась, что рабочие и ИТР автозавода сильно «обносились», и по доброте душевной предлагала шефство,— конечно, не даром, а, так сказать, в обмен на... Кроме того, на кухне поймали представителя Сормовской судоверфи, который за автомобиль предлагал буксирный пароход. Только и всего.

Зато в два часа ночи в директорской спальне со звоном вылетела рама, и на подоконнике контражуром обрисовалась фигура человека.

Директор выхватил из-под подушки револьвер.

— Не надо,— сказала фигура.— Не стреляйте в



меня. Выслушайте сначала стихи. Я член горкома писателей.

И он закаркал, как радио в час «рабочего отдыха»:

Шуми, шуми, железный конь.
Пылай в конвейере, огонь!
Лети, мотор, в час по сто миль...

— Я вижу, вам автомобиль? — спросил директор, невольно впадая в размер стиха.

— Да,— удивился поэт.— А что?

— Стреляю,— чопорно ответил директор.

— А вот не надо! — сказал служитель муз, поспешно выпрыгивая на улицу.

Наутро директора посетил кошмар. Привиделись ему тридцать три пожарных и с ними дядька-брандмайор. Они покачивали медными касками и несли совершенную уже чушь:

— Вы нам автомобильчик вне плана, а мы вам пожарчики будем тушить вне плана, вне всякой очереди!

К директору вызвали врача.

— Что с вами такое? — спросил врач.

— Да понимаете,— заволновался директор,— каж-

дый выпущенный автомобиль распределяется в строго централизованном, плановом порядке... А тут всякие типы...

— Не волнуйтесь... А ну-ка вдохните... Так... Теперь выдохните.

— Неужели они никак не могут вбить себе в голову, что автомобили направляются в первую очередь туда, где этого требуют интересы социалистического хозяйства?..

— Нервочки, нервочки... Дайте-ка пульс... Вот у нас, у врачей, то же самое. Ходишь от больного к больному. Устаешь...

— Ведь это же чистая цеховщина, прикрываемая громкими словами об энтузиастах...

— Спокойней, спокойней. Покажите язык. Вот и я говорю, устаешь от этой ходьбы по больным. Если б вы мне автомобильчик, я бы вам... не закрывайте рот!.. Двухмесячный отпуск вне планчика. А?

— Знаете, доктор,— сурово сказал больной,— вас надо лечить.

Мы приносим глубочайшие извинения директору Горьковского автозавода за то, что сделали его невольным участником этой правдивой истории, украшенной лирическими авторскими отступлениями. Мы также выражаем всем руководителям завода свое сочувствие, так как в связи с выпуском легковых машин предложения африканского товарообмена (мы вам бусы, а вы нам слоновую кость), конечно, усилятся, если только не будут приняты свирепые меры.

Дорогой товарищ директор! Вы как выдающийся хозяйственник, разумеется, поймете, что мы своим могучим талантом, так сказать, бичом сатиры, могли бы дать по рукам зарвавшимся товарообменщикам, если, конечно... Вы сами понимаете, как трудно приходится авторам. Ходишь по редакциям, устаешь... Кроме того, нас двое... Но мы не просим два. Один! Один автомобильчик сверх плана. А? Мы вам фельетончик, а вы нам автомобильчик. Вот чудно было бы! А?

1933

ЧАША ВЕСЕЛЬЯ

И жить торопятся, и чествовать спешат.

Стишок

Для того чтобы построить себе юбилей, достаточно сильно этого пожелать. Хорошо еще иметь произведения, романы, опусы. Но можно без них. Не это главное. Главное — крепко захотеть.

Это так естественно. Проходят годы, выходят книги. Хочется, как бы сказать, оглянуться на пройденный путь, объясниться с читателем, поплакать немного над молодостью, каковая прошла в неизмеримых трудах. И вся жизнь прошла, отдана без остатка, и хочется узнать, в хорошие ли руки она попала. Вот оправдание юбилея. Здесь все естественно, понятно, справедливо.

А если всего этого не было (трудов и годов), тогда достаточно только сильно захотеть. И юбилей будет, образуется. Люди, в общем, не звери, не обидят. И телеграммы пришлют, какие надо («Прикованный постели обнимаю и шлю...»), и зал наймут, какой полагается, и отметят все, что вам нужно.

Тяжко стало от юбилеев. Малость перехватили. Переполнили чашу веселья. Вовлекли в юбилейную работу слишком широкие массы юбиляров. И теперь разволновавшегося писателя трудно водворить в обычные рамки.

Соответствующие учреждения переполнены неукротимыми соискателями юбилярства.

— Здравствуйте. Я писатель.

— Ага.
— Вот все пишу, знаете.
— Ага!
— Создаю разные художественные произведения.
— Да?
— Вот, вот. Увидишь, знаете, что-нибудь значительное, ну и, конечно, отобразишь. Не удержишься.
— Ага!
— И так, знаете, привык, что уже не могу. Все время создаю, вот уже сколько лет.
— А-а!
— А время летит. Двадцать лет творчества — не шутка. Все-таки — дата.
— Да.
— Хотелось бы, знаете, получить какой-нибудь толчок, стимул, а то, знаете, вдохновения уже нет в достаточном количестве.
— Да?
— Такие-то дела.
— Да-а-а!
— Ну, побегу в сектор искусств, оттуда в Наркомпрос, а оттуда в Литературную энциклопедию. Моя буква приближается. До свидания.
— До свидания... Федор Иванович, зачем он приходил? Что-то он тут бормотал, я ничего не понял.
— Юбилей пришел просить.
— А-а! То-то, я смотрю, ему на месте не сиделось. Есть еще кто-нибудь? Пустите.
— Здравствуйте. Ничего, что я к вам?
— Пожалуйста. Вы писатель?
— Да. Вот все пишу, знаете.
— Создаете разные художественные произведения?
— Так точно.
— Отображаете?
— Обязательно. Увижу — отображу. Увижу, знаете, и тут же отображу.
— А время летит?
— Летит. Летит стрелой.
— Двадцать лет занимаетесь творчеством?
— Извините, только пятнадцать. Но все-таки дата, не правда ли?

— Безусловно, дата. Но для юбиляра мало.

— Мало?

— Маловато.

— А если включить службу в госучреждениях?

— М-м-м...

— Тогда можно натянуть и все восемнадцать.

— Все-таки недостаточно.

— Тогда простите. Я, конечно, не смею... Но так хотелось немножко стимулироваться.

— Да, каждому хочется. Ну, до свиданья. Сектор искусств налево по коридору. Федор Иванович, отметьте товарищу пропуск. Есть еще кто-нибудь?

— Какой-то мальчик дожидается.

— Пионер?

— Нет, беспартийный.

— Давайте беспартийного. Здравствуй, мальчик, ты чего пришел?

— Здравствуйте. Я писатель.

— Как писатель? Сколько ж тебе лет?

— Пятнадцать.

— Что-то ты врешь, мальчик. Тебе не больше двенадцати.

— Честное слово, дяденька, пятнадцать. Это я только на вид маленький. А вообще я старый, преклонный.

— Какой бойкий мальчик. Время-то стрелой летит, а?

— Стрелой, дяденька.

— Ну и что же?

— Общественность беспокоится. Хочет дату отметить. Как-никак, десять лет состою в литературе. Надо бы юбилей. Я уже помещение подыскал—кино «Чары».

— Какой там юбилей, мальчик! Сам говоришь, тебе пятнадцать лет. Когда ж ты начал писать? Пяти лет, что ли?

— С четырех-с. Я — вундеркинд, дяденька. Как Яша Хейфец. Только он на скрипке, а я в области пера, песни и мысли.

— Ну, иди, иди к маме!

— Мне к маме нельзя. Я на нее памфлет написал. Мне юбилей надо. Устройте, дяденька!

— Нельзя, мальчик, стыдно плакать. Ты уже большой. Федор Иванович, отведите его в ясли. Сколько там еще дожидается?

— Два музыканта, шестнадцать актеров, восемьдесят один писа...

— Нет, нет, нет! Не могу больше. Пусть обращаются в свои домоуправления. Там стандартные справки, там пусть и юбилеи.

Дошло до того, что в газетных редакциях больше всего стали бояться не злых маньяков со свеженькими перпетуум-мобиле под мышкой, а людей искусства, которые терпеливо домогаются напечатания своих портретов, биографических справок, а равно перечня заслуг как специфически писательских, так и общегражданских (верный член профсоюза, поседевший на общих собраниях, пайщик кооператива, неуемный активист, борец). Некоторые привозят свои бюсты, отлитые по блату из передельного чугуна. В редакции бюсты фотографируют, но стараются не печатать.



Самый юбилей описан не будет. Кто не знает этого странного обряда, находящегося где-то посредине между гражданской панихидой и свадьбой в интеллигентном кругу. Хорошо, если юбиляр человек веселый, вроде Василия Каменского, и факт увенчания его лаврами, ко всеобщему удовольствию, превращает в здоровую шутку. А некоторые принимают юбилейный разворот всерьез, отчего и скучнеют на весь оставшийся им отрезок жизни. Отрезок, надо сказать, не маленький, в особенности если юбилей устраивает себе вундеркинд или автор, у которого есть за душою только один рассказ, да и то это не рассказ, а вступительный взнос в горком (иначе не приняли бы в члены).

Юбилеи бывают с выставкой произведений, бывают и без выставки (это если нет произведений). Но эта ужасающая деталь не мешает торжеству. Произведения произведениями, а юбилей юбилеем.

Если нет произведений, то юбилей принимает, конечно, несколько обидный характер для именинника. Его называют незаметным тружеником, полезным винтиком в большой машине, говорят, что в свое время он подавал надежды, что не худо бы ему опять их подать,— вообще унижают необыкновенно. Но юбиляр этого сорта все стерпит. На худой конец не плохо быть и винтиком. Винтик доволен.

Юбилейные зверства продолжаются. Чаша веселья «растет, ширится и крепнет». Юбилею грозит опасность превратиться в старосветский бенефис или полубенефис, с подношением серебряных мундштуков и подстаканников из белого металла братьев Фраже.

Ну разве приятно будет, товарищи, услышать такие разговоры:

— В этом году покончил на полный бенефис с ценными подношениями.

— Вам хорошо, романистам. А вот мне, автору очерков, дают только четверть бенефиса и ордер на калоши.

Что, приятно будет?

1933

ЧЕСТНОЕ СЕРДЦЕ БОЛЕЛЬЩИКА

Каждый хвалит тот вид спорта, которым он увлечен.

Когда теннисисту предлагают сыграть в волейбол, он высокомерно улыбается и поправляет складку на своих белых штанах. Из этого ясно видно, что он считает волейбол занятием грубым, вульгарным, недостойным выдержанного спортсмена из непроизводственной ячейки.

Городошники возятся у своих квадратов, бормочут странные, медвежьи слова: «тыка» и «ляпа», мечут окованные медью дубины и в восторге бьют себя по плоским ляжкам. Вид у городошников совсем не спортивный. Длинные черные штаны и развалистая походка делают их похожими на грубиянов-шкиперов из маленькой гавани. Они всем сердцем преданы городошническим идеям. Когда они видят теннисный корт, над которым летает легкий белый мячик, их разбирает смех. Можно ли, в самом деле, заниматься такими пустяками!

Легкоатлет, делая прыжок с шестом, возносится на высоту третьего этажа, и, конечно же, с такого птичьего полета и теннис, и волейбол, и городки кажутся ему занятиями пигмеев.

Мастера гребного дела мчатся по реке в элегантной восьмерке. Их подбородки прижаты к высоко поднятым голым коленям, легкие вдыхают самый лучший из озонов — речной озон. И когда они смотрят на берег, где в пыли бегут спринтеры, где толстяки, обливаясь потом, подымают двадцатипудовые буферные тарелки

на чугунных штангах,— они еще сильнее взмахивают веслами и уносятся в голубую даль. Это люди воды — члены профсоюза и корсары в душе.

И где-то за дачными заборами, положив портфели на зеленые скамейки, люди с серьезными бородками стучат крокетными молотками, выходят в «разбойники» и хватаются за сердце, когда полированный шар застревает в «масле». Эта игра умирает, но есть еще у нее свои почитатели, последние и беззаветные поборники крокетной мысли.

Итак, каждый хвалит тот вид спорта, которым он увлечен.

Но вот на большом травяном поле, за амфитеатрами стадиона «Динамо», раздается хватающий за душу, томный четырехзвучный судейский свисток, возвещающий начало большого футбольного матча.

И разом все преображается.

Где ты, гордость теннисиста? Забыв про свои получемберленовские манеры, про любимые белые штаны с неувядаемой складкой, теннисист цепляется за поручни трамвая. В эту минуту он уже не теннисист, он — барс. Оказывается, что под внешней оболочкой теннисиста бьется честное футбольное сердце. Он болельщик. Скорей же на трибуну, в гущу других болельщиков, в гущу громких споров о достоинствах состязающихся команд!

Что за толпа бежит по улице тяжелой пехотной рысью? Это поспешают на стадион бывшие ревнители городошной идеи. И на брошенной ими площадке сиротливо валяются богатырские дубины. Начхать городошникам на городки в этот высокоторжественный день. Футбол! Только футбол!

Толстяки, манипулировавшие буферными тарелками, подымают целые трамваи в стремлении попасть поскорее на трибуну. Они волокут за собой своих жен, объясняя им на ходу великую разницу между офсайтом и инсайтом.

— Инсайт, понимаешь ты, бывает правый и левый, а офсайт, понимаешь, бывает справедливый и несправедливый.

А жене хочется в кино. Ей трудно усвоить эти



тонкости. Но футбол свое возьмет, и через час эта женщина будет кричать нечеловеческим голосом:

— Неправильно! Судья мотает!

И возможно даже, что это хрупкое создание вложит два пальца в розовый ротик и издаст протестующий индейский свист.

Вообще болельщики все до одного и всегда считают, что судья выносит неправильные решения, что он нагло покровительствует одной из сторон и что на поле происходят большие неполадки.

Вот если бы судил он, болельщик, тогда все было бы хорошо.

А на асфальтовой дороге к стадиону толпы все густеют. Вытаращив глаза и награждая друг друга радостными пинками, бегут мальчики, самые преданные, самые верные приверженцы футбола. Из водных станций, натягивая на ходу штаны, выбегают пловцы. Они кидаются в автобус, как в воду, с молниеносной быстротой. Ухватившись за потолочные кольца, они болтаются от автобусной тряски, и долго еще на их ресницах висят чудные полновесные капли воды.

Забыв английские услады крокета, возбужденно

подскакивают на своей трибуне люди с серьезными бородками. Они плохо разбираются в футболе (не тот возраст, да и молодость прошла за преферансом по четверть копейки), но, оказывается, они тоже не чужды веяниям эпохи, они тоже волнуются и кричат противными городскими голосами: «Корнер! Корнер!», в то время как корнера в помине нет, а судья назначает штрафной одиннадцатиметровый удар. Минута — страшная для просвещенного болельщика.

Игра началась, и судья осторожно увертывается от тяжелого и быстрого полета мяча. Игроки скатываются то к одним воротам, то к другим. Вратари нервно танцуют перед своими сетками.

Трибуны живут полной жизнью.

Уже вперед известно, по какой причине трибуны будут хохотать.

Первым долгом мяч угодит в фотографа, и именно в то время, когда он с кассетой в зубах будет подползать к воротам, чтобы заснять так называемый критический момент. Сраженный ударом, он упадет на спину и машинально снимет пустое небо. Это бывает на каждом матче, и это действительно очень смешно.

Затем несколько десятков тысяч человек засмеются потому, что на поле внезапно выбежит собачка. Она несколько секунд носится перед мячом, и (вот ужас!) игра начинает нравиться даже ей. Она взволнованно и радостно лает на игроков и ложится на спину, чтобы ее приласкали. Но собачка получает свое. В нее попадает мяч, и, перекувыркнувшись раз двадцать пять, она с плачевным лаем покидает поле.

В третий раз трибуны смеются над волнениями одного суперболельщика. Забыв все на свете, он подымается с места, кричит: «Ваня, сажай!» — и так как Ваня не сажает, а мажет и мяч ударяется о штангу ворот, то суперболельщик начинает рыдать. Слезы текут по его широким щекам и капают с длинных усов. Ему не стыдно. Он слишком потрясен поведением мазуна, чтобы заметить, что на него со смехом смотрят двадцать тысяч человек.

Наступают последние пятнадцать минут игры. Напряжение достигает предела. По воротам бьют бес-

прерывно и не всегда осмысленно. Команды предлагают бешеный темп. Трибуны кипят.

Болельщики уже не хохочут, не плачут. Они не сводят глаз с мяча. В это время у них можно очистить карманы, снять с них ботинки, даже брюки. Они ничего не заметят.

Но вот очищающее влияние футбола! Ни один карманщик не потратит этих последних, потрясающих минут, чтобы предаться своему основному занятию.

Может быть, он и пришел специально за тем, чтобы залезть в чужой карман, но игра увлекла, и он прозевал самые выгодные моменты.

Футбольная трибуна примиряет нежного теннисиста с могучим городошником, пловцы жмутся к тяжелоатлетам, всеми овладевает футбольный дух единства.

Что же касается людей, не занимающихся специально физкультурой, то посещение футбольных матчей до невероятности укрепляет их организм.

Посетитель футбольного матча проделывает в жизни все упражнения на значок «Готов к труду и обороне». Закаленный болельщик вполне готов к выступлению на мировой спартакиаде в качестве участника. Он поставил ряд мировых рекордов в нижеследующих областях:

а) бег за трамваем по сильно пересеченной местности,

б) прыжок без шеста на переднюю площадку прицепного вагона,

в) 17 раундов бокса у ворот стадиона,

г) поднятие тяжестей (переноска сквозь толпу на вытянутых руках жены и детей),

д) военизированный заплыв (двухчасовое сидение на трибунах без зонтика под проливным дождем).

И только одного не умеет болельщик — играть в футбол.

Зато он очень его любит.

1933

БРОДЯТ ПО ГОРОДУ СТАРУХИ

Авторы вынуждены обнажить перед общественностью некоторые интимные черты своего быта.

Они хотят рассказать, какое письмо пришло к ним на днях.

Принято думать, что писатели завалены любовными секретками от неизвестных поклонниц. «Вчера я увидела вас на трамвайной подножке, и вы пленили бедное сердце. Ждите меня сегодня в пять у ЗРК № 68, у меня в руках будет рыба (судак). Ида Р.»

Может быть, Зощенко, как жгучий брюнет, и получает такие нежные записки, но мы лишены этой радости. Нам по большей части несут совсем другое — приглашение на товарищеский чай с диспутами или счета за электричество; бывает и просьба явиться на дискуссионный бутерброд, который имеет быть предложен издательством «Проблемы и утехи» по поводу зачтения вслух писателем Хаментицким своей новой повести; бывают и письма читателей, где они предлагают сюжеты или просят указать, в чем смысл жизни.

А совсем недавно взобралась на шестой этаж старуха, маленькая старуха курьерша с розовым носиком и с глазами, полными слез от восхождения на такую высоту, и с полупоклоном вручила письмо.

И опять это не было любовное письмо от неизвестной трудящейся красавицы. Это не было даже приглашение почавкать за чайным столом на литературные темы.

Письмо было гораздо серьезнее. Оно будило, звало куда-то в голубые дали.

«Уважаемый товарищ, шлем вам план (схематический) январского сборника «Весна» (приложение к журналу «Самодеятельное искусство»).

Рассчитываем, товарищ, на ваше участие. Деревня ждет высококачественного репертуара. Отклик остро необходим».

В комнате на шестом этаже стало тихо. Как говорится, ворвалось дыхание чернозема, встала во весь рост проблема решительного поворота к деревне, которая правильно ждет высококачественного репертуара. Одним словом, захотелось включиться.

Уж рисовались перед авторами различные картины их будущей деятельности. Они едут в деревню, изучают быт и сдвиги, следят за ломкой миросозерцаний, наполняют записные книжки материалами, вообще ведут себя, как Флоберы или Иваны Сергеевичи Тургеневы. И наконец, через год или два, произведение написано и сдано в сборник «Весна» (приложение к журналу «Самодеятельное искусство»). Вот как рисовалась авторам их деятельность по освоению деревенской тематики.

Но уж приложенный к письму план сборника одним махом разрушил чудный воздушный замок, возведенный по методу социалистического реализма.

Оказалось, что никуда не надо ехать, что литература совсем не такая сложная штука, как до сих пор предполагали, что Флобер с Тургеневым были какие-то водевильные дурни и делали совсем не то, что нужно; оказалось, что все гораздо проще.

Это ясно было из плана, в котором излагались требования и пожелания редакции:

1. За сжатые сроки сева (монолог).
2. Тягловая сила. Меньше нагруженности зимой, мобилизация кормов (сценка).
3. Тракторы. Заблаговременный ремонт, запасные части, горючее, смазка (обозрение).
4. Семена, зерно, картофель и т. д. (пьеса). Общественное питание, бронь продуктов к севу (куплеты).

На создание всей этой пролетарско-колхозной литературы давался штурмовой срок — пятнадцать дней. Пришлось укладываться, впихиваться в эти тесные рамки. Деревня ждала, надо было торопиться.

— Успеем?

— Очевидно, редакция находит срок достаточным. Им виднее. Они все-таки ближе к земле.

— Что ж нам взять? Меня, например, волнует пункт четвертый. Пьеса. «Семена, зерно, картофель и т. д.». Прекрасная тема.

— Сомневаюсь. Чего-то тут не хватает. Зерно! Картофель! Какая тут может быть коллизия?

— А «и т. д.»? В этом «и т. д.» что-то есть. Тут кое-что можно построить. Если не пьесу, то драматический этюд.

— Но, позвольте, редакция не хочет этюда. В этой теме она видит пьесу. А нам надо с ними считаться. Они все-таки ближе к земле.

— Да, они ближе — это верно.

— Вот пункт второй — это типичная пьеса — «Тягловая сила». Тут чувствуется что-то драматургическое. «Меньше нагруженности зимой, мобилизация кормов». МХАТ! Метерлинк! Пять актов с соевым апофеозом!

— Чувствуется-то оно чувствуется. Но люди просят сценку, а не драму. Ведь они знают, что надо деревне. Они ближе к земле.

— Да. Плохо. Они ближе. А мы дальше.

— Может, напишем обозрение по пункту третьему? Название, как в циркуляре — «Тракторы». Да и акты уже размечены, ничего не надо придумывать. Акт первый — «Заблаговременный ремонт». Акт второй — «Запасные части». Акт третий — «Горючее и смазка».

— А не лучше ли сделать из этого водяную пантомиму? Не придется писать диалоги, не так совестно будет. А? Ей-богу, сделаем водяную!

Незаметно для самих себя авторы (еще полчаса назад честные и голубоглазые) заговорили ужасающим языком халтурщиков. А еще немножко позже, хихикая и радуясь тому, что дело можно будет сварганить не в пятнадцать дней, а в полчаса, они налегли

на пункт четвертый, любезно предложенный редакцией «Самодеятельного искусства» — «Общественное питание, бронь продуктов к севу (куплеты)».

Заготовил Митька бронь,
Митька бронь,
Митька бронь,
Будет сыт у Митьки конь,
Митькин конь,
Митькин конь.

— Теперь давай отрицательного типа!

— Вот это правильно. После положительного полагается отрицательный.

— А не наоборот? Кажется, после отрицательного положительный?

— Все равно. Если им понадобится, они переставят. Они ближе к земле.

Не готов Егорка к севу,
Не подвез продуктов к хлеву,
Зацепился за овин —
Бронь рассыпал, сукин сын.

Дело ладилось. Сейчас даже пьеса «Семена, зерно, картофель» не казалась уже такой туманной, как раньше. А «Тягловая сила» так и просилась в сценку.

Авторы на глазах превращались в труху.

Уже почти готов был высококачественный репертуар для деревни, как вдруг они остолбенело уставились друг на друга и, не сговариваясь, изорвали в клочки бронь-куплеты. Потом, также не уславливаясь, потянулись к змей-искусительному плану и снова стали в него вчитываться.

Нет! Все верно. Официальное учреждение в документе, напечатанном на папиросной бумаге, предлагало срочно изготовить халтуру, ибо что же другое можно написать в штурмовой срок на тему: «Годовой производственный план. Производственные совещания между колхозами, реальный документ борьбы за урожай, севооборот и расстановка рабочей силы».

Решительно можно сказать, что на этом месте письмо теряет значение интимной черты из быта авто-

ров. Оно делается гораздо серьезнее. Это сигнал бедствия в литературе.

По всему городу бродят старушки с разносными книгами. Они взбираются на этажи и с полупоклонами вручают литераторам ведомственные циркуляры, долженствующие вызвать расцвет отечественного искусства.

Кто может поручиться, что не сидит уже за колеблющимися фанерными стенками своего кабинета какой-нибудь чемпион - администратор среднего веса и не сочиняет гадкий меморандум:

«Писатель, стоп! Комсомол ждет высококачественного репертуара. Штурмуй молодежную тематику! Срок сдачи материала двадцать четыре часа.

План.

1. За многомиллионный комсомол (балет).

2. Вопросы членства и уплата взносов (опера).



3. Освоение культнаследства прошлого (куплеты).

4. Организационная схема взаимоотношений обкомов ВЛКСМ с райкомами ВЛКСМ (скетч на десять минут)».

И куплет, в котором организованный Лешка усвоил наследие, а недопереварившийся в котле Мотька такового недоусвоил, будет изготовлен в аварийном порядке не в двадцать четыре часа, а в три минуты, потому что этим путем халтура легализуется, поощряется и даже пламенно приветствуется.

И плетутся по городу старушки, кряхтя, поднимаются они на этажи, двери перед ними распахнуты, уже готовы перья и пишущие машинки, и чадные ведомственные розы расцветают в садах советской литературы.

1933

ТЕХНИКА НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Полному счастью всегда мешает какая-нибудь мерзкая подробность.

Счастье Северокавказского трактороцентра беспрерывно омрачалось странным, нехорошим, даже возмутительным поведением Новоивановской МТС.

Это была черт знает какая МТС! Никаких черных досок не хватило бы, чтоб занести на них все неприятности, причиненные этой непокорной тракторной станцией своему обожаемому начальству.

Наконец терпение лопнуло, и работники Крайтрактороцентра, пылая гневом, собрались на сверхэкстренную летучку. Негодование собравшихся выливалось главным образом в горьких пословицах. Станцию называли паршивой овцой, каковая портит все беспорочное стадо, ее сравнивали с ложкой дегтя, тонко подчеркивая таким образом, что все мероприятия сидящего тут же начальника представляют собою не что иное, как бочку душистого меда. Перечислялись деяния паршивой овцы и паршивой ложки.

Станции посылали письма. Она не отвечала на письма. Ей посылали телеграммы. Она не отвечала на телеграммы. Ей грозили,— она бесстрашно не обращала внимания.

И сейчас летучка гремела:

— Это какое-то государство в государстве!

— Совершенно верно. Какое-то беспринципное нахальство!

— Чистое наплевательство. Ячество на грани рвачества. Мы им отпустили десять тысяч рублей на приспособление усадеб. А они молчат, даже спасибо не скажут.

— Переводит им районное отделение банка три тысячи. Молчат. Переводят еще три тысячи рублей и шестьдесят копеек. Молчат. Еще тысячу и тридцать копеек. Ну, и как вы думаете?

— Неужели молчат?

— Молчат.

— А помните, в конце прошлого года мы им задебетовали сначала три тысячи рублей с полтинником, а потом еще тысячу рублей девяносто копеек. Оперируйте, мол. Организуйтесь. И знаете, что они сделали? Ничего не сделали. Не прислали даже отчета.

Да, мир не видал еще более развращенной МТС! Можно было подумать, что эту тракторную станцию захватили невесть откуда взявшиеся корсары, разбили бочки с горючим, перепились и в пьяном виде сожгли главного бухгалтера вместе с помощником и всей отчетностью. На нервные запросы об обмолоте хлебов, о сдаче зерновых культур, об использовании машин, о подготовке кадров, о ремонте инвентаря и обо всем прочем Новоивановская МТС не ответила ни одной строкой. Положительно, почта и телеграф перестали влиять на зарвавшуюся станцию. Необходимо было личное вмешательство какого-нибудь энергичного краевого представителя.

— Вы мне только развяжите руки,— сказал назначенный для этой цели представитель,— а уж я им покажу! Вы мне только пойдите навстречу, дайте картбланш на предмет применения репрессий, а уж они у меня запрыгают! Они у меня покрутятся!..

Ему пошли навстречу, развязали руки, дали картбланш, дали суточные. И он поехал.

«Ну-с,— думал он, садясь в поезд,— первым долгом выговор директору, а остальных можно созвать на собрание и подкрутить им хвоста. Пусть знают в другой раз, как отмалчиваться!»

В поезде было неудобно. На окнах висели изящные занавески, но уборная была заперта на весь рейс.

Там хранились поездные масленки и пакля. Пассажиров туда не пускали, так как считали, что они воры и обязательно что-нибудь украдут. Измученный представитель ворочался с боку на бок и продолжал размышлять.

«Не-ет, простым выговором он у меня не отделается. Строгий выговор с предупреждением! Заместителю — поставить на вид. Бухгалтера — вон, а остальных...»

От железной дороги представитель четыре часа ехал лошадьми. Весна (почки, птички и листочки) не радовала представителя. Взлетая на ухабах и пугливо хватаясь за талию возницы, он думал:

«Я их отделаю! Они у меня наплачутся! Директора — вон! Заместителю — строгий с предупреждением! Бухгалтера — под суд! А остальным поставить на вид! Но на какой вид!!! Но как поставить!!! Чтоб всю жизнь помнили!!!»

В станице Новоивановской на представителя сразу же напали собаки. Он отчаянно хлестал их тяжелым портфелем по мордам и думал:



«Директора — под суд! Заместителя — вон! Всех вон, всех под суд!!!»

Он отбился от псов благодаря счастливому стечению обстоятельств. Его портфель имел окованные металлом углы и содержал в себе большое количество окаменевших от времени протоколов. Это было грозное оружие, от одного удара которым псы падали замертво.

Теперь предстояло расправиться с окаянной МТС, с этим гнездом вредоносных и заносчивых бюрократов.

Представитель остановил первого же колхозника и вступил с ним в беседу. Он хорошо знал деревню по гихловским пьесам для самодеятельного театра и умел поговорить с мужичком.

— Здорово, болезный,— сказал он приветливо.

— Здравствуйте,— ответил колхозник.

— Давай с тобой, дид, погундосим,— с неожиданной горячностью предложил уполномоченный,— так сказать, покарлякаем, побарлякаем. Тоже не лаптем щи хлебаю.

Дид, который, собственно, был полудид, потому что имел от роду никак не больше двадцати лет, шарахнулся в сторону.

— Не замай! — крикнул гость.— Треба помаракуваты.

— Чего тебе надо? — спросил колхозник.

Возмущенный бездушностью мужичка, гость перешел на общепринятый язык.

— Где тут директор вашей МТС?

— Не знаю.

— Не знаешь директора МТС?

— Не знаю.

«Вот как оторвались от жизни, проклятые лентяи,— с горечью подумал представитель,— до того дошло, что даже коренное население станицы не знает директора МТС. Репрессии, репрессии, репрессии!»

— А заместителя знаешь?

— И заместителя не знаю.

— Это становится интересным. Может, и бухгалтера не знаешь?

— Не знаю.

— За-ме-ча-тель-но! Но кого-нибудь из МТС ты знаешь?

— Никого не знаю.

— Может быть, ты скажешь, что и МТС здесь нету?

— Нету.

— Как нету? Ты что тут гундосишь? — закричал представитель Тракторoцентра, в волнении переходя на язык самодеятельного театра.— Ведь давеча, нонеча, анадысь мы им телеграммы посылали! Это какая станица?

— Новоивановская, Новопокровского района.

— Может, ты спутал, болезный?

Но болезный с поразительным упрямством утверждал, что спутать не мог, так как родился в этой станице и вырос в ней. А что касается МТС, то таковой здесь не имеется. И анадысь не было, и давеча не было, и нонеча нет.

— В таком случае это фантасмагория,— забормотал представитель,— техника на грани фантастики!

В стансовете он нашел все бумаги, отправленные в свое время МТС: и денежные переводы, и отношения, и инструкции, и запросы, и простые телеграммы, и телеграммы-молнии, и даже сообщения о фонде, отпущенном на оплату труда несуществующих работников призрачной МТС, и даже пакет от прокурора, и даже письмо от Ставропольского отделения Крайзернотрактороцентра, где жаждут узнать адрес дорогого товарища директора, которого, вообще-то говоря, не существует в природе.

Но поразительнее всего было сообщение Соцзембанка. Там сообщалось, что из прибылей МТС снято две тысячи рублей различных отчислений. Вот действительно чудо! МТС нету, а прибыль от нее есть. И, вероятно, огромная прибыль, если одних отчислений взято две тысячи.

— Позвольте,— прошептал представитель,— кому же я поставлю на вид? Кому сделаю выговор? Кого отдам под суд? Ведь никого нет! И ничего нет! Одна прибыль! Где же убытки?

И снова собралась летучка в Крайзернотракторо-центре. Со всех сторон сбегались на нее инструкторы, эксперты, консультанты.

Горячий доклад представителя был выслушан в молчании.

— Так-с! — сказал ответственный в краевом масштабе тракторный голос.— Все это очень хорошо. Но вы мне скажите, какой дурак выдумал, что там есть МТС, если ее нету? Какой дурак, я вас спрашиваю?

— Да, действительно какой дурак? — оживилось собрание.— Хорошо бы его поймать и... м-м-м... поставить ему на вид.

— Что там «на вид»! Строгий выговор!

— С предупреждением!

— Выгнать вон!

— Отдать под суд!!!

И собравшиеся, скорбя и негодуя, посмотрели друг на друга. У них были потные, благородные лица, чистые глаза, чудесные лбы.

Здесь дураков, конечно, не было.

1933

ДЛЯ ПОЛНОТЫ СЧАСТЬЯ

Для полноты счастья членам профсоюза,— тем самым членам профсоюза, о духовных запросах которых пекутся столь многочисленные и многолюдные организации,— иногда хочется сходить в клуб.

Как создается новый клуб?

О, это не так просто.

Объявляется конкурс. И пока молодые и немолодые архитекторы при свете сильных ламп чертят свои кривые и производят расчеты, общественность волнуется. Больше всех кипятятся врачи. Они требуют, чтобы новый клуб был образцом санитарии и гигиены.

— Не забудьте,— предостерегают врачи,— что каждый кружковец, кроме общественной нагрузки, несет еще нагрузку физиологическую — он вдыхает кислород, выдыхает азот и прочий там ацетилен. Нужны обширные помещения, полные света и воздуха.

Консультанты из ВСФК требуют, чтобы был гимнастический зал, тоже полный света и воздуха.

Автодоровская общественность настаивает на том, чтобы не были забыты интересы автомобильного кружка, которому нужна для работы комната, конечно полная воздуха и света. Волнуются осоавиахимовцы, мопровцы, друзья детей, представители пролетарского туризма, нарпитовцы (комната, свет и воздух).

Артель гардеробщиков выступает с особой декларацией. Довольно уже смотреть на гардероб как на

конюшню. Гардероб должен помещаться в роскошном помещении, полном света и воздуха, с особыми механизмами для автоматического снимания калош и установления порядка в очереди, а также электрическим счетчиком, указывающим количество пропавших пальто.

Центром всего является заметка в вечерней газете,— заметка оптимистическая, полная света, воздуха и юношеского задора. Она называется:

В УБОРНОЙ — КАК ДОМА

Заметка начинается с академических нападок на царский режим. Покончив с этой злободневной темой, «Вечёрка» доказывает, что человечество проводит в уборных значительную часть своей жизни. Поэтому надо уделить им особенное внимание: надо добиться того, чтобы каждый, побывавший в уборной нового клуба, вынес оттуда хоть небольшой, но все же культурный багаж.

В общем, кутерьма идет порядочная. Архитекторы выбиваются из сил, чтобы наилучшим образом сочетать требования общественности.

Но вот проект выбран, клуб построен, флаг поднят, прогремели приветственные речи, и в новое здание вступает заведующий клубом.

Нет слов, клуб хорош. Блистают светлые стены, в толстых стеклах отражаются бюсты, по углам стучат листьями пальмы, а коричневый зрительный зал почище, черт побери, любого филиала московского театра. Хороша и циркуляция воздушных потоков. Есть, конечно, недочеты, но в основном общественность добилась своего — клуб хорош.

Суровые будни начинаются с того, что главный вход наглухо заколачивается бревнами и для верности опутывается колючей проволокой. Почему это делается — никто не знает, но делается это всегда. Теперь в клуб ходят со двора, в какую-то маленькую дверь. Во дворе, ясное дело, темно и вырыты большие волчьи ямы. Главный вход, со всеми своими колоннами,

гранитными ступенями и статуей рабочего со сверхъестественно развитой грудью, пропадает впустую.

Но это еще не магистральная беда.

Начинается переоборудование помещения. Оказывается, что нет комнаты для фотокружка. То есть комнаты есть, но полные света и воздуха, а кружку для лаборатории как раз нужна комната совершенно, если можно так выразиться, обратного типа.

И заведующий бодро начинает свое дело не с организации его, а с реорганизации. Кстати, к этому он привык еще в старом помещении.

Чудное окно фотографической комнаты замуровывается кирпичами, возникает рубиновый свет, и кружковцы запираются на ключ, чтобы как можно скорей приступить к любимому делу — проявлять пластинки, покачивать ванночки и грустно улыбаться, глядя на ужасные результаты негативного процесса. Впрочем, кружковцы тут же узнают, что покачивать ванночки покуда не придется — деньги, ассигнованные на покупку фотоаппарата, уже израсходованы на замуровывание окна и обнесение главного входа окопной проволокой.

Через три дня заведующий клубом случайно попадает в фотолабораторию. Здесь его взору предстает странная картина: кружковцы при красном свете играют в карты, в двадцать одно. Что им еще делать? Если в этой мрачной комнате не развлечься чем-нибудь, то можно сойти с ума от страха!

Их выгоняют. Освободившееся помещение отдают кружку кройки и шитья, которому больше всего нужен свет и воздух. Окно размуровывают. Комната наполняется строительным мусором, и по всему клубу летает известь и красный кирпичный порошок. Свет еще есть, но воздух уж не так чист. Делается грязно. Посетители клуба с легким сердцем швыряют на пол окурки и яблочные огрызки. И почему бы не бросать, если пол уже запятнан глиной и алебастром!

Заведующий немедленно начинает кампанию за чистоту. Но увеличивается не число веников, швабр и пылесосов, а количество плакатов, воззваний и увещеваний. Появляются различные сентенции в стихах



и прозе. Чище от этого не становится, просто становится скучнее.

К этому времени выясняется, что клубный делопроизводитель растратил трамвайные талоны. Для такого случая снимают колючую проволоку и на один день открывают главный вход. Мерзавца судят. Становится еще немножко скучнее. А тут еще эта реорганизация никак не может окончиться.

Дело в том, что штат, обслуживающий клуб, никак не может выбрать себе помещение по вкусу. Все время штат перетаскивает из этажа в этаж столы, и когда бы член профсоюза ни пришел в свой клуб, на лестничной площадке стоит бюст Максима Горького. Его куда-то несли, но не донесли. Гремят топоры, и в комнатах, полных света и воздуха, вырастают зыбкие фанерные перегородки. Появляется необходимость в новых проходах. Их прорубают. Одновременно заделываются старые двери.

От замысла общественности, от трудов врачей, архитекторов и строителей не остается и следа. Новый клуб напоминает увеличенный раз в десять старый клуб. Новая грязь напоминает старую грязь.

Наблюдается гигантский рост плакатов. От всех проблем, от всех задач, от всей жизни заведующий клубом с мужеством гладиатора отбивается ни к чему не обязывающими надписями:

УВАЖАЙ ТРУД УБОРЩИЦ!

ВСЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ ГЛУХОНЕМЫХ!

ПРИВЕТ ШЕФАМ!

СОЗДАДИМ ВЫСОКОХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПЬЕСЫ!

НАЛАДИМ ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ДАЛЕКИХ ОКРАИНАХ!

Чтобы не отстать ни от чего, чтобы все отметить и во всем отчитаться, повешен еще один чрезвычайно политичный плакат:

ПОБОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ РАЗНЫМ ВОПРОСАМ!

В тени этого плаката жить легко и отрадно. Никто не сможет придраться. Но почему-то недовольны члены клуба.

Молодежь что-то бурчит, а так называемые пожилые начинают посещать МХАТ I и уделяют разным вопросам все меньше и меньше внимания.

Дело как-то не вяжется, не кипит. Никто из членов клуба не создает высокохудожественных пьес, на конференцию глухонемых приходят не все граждане,

как этого требовал заведующий, а только сами глухонемые, дорожное строительство на далеких окраинах идет само по себе, стихийно, без согласования с завклубом, труд уборщиц, возможно, и уважался бы, но его (труда) незаметно. Остается привет шефам. Что ж, члены клуба не против, однако хотели бы знать, какие это шефы. Но спрашивать неудобно, и любовь к шефам остается платонической, холодноватой, вроде как между Лаурой и Петраркой.

Достигнув столь головокружительных вершин, заведующий садится писать квартальный отчет. Это высокохудожественное произведение искусства на грани фантастики:

Проведено массовых вечеров — 34.
Охвачено 48 675 человек.
Проведено массовых танцев — 4.
Охвачено 9121 человек.
Проведено массовых авралов — 18.
Охвачено 165 000 человек.
Проведено массовых культштурмов — 60.
Охвачено 10 000 человек.
Проведено массовой самодеятельности — 27.
Охвачено 6001 человек.
Проведено массовой кружковой работы — 16.
Охвачено 386 человек.
Обслужено вопросов — 325.
Охвачено плакатами — 264 000.
Принято резолюций — 143.
Поднято ярости масс — 3.

План клубной работы выполнен на 99,07 процента.

Если бы к этому отчету добавить еще один пункт:
«Уволено грязных очковтирателей, заведующих клубами 1 (один)», то он был бы не так уже плох.

И тогда отчет, это произведение искусства, стоящее на грани фантастики, приобрел бы столь нужные нам черты социалистического реализма.

1933

ЖУРНАЛИСТ ОШЕЙНИКОВ

Поздно ночью журналист Ошейников сидел за столом и сочинял художественный очерк.

Тут, конечно, удобно было бы порадовать читателя экстренным сообщением о том, что мягкий свет штепсельной лампы бросал причудливые блики на лицо пишущего, что в доме было тихо, и лишь поскрипывали половицы, да где-то (далеко-далеко) брехала собака.

Но к чему все эти красивые литературные детали? Современники все равно не оценят, а потомки проклянут.

В силу этого будем кратки.

Тема попалась Ошейникову суховатая — надо было написать о каком-то юбилейном заседании. Развернуться на таком материале было трудно. Но Ошейников не пал духом, не растерялся.

«Ничего,— думал он,— возьму голой техникой. Я, слава богу, набил руку на очерках».

Первые строчки Ошейников написал не думая. Помогали голая техника и знание вкусов редактора.

«Необъятный зал городского драматического театра, вместимостью в двести пятьдесят человек, кипел морем голов. Представители общественности выплескивались из амфитеатра в партер, наполняя волнами радостного гула наше гигантское театральное вместилище».

Ошейников попросил у жены чаю и продолжал писать:

«Но вот море голов утихает. На эстраде появляется знакомая всем собравшимся могучая, как бы изваянная из чего-то фигура Антона Николаевича Гусилина. Зал разражается океаном бесчисленных аплодисментов».

Еще десять подобных строчек легко выпорхнули из-под пера журналиста. Дальше стало труднее, потому что надо описать новую фигуру — председателя исполкома тов. Чихаева.

Фигура была новая, а выражения только старые. Но и здесь Ошейников, как говорится, выкрутился.

«За столом президиума юбилейного собрания энергичной походкой появляется лицо тов. Чихаева. Зал взрывается рокочущим прибоем несмолкаемых рукоплесканий. Но вот клокочущее море присутствующих, пенясь и клубясь бурливой радостью, входит в берега сосредоточенного внимания».

Ошейников задумался.

«Входит-то оно входит, а дальше что?»

Он встал из-за стола и принялся нервно прогуливаться по комнате. Это иногда помогает, некоторым образом заменяет вдохновение.

«Так, так,— думал он,— этого Чихаева я описал неплохо. И фигура Гусилина тоже получилась у меня довольно яркая. Но вот чувствуется нехватка чисто художественных подробностей».

Мысли Ошейникова разбредались.

«Черт знает что,— размышлял он,— второй год обещают квартиру в новом доме и все не дают. Илюшке Качурину дали, этому бандиту Фиалкину дали, а мне...»

Вдруг лицо Ошейникова озарилось нежной детской улыбкой. Он подошел к столу и быстро написал:

«По правую руку от председателя собрания появилась уверенная, плотная, крепкая бритая фигура нашего заботливого заведующего жилищным отделом Ф. З. Грудастого. Снова вскипает шум аплодисментов».

— Ах, если бы две комнаты дал! — страстно за-

шептал автор художественного очерка.— Вдруг не даст? Нет, даст. Теперь должен дать.

Для полного душевного спокойствия он все-таки вместо слов «шум аплодисментов» записал «грохот оваций» и щедро добавил:

«Тов. Грудастый спокойным взглядом выдающегося хозяйственника обводит настороженно притихшие лица первых рядов, как бы выражающие общее мнение: «Уж наш т. Грудастый не подкачает, уж он уверенно доведет до конца стройку и справедливо распределит квартиры среди достойнейших».

Ошейников перечел все написанное. Очерк выглядел недурно, однако художественных подробностей было еще маловато.

И он погрузился в творческое раздумье. Скоро наступит лето, засверкает солнышко, запоют пташки, зашелестит мурава... Ах, природа, вечно юная природа... Лежишь в собственном гамаке на собственной даче...

Ошейников очнулся от грез.

«Эх, и мне бы дачку!» — подумал он жмурясь.

Тут же из-под пера журналиста вылились новые вдохновенные строки:

«Из группы членов президиума выделяется умный, как бы освещенный весенним солнцем, работоспособный профиль руководителя дачного подотдела тов. Куликова, этого неукротимого деятеля, кующего нам летний, здоровый, культурный, бодрый, радостный, ликующий отдых. Невольно думается, что дачное дело — в верных руках».

Муки художественного творчества избороздили лоб Ошейникова глубокими морщинами.

В комнату вошла жена.

— Ты знаешь,— сказала она,— меня беспокоит наш Миша.

— А что такое?

— Да вот все неуды стал из школы приносить. Как бы его не оставили на второй год.

— Стоп, стоп,— неожиданно сказал журналист.— Это очень ценная художественная деталь. Сейчас, сейчас.

И в очерке появился новый абзац.

«Там и сям мелькает в море голов выразительное лицо и внушающая невольное уважение фигура заведующего отделом народного образования тов. Калачевского. Как-то мысленно соединяешь его фигуру с морем детских личиков, так жадно тянущихся к культуре, к знанию, к свету, к чему-то новому».

— Вот ты сидишь по ночам,— сказала жена,— трудишься, а этот бездельник Фиалкин получил бесплатную каюту на пароходе.

— Не может быть!

— Почему же не может быть? Мне сама Фиалкина говорила. На днях они уезжают. Замечательная прогулка. Туда — неделю, назад — неделю. Их, кажется, даже будут кормить на казенный счет.

— Вот собака! — сказал Ошейников, бледнея.— Когда это он успел? Ну, ладно, не мешай мне со своей чепухой.

Но рука уже сама выводила горячие, солнечные строки:

«А вот нет-нет да мелькнет из-за любимых всеми трудящимися спин руководителей области мужественный и глубоко симпатичный анфас начальника речного госпароходства Каюткина, показывающего неисчерпаемые образцы ударной, подлинно водницкой работы».

— Что-то у меня в последнее время поясница поламывает,— продолжала жена.— Хорошо бы порошки достать, только нигде их сейчас нет.

— Поламывает? — встрепенулся очеркист.— А вот мы сейчас тебе пропишем твои порошки.

Ошейников вытер пот и, чувствуя прилив творческих сил, продолжал писать:

«В толпе зрителей мелькает знаменитое во всем городе пенсне нашего любимого заведующего здравотделом...»

Под утро очерк был готов. Там были упомянуты все — и директор театра, и администратор кино «Голиаф», и начальник милиции, и даже заведующий пожарным отделом («...чей полный отваги взгляд...»). Заведующего очеркист вставил на случай пожара.

— Будет лучше тушить,— сладострастно думал он,— энергичнее, чем у других.

В свое художественное произведение он не вписал только юбиляра.

— Как же без юбиляра? — удивилась жена.— Ведь сорок лет беспорочной деятельности в Ботаническом саду.

— А на черта мне юбиляр? — раздраженно сказал Ошейников.— На черта мне Ботанический сад! Вот если бы это был фруктовый сад, тогда другое дело!

И он посмотрел на жену спокойным, светлым, уничтожающим взглядом.

1933

ДИРЕКТИВНЫЙ БАНТИК

Представьте себе море, шумное Черное море. Сейчас, перед началом отпусков, не трудно вызвать в памяти сладкий образ этого громадного водохранилища. И представьте себе пляж. Теплый и чистый драгоценный песок. Если очень хочется, представьте себе еще и солнце, вообще всю волнующую картину крымско-кавказского купального побережья.

Двое очаровательных трудящихся лежали на пляже. Будем телеграфно кратки. Они были молоды запятая, они были красивы точка. Еще короче. Они были в том возрасте, когда пишут стихи без размера и любят друг друга беспредельно. Черт побери, она была очень красива в своем купальном костюме. И он был, черт побери, не Квазимодо в своих трусиках-плавках на сверкающем теле.

Они познакомились здесь же, на пляже. И кто его знает, что тут подействовало сильнее — обаяние ли самого водохранилища, солнечные ли, так сказать, блики, или еще что-нибудь. Кроме того, мы уже говорили, они были очень красивы. При нынешнем увлечении классическими образцами такие тела заслуживают всемерного уважения и даже стимулирования. Тем более что, будучи классическими по форме, они являются безусловно советскими по содержанию.

Еще короче. К двум часам дня он сказал:

— Если это глупо, скажите мне сразу, но я вас люблю.

Она сказала, что это не так глупо.

Потом он сказал что-то еще, и она тоже сказала что-то. Это было чистосердечно и нежно. Над водохранилищем летали чайки. Вся жизнь была впереди. Она была черт знает как хороша и на днях (узнаю твои записи, загс!) должна была сделаться еще лучше.

Влюбленные быстро стали одеваться.

Он надел брюки, тяжкие москвошвеевские штаны, мрачные, как канализационные трубы, оранжевые утильтапочки, сшитые из кусочков, темно-серую, никогда не пачкающуюся рубашку и жесткий душный пиджак. Плечи пиджака были узкие, а карманы оттопыривались, словно там лежало по кирпичу.

Счастье сияло на лице девушки, когда она обернулась к любимому. Но любимый исчез бесследно. Перед ней стоял кривоногий прощелыга с плоской грудью и широкими, немужскими бедрами. На спине у него был небольшой горб. Стиснутые у подмышек руки бессильно повисли вдоль странного тела. На лице у него было выражение ужаса. Он увидел любимую.

Она была в готовом платье из какого-то ЗРК. Оно вздувалось на животе. Поясок был вшит с таким расчетом, чтобы туловище стало как можно длиннее, а ноги как можно короче. И это удалось.

Платье было того цвета, который дети во время игры в «краски» называют бурдовым. Это не бордовый цвет. Это не благородный цвет вина бордо. Это неизвестно какой цвет. Во всяком случае, солнечный спектр такого цвета не содержит.

На ногах девушки были чулки из вискозы с отделившимися древесными волокнами и бумажной довязкой, начинающейся ниже колен.

В это лето случилось большое несчастье. Какой-то швейный начальник спустил на низовку директиву о том, чтобы платья были с бантиками. И вот между животом и грудью был пришит директивный бантик. Уж лучше бы его не было. Он сделал из девушки даму, фарсовую тещу, навевал подозренья о разных физических недостатках, о старости, о невыносимом характере.

«И я мог полюбить такую жабу?» — подумал он.

«И я могла полюбить такого урода?» — подумала она.

— До свиданья,— сухо сказал он.

— До свиданья,— ответила она ледяным голосом.

Больше никогда в жизни они не встречались.

Ужасно печальная история, правда?

И мы предъявляем счет за разбитые сердца, за грубо остановленное движение души. И не только за это. Счет большой. Будем говорить по порядку. Отложим на минуту сахарное правило: «Покупатель и продавец, будьте взаимно вежливы». Не будем взаимно вежливы.

Итак — магазин готового платья. Прилавки, за прилавками работники прилавка, перед прилавком покупательская масса, а на полках и плечиках — товарная масса.

Больше всего головных уборов, кепок. Просто кепки, соломенные кепки, полотняные кепки, каракулевые кепки, кепки на вате, кепки на красивой розовой подкладке. Делали бы кепки из булыжника, но такой труд был бы под силу одному только Микеланджело, великому скульптору итальянского Возрождения,— сейчас так не могут. К сожалению, все кепки одного фасона. Но не будем придираться. Тем более что среди моря кепок заманчиво сверкают мягкие шляпы, серые шляпы из валяного товара с нежно-сиреневой лентой. Не будем придираться. Это для проезжающих дипломатов и снобов.

Продаются мужские костюмы. Фасон один. Мы уже описали его в начале рассказа. А цвета какие? О, огромный выбор цветов! Черный, черно-серый, серочерный, черновато-серый, серовато-черный, грифельный, аспидный, наждачный, цвет передельного чугуна, коксовый цвет, торфяной, земляной, мусорный, цвет жмыха и тот цвет, который в старину назывался «сон разбойника». В общем, сами понимаете, цвет один, чистый траур на небогатых похоронах.

Пальто и полупальто (официально это называется ватный товар), помимо перечисленных свойств, обладают еще одним — появляться в магазинах только в

том квартале года, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом.

Есть еще сверхроссийские овчинные шубы. Обычно в шубах такого покроя волостные старшины представлялись царю в годовщину чудесного спасения императорской семьи на станции Борки. Все это было бородатое, мордатое, увешанное толстыми медалями.

Ну, дальше. Дальше рубашки с вшитой пикейной грудью и пристежные воротнички с дырочками для жестяных штучек, якобы придерживающих галстук.

Если верхняя одежда всегда темного цвета и своим видом нагоняет безмерное таежное уныние, то все, что находится под ней, слепит глаза яркими химическими тонами и по мысли устроителей должно вызывать ликование. Кальсоны фиолетовые, подтяжки зеленые, подвязки красные, носки голубые.

И стоит масса против массы, покупательская против товарной, а между ними прилавок, а за прилавками работники прилавка, и вид у работников самый невинный.

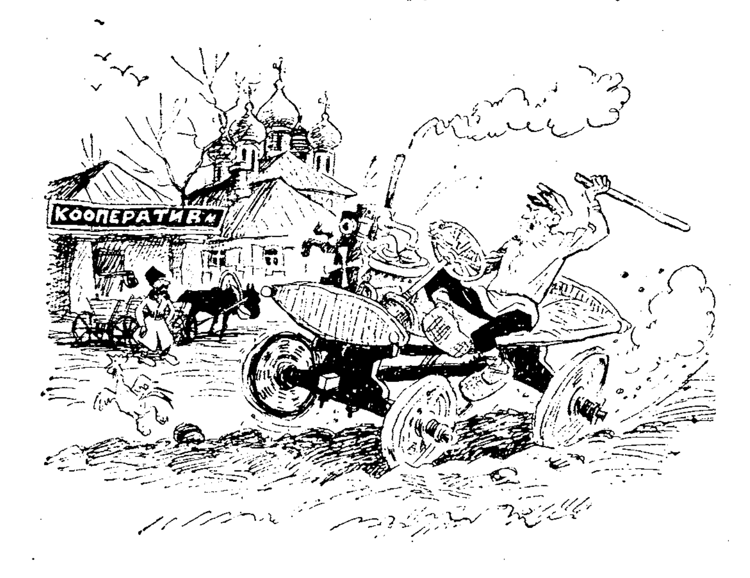
— При чем тут мы? Мы этого не шили, мы этого не ткали. Мы только торговая точка, низовое звено товаропроводящей сети.

Ах, это очень плохо, когда магазин называется точкой! Тут обязательно выйдет какая-нибудь запятая. Вдруг на всю улицу светит электрический призыв к прохожим: «Учитесь культурно торговать». Почему прохожие должны культурно торговать? У них своих дел достаточно. Именно вы должны культурно торговать, а не прохожие. Прохожие должны покупать! И они это делают очень культурно, не волнуйтесь. Запросы у них правильные — одежда хорошая, красивая, даже, представьте себе, элегантная. Не падайте, пожалуйста, в обморок, не считайте это за выпад. Они такие. Трудящиеся богатеют и к лету требуют белые штаны.

Не будем придираться к бедным точкам. Не они ткали, не они шили. Ткали, шили и тачали в Наркомлегпроме. Это там родилось искусство одевать людей в обезличенные коксовые костюмы. Оттуда плавно спускались директивы насчет тещиных бантиков.

Несколько лет назад, когда у нас еще не строили автомобилей, когда еще только выбирали, какие машины строить, нашлись запоздалые ревнители славянства, которые заявили, что стране нашей с ее живописными проселками, диво-дивными бескрайними просторами, поэтическими лучинками и душистыми портянками не нужен автомобиль. Ей нужно нечто более родимое, нужна авто-телега. Крестьянину в такой штуке будет вольготнее. Скукожится он в ней, хряснет по мотору и захардыбачит себе по буеракам. Захрюндится машина, ахнет, пукнет и пойдет помаленьку, все равно спешить некуда.

Один экземпляр телеги внутреннего сгорания даже построили. Телега была как телега. Только внутри ее что-то тихо и печально хрюкало. Или хрюндило, кто его знает! Одним словом, как говорится в изящной литературе, хардыбачило. Скорость была диво-дивная, семь километров в час. Стоит ли напоминать, что этот удивительный предмет был изобретен и построен в то самое время, когда мир уже располагал роллс-ройсами, паккардами и фордами? К счастью, братьям славянам сейчас же дали по рукам. Кой-кому попало



даже по ногам. Построили, конечно, то, что надо было построить — быстроходную, сильную современную машину, не авто-телегу, а авто-мобиль.

Почему же швейная промышленность все время строит авто-телегу? Не пиджак, а спинжак, не брюки, а портки, не женское платье, а крепдешиновый мешок с директивными бантиками?

Если бы вдруг завод имени Сталина построил автомобиль, руководствуясь вкусами людей из пиджачной индустрии, то эта машина вызвала бы смех, на нее показывали бы пальцами, за ней с улюлюканием бежали бы дети. Так это было бы отстало, плохо и некрасиво.

На весь Советский Союз есть два бездарных фасона пальто, три тусклых фасона мужских костюмов, четыре пугающих фасона женского платья. Шьются только эти фасоны, и уйти от них некуда. Все мужчины, все женщины вынуждены одеваться по этой единообразной моде.

В Наркомлегпроме хорошо разбираются в модах. Где-то когда-то сиял принц Уэльский, первый джентльмен мира, как о нем говорят в «Таймсе». И от него брели по свету фасоны брюк и пиджаков. И давно он уже сделался королем и давно уже в этом звании умер, почил в бозе, то есть дал дуба, а мода, им установленная, как свет давно угасшей звезды, только сейчас дошла до наших ведомственных закройщиков.

Более свежих образцов получить не успели. Да и не очень старались получить, были заняты рационализацией одежды, делали пиджаки без лацканов и подкладки, экономили на пуговицах, укорачивали брюки, словом — изобретали авто-телегу, в которой якобы советскому человеку вольготнее.

Утвержденный в канцелярии покрой устанавливается самое меньшее на пять лет. Иначе они не могут. Трудно освоить эту сверхсложную модель. Вы только подумайте, масса деталей: карманы, рукава, петли, спинки — ужас! Советская автотракторная и авиационная промышленность как-то ухитряется выпускать каждый год новые, все более совершенные модели. Им как-то удается. Как видно, менее сложен

производственный процесс, меньше деталей, только по полторы тысячи на каждую машину. И точность требуется меньшая, всего лишь тысячные доли миллиметра. Вот спинки и лацканы! Попробуйте сделать! Это вам не блок цилиндра, не магнето, не коробка скоростей. Тут, пардон, пардон, большой брак неизбежен!

И, конечно же, еще и еще раз, опять и снова нашили своего «ватного товара» к благоуханному апрелю месяцу. И лежат великие партии теплых пальто с меховыми воротниками, и никто не знает, что с ними делать.

А как в самом деле поступить, если покупательская масса не хочет ходить летом в ватном товаре? С другой же стороны, ватный товар может побить моль, грубая, необразованная моль, которая не желает учитывать глупости и бестолковости швейных начальников.

Хорошо бы увезти этот товар в холодные края, туда, туда, где трещат морозы, в Якутию, на Камчатку. Но пока соберутся, пока довезут, там тоже начнется весна, начнут лопаться какие-то глупые почки. Черт бы ее побрал, эту климатическую неразбериху, это несовершенство земного шара! Трудно, трудно дается Наркомлегпрому борьба со слепыми силами природы. Просто нет выхода. Изнемогают в решительной схватке. Нет, нет, турбогенераторы, крекинги, блюминги и домны гораздо легче строить! Это ясно!

И, конечно же, еще, еще и еще раз, опять и снова не подготовились к лету, не учли этого кошмарного времени года. Обо всем помнили — о распределении отпусков (еще осенью со страшными криками делили июни — июли будущего года, предусмотрительно оставляя августы — сентябри для ответ- и приветработников), помнили о заседаниях, о кружках самодеятельных балалаечников, о юбилеях и проводах, о семейно-товарищеских вечеринках,— только о лете забыли, забыли о светлых, легких, разнообразных одеждах для покупательской массы.

Что это значит, товарищи? Ау! Местком спит? Или нарком спит? В общем, кто спит? А может быть, и тот и другой?

Когда это кончится?

Счет большой. В то время как во всех областях промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры, во всей жизни страна делает поразительные успехи, показывает всему миру, на что способен пролетариат, в области одежды нет успехов, стоящих на уровне даже теперешних запросов. А ведь надо думать еще о запросах завтрашнего дня. Великолепная заря этого завтра уже сейчас освещает наше бытие. Но даже не видно подлинного, непоказного стремления достичь этого уровня.

Пусть пиджак не будет узок в плечах — его противно носить. Пусть бантики не изобретаются в канцеляриях — канцелярские изобретения не могут украсить девушку. Надо помнить, что если жизнь солнечная, то и цвет одежды не должен быть дождливым. Давайте летом носить хорошо сшитые белые брюки. Это удобно. Покупательская масса заслужила эту товарную массу.

Вот мы горевали, беспокоились о ватном товаре. Не знали, какой выход найдет Наркомлегпром. Есть уже выход, нашелся. Оказывается, не надо гнать маршруты с пальто в Якутию. Устроились проще. Закупили на тридцать миллионов рублей нафталина. Теперь ватный товар спокойно будет лежать под многомиллионным нафталиновым покровом до будущего 1935 года. И моль печально будет кружиться над неприступными базисными складами, с отвращением принюхиваясь к смертоносному запаху омертвленного капитала.

1934

ЛЮБОВЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБОЮДНОЙ

Весной приятно поговорить о достижениях. Деревья, почки, мимозы в кооперативных будках — все это располагает. В такие дни не хочется кусать собратьев по перу и чернилам. Их хочется хвалить, прославлять, подымать на щит и в таком виде носить по всему городу.

И — как грустно — приходится говорить о недостатках. А день такой пленительный. Обидно, товарищи Но весна весной, а плохих книг появилось порядочно — толстых, непроходимых романов, именинных стишков, а также дохлых повестей. Дохлых по форме и дохлых по содержанию.

Чем это объяснить?

Вот некоторые наблюдения.

В издательство входит обыкновенный молодой человек со скоросшивателем в руках. Он смирно дожидается своей очереди и в комнату редактора вступает, вежливо улыбаясь.

— Тут я вам месяц назад подбросил свой романчик...

— Как называется?

— «Гнезда и седла».

— Да... «Гнезда и седла». Я читал. Читал, читал. Знаете, он нам не подойдет.

— Не подойдет?

— К сожалению. Очень примитивно написано.

Даже не верится, что автор этого произведения — писатель.

— Позвольте, товарищ. Я — писатель. Вот пожалуйста. У меня тут собраны все бумаги. Членский билет горкома писателей. Потом паспорт. Видите, проставлено: «Профессия — писатель».

— Нет, вы меня не поняли. Я не сомневаюсь. Но дело в том, что такую книгу мог написать только неопытный писатель, неквалифицированный.

— Как неквалифицированный? Меня оставили при последней перерегистрации. Видите, тут отметка: «Продлить по 1 августа 1934 года». А сейчас у нас апрель, удостоверение еще действительно.

— Но это же, в общем, к делу не относится. Ну, подумайте сами, разве можно так строить сюжет? Ведь это наивно, неинтересно, непрофессионально.

— А распределитель?

— Что распределитель?

— Я состою. Вот карточка. Видите? А вы говорите — непрофессионально.

— Не понимаю, при чем тут карточка?

— Не понимаете? И очень печально, товарищ. Раз я в писательском распределителе — значит, я хороший писатель. Кажется, ясно?

— Возможно, возможно. Но это не играет роли. Разве так работают? В первой же строчке вы пишете: «Отрогин испытывал к наладчице Ольге большого, серьезного, всепоглощающего чувства». Что это за язык? Ведь это нечто невозможное!

— Как раз насчет языка вы меня извините. Насчет языка у меня весьма благополучно. Всех ругали за язык, даже Панферова, я все вырезки подобрал. А про меня там ни одного слова нет. Значит, язык у меня в порядке.

— Товарищ, вы отнимаете у меня время. Мы не можем издать книгу, где на каждой странице попадаются такие метафоры: «Трамваи были убраны флагами, как невесты на ярмарке». Что ж, по-вашему, невесты на ярмарках убраны флагами? Просто чепуха.

— Это безответственное заявление, товарищ. У меня есть протокол заседания литкружка при глаз-

ной лечебнице, где я зачел свой роман. И вот резолюция... Сию минуточку, я сейчас ее найду. Ага! «Книга «Гнезда и седла» радует своей красочностью и бодрой образностью, а также написана богатым и красивым языком». Шесть подписей. Пожалуйста. Печать. И на этом фронте у меня все благополучно.

— Одним словом, до свидания.

— Нет, не до свидания. У меня к вам еще одна бумажка есть.

— Не надо мне никакой бумажки. Оставьте меня в покое.

— Это записка. Лично вам.

— Все равно.

— От Ягуар Семеныча.

— От Ягуар Семеныча? Дайте-ка ее сюда. Да вы присядьте. Так, так. Угу. М-м-мда. Не знаю. Может быть, я ошибся. Хорошо, дам ваши «Гнезда» прочесть еще Тигриевскому. Пусть посмотрит. В общем, заходите завтра. А примерный договор пока что набросает Марья Степановна. Завтра и подпишем. Хорошее там у вас место есть, в «Седлах»: Отрогин говорит Ольге насчет идейной непримиримости. Отличное место. Ну, кланяйтесь Ягуару.

«Гнезда и седла» появляются на рынке в картонном переплете, десятитысячным тиражом, с портретом автора и длинным списком опечаток. Автор ходит по городу, высматривая в книжных витринах свое творение, а в это время на заседании в издательстве кипятится оратор:

— Надо, товарищи, поднять, заострить, выпятить, широко развернуть и поставить во весь рост вопросы нашей книжной продукции. Она, товарищи, отстает, хромает, не поспевает, не стоит на уровне...

Он еще говорит, а в другом издательстве, перед другим редактором стоит уже другой автор.

Новый автор — в шубе, с круглыми плечами, с громадным галалитовым мундштуком во рту и в бурках до самого паха. Он не тихий, не вкрадчивый. Это бурный, громкий человек, оптимист, баловень судьбы. О таких подсудимых мечтают начинающие прокуроры.



Он не носит с собой удостоверений и справок. Он не бюрократ, не проситель, не нудная старушка из фельетона, пострадавшая от произвола местных властей. Это пружинный замшевый лев, который, расталкивая плечами неповоротливых и мечтательных бегемотов, шумно продирается к водопою.

Его творческий метод прост и удивителен, как проза Мериме.

Он пишет один раз в жизни. У него есть только одно произведение. Он не Гете, не Лопе де Вега, не Сервантес, нечего там особенно расписываться. Есть дела посерьезней. Рукопись ему нужна, как нужен автогенный аппарат опытному шниферу для вскрывания несгораемых касс.

То, что он сочинил, может быть названо бредом сивой кобылы. Но это не смущает сочинителя.

Он грубо предлагает издательству заключить с ним договор. Издательство грубо отказывает. Тогда он грубо спрашивает, не нужна ли издательству бумага по блату. Издательство застенчиво отвечает, что, конечно, нужна. Тогда он вежливо спрашивает, не примет ли издательство его книгу. Издательство грубо отвечает, что, конечно, примет.

Книга выходит очень быстро, в рекордные сроки. Теперь все в порядке. Автогенный аппарат сделал свое дело. Касса вскрыта. Остается только унести ее содержимое.

Сочинитель предъявляет свою книгу в горком писателей, заполняет анкету («под судом не был, в царской армии был дезертиром, в прошлом агент по сбору объявлений,— одним словом, всегда страдал за правду»), принимается в союз, получает живительный паек. Вообще он с головой погружается в самоотверженную работу по улучшению быта писателей. Он не только не Сервантес, он и не Дон-Кихот, и к донкихотству не склонен. Первую же построенную для писателей квартиру он забирает себе. Имея книгу, членство, особый паек, даже автомобиль, он обладает всеми признаками высокохудожественной литературной единицы.

Теперь единицу, оснащенную новейшей техникой, поймать чрезвычайно трудно. Сил одной милиции не хватит: тут нужны комбинированные действия всех карательных органов с участием пожарных команд, штурмовой авиации, прожекторных частей и звукоуловителей.

А оратор в издательстве все еще стоит над своим графином и, освежая горло кипяченой водой, жалуется:

— Что мы имеем, товарищи, в области качества книжной продукции? В области качества книжной продукции мы, товарищи, имеем определенное отставание. Почему, товарищи, мы имеем определенное отставание в области качества книжной продукции? А черт его знает, почему мы имеем в области качества книжной продукции определенное отставание!

Тут вносят чай в пивных стопках, стоящих по шесть штук сразу в глубокой тарелке для борща. И вопросы книжной продукции глохнут до следующего заседания.

Между тем совсем не нужно тратить кубометры кипяченой воды и загружать глубокие тарелки стопками с чаем, чтобы понять сущность дела. Плохих произведений всегда было больше, чем хороших. Всегда в издательства, помимо талантливых вещей, носили, носят и будут носить всяческую чушь и дичь. Дело обычное, ничего страшного в этом нет. Надо только устроить так, чтобы плохая рукопись не превратилась в книгу. Это обязанность редакторов.

А редактора нередко бывают малодушны, иногда некультурны, иногда неквалифицированны, иногда читают записки, не относящиеся к делу, иногда в них просыпается дух торговли — все иногда бывает.

И к свежему голосу растущей советской литературы примешивается глухое бормотание бездарностей, графоманов, искателей выгод и неучей.

А в литературных делах надо проявлять арктическое мужество.

Не надо делать скидок по знакомству, не надо понижать требований, не надо давать льгот, не надо так уж сильно уважать автора за выслугу лет, не подкрепленную значительными трудами.

Читателю нет дела до литературной кухни. Когда к нему попадает плохая книга, ему все равно, чьи групповые интересы состязались в схватке и кто эту книгу с непонятной торопливостью включил в школьные хрестоматии. Он с отвращением листает какие-

нибудь «Гнезда» или «Седла», жмурится от ненатуральных похождений диаграммно-схематического Отрогина и на последней странице находит надпись: «Ответственный редактор З. Тигриевский». Так как записка Ягуар Семеныча к книге не приложена, то никогда читателю не понять тонких психологических нюансов, побудивших товарища Тигриевского пустить «Седла» в печать. И пусть не обманываются редактора таких книг. Читатель редко считает их ответственными, потому что никакой ответственности они, к сожалению, не несут.

Вот какие неприятные слова приходится говорить радостной весной текущего хозяйственного года. Не сладкое это занятие — портить отношения с отдельными собратьями и делать мрачные намеки. Куда приятнее сидеть вдвоем за одним столиком и сочинять комический роман. Ах, как хорошо! Окно открыто, ветер с юга, чернильница полна до краев. А еще лучше поехать с собратьями целой бригадой куда-нибудь подальше, в Кахетию, в Бухару, в Боржом, что-нибудь такое обследовать, установить связи с местной общественностью, дать там какую-нибудь клятву. Не очень, конечно, обязывающую клятву — ну, написать повесть из жизни боржомцев или включиться в соревнование по отображению благоустройства бухарского оазиса. А потом вернуться в Москву и дать о поездке беседу в «Литературную газету», мельком упомянув о собственных достижениях.

Но ссориться, так уж ссориться серьезно.

Кроме появившихся на прилавке плохих книг типа «Седла» и «Гнезда», еще больший урон несет советское искусство оттого, что многие хорошие книги могли бы появиться, могли бы быть написаны, но не были написаны и не появились потому, что помешала суетливая, коммивояжерская гоньба по стране и помпезные заседания с обменом литературными клятвами.

Никогда путешествие не может помешать писателю работать. И нет места в мире, где бы с такой родительской заботливостью старались дать писателю возможность все увидеть, узнать и понять, как это делается у нас.

Но внимание и средства уделяются вовсе не затем, чтоб люди партиями ездили за несколько тысяч километров торжественно и скучно заседать.

Как часто деньги, предназначенные для расширения писательских горизонтов, тратятся на создание протоколов о том, что литература нужна нам великая, что язык нам нужен богатый, что писатель нам нужен умный. И как часто, создав такой протокол, бригада мчится назад, считая, что взят еще один барьер, отделяющий ее от Шекспира.

Чтобы приблизиться к литературным вершинам, достойным нашего времени, вовсе нет надобности обзаводиться фанерными перегородками, учрежденскими штатами, секциями и человеком комендантского типа в сапогах, лихо раздающим железнодорожные билеты, суточные и подъемные.

И оргкомитет имеет сейчас, перед писательским съездом, возможность стряхнуть с себя литературную пыль, выставить из писательской шеренги людей, ничего общего с искусством не имеющих.

Людям, в литературе случайным, писать романы или рассказы — долго, трудно, неинтересно и невыгодно. Кататься легче. А вместо писательского труда можно заняться высказываниями. Это тоже легко. К тому же создается видимость литературной и общественной деятельности. Фамилия такого писателя постоянно мелькает в литературных органах. Он высказывается по любому поводу, всегда у него наготове десять затертых до блеска строк о детской литературе, о кустарной игрушке, о новой морали, об очередном пленуме оргкомитета, о связи искусства с наукой, о мещанстве, о пользе железных дорог, о борьбе с бешенством или о работе среди женщин.

И никогда в этих высказываниях нет знания предмета. И вообще обо всех затронутых вопросах говорится глухо. Идет речь о себе самом и о своей любви к советской власти.

Что уж там скрывать, товарищи, мы все любим советскую власть. Но любовь к советской власти — это не профессия. Надо еще работать. Надо не только любить советскую власть, надо сделать так,

чтобы и она вас полюбила. Любовь должна быть обоюдной.

Хороши были бы Каманин и Молоков, если б, вместо того чтобы спасать челюскинцев, они сидели в теплой юрте перед столом, накрытым зеленой скатертью, с походным графинчиком и колокольчиком и посылали бы высказывания о своих сердечных чувствах к правительственной комиссии, ко всем ее членам и председателю.

Летать надо, товарищи, а не ползать. Это давно дал понять Алексей Максимович. Это трудно, ох, как трудно, но без этого обойтись нельзя.

Иначе любовь не будет обоюдной.

1934

РЕЦЕПТ СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ

Докладчик. Граждане, наше домоуправление предложило мне прочесть жильцам дома небольшую лекцию о том, как организовать спокойную жизнь. По зрелом размышлении, я согласился.

Многие удивляются, как это я сохраняю спокойствие духа и постоянно нахожусь в удовлетворительном настроении, в то время как вокруг идет такая бурная жизнь и происходит бессмысленная трепка нервов. Хорошо. В порядке обмена опытом я расскажу о всех моих достижениях.

Прошу только соблюдать тишину, в противном случае вынужден буду принять соответствующие решительные меры.

Итак, если человек хочет быть спокойным, он постоянно должен иметь при себе следующие предметы: записную книжку, хорошо очиненный карандаш и свисток. Да, я сказал свисток. Никакое спокойствие немыслимо, если у вас в кармане нет свистка.

Скажем, так. Вы входите в магазин с целью приобретения каких-либо продуктов питания, или ширпотреба, или отдельных предметов роскоши, или канцпринадлежностей. Я не спорю, иногда все проходит гладко — вы быстро налаживаете очередь к прилавку, покупаете нужную вам вещь, налаживаете очередь в

кассу, платите и уходите. Но обычно посещение магазина не обходится без инцидента. Покупатель может вас толкнуть, продавец грубо ответить, кассирша заявить, что у нее нет сдачи. В таких случаях всегда начинаются крик, пререкания, волнение,— в общем, то, о чем я уже докладывал,— бессмысленная трепка нервов. Вот этого-то и не надо делать. Не надо повышать голоса.

Скажем, вас толкнули. Хорошо. Полное спокойствие. Вы выясняете, кто вас толкнул. Просите предъявить документы. Виновный, конечно, уверяет, что толкнул нечаянно, и документы предъявить отказывается. Еще лучше. Вы приглашаете заведующего магазином и очень тихо, но твердо требуете от него немедленного удаления хулигана с территории торговой точки. Заведующий, конечно, заявляет, что это не его дело и что вообще нечего подымать шум из-за пустяков. Пустяки? Отлично. Без крика, тихо, спокойно берете карандашик и заносите фамилию бюрократа в записную книжечку. Заведующий говорит, что плевал он на мою книжечку. Ах, плевал! Замечательно! Вы мобилизуете покупательский актив, сплачиваете его и подымаете на борьбу с чиновником, потерявшим чувство действительности.

Покупатели не хотят включиться в борьбу? Не хотят сплачиваться? Превосходно! Вынимаете тот же карандашик и, сохраняя полнейшее спокойствие, переписываете поголовно всех граждан, находящихся в магазине. Да, да, поголовно всех, с указанием адресов и места службы. В борьбу с этими антиобщественными элементами вы вовлекаете продавцов.

Если продавцы не оказывают вам законного содействия, то тем лучше. Всех их туда же, в книжечку. Кассиршу тоже. Чтоб не смеялась идиотским смехом в ущерб своим прямым обязанностям. Вы мне, конечно, скажете, что виновные могут убежать из магазина, спасаясь, таким образом, от ответственности. В том-то и дело, что не могут. На скандал с улицы лезут любопытные, и в дверях образуется пробка — ни войти, ни выйти.

Дети плачут, взрослые грозятся, какая-то неустойчивая женщина падает в обморок, слышен, так сказать, стук падения тела. Происходит то, о чем я вам докладывал уже дважды — трепка нервов. Но вы делаете свое дело, продолжаете перепись.

Если в это время вас будут оскорблять разными словами,— очень хорошо! Отнеситесь к факту словесного оскорбления спокойно, зафиксируйте его в книжечке и поставьте против фамилии негодяя-оскорбителя птичку.

Нетерпеливый голос из зала. А если дадут по морде?

Докладчик. Вот этого мне только и надо. Я получаю по морде. Прекрасно. Теперь вся эта объединенная банда покупателей и продавцов в моих руках. Дела идут блестяще. Надо мной намечается суд Линча со стороны недовольных граждан. Уже хватают за толстовку. И тут я вынимаю свисток и громко, торжественно свищу. Никто не уйдет, все ответят: кто за оскорбление действием, кто за подстрекательство к оскорблению действием, кто за неоказание помощи во время оскорбления действием. Приходит милиционер, и вся компания преступников отправляется в милицию. И, заметьте, опять идет бессмысленная трепка нервов. Все волнуются, не хотят идти в отделение, орут, что им надо на службу, к доктору, домой. Один я спокоен.

Спокойным меня делает сознание собственной правоты. Пульс шестьдесят два, прекрасного наполнения. Температура тела тридцать шесть и семь. Зрачки реагируют правильно. Я даже улыбаюсь. По дороге все ужасно нервничают по поводу моего спокойствия, и на глазах у представителя власти мне еще несколько раз дают по морде. Превосходно! Вынимаете тот же карандашик и хладнокровно записываете в книжечку, кто бил и сколько раз ударил. И ставите птички. Теперь можно быть спокойным — дело дойдет до суда. Вообще, граждане, запомните аксиому: решительно все надо доводить до суда. Иначе не может быть никакой спокойной жизни.

Голос из зала. Решительно все?

Докладчик. Все решительно. Вы были на вечеринке, и кто-то надел ваши калоши. Выясняете, кто это сделал,— и в суд его! И хозяина в суд за то, что недосмотрел. И гостей под суд за пьянство и попустительство. Дело, конечно, не в калошах, не в трех рублях, дело в принципе. Если бы мы все доводили до суда, то кривая нервных заболеваний резко пошла бы вниз.

Голос из зала. Это просто возмутительно! *(Общий шум.)*

Докладчик. Прошу не нарушать тишины. За нарушение тишины взимается штраф. Кстати, о штрафах. Давно пора уже возбудить вопрос о том, чтобы дать гражданам право штрафовать друг друга. Это сыграло бы огромную воспитательную роль. Я вас штрафую, а вы меня. Вы — меня, а я — вас. Кондуктора — публику, публика — кондукторов. Ведь какая была бы прелесть, какая началась бы спокойная жизнь, без этой трепки нервов. Получил с кого-нибудь пятерку, выдал квитанцию и пошел дальше. Но главное — это все-таки суд. Я все довожу до суда. Сейчас, например, я сужусь с моей невестой по личному вопросу, за нанесение мне ею пощечины во время совместного посещения Художественного театра. Вы скажете, что это дело интимное, что было бы гораздо проще совсем не жениться на ней. Да, было бы проще. Но я это делаю принципиально. И у меня есть свидетели. Я переписал двенадцать человек из второго яруса и трех капельдинеров. Ее бандит-папаша рыщет по всему городу и обещает меня искалечить. Отлично! Спокойно жду хулиганского выпада. Единственное, что меня заботит: как бы будущий, так сказать, тесть не поймал меня без свидетелей. Придется в ближайшие горячие дни водить свидетелей с собой.

Вот, граждане, в общих чертах те методы, которыми я пользуюсь и которые дают мне возможность избегать бессмысленной трепки нервов и неизменно находиться в спокойном состоянии. Повторяю еще раз — ни шагу без суда, ни шагу без свидетелей, все должно быть запротоколировано, все... Кто вредный

дурак?! Я вредный дурак? Хорошо! Ах, даже мерзавец? Замечательно! Подлец? Великолепно! Вынимаю книжечку, беру карандашик и записываю... Не размахивайте руками, гражданин Феодалкин, суд все разберет. Кулаками все равно ничего не докажете. Ах, так? Оскорбление действием? Этого мне только и надо было. Нет, не умеете вы жить. Долго еще надо вам совершенствоваться. *(Со вздохом вынимает свисток и громко свистит.)*

1934

КОСТЯНАЯ НОГА

Очень трудно покорить сердце женщины.

А ведь чего только не делаешь для выполнения этой программы! Уж и за руку берешь, и грудным голосом говоришь, и глаз не сводишь.

И ничто не помогает. Ну, не любят тебя, не верят! И опять все надо начинать сначала. Честное слово, каторжный труд при звездах и при луне.

Из Москвы в Одессу приехал отдыхать молодой доктор.

Когда у него впервые в жизни оказались две свободные недели, он внезапно заметил, что мир красив и что население тоже красиво, особенно его женская половина. И он почувствовал, что если сейчас же не примет решительных мер, то уже никогда в жизни не будет счастлив, умрет вонючим холостяком в комнате, где под кроватью валяются старые носки и бутылки.

Через несколько дней молодой медик гулял с девушкой по сильно пересеченной местности на берегу моря.

Он изо всех сил старался понравиться. Конечно, говорил грудным и страстным голосом, конечно, нес всякий вздор, даже врал, что он челюскинец и лучший друг Отто Юльевича Шмидта. Он предложил руку, комнату в Москве, сердце, отдельную кухню и паровое отопление. Девушка подумала и согласилась.

Здесь опускаются восемь страниц художественного описания поездки с любимым существом в жестком вагоне. (Прилагается только афоризм: лучше с любимой в жестком, чем одному в международном.)

А в Москве купили ветку сирени и пошли в загс расписываться в собственном счастье.

Известно, что такое загс. Не очень чисто. Не очень светло. И не так чтобы уж очень весело, потому что браки, смерти и рождения регистрируются в одной комнате. Когда доктор со своей докторшей, расточая улыбки, вступил в загс, то сразу увидел на стене укоризненный плакат:

ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕДАЕТ ИНФЕКЦИЮ

Висели еще на стене адрес похоронного бюро и заманчивая картинка, где были изображены в тысячекратном увеличении бледные спирохеты, бойкие гонококки и палочки Коха. Очаровательный уголок для венчания.

В углу стояла грязная, как портянка, искусственная пальма в зеленой кадушке. Это была дань времени. Так сказать, озеленение цехов. О таких штуках вечерняя газета пишет с еле скрываемым восторгом: «Сухум в Москве. Загсы принарядились».

Служащий загса рассмотрел документы юной пары и неожиданно вернул их назад.

— Вас нельзя зарегистрировать.

— То есть как нельзя? — забеспокоился доктор.

— Нельзя, потому что паспорт вашей гражданки выдан в Одессе. А мы записываем только по московским паспортам.

— Что же мне делать?

— Не знаю, гражданин. По иногородним паспортам не регистрируем.

— Значит, мне нельзя полюбить девушку из другого города?

— Не кричите вы, пожалуйста. Если все будут кричать...



— Я не кричу, но ведь выходит, что я имею право жениться только на москвичке. Какое может быть прикрепление в вопросах любви?

— Мы вопросами любви не занимаемся, гражданин. Мы регистрируем браки.

— Но какое вам дело до того, кто мне нравится? Вы что же, распределитель семейного счастья здесь устроили? Регулируете движения души?

— Потише, гражданин, насчет регулирования движения!

— Вы растаптываете цветы любви! — завизжал доктор.

— А вы не хулиганьте здесь!

— А я вам говорю, что вы растаптываете!

— А вы не нарушайте порядка.

— Я нарушаю порядок? Значит, любовь уже больше не великое чувство, а просто нарушение порядка? Хорошо. Пойдем отсюда, Люся.

Очутившись на улице, незадачливый кандидат в мужья долго не мог успокоиться.

— Разве это люди? Разве это человек? Ведь это баба-яга костяная нога! Что мы теперь будем делать?

Он так волновался, что девушке стало его жалко.

— Знаешь что,— сказала она,— ты меня любишь, и я тебя люблю. Ты не ханжа, и я не ханжа. Будем жить так.

Действительно, если вдуматься, то с милым рай и в шалаше.

Стали жить «так».

Но с милым рай в шалаше, товарищи, возможен только в том случае, если милая в шалаше прописана и занесена шалашеуправлением в шалашную книгу. В противном случае возможны довольно мрачные варианты.

Любимую не прописали в доме, потому что у нее не было московского паспорта. А московский паспорт она могла получить только как жена доктора. Женой доктора она была. Но загс мог признать ее женой только по предъявлении московского паспорта. А московский паспорт ей не давали потому, что они не были зарегистрированы в загсе. А жить в Москве без прописки нельзя. А...

Таким образом, рай в шалаше на другой же день превратился в ад. Люся плакала и при каждом стуке в дверь вздрагивала — вдруг появятся косматые дворники и попросят вон из шалаша. Доктор уже не ходил в свою амбулаторию. «Лучший друг» Отто Юльевича Шмидта представлял собой жалкое зрелище. Он был небрит. Глаза у него светились, как у собаки. Где ты, теплая черноморская ночь, громадная луна и первое счастье?!

Наконец он схватил Люсю за руку и привел ее в милицию.

— Вот,— сказал он, показывая пальцем на жену.

— Что вот? — спросил его делопроизводитель, поправляя на голове войлочную каску.

— Любимое существо.

— Ну, и что же?

— Я обожаю это существо и прошу его прописать на моей площади.

Произошла тяжелая сцена. Она ничего не добавила к тому, что нам уже известно.

— Какие же еще доказательства вам нужны? — надрывался доктор.— Ну, я очень ее люблю. Честное слово, не могу без нее жить. И могу ее поцеловать, если хотите.

Молодые люди, не отводя льстивых взоров от делопроизводителя, поцеловались дрожащими губами. В милиции стало тихо. Делопроизводитель застенчиво отвернулся и сказал:

— А может, у вас фиктивный брак? Просто гражданка хочет устроиться в Москве.

— А может быть, не фиктивный? — застонал «счастливый» муж.— Об этом вы подумали? Вот вы за разбитое стекло берете штраф, а мне кого штрафовать за разбитую жизнь?

В общем, доктор взял высокую ноту и держал ее до тех пор, пока не выяснилось, что счастье еще возможно, что есть выход. Достаточно поехать к месту жительства любимой, снова в Одессу, всего только за тысячу четыреста двенадцать километров, и все образуется. С московским паспортом одесский загс зарегистрирует докторские порывы, и преступная любовь приобретет наконец узаконенные очертания.

Ну что ж, любовь всегда требует жертв. Пришлось пойти на жертвы — занимать деньги на билеты и выпрашивать дополнительный отпуск для устройства семейных дел.

Но доктор еще не знал самого страшного — не знал, что костяная нога сидит не только в загсе, что костяные ноги уже подстерегают его на вокзале.

Здесь опускается шестнадцать страниц драматического описания того, как молодые супруги опоздали на поезд. Что тут, собственно, описывать? Всем известно, что нет ничего легче в Москве, как опоздать куда-нибудь.

Посадив свою горемычную Люсю на чемодан, доктор побежал компостировать билеты. Эта авантюра ему не удалась. НКПС бдительно охранял железнодорожные интересы и отменил компостирование билетов.

— Что же теперь будет? — ахнул доктор.

— Ваши билеты пропали,— сообщила костяная нога.— Такое правило. Раз опоздали на поезд, значит, пропало.

— Что ж, мы нарочно опоздали?

— А кто вас знает? Это не наше дело, нарочно или не нарочно.

— Но ведь всегда компостировали, со дня основания железных дорог.

— А теперь другое правило, гражданин.

— Наконец, у меня нет больше денег. Теперь я не могу поехать.

Костяная нога корректно промолчала.

И человек, который злостно мешал спокойной работе ряда почтенных учреждений, шатаясь, побрел назад и, усевшись рядом со своей Люсей, тяжело задумался. Он перебрал в памяти все свои поступки.

«Ну, что я сделал плохого? Ну, поехал в отпуск, ну, встретил хорошую девушку, ну, полюбил ее всей душой, ну, меня всей душой полюбили, ну, хотел жениться. И, понимаете, не выходит. Правила мешают».

Если создается правило, от которого жизнь советских людей делается неудобной, правило бессмысленное, которое выглядит нужным и важным только на канцелярском столе, рядом с чернильницей, а не с живыми людьми, можно не сомневаться в том, что его создала костяная нога, человек, представляющий себе жизнь в одном измерении, не знающий глубины ее, объема.

Если за учрежденским барьером сидит человек, выполняющий глупое, вредное правило, и если он, зная об этом, оправдывается тем, что он — человек маленький, то и он костяная нога. У нас нет маленьких людей и не может быть их. Если он видит, что правило ведет к неудобствам и огорчениям, он первый должен поставить вопрос о том, чтобы правило это было отменено, пересмотрено, улучшено.

А доктор? Куда девался милый, честный доктор? Кто его знает! Бегает, наверно, с какими-нибудь справками к костяной ноге, чтобы оформить свою затянув-

шуюся свадьбу. А возможно, и не бегает уже, утомился и махнул на все рукой. Любовь тоже не бесконечна. А может быть, и верная Люся бежала с каким-нибудь уполномоченным по закупкам в Сызрань или Актюбинск, где легче сочетаться браком.

Во всяком случае, ошибка была сделана доктором с самого начала.

Прежде чем прошептать милой: «Я вас люблю»,— надо было решительно и сухо сказать: «Предъявите ваши документы, гражданка».

1934

ДУХ НАЖИВЫ

Разумеется, роман Жюля Верна о полете вокруг луны — штука более интересная, чем статья об отдельных неполадках, как говорится, изредка имеющих место в некоторых звеньях товаропроводящей сети. И читать его, конечно, очень приятно. Но ничего не поделаешь. Некоторые звенья кооперации, к сожалению, находятся не на луне, а на земле. И время от времени нужно вскрывать их недочеты и в художественной форме давать отдельным негодяям по рукам.

Существует, разумеется, положительный тип кооператора и снабженца. И он, несомненно, найдет свое отражение в современной литературе. Ну, может быть, к пятнадцатому августа, к съезду писателей, отразить не успеют, но, безусловно, отразят уже в скором времени, скажем, к следующему съезду. И об этом беспокоиться не надо.

А вот что касается отрицательного типа кооператора, то тут ждать решительно невозможно. Если его не отобразить сию же минуту, то он все украдет, и нам с вами, дорогие читатели и пайщики, нечего будет покупать.

До последнего времени утехой кооперативных шакалов были усушка и утруска. За усушкой и утруской, конечно, следовали встряска и взбучка. Но все-таки это было выгодно. Взбучка бывала маленькая, а утруска большая. Шакалы наловчились и крали, в общем,

незаметно. Сейчас пошли новые веяния. Стали воровать открыто и нагло.

К усушке и утруске прибавились обвешивание, обмеривание и обсчитывание.

За прилавком идет бойкая работа — подпиливаются гири, укорачиваются метры, самовольно повышаются цены. Это уж не магазин, а комната чудес.

Стремительно качаются чашки весов, летает метр, коротенький, как аршин, и продавец опытной рукой изо всех сил растягивает ткань (прием, если вдуматься, довольно простой). В толкотне и шуме ничего нельзя понять. И только придя домой, покупатель замечает, что его обокрали.

Это стало обычным.

В рабочих районах Харькова кило хлеба весит меньше, чем кило. И намного меньше. Хотелось бы, чтобы этот удивительный факт заинтересовал не только Палату мер и весов, но и другие учреждения, любящие точность.

В распределителях Электромеханического завода № 57 и № 32 постоянно недовешивают от 10 до 40 граммов хлеба.

Такая же воровская норма существует и в магазине № 54 ОРС Южных железных дорог.

В киоске Хаторга № 530 продавщица Резцова установила 30 июня новый всесоюзный рекорд обвеса — недодала покупателю Овчаренко 50 граммов хлеба, Смолину — 100 граммов и Пелехатному — 230 граммов.

Бедный Пелехатный! Подошел человек к киоску и вдруг подвергся ограблению.

Этот случай не мог остаться незамеченным. Ударники «Правды» отправились к заведующему Хаторгом Безземельному с просьбой разрешить им проверить весы. Казалось бы, в этом не было ничего обидного ни для города Харькова в целом, ни для самого Безземельного персонально.

Но главнокомандующий Хаторгом оказался чрезвычайно щекотливым в вопросах чести. Он поступил, как молодая девушка, которой неожиданно сделали грязное предложение. Он разгневался и прогнал удар-



ников. Хорошо еще, что он не кинул им вдогонку гири. Правда, гири в Хаторге подпиленные, но даже и в этом виде они представляют собой грозное орудие обороны.

Под защитой столь вспыльчивых и благородных начальников происходит массовый обман покупателей. В большинстве харьковских магазинов продукты взвешиваются гирями клеймения 1930 года, облегченными на каждое кило по десять и пятнадцать граммов.

Так и живут. Не ходить же в магазин со своими гирями.

За кооперативными карманниками и домушниками из госторговли сплоченной группой движутся спекулянты. И это не какие-нибудь лишенцы, жалкие остатки некогда великих частников. Тут дело серьезнее. Спекуляцией занимаются руководители учреждений, бодрые члены профсоюза, иногда члены партии.

Это люди, совершенно потерявшие советское достоинство. Дух наживы овладел ими.

ЗРК завода в Одессе продает горох из своего же пригородного хозяйства своим же рабочим гораздо дороже, чем он стоит на рынке. Путем своих темных коммерческих приемов ЗРК накопил около пятнадцати тысяч рублей прибыли. Никому из этих людей даже и в голову не пришло, что их поставили для улучшения рабочего быта, а не для извлечения ростовщических прибылей.

Есть в Одессе прекрасное по замыслу учреждение — Горпотребсоюз. Еще рочдельские пионеры, основоположники кооперации, мечтали о таких потребсоюзах.

У заведующего производством этого прекрасного, повторяем, учреждения Канторовича было два сорта камсы: маринованная — по четыре рубля, и соленая — по два рубля двадцать копеек.

И Канторович сделал то, от чего рочдельские пионеры до сих пор, наверно, переворачиваются в своих прочных дубовых гробах,— облил соленую камсу уксусом и продал ее по цене камсы маринованной. Находчивость, которой позавидовали бы старые одесские спекулянты, известные миру крайней неразборчивостью своих торговых операций.

Дело Канторовича секретарь горкома партии т. Бричкин снял с повестки бюро и передал прокурору, не задумавшись ни на минуту о его принципиальном значении. Этим и ограничилось руководство горкома политикой цен. Что же касается прокурора, то он под всевозможными предлогами затягивает расследование чуда с камсой.

Но Канторович, в общем, дитя и легкомысленный мотылек в сравнении со своими магнитогорскими собратьями по профессии.

Тут масштабы, горизонты, размах.

Трест Нарпит получил восемьсот шестьдесят восемь тысяч рублей чистой прибыли.

Прибыль огромная, но, к несчастью, не такая чистая, как это кажется директору треста Пастухову и начальнику сектора заготовок Левину.

Она сложилась из ежедневного систематического обворовывания потребителя на харьковский и одесский манер, но в магнитогорском размере.

Этот почти миллионный доход получился, несмотря на огромную бесхозяйственность, несмотря на то что множество продуктов попросту сгнило в нарпитовских складах.

В газетах следовало бы возобновить давно забытый «Отдел происшествий». Какие содержательные заметки можно было бы там помещать! Какие заголовки появлялись бы в этом отделе!

«Поимка шайки кооператоров-рецидивистов».

«Под ножом главного бухгалтера».

«Засада в ЗРК».

«Налет заведующего столовой с бандой официантов на обедающих».

Тогда по крайней мере все будет ясно.

1934

У САМОВАРА

За буфетной перегородкой сочинского вокзала, в двух шагах от паровоза, с утра до ночи играет оркестр. Это художественный ансамбль под управлением специально приглашенного маэстро.

Играются главным образом легкомысленные мотивчики, например: «У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно».

Делается это, очевидно, не столько для услаждения слуха курортно-больных, сколько для того, чтобы заглушить крики пассажиров, пострадавших от некоторых недочетов железнодорожного транспорта.

Значит, картинка такая: перрон, солнце и поезд, готовый отправиться в дальний путь. Морской ветер шумит в привокзальной роще.

Мимо цветочных клумб, мимо художественного ансамбля пассажир идет к своему вагону. Он растерянно улыбается. Давно ли на железной дороге к пассажиру относились с отвращением, старались его не замечать, а теперь вдруг такой прогресс.

Пассажир показывает проводнику свой билет, и вслед за этим выясняется, что указанное на билете место издавна принадлежит начальнику поезда и что городская станция не имела права его продавать.

Пассажир начинает горячиться. Проводник сохраняет самообладание.

Но как же все-таки попасть в поезд?

Проводник этого не знает. Он говорит, что это не его дело. Его дело — сажать пассажиров с правильными билетами.

Дежурный по станции сочувствует пассажиру, но в конце концов это тоже не его дело. Его дело — дежурить по станции.

С громадным трудом пассажир и восемь человек провожающих, которые ходят за ним с растопыренными для прощальных объятий руками и с вытянутыми для поцелуев губами, находят начальника поезда.

Начальник поезда оказывается обаятельным человеком. Он готов сделать все на свете. Но билеты — это не его дело. Он не может отвечать за неправильные действия городской станции.

Итак, когда бьет второй звонок, выясняется, что на вокзале нет ни одного человека, которому было бы дело до пассажира.

Поезд трогается, бедняга с исковерканным от гнева лицом остается на платформе, провожающие приводят свои губы и руки в нормальное положение, а художественный ансамбль с удесятеренной силой и в бешеном темпе исполняет «Песнь индийского гостя», переделанную в фокстрот.

В ресторане киевского вокзала тоже играет оркестр «У самовара я и моя Маша».

Под эти жизнерадостные звуки, среди пальм, заляпанных известкой, бродят грязные официанты. На столиках лежат скатерти с немногочисленными следами былой чистоты. Под сенью засохших цветов стоят мокрые стаканы с рваными краями.

Еще дальше пошли московские вокзалы.

Большие объявления в газетах извещают всех, что на вокзале до четырех часов утра играет джаз и что специальность вокзала — пельмени.

И это не наглая реклама. Все соответствует действительности. Стоят пальмы, подаются грязноватые пельмени, и несколько человек в пиджаках и украинских рубашечках, не выпуская из рук портфелей, делают пьяные попытки танцевать румбу, а оркестранты,

положив инструменты на стулья, вдруг поднимаются и постыдными голосами поют:

Маша чай мне наливает,
И взор ее так много обещает.

Ужасный запах доносится из кухни, котлетный чад плывет над перроном, и совершенно ясно становится, что кто-то ничего не понял и все напутал, что специальностью вокзала должны быть никак не пельмени под водку, а что-то другое, более железнодорожное, что в газеты надо давать не расписание вокзальных танцев, а расписание поездов. Так пассажиру будет удобнее.

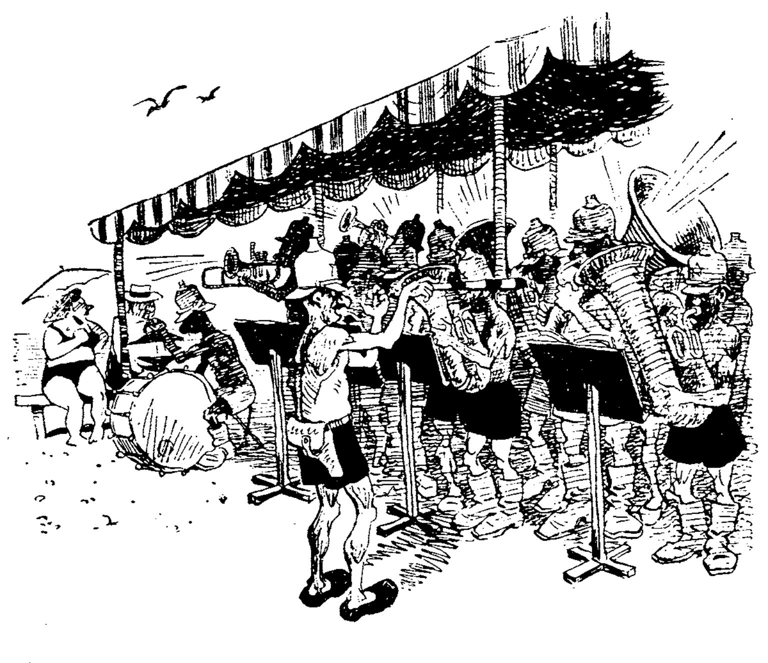
Здесь нет подстрекательства к борьбе с пельменями, пальмами и танцами.

Пельмени — прекрасное блюдо. Но на грязной скатерти есть их не хочется, они не лезут в рот. Пальма хороша на своем месте. Но что может быть безобразнее пыльных ресторанных тропиков, пальмы в растрескавшейся кадушке, возвышающейся над несъедобным железнодорожным борщом или деволяйчиком! А когда поезд опаздывает на несколько часов, тогда пальма в глазах пассажира становится чисто декоративным растением, содержащим в себе все признаки очковтирательства. Что же касается фокстрота, то тут опять-таки затруднение. Раз играет джаз, то хорошо бы уж потанцевать. Но отправиться танцевать, оставив чемоданы у столика, опасно — украдут, танцевать же с багажом в руках — тяжело. Можно взять носильщика, чтобы танцевал рядом, но это не всякому по карману.

Немало мелких хозяйственников и администраторов с упорством маньяков навязывают советскому человеку свои низкопробные вкусы, свое трактирное представление о красоте, комфорте и отдыхе.

В большом трактире всегда был орга́н, страшное музыкальное орудие подавления психики отсталых извозчичьих масс. Он день и ночь вырабатывал громовой вальс «Дунайские волны».

В «Кавказской Ривьере», лучшей курортной гостинице на Черном море, роль орга́на передана радио-



фицированному граммофону. Без перерыва гремят фокстроты. И не в том беда, что фокстроты, а в том беда, что беспрерывно. Спастись от металлического рева можно только бегством на пляж.

Следовательно, картинка такая: аэрарий, курортно-больные лежат под тентом, их обдувает прохладный ветер, они читают книги или тихо разговаривают о своих ревматизмах, о Мацесте, о том о сем.

И вот появляется голая фигура в белой милицейской каске и с медным баритоном под мышкой. За фигурой входят еще двадцать девять голых милиционеров в парусиновых тапочках. Они несут корнеты, валторны, тромбоны, флейты, геликон, тарелки и турецкий барабан.

Курортно-больные еще не понимают, что случилось, а милиция уже расставляет свои пюпитры.

— А ну-ка, похилитесь, граждане,— вежливо говорит дирижер.

— Что вы тут будете делать? — с испугом спрашивают больные.

Вместо ответа дирижер кричит своей команде: «Три, четыре»,— взмахивает рукой, и мощные, торжественные звуки «У самовара я и моя Маша» разносятся над многострадальным побережьем.

Три раза в неделю усиленный оркестр сочинской милиции дает дневные концерты, чтобы купающиеся, часом, не заскучали. А так как играть на пляже жарко, то музыканты устремляются в аэрарий. И больные, тяжело дыша, убираются вон из своего последнего пристанища. Вслед им бьет барабан, и слышится каннибальский звон тарелок.

На какие только затеи не идут хозяйственники, желающие лишь отвертеться от все повышающихся требований потребителя, читателя, покупателя, зрителя, пассажира!

Кто-то от кого-то узнал, что где-то на свете есть голубые экспрессы, которые славятся быстротой, удобством и блеском.

Завели свой голубой экспресс на линии Киев — Москва.

Слов нет, он очень голубой. Все вагоны, даже багажный, добросовестно выкрашены красивой голубой краской.

На этом сходство кончается.

Прежде всего он не экспресс: восемьсот километров делает в двадцать часов. Затем, его мягкие вагоны отделаны хуже, чем такие же вагоны в обыкновенных поездах. Затем, его вагон-ресторан грязен и кормят там плохо. Зато в купе на столиках стоят громоздкие горшки со скучными цветами, и на окнах болтаются жесткие репсовые занавески. Поставили бы еще пальмы, но не хватило места.

Хорошо хоть, что нет джаза, что не слышно треска флексатона. У нас очень полюбили джаз, полюбили какой-то запоздалой, нервной любовью.

Вообще стало обычаем заменять кабацкими пальмами и музыкой умелое и быстрое обслуживание потребителя.

Ими заменяется все: и чистота, и комфорт, и вежливость, и вкусные блюда, и хороший ассортимент товаров, и отдых. Это считается универсальным средством.

Иногда к цветам и скрипкам добавляется еще швейцар с бородой, как у Александра Третьего. Это тоже считается красиво. Как бы сказать, вечная, нетленная красота, вроде афинского Акрополя или римского Форума. Борода стоит у ворот отеля, а во всех номерах уже второй год не работают звонки.

Легче подсунуть человеку под нос вазончик с фуксиями, чем аккуратно, вовремя и бесшумно подать ему на горячих тарелках вкусный обед.

Легче оглушить человека воровскими песенками, переложенными для фокстрота, чем добиться подлинной, сверкающей чистоты на вокзале и настоящего удобства в поезде.

И происходит это не от бедности, а от глупости. И еще — от нежелания заниматься своим прямым делом.

1934

ЧЕРНОЕ МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ

Его обычно тусклые глаза заблестели.

(Фраза из какого-то романа)

Иван Александрович Паник находился в мрачной задумчивости.

Товарищ Паник — директор советского нефтеналивного флота, и, естественно, мысли его носили более возвышенный характер, чем мысли рядовых граждан города Туапсе.

Итак, Иван Александрович размышлял.

«Работать по-новому! Мало того, по-новому руководить! Легко говорится, а как это сделать! Кажется, и так операции пароходства идут замечательно. Надо прямо и открыто сказать, что дело Совтанкера в верных руках. План неуклонно, с подлинной непримиримостью, выполняется на все восемьдесят процентов. Установочка правильная. Порядочек полный. Руководство осуществляю я лично,— значит, и с этой стороны все обстоит прекрасно. Что же все-таки еще сделать? Может быть, послать приветствие съезду писателей? Кажется, послали. Озеленить мой кабинет? Озеленили. А может быть, высечь море? Уже высекли. Ксеркс высек. Так сказать, перехватил инициативу. Смотрите пожалуйста, царь, а догадался. Что же делать?»

Положение было безвыходное.

Иван Александрович нервно подписывал бумажки и смотрел в окно. Из порта медленно выходил длинный черный танкер.

— Плавают,— с неудовольствием сказал Паник.— Хорошо капитанам. Борются себе с морской стихией и горя не знают. А ты сиди в закрытом помещении и руководи. И не просто руководи, а по-новому руководи. Это кто выходит на рейд? Какой пароход?

— «Грознефть», Иван Александрович.

— «Грознефть»,— повторил Паник.— Разве это название — «Грознефть»? Это просто невозможное название, какое-то мрачное, длинное. Трудно даже выговорить — «Грознефть»! Нет, этого так оставить нельзя.

Иван Александрович вышел из-за стола. И тут наступил момент, который надолго останется в истории советского нефтеналивного флота,— глаза И. А. Паника заблестели.

— Дайте-ка сюда списки,— сказал Паник.

— Капитанов?

— Нет, пароходов. Ну, ну, посмотрим. Ой, какие ужасные названия! «Союз металлистов», «Союз горняков», «Эмбанефть», «Советская нефть»... Нет, товарищи, надо работать по-новому. Это никуда не годится. Все к черту переименовать! Пишите: «Грознефть» переименовать в «Грозный». Короче и красивей.

— У нас «Грозный» уже есть.

— Ах, есть? Тем лучше. Тогда «Грозный» мы тоже переименуем. Пишите: «Грознефть» в «Грозный», а «Грозный» — тоже в какой-нибудь город. Например, в «Ялту». Записали? Пойдем дальше. Что у нас там?

— «Нефтесиндикат».

— «Нефтесиндикат»? — закричал Паник.— А вот мы его сейчас кэк трахнем! Тут нужно что-то светлое, лазурное, бодрое, жизнерадостное, куда-то зовущее. Ну, ну, думайте.

— Прекрасное название «Иван Паник»,— застенчиво прошептал секретарь.— Чудное, лазурное, жизнера...

— Но, но, без подхалимства. А назовем мы его вот как: «Ше-бол-даев». Секретарь обкома, знаете? И на-

звание красивое, и работаем по-новому, и никакого подхалимства. Ну-с, двинулись дальше.

— Дальше идет «Советская нефть».

— Фу, какое длинное и нудное название. Сколько букв в этом названии?

— Четырнадцать.

— Ай-яй-яй! Давайте название покороче.

— «Новосибирск».

— Вы с ума сошли!

— «Полтава».

— Короче!

— Еще короче? Тогда «Минск». Короче не бывает.

— «Минск»? Сейчас посчитаем. Эм, и, эн, эс, ка. Пять букв. Не годится. Надо уложиться в четыре.

Персонал беззвучно зашевелил губами.

— «Баку»!

— Замечательно. Значит, «Советскую нефть» в — «Баку».

— А «Баку»?

— Что «Баку»?

— У нас давно уже есть пароходик «Баку». Такой, знаете, маленький, черненький.

— Ага! Ну это не страшно. «Баку» переименовать в «Лок-Батан», а «Союз металлистов» в...

Заперли двери, посетителям сказали, что Паник занят срочной, сверхурочной, ударной, оперативной работой, и продолжали трудиться.

Через три дня дело было сделано,— весь нефтеналивной флот был переименован. Паник повеселел. Теперь никому в голову не пришло бы сказать, что Иван Александрович работал и руководил по-старому. Все было новое.

Сказанного здесь совершенно достаточно, чтобы составить себе точное представление о бурной деятельности туапсинского директора. Однако главное еще только будет сообщено.

Прошлым летом пароход «Советская нефть», делая заграничный рейс, подошел к Суэцу. Тут ему пришлось ждать своей очереди для прохода канала. Существует международное правило, по которому гру-

зовые суда должны уступать очередь пассажирским. А впереди «Советской нефти» находился громадный пассажирский пароход под французским флагом.

Внезапно на «Советскую нефть» с лоцманской станции передали приглашение от капитана французского парохода пройти вперед. «Советскую нефть», спасшую команду и пассажиров с горящего в Индийском океане «Жоржа Филиппара», узнали. И когда советский танкер проходил мимо француза, команда приветствовала его криками: «Да здравствует «Советская нефть»! Да здравствует Советский Союз!»

Такие случаи не часто происходят в море. И немного есть пароходов, названия которых вызывали бы такие чувства у моряков всего мира. Таким образом, «Советская нефть» — это не просто название, состоящее из четырнадцати букв. Оно заключает в себе нечто большее. Это символ мужества наших моряков. И чтобы не понять этого, надо совсем одичать в своем кабинете, не к ночи будь сказано об Иване Александровиче Панике.

Когда маляры вылезли на корму и стали закрашивать историческое название танкера, моряки взволновались. Они протестовали, жаловались, писали заявления, личные и коллективные, но это не помогло. Море было высечено.

И «Советская нефть» стала называться «Баку».

Это вызывало удивление не только среди советских моряков.

Когда новоиспеченное «Баку» прибыло в один из шведских портов, начальник этого порта долго вглядывался в знаменитые очертания танкера и ничего не мог понять. С виду «Советская нефть», а называется «Баку».

Он прибыл на пароход с визитом и все допытывался, почему пароход переименован.

— Разве это постыдное название — «Советская нефть»? — спрашивал швед.

Моряки отмалчивались. Объяснять начальнику порта, что у нас наряду с достижениями имеется и Паник, было скучно и противно.

Мы точно знаем, что случилось бы с Отто Юльевичем Шмидтом, если бы он попал под начальство Паника.

Иван Александрович сделал бы так:

Шмидта переименовал бы в Сидорова, а Отто Юльевича превратил бы в Юрия Осиповича. А чтоб никто и никак уж не догадался, что перед ним стоит легендарный человек, то Иван Александрович еще сбрил бы Отто Юльевичу и бороду.

Так оно вернее.

Вот какие истории происходят на Черном море.

И ведь главное — все эти переименования ничем не вызваны, никому не были нужны, решительно не имели смысла.

А может, имели смысл? Может быть, Паник не такой уже наивный человек, как это кажется?

Например, пароход «Союз металлистов» был переименован в «Николай Янсон». Замнаркомвод.

Но не стоит сплетничать. Могут подумать, что вся сложная работа Паника по переименованиям танкеров была сделана только для этого легкого подхалимажа. Не будем сплетничать.

1934

ДНЕВНАЯ ГОСТИНИЦА

Есть важное и неотложное дело.

Не существенно, как оно будет рассматриваться. В порядке ли обсуждения, в порядке предложения, в порядке постановки вопроса, в дискуссионном ли, наконец, порядке. Это безразлично. Можно сделать как угодно: можно предложение в порядке обсуждения, а можно и обсуждение в порядке предложения. Важно в порядке постановки вопроса добиться какого-нибудь ответа.

Речь идет о чистоте.

— Опоздали,— скажут соответствующие люди, приставленные к этому животрепещущему вопросу.— По линии чистоты уже обнаружены сдвиги, расставлены вехи, проведены в жизнь великие мероприятия, каковыми являются всероссийская конференция дворников или, например, принудительная санобработка, введенная в красивейших южных городах нашего Союза.

Конференция действительно была. Действительно, в несметном количестве собрались дворники, стоял стол, покрытый сукном, и графин с водой, и колокольчик, и произносились речи, и были прения, и приезжал из Самары какой-то знаменитый дворник и показывал всем прочим дворникам, как надо подметать улицы. И играл оркестр, и какие-то газеты помещали по этому поводу ликующие заметки.

Ну разве это не чепуха, товарищи?

Для того чтобы подметать улицы, нужны только две вещи — метла и желание работать. А поездки, протоколы и речи — все это лишь парадная трескотня и развязное втирание очков. Деньги же, истраченные на конференции и слеты, полезнее было бы употребить на покупку машин для мытья и очистки улиц.

О санобработке уже писали.

Человека, приехавшего, например, в Харьков, не пускают в гостиницу, покуда он не предъявит удостоверения в том, что обработке подвергся.

А подвергаться не хочется. Уж очень эти места для обработки какие-то неаппетитные, грязноватые, неудобные. Туда приезжие стараются не ходить, нанимают подставных людей. Уже образовалась новая профессия. За пять рублей подставное лицо, кряхтя и отплевываясь, проходит вместо вас санобработку, тоскливо размазывает тепленькой водичкой грязь по своему лиловому телу. Это очень вредная профессия. Людям, которые ею занимаются, следовало бы, кроме денег, давать еще спецмолоко и хоть изредка водить в баню.

Что все это значит?

Тут нужно точное определение.

И болтливая конференция работников метлы, и принудительная скребница для приезжающих — это лишь частные случаи одного печального и довольно распространенного явления: «высокой принципиальности» без признаков какого-либо дела.

Вот схема, при помощи которой любой лентяй избавляется от прямых своих обязанностей, сохраняя в то же время репутацию блестящего организатора и так называемого крепкого парня.

Задание, например, следующее:

— Подметайте улицы.

Вместо того чтобы сейчас же выполнить этот приказ, крепкий парень поднимает вокруг него бешеную суету. Он выбрасывает лозунг:

— Пора начать борьбу за подметание улиц.

Борьба ведется, но улицы не подметаются.

Следующий лозунг уводит дело еще дальше.

— Включимся в кампанию по организации борьбы за подметание улиц.

Время идет, крепкий парень не дремлет, и на неподметенных улицах вывешиваются новые заповеди.

— Все на выполнение плана по организации кампании борьбы за подметание.

И, наконец, на последнем этапе первоначальная задача совершенно уже исчезает и остается одно только запальчивое, визгливое лопотанье.

— Позор срывщикам кампании за борьбу по выполнению плана организации кампании борьбы.

Все ясно. Дело не сделано. Однако видимость отчаянной деятельности сохранена. А крепкий парень уезжает в Ялту чинить расшатавшийся организм.

Итак, есть предложение.

Это, конечно, не всеобъемлющий план, при помощи которого можно одним ударом покончить с доставшейся нам по наследству грязью, но предложение весьма существенное.

Хотите ли вы, чтобы было так:

Московский житель идет по улице. А может быть, по улице идет и не московский житель, идет человек, приехавший в Москву на один день.

Он утомлен, небрит и грязноват. Его помятый костюм обвис и потерял форму, а ботинки покрыты пылью. В руках у него тяжелый пакет или чемодан.

Он мрачен, потому что знает безвыходность своего положения. Чтобы привести себя в порядок, надо проявить громадную энергию и потерять много времени. Сначала к парикмахеру. Потом куда-то на другой конец города — в баню. Потом еще одна отдельная операция — чистка ботинок. А выгладить костюм вообще невозможно. Это — многолетняя, несбыточная греза холостяка, или путешественника, или просто очень занятого человека.

Так идет он по улице, грустно размышляя о неустроенности своей жизни, и вдруг видит на Трубной площади, или на Свердловской, или на площади Смоленского рынка нечто похожее на вход в метро.

Чистая гранитная лестница ведет вниз. Над ней вывеска: «Дневная гостиница».

Московский житель спускается по ступенькам и попадает в вестибюль, стены которого выложены молочными сияющими кафелями. За конторкой сидит кассирша в накрахмаленном белом халате. Под потолком горят сильные голубоватые лампы. Здесь хирургическая чистота и ощущается ровное, приятное тепло.

Рядом с конторкой кассирши висит прейскурант под стеклянной доской. Прочитав прейскурант, посетитель счастливо улыбается.

Выбрав несколько нужных ему процедур, он платит, получает билетики и входит в коридор. Та же чистота, сияние и даже, черт побери, пахнет одеколоном, хотя на дверях с правой стороны коридора отчетливо изображено по два нуля.

Посетитель отдает свои билетики белоснежной служительнице, и она открывает ему двери чудного мира. Это — мир горячей воды, губок, теплых мохнатых простынь, бритв, утюгов, одним словом, мир санитарии и гигиены.

Сперва клиента отводят в ванную комнату. Из толстых кранов с шумом бежит вода. Полотенца, простыни и мягкий купальный халат греются на специальной грелке. Клиент складывает свой костюм и ботинки в выдвижной ящик, который сейчас же исчезает в стене.

После этого он купается. Не будем описывать, как происходит этот столь необходимый человеку процесс. Немножко фантазии — и читатель сам живо представит себе, насколько это хорошо и полезно.

Затем клиента ведут в парикмахерскую. Покуда его стригут и бреют, он беспокоится о своем костюме. Уж как-то слишком загадочно он исчез в стене. Не украли ли его?

Нет, не украли. За время, проведенное клиентом в ванной и парикмахерской, костюм вычистили и выгладили. Даже пришили, черти, пуговицу, которая уже две недели висела на честном слове.

А ботинки? Ботинки почистили. И, представьте себе, даже не замазали кремом шнурков. И шляпу почистили. Ничего не забыли.

Если все эти процедуры утомили клиента, он от-

правляется в особую комнату, где можно отдохнуть в пружинных креслах и посмотреть свежие газеты и журналы.

Но к чему отдыхать? Сейчас московский житель или приезжий путешественник полон бодрости и сил. Теперь можно, не заходя домой, пойти в театр или в Третьяковскую галерею, или сделать предложение девушке (за такого чистенького всякая пойдет!), или двинуться на деловое собрание. В таком виде нигде не стыдно показаться. И такой вид можно приобрести быстро, на любой площади города и в любое время. «Дневная гостиница» открыта с семи часов утра до полуночи без перерыва на обед и без переучета губок и унитазов.

Идея «дневных гостиниц» не нова. Однако в Европе их нигде нет, кроме Италии. Там это дело поставлено совсем не плохо, но мы сможем и должны сделать свои дневные гостиницы еще лучше итальянских. И в наших бурно растущих городах, где осталось множество старых, плохо оборудованных, лишенных удобств домов, дневные гостиницы, если по-настоящему взяться за это дело, могут сыграть огромную культурную роль.

Они должны появиться везде: под площадями крупных городов и на больших предприятиях. И это должны быть первоклассные заведения по чистоте, порядку и удобству обслуживания. Только при таких условиях им не будет грозить опасность превратиться в санобработочные пункты, которых все справедливо избегают.

Все это совершенно реально и может быть достигнуто в ближайшее время. Была бы охота.

Тут, конечно, нужна организация всесоюзного масштаба. Это может быть, скажем, трест под названием «Дневная гостиница». Мы не знаем, в системе какого наркомата должен находиться этот трест,— в системе ли Наркомздрава или Наркомхоза. Возможно, тут понадобятся усилия обоих наркоматов. Но мы знаем, что советский человек хочет быть ослепительно чистым и что наше правительство всеми силами своими старается ему в этом помочь.

Еще одно соображение. Это уже на тот случай,

если наша скромная идея встретит сочувствие и дневные гостиницы будут строиться.

Уже рассказано, что должно быть в этих гостиницах. Но есть не менее важное, чего там быть не должно.

Там не должна играть музыка.

Там не нужно открывать отделения сберкассы.

Не надо продавать театральных билетов.

Киоска с кустарными игрушками тоже не надо.

В помещении не должно громко кричать радио, рекламируя новое начинание.

Не надо цветов, малахитовых колонн и барельефов, изображающих процессы купанья. Главное место должен занимать самый процесс купанья, и этому должно быть подчинено все.

Ничего лишнего, ничего постороннего, никакого увода от прямого дела. Мраморный пол, гладкие кафельные стены, горячая вода, острая бритва в умелых руках, гигроскопически чистое белье, внимательное отношение и точность работы.

Было бы ужасно, если б в вечерней газете появилось объявление:

ОТКРЫТА ДНЕВНАЯ ГОСТИНИЦА
«ЛЕРМОНТОВ»

С 7 часов утра и до 3 часов ночи
играет джаз.
Танцы в халатах.
Выступление поэтов.

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НА СКАКОВОЕ ДЕРБИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
и
ПОДАЧА ХОЛОДНОГО ПИВА

Это была бы только новая иллюстрация к схеме, при помощи которой люди отлынивают от порученной им работы.

1934

БЕЗМЯТЕЖНАЯ ТУМБА

Заметили ли вы странную черту, особенность, часто наблюдаемую в отношениях между людьми, нуждающимися в обслуживании, и некоторыми мрачными субъектами, их обслуживающими?

Человеку надо, скажем, записаться на прием в амбулаторию. Он — в одном конце города, а амбулатория — в другом. Человек звонит по телефону. Ему с раздражением отвечают, что по телефону запись не производится. Надо явиться лично. Почему лично? Потому что... и все. Вешается трубка.

И вот человек тащится через весь город для того лишь, чтобы назвать свою фамилию, узнать день приема и тотчас же уйти. А телефон, великое изобретение XIX века, специально созданное для облегчения человеческой жизни, остается неиспользованным, неосвоенным.

Странное и удивительное явление!

Как часто можно натолкнуться на служебное лицо, которое стилем своей работы избрало придирчивость и лишенную смысла строгость!

Вот что произошло несколько дней назад.

Одной женщине сделали аборт. Когда она вернулась домой, ей вдруг стало плохо, началось сильное кровотечение. Это был очень опасный случай, требующий немедленной операции. Женщину повезли в больницу.

Здесь, вместо того чтобы сию же минуту передать больную хирургам, ее посадили в приемную и заставили ждать очереди не к операционному столу, а к канцелярскому, где заполняются опросные листки. Напрасно говорили дежурному, что больная истекает кровью, что анкету можно заполнить потом, что не в учетных деталях сейчас дело.

Это не помогло.

Дежурный поступил по всей форме, запись производил в порядке живой очереди, нисколько не помышляя о том, что последнее звено этой живой очереди находится в полуживом состоянии. Когда пришел черед несчастной женщины, то и тут из правила не сделали исключения: проверялись документы, заполнялись пункты — возраст, образование, национальность (очень важна в такой момент национальность, особенно в Союзе Советских Социалистических Республик!).

Когда женщину повели наконец в хирургическую, вся скамья, на которой она сидела, и пол под ней были залиты кровью. Хорошо сделано?

Итак, когда пришлось выбирать между человеком и формой, выбрали форму, опошлили ее и извратили ее смысл. Да и как, в самом деле, экстренно оперировать женщину, когда не знаешь, где она служит: в тресте ли, в синдикате ли, да сколько у нее родственников и сколько каждому из них лет и к какому полу они имеют честь принадлежать.

И если можно оправдать эту болезненную любознательность в отношении человека с невинным нарывом на пальце, то совсем уж нельзя понять, как мог дежурный заставить женщину, жизнь которой находится в опасности, принять участие в его статистических упражнениях.

Кто воспитал эту безмятежную тумбу? Как могли привиться в лечебном учреждении хладнокровные навыки, имеющие смысл разве только при допросе в уголовном розыске? В больничных правилах внутреннего распорядка, помимо всего, что написано, подразумевается еще и самое важное — сердечное отношение к людям. В этом стержень всякого по-советски усвоенного правила!

Чтобы покончить с областью медицины, надо сказать несколько холодноватых слов о родильных домах.

Охотно верится тому, что в этих домах безукоризненно чисто, что трудолюбивые уборщицы хлопотливо гоняются там за каждой пылинкой, что там работают врачи-виртуозы, что неумелым практикантам не дают принимать новорожденных без надзора, что белье там ослепительной белизны, что роженицы получают вкусную, здоровую еду и совершенно нет никакой надобности приносить пищу из дому, что сам наркомздрав объезжает иногда родильные дома и лично интересуется всеми тонкостями этого дела.

Но вот есть претензия.

В приемных родовспомогательных заведений толпятся счастливые отцы. Лица у них бледны и перекошены. Возбужденные и растерянные, они кидаются на каждого человека в белом халате. Эти чудаки хотят узнать, как чувствует себя любимая жена, принял ли грудь новорожденный, не грозит ли обоим какая-нибудь опасность.

Но человек в белом халате часто ничего не сообщает. Близкие находятся в полном неведении и, уж конечно, не получают свиданий. Дело поставлено оскорбительно сухо. Никаких этих душевных штучек-мучек! К молодому отцу относятся с суровой безразличностью, словно он не муж. Если что-нибудь случится с роженицей, тогда сообщим, а раз не сообщаем, значит, все в порядке.

Как это непонятно, неверно, обидно!

Произошло громадное событие, родился ребенок. И отец этого ребенка — не статистическая единица, а живой человек, не лишенный чувств. Пусть его вопросы кажутся смешными и докучливыми, но на них надо ответить. Ведь он растревожен до крайности, чуть ли не сам болен. Его надо успокоить, рассказать ему, объяснить.

Так ли уж трудно выжать из себя обыкновенную человеческую фразу:

— Ну, товарищ, все в порядке. Жена вам кланяется и чувствует себя отлично. Температура тридцать шесть и восемь. Роды? Нет, были не тяже-

лые, так, средние. Но вот мальчишка у вас получился первоклассный, любительский. Ест с большим аппетитом.

Ручаемся, что нежная улыбка появится на зеленом лице родителя. И если в эту минуту еще ободрительно похлопать его по плечу, то он выскочит из приемной, обезумевший от радости, и с пеной на губах будет убеждать своих знакомых, что нигде в мире нет таких гениальных акушеров, как в районном родильном доме № 68, в Кривособачьем переулке.

Так легко, так просто! Немножко души, той самой души, которая, как известно, является понятием бессодержательным и ненаучным. Что ж делать, ненаучно, но полезно.

Вы, конечно, заметили, что если служебная тумба, пользуясь своим положением, может вам причинить неудобство или неприятность, то сделает это почти всегда. И неизвестно почему, так как интересы дела, ему порученного, требуют обратного тому: чтобы он был мил, любезен и даже ласков.

Построили большой новый дом. Его строили долго, тщательно, ввели самые современные удобства в квартирах, не забыли о внешней красоте, снабдили фасад достаточным количеством колонн и барельефов. Снимки с этого дома печатались в газетах. Открывали дом с большой помпой. Действительно, дом был хорош.

Когда последний грузовик вывез со двора последний строительный мусор, в здание вошел управдом. Вошел и тотчас же заколотил грязными досками широкие стеклянные подъезды и приклеил тестом объявления, на которых ужасными лиловыми буквами было выведено: «Подъезд закрыт. Ход со двора».

Чувствовалась в начертании этих мрачных каракулей старательность идиота, пишущего, высунув толстый язык и подперев кулаком голову.

Стоило ли строить красивый вход с рубчатыми стеклами, чтобы написать на нем, что входа нет и что в квартиру надо ползти со двора? А так как двор есть двор, общественность его не видит и фотографии с



него не печатаются, то уж будет жилец несколько лет спотыкаться там о брошенное кем-то ведро от известки, проваливаться в ямы и стукаться лбом о притолоку черного хода.

Такой управдом не одинок. Заколачивание дверей становится манией. Это делают иногда и в театрах, и в универмагах, и в учреждениях, куда приходят тысячи людей, то есть именно там, где двери больше всего нужны и где догадливый архитектор старался понастроить их как можно больше.

Есть еще одно любимое занятие у людей подобного рода. Это — возведение заборов.

Когда-то еще на этом месте будет что-то строиться, а забор уже стоит, охватывая весь тротуар и сгоняя пешеходов на мостовую под колеса автомобилей.

Из любви к строительству пешеход пойдет на все неудобства. Но если за забором иногда по году ничего не строится, если еще только ведется титаническая борьба за участок между жилкооперативом баритонов и организацией глухонемых, то пешеходу становится обидно. Тем более что на его жалобы отвечают грубыми и глупыми фразами, которые стали знаменем

всех безмятежных тумб, причисляющих себя к начальству:

— Ничего, пройдешь и так!

— Раз сделано, значит, надо!

— Скажи пожалуйста, ему неудобно! Удобства стал искать!

Если приходит повестка или извещение, то каково бы ни было их содержание, хотя бы это было приглашение на диспут об архитектуре или даже на танцевальный вечер, уж будьте покойны, в конце найдется приписка: «Явка обязательна. За неявку то-то и то-то». Не очень, конечно, страшное «то-то», скажем, угроза в другой раз не пригласить на танцы, но все-таки противно читать. Слышится делопроизводительский окрик, чудятся решительно сдвинутые брови и сверкающие глаза.

Тумба проявляет строгость там, где нужна простая деловитость, сухость там, где нужна внимательность, и беспардонность там, где нужно уважение к жителю социалистической страны. Ему легче всего отнестись к обслуживаемому человеку как к лицу подозреваемому, окружить его наибольшим количеством всевозможных формальностей и свою плохую работу свалить на него. Он, мол, и недисциплинированный, он и правил не хочет исполнять, он и вообще мешает работать.

Это встречается не только в быту, это было и в искусстве.

Когда режиссер изготовлял дрянной фильм, где обсосанные двадцатью консультантами благонамеренные герои совершали взвешенные на аптекарских весах положительные поступки, где черствые, неестественные юноши скучно ликвидировали некий прорыв и бездарно достигали своего хрестоматийного счастья, а зритель на этот фильм упорно не ходил, тогда и режиссер, и его директор поднимали ужасный крик:

— Вот видите, не ходят на идеологические фильмы! А почему? Потому что зритель у нас невыдержанный, чуждый, ни черта не понимает в искусстве. Ему подавай Монти Бенкса.

История обычная — зритель брался киночиновниками под подозрение. Мы хорошие и талантливые, это он плохой, мещанский и недоросший.

А вот у «Чапаева» почему-то оказались замечательные зрители. Миллионы зрителей, вполне доросших, идеологически выдержанных, хорошо разбирающихся в искусстве, революционных в душе и советских во всех своих делах.

Это те самые люди, которые протестуют против безмятежных тумб, извращающих советские законы и традиции, против их комариных укусов, надоедливых и противных.

1934

КИПУЧАЯ ЖИЗНЬ

Журналы бывают толстые и тонкие.

Но это только в теории. На самом деле тонких уже давно нет. Они закрылись. Подписчикам обещали вернуть деньги, но не вернули. (Согласитесь, было бы просто бесхозяйственностью разбрасывать деньги направо и налево.)

Итак, остались толстые. Среди них есть более толстые и менее толстые. И чем тоньше толстый журнал, тем многочисленнее его редколлегия. В самом тонком толстом количество членов редколлегии достигает двадцати человек. Если бы этих людей собрать вместе, то получилась бы внушительная демонстрация, так сказать, боевой смотр литературных сил.

Но разве их соберешь! Их невозможно собрать. Большинство из них вообще не знает, что состоит в членах, а меньшинство к литературе никакого отношения не имеет, литературы не любит и занято на хозяйственной и профсоюзной работе. Тем не менее редколлегии разрастаются, и скоро уже вместо заседаний надо будет применять более совершенные методы собирания людей в одну кучу: «Объединенную конференцию членов редколлегии журнала «Всюду жизнь», или «Всесоюзный слет членов и кандидатов редколлегии журнала «Критик на стреме». Собираться можно в филиале Большого театра или в зале консерватории, только не в малом, а в том, который побольше, там,

где портреты розовощеких композиторов в ермолках и париках.

В чем же дело? Почему существуют редколлегии, которые ничего, собственно, не делают и, скажем откровенно, совсем не нужны трудящемуся человечеству?

Редколлегия превращается в громадное учреждение, потому что при ее составлении не желают никого обидеть. Она создается по такому же принципу, по какому составляется любой литературный президиум.

В коллегию обязательно входят:

1. Один ведущий писатель (лучше два ведущих или три; было бы, конечно, еще лучше человек семь ведущих, но столько не наберешь, нету).

2. Три ведущих критика.

3. Один неведущий критик.

4. Один завидущий критик (чтоб не обиделся).

5. Процент женщин.

6. Процент нацменов.

7. Процент братских писателей.

8. Процент оборонных писателей.

9. Процент беспартийных дарований.

10. Процент бывших рапповцев (чтоб не обиделись).

11. Представитель Оргкомитета (чтоб присматривал за бывшими рапповцами насчет групповщины).

12. Один писатель, недавно сброшенный со щита (он же тайный эмиссар бывших рапповцев, чтоб наблюдал за представителями Оргкомитета).

13. Процент детских писателей.

14. Один ведущий поэт с двумя приспешниками.

15. Один бывший внутрирапповский попутчик.

А дальше идут уже странности, сон, бред:

16. Тов. Ошейников (Стройнадзор).

17. Тов. Мизерник (Книгосбыт).

18. Тов. Клемансон (Мосоргвывод).

Все это так тонко обдумано, так внимательно учтены все литературные интересы и нюансы этих интересов, что, казалось бы, работа редколлегии должна принести грандиозные плоды. Но все ухищрения про-

падают даром. Никакие такие особенные плоды не вызревают.

Члены редколлегии и не думают собираться. Они до такой степени привыкли к этой многолетней фикции, что им и в голову не приходит принять свое назначение всерьез.

Однако, если их не включают в члены, они очень сердятся, принимают меры, хлопочут, даже плачут. Они обидчивы, как артисты летней эстрады.

И чтоб с ними не связываться, не вести лишних разговоров, их включают в различные списки. Таким образом, во всех толстых журналах существует почти одно и то же литературное начальство с небольшими вариациями: вместо одного завидущего критика иногда бывают два; иногда процент детских писателей бывает недостаточен,— например, вместо полутора процента детских включают только полпроцента (это дает возможность детским писателям поднять крик о том, что их затирают взрослые писатели в союзе с оборонными). А иногда забывают т. Клемансона (Мосоргвывод), и он попадает не в двенадцать редколлегий, а только в восемь.

И вечером бледный Клемансон (Мосоргвывод), сидя за чаем с женой, говорит хриплым голосом:

— У меня есть враги. Это штуки Мизерника.

И он долго рассказывает жене о подлостях Мизерника (Книгосбыт).

Если к этому добавить, что ответственный редактор, как правило, не является ни взрослым писателем, ни детским, ни оборонным, ни женским, что он не пишет стихов, не сочиняет критических статеек, никогда не ходит в свою редакцию, а дома снимает телефонную трубку, чтобы к нему никак нельзя было дозвониться, что он к искусству вообще относится отрицательно,— то, как говорится, во весь рост встает вопрос о том, кто же все-таки делает журнал. Журнал-то ведь выходит. Раз в четыре месяца, но выходит ведь.

Журнал делает молодой человек, начинающий технический работник.

В первый год своей деятельности он еще очень

скромен, смотрит на писателей расширенными глазами, носит ковбойку с открытой грудью и штаны с велосипедными браслетками на щиколотках. От него еще пахнет фабзавучем, и он с почтением произносит слова: гранки, боргес, рамка, шмуцтитул, колонцифра.

К началу второго года у него на шее появляется галстук из универсального базара, писатели уже угощают его папиросами, и он звонким голосом кричит в телефон:

— Возьмите Гладкова на шпоны, тысячу раз вам говорил! Никулина оставьте в загоне, не входит. Ничего! Он уехал в Кисловодск, не узнает. Да, и не забудьте вставить в список сотрудников Ошейникова и обязательно инициалы поставьте — М. И. А то он обижается.

Покуда молодой человек еще руководится чисто техническими соображениями, но на третий год деятельности ему приходится самому приглашать авторов, читать рукописи и давать ответы, потому что если это не сделает он, никто этого не сделает и журнал механически закроется. Это было бы еще полбеды. Но тогда он, молодой человек, потеряет службу. А это уже не годится.

И в то время как сброшенный со щита интриган вступает в беспринципный блок с двумя ведущими критиками и процентом женщин против завидущего критика, объединившегося с бывшим внутрирапповским попутчиком и процентом беспартийных дарований, в то время как Клемансон (Мосоргвывод), прикрываясь именами ведущих писателей, тихо добивает Мизерника (Книгосбыт) и Ошейникова (Стройнадзор),— молодой энтузиаст типографского дела принимает на себя всю полноту власти в редакции.

Теперь на нем сиреневый костюм. Молодыми зубами он грызет мундштук вишневой трубки и кричит голосом леопарда:

— Слабо! Не пойдет! Надо короче! Учитесь у Габриловича. Фигура Перловского у вас получилась неубедительной. Нам нужен социалистический реализм, а у вас поздний романтизм. Да, заходите, конечно. Только не в пятницу. В пятницу я на даче.



Как будто все.

Есть еще одно соображение, но какое-то оно слишком уж оригинальное, неожиданное,— кажется, даже неприличное:

— Не нужен ли толстому журналу редактор? Чудный взрослый редактор, такой редактор, который приходит в свой журнал утром, который уходит вечером, который работает так, как работают тысячи директоров заводов. Пусть сам читает рукописи, пусть сидит с карандашом в руках, правит, говорит с авторами об их произведениях, пусть, черт возьми, обожает литературу, пусть жить без нее не может, пусть обливается слезами радости, найдя новый талант, пусть ищет эти таланты и ко всему этому пусть будет ответственным.

В конце концов писателю не так уж много нужно.

1934

РОССИЯ-ГО

Сказать правду, русские белые — люди довольно серые. И жизнь их не бог весть как богата приключениями. В общем, живут они в Париже, как в довоенном Мелитополе. Это не так уж легко — устроиться в Париже на мелитопольский манер. Но они сумели, не поддались губительному влиянию великого города, устояли, пронесли сквозь испытания и бури все, что там полагается проносить.

Есть даже две газеты. Ну что же, в любом уездном городке тоже было по две газеты. Одна называлась, примерно, «Голос порядка» и делалась людьми, близкими к кругам жандармского управления, другая была обычно безумно левая, почти якобинская, что не мешало ей, однако, называться весьма осторожно — «Местная мысль». Это был отчаянный рупор городской общественности. Не столько, конечно, общественности, сколько владельца местного конфекциона мужского, дамского и детского платья или каких-нибудь мыловаров, объединившихся на почве беззаветной и беспринципной любви к прогрессу.

Значит, есть две газеты: «Возрождение», так сказать, «Ля Ренессанс» и «Последние новости», так сказать, «Ле дерньер нувелль».

Казалось бы, обоим этим печатным органам давно следует объединиться, назвавшись, как это ни покажется обидным нашим автодоровцам, «За рулем»,

потому что читают их преимущественно шоферы такси — эмигранты — на своих стоянках.

Но этого никогда не будет.

Газеты непримиримы. Никогда прямолинейный «Голос порядка» не опозорит себя соглашением с «Местной мыслью», мягкотелой и грязно-либеральной.

Разногласие ужасно велико. Идейные позиции подняты на неслыханную принципиальную высоту. Кипит борьба, печатаются сенсационные разоблачения. И потрясенные белые шоферы в волнении давят на парижских улицах ни в чем не повинных французских рантье.

А спор вот из-за чего.

«Последние новости» заявили, что генерал Шатилов никакой не генерал, а полковник и генеральский чин возложил на себя сам, без посторонней помощи.

«Возрождение» заволновалось. Это что же такое? Большевистская самокритика?

Нет, генерал! И не сам на себя возложил, а на него возложили. И есть документы и свидетели. Но документов «Возрождение» почему-то не предъявило и свидетелей не показало.

В дело впутался Деникин.

«Милостивый государь, господин редактор. Позвольте через посредство вашей уважаемой газеты...»

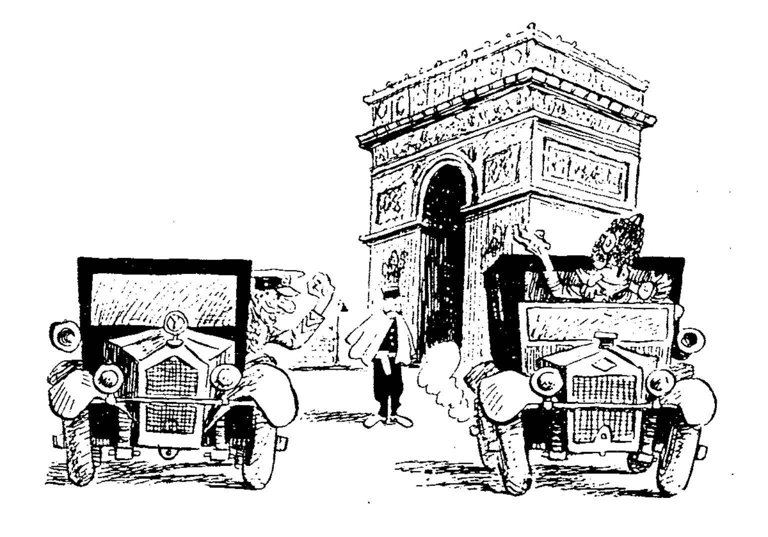
Одним словом, конечно, не генерал. Вылитый полковник.

Но «Возрождение» притащило какого-то своего бородача. Он весь был в лампасах, эполетах и ломбардных квитанциях на заложенные ордена. Глаза его светились голодным блеском.

«Милостивый государь, господин редактор. Позвольте через посре...»

Лампасы утверждали, что своими глазами видели, как Шатилова производили в генералы. И они клялись, что это было волнующее зрелище. Даже солдатики, эти серые герои, якобы плакали и якобы говорили, что за таким генералом пойдут куда угодно, хоть в огонь, хоть в воду, хоть в медные музыкантские трубы.

Драка на кухне разгоралась.



— Не генерал, а полковник!

— Нет, не полковник, а генерал!

— Не только не генерал, но и георгиевский крест сам на себя возложил.

— Ничего подобного! Генерал — и с крестом!

— Нет! Без креста — и полковник!

— Сам полковник!

— От полковника слышу!

«Позвольте через посредство вашей уважаемой газе...»

— Нет, уж вы позвольте через посредство...

Приводили статуты, постановления георгиевской думы, приносили какие-то справки от воинских начальников, дышали гневом и божились.

И об одном только забыли. Никаких статутов нет, и о георгиевской думе никто на свете не помнит, и чертовых воинских начальников не существует, и все вместе с клоунскими лампасами и эполетами — давно забытая и никому не нужная труха, дичь, многолетний сон.

Как ни различны идеалы борющихся сторон (Полковник! Нет, генерал!), тон у них совершенно одинако-

вый — жалобный и болезненно обидчивый. Ничто им на земле не мило, все им не нравится, даже не ндравится.

«В Париже суровая зима. 6 градусов мороза».

И сразу на лице брезгливая улыбка.

— Ну какая же это зима! Разве это зима? Вот у нас была зима. Это была зима!

«В течение пяти часов полиция не могла разогнать разбушевавшихся демонстрантов».

Болезненная гримаса.

— Ну кто ж так разгоняет? Разве так разгоняют? Вот у нас разгоняли так разгоняли!

Длительная, скрипучая, бесканифольная ноющая нота висит над Парижем. Не нравится, ну, понимаете, ничто не нравится.

«Кантор Шапиро в зале мэрии 19-го аррондисмена прочтет доклад «Самодержавие, православие и народность». Вход бесплатный. На покрытие расходов 3 франка с человека».

Никто не пришел. Не покрыл кантор своих расходов по самодержавию.

Проклятое невезенье! Нет на земле счастья, нету!

Вдруг счастье привалило. Бунин получил Нобелевскую премию. Начали радоваться, ликовать. Но так как-то приниженно и провинциально ликовали, что становилось даже жалко.

Представьте себе семью, и небогатую притом семью, а бедную, штабс-капитанскую. Здесь — двенадцать незамужних дочерей и не мал мала меньше, а некоторым образом бол бола больше.

И вот наконец повезло: выдают замуж самую младшую, тридцатидвухлетнюю. На последние деньги покупается платье, папу два дня вытрезвляют, и идет он впереди процессии в нафталиновом мундире, глядя на мир остолбенелым взглядом. А за ним движутся одиннадцать дочерей, и до горечи ясно, что никогда они уже не выйдут замуж, что младшая уедет куда-то по железной дороге, а для всех остальных жизнь кончилась.

Вот такая и была штабс-капитанская радость по поводу увенчания Бунина.

Вместе с лауреатом в Стокгольм отправился специальный корреспондент «Последних новостей» Андрей Седых.

О, этот умел радоваться!

Международный вагон, в котором они ехали, отель, где они остановились, белая наколка горничной, новый фрак Бунина и новые носки самого Седых были описаны с восторженностью, которая приобретается только полной потерей человеческого достоинства. Подробно перечислялось, что̀ ели и когда ели. А как был описан поклон, который лауреат отвесил королю при получении от него премиального чека на восемьсот тысяч франков! По словам Седых, никто из увенчанных тут же физиков и химиков не сумел отвесить королю такого благородного и глубокого поклона.

И снова — что̀ ели, какие ощущения при этом испытывали, где ели даром и где приходилось платить, и как лауреат, уплатив где-то за сандвичи, съеденные при деятельном участии специального корреспондента «Последних новостей», печально воскликнул: «Жизнь хороша, но очень дорога!»

Но вот событие кончилось, догорели огни, облетела чековая книжка, начались провинциальные парижские будни.

«Чашка чаю у полтавских кадетов. Рю такая-то. Остановка метро Клиши. Вход бесплатный. На покрытие расходов 3 франка».

Ну и что же? Чай выпили, чашку украли. Расходов не покрыли. И вообще перессорились за чашкой. Одни кадеты говорили, что большевиков должны свергнуть иностранцы, другие,— что большевики неизбежно свергнут себя сами, и тогда они, пятидесятилетние полтавские кадеты, поедут в Полтаву кончать кадетский корпус и заодно наводить порядок.

Люди с кряхтеньем переворачиваются на другой бок. Многолетний сон продолжается.

В Париже — зима, а у серых белых — невыносимая летняя клязьминско-парголовская скука. Правда, одно время спасало чудовище озера Лох-Несс.

О чудовище писали с трогательным постоянством каждый день. Оно появилось в шотландском озере и

там обитало. Оно было очень большое, страшное, горбатое, допотопное и выходило на сушу, чтобы есть баранов, а затем играть при лунном свете. К людям чудовище относилось недоверчиво, особенно к журналистам, и при виде их с шумом погружалось в воду.

Все попытки рассмотреть чудовище поближе ни к чему не привели. Оно немедленно с шумом погружалось в воду.

Молчаливый сговор редактора со своими читателями продолжался долго. Всем было понятно, что приключения чудовища — это детские враки, но надо же как-нибудь развлекаться! Однажды пастор Твид прогуливался по живописным берегам озера Лох-Несс. Вскоре в мутном лунном свете глаза его различили неясные и громадные очертания чудовища. Неустрашимый пастор постепенно сделал несколько шагов вперед, но было уже поздно. Чудовище озера Лох-Несс с шумом погрузилось в воду.

Через два месяца шумов, всплесков и погружений пришлось перейти на новую тематику, перестроиться. «Возрождению» помогло необыкновенное и счастливое стечение обстоятельств. На заброшенных фортах Брест-литовской крепости появилась тень великого князя Николая Николаевича. Она тяжко вздыхала и смотрела в бинокль на Запад. (Мы знаем, куда смотрела тень. Она смотрела в сторону озера Лох-Несс.) Спугнутая людьми, тень с шумом погрузилась...

Кроме домашней склоки по поводу чинов и орденов, кроме общественных чашек чаю и подозрительных ихтиозавров, есть главная тема — Совдепия. (С маниакальным упорством пишут до сих пор: «Совдепия», а не Советский Союз, «большевицкий», а не большевистский — так выходит как-то обиднее.)

Итак, Совдепия.

О, здесь писать можно совершенно просто!

Землетрясение в Ленинакане! Ха-ха-ха! Без крова осталось десять тысяч человек! Ха-ха!

В Каспийском море оторвавшаяся льдина унесла в открытое море шестнадцать рыбаков. Судьба их, ха-ха, неизвестна.

Ха-ха-ха! Большой пожар в Пензе. Объятые пламенем жильцы, хи-хи, погибли.

Железнодорожная катастрофа в Совдепии. Первый вагон буквально сплющило. Хо-хо-хо!

Но не все же пожары, бури и толчки в девять баллов. Печально, но Советы имеют достижения. Скрыть это невозможно, но можно оформить по-своему, подать не на той сковородке.

Вот статья о советских парашютистах.

Да, они прыгают. И поставили мировые рекорды. Но отчего они прыгают? Оттого что жизнь плохая, с голоду прыгают.

Честное слово, любимая газета «Ля Ренессанс» напечатала большими буквами статью, смысл которой сведен к чудовищной сентенции горбуновского холуя — «от хорошей жизни не полетишь».

Хочется скорее окончить фельетон, чтобы развязаться наконец с этим мрачным скопищем неудачников, злобных психопатов и просто откровенных мерзавцев.

Остается политическая позиция.

«Ле дерньер нувелль» полагается главным образом на чудо. Беспрерывно слышится бормотанье:

— Революция приведет к эволюции, эволюция к контрреволюции. И все будет хорошо!

«Ля Ренессанс» хочет действовать немедленно. У нее объявился новый дружок:

— Пресветлый батюшка, царь-микадушко, мы твои детушки, самурайчики Семенов с Гукасовым. Нам много не надо. По нескольку тысяч га на человека и небольшое государство со столицей в Чите, какая-нибудь там Россия-Го, с японизацией алфавита. А гимн можно составить очень быстро. Текст взять из «Жизни за царя», а музыку дать из «Мадам Батерфляй». Будет хорошо и патриотично.

Одним словом, пронесли сквозь бури и испытания все, что полагается проносить. Устояли.

1934

НА КУПОРОСНОМ ФРОНТЕ

В квартире разгром. Вся мебель сдвинута на середину комнаты и покрыта газетами. Полы заляпаны известкой. Спотыкаясь о помятые ведра с купоросом, бродит растерянный хозяин. Дети перепачканы краской и безумно галдят.

— Что случилось? — спрашивает гость.

— Что случилось? — замогильным голосом говорит хозяин.— Случилось то, что мы гибнем. Погибаем. Все кончено.

Но, видимо, еще не все кончено. Дыхание жизни еще клокочет в груди страдальца. Он неожиданно подымает иссохшие руки к пятнистому потолку и страстно декламирует:

— О, зачем, зачем я решился на этот ужасный шаг! А так было хорошо, такая разворачивалась нормальная семейная жизнь! Помнишь, Лена, еще недавно, каких-нибудь две недели назад... Мы пили чай по вечерам. Я отдыхал в этом кресле. Наши милые чистенькие дети беспечно резвились в коридоре. А теперь...

— Что же все-таки произошло?

— Маляры! — говорит хозяин, обводя комнату блуждающим взглядом.

При этом слове жена начинает плакать, из коридора доносится грохот и сейчас же вслед за ним радостный вой юного поколения. Упала стремянка.

— Видишь,— сквозь слезы говорит жена,— надо было нанять того тихого старичка, который красил двери у Кирсановых. Он бы в два дня все сделал.

— Тихого старичка? — взвизгивает хозяин.— Этого садиста?

Тут начинается такая перепалка, что гость живо откланивается и уходит. Ему уже ясно, в чем дело.

Произошло то, что происходит всегда с теми оригиналами, которые решают произвести в квартире небольшой, выражаясь официально, текущий ремонт.

Где таятся маляры, где их искать, к кому обращаться? Ничего не известно! В таких случаях расспрашивают знакомых или просто подстерегают маляров на улице. Если повезет, то уже на третий-четвертый день хорошо организованной слежки (желательно разослать в разные концы города всех членов семьи) удастся встретить мрачную фигуру с кистью и ведром и при помощи посулов и грубоватой лести затащить ее к себе.

Фигура неторопливо и значительно оглядывает объект работы и после долгого кряхтенья заявляет:

— Что ж, купоросить надо. Без купоросу никак нельзя. Купорос, он действие оказывает. Кругом себя оправдывает. Тут, значит, если не прокупоросишь, колеру правильного не будет. А можно и не купоросить.

— Так как же все-таки лучше? — подобострастно спрашивает наниматель.— С купоросом или без купороса?

— Ваше дело, хозяйское. Одни любят с купоросом, другие без купороса.

— Тогда на всякий случай прокупоросьте. А вот эту комнату я хотел бы выкрасить в желтый цвет, знаете, такой веселый, канареечный, солнечный.

— Кроном, значит? — степенно говорит маляр.— Это можно. Возьмем, значит, кроном и покрасим. Кроном, значит, вот так возьмем и как есть покрасим. Кроном. Отделаем уж как полагается, хозяин.

Другую комнату договариваются выкрасить в светло-зеленый цвет. При этом маляр произносит непонятную речь о каком-то стронции, который тоже свое действие оказывает и кругом себя оправдывает.

Переговоры длятся часа два. Бесконечно повторяется одно и то же. Маляр, задрав голову, подолгу смотрит на потолок, будто ждет, что оттуда пойдет дождь, цокает языком и сокрушенно взмахивает руками.



— Ну, кажется, все,— нервно говорит хозяин.— Во сколько же это обойдется?

И тут начинается Художественный театр. Маляр закатывает получасовую качаловскую паузу. У хозяина начинает щемить сердце.

— Вот карточки отменили,— говорит наконец маляр.

— И очень хорошо,— оживляется хозяин.— Какая же будет цена?

— Что ж, сделаем как следует. Значит, с твоим купоросом?

— Как с моим купоросом? Где же я вам возьму купорос?

— Этого мы, маляры, не знаем.

И все начинается сначала. Маляр опять бродит из комнаты в комнату, вздыхает, мекает, хмыкает, чешется. В конце концов выясняется, что он все может достать — и проклятый купорос, и крон, и белила, и даже загадочный стронций.

Но вот он называет цену. Триста рублей. Цена ни с чем не сообразная, неестественная, глупая, обидная. Идет длительный базарный, азиатский торг. Попутно выясняется, что маляр может работать только по вечерам.

Хозяин соглашается на все. По вечерам так по вечерам, двести пятьдесят так двести пятьдесят. Только бы поскорее. Надоели грязные стены, трещины, моль, вся эта чертовщина.

Ночью семья работает: стаскивают в одно место мебель, снимают со стен картинки и портреты предков, связывают вещи в узлы. Завтра должен явиться маляр ровно в шесть часов вечера.

Но его нет ни в шесть, ни в семь, ни в десять. Он не приходит. В эту ночь семья спит на узлах.

Зато на другой день маляр появляется вовремя и приводит с собой еще трех мастеров — двух стариков и мальчика. Мальчик, как и остальные, в забрызганных мелом сапогах и громадном ватном пиджаке (спинжаке). Он тоже хмыкает, мекает и неясно выражается насчет благотворного действия купороса.

Весь этот трудовой коллектив снимает пиджаки и рассаживается на перевернутых ящиках и ведрах посреди комнаты. Мастера пьют чай и поглядывают на потолок. Потом потихоньку и стройно начинают петь:

Эх вы, слуги, мои слуги,
Слуги верные мои!

Степная удаль и тоска слышатся в этой старинной разбойничьей песне. И сразу начинает казаться, что нет никакого Днепрогэса, что ничего не произошло, что нет ни метро, ни авиации, ни замечательных колхозов,

что в квартире разыгрывается какая-то сплошная хованщина, XVIII век, а может быть, даже XVI.

Напившись чаю и напевшись вдосталь, мастера надевают пиджаки, снова их снимают и снова надевают. После этого они берут у хозяина двадцать пять рублей на приобретение крона и уходят. А мальчик остается купоросить. При этом он сразу же разбивает стекло книжного шкафа и прожигает каким-то неизвестным веществом малиновое сукно на письменном столе.

— Ты что, с ума сошел? — кричит хозяин.

— Купорос, он колеру не любит,— бормочет ужасное дитя.— Он свое действие оказывает, осадку дает.

— Это бред! — говорит хозяин.

И он прав, начинается бред.

В разрушенную квартиру маляры больше не возвращаются. Очевидно, они удовлетворены полученным задатком.

Три дня несчастная семья на что-то надеялась. Потом знакомые рекомендуют некоего Вавилыча, кристального старика.

Кристальный старик приходит, с хватающей за душу медлительностью осматривает комнаты и берется сделать работу со своей олифой и кроном — все за двенадцать рублей. Тут же выясняется, что почтенный старец смертельно пьян и за свои слова отвечать не может. Его с трудом выводят.

Проще всего было бы расставить мебель по местам и жить, как жили. Но этого сделать уже нельзя. И стены и потолки вымазаны какой-то дрянью.

Приводят еще одного мастера. Он тоже детально договаривается обо всем, входит во все мелочи, но в конце разговора присовокупляет, что начать работу сможет только через месяц, так как уезжает в деревню на праздники.

И зачем он, собственно, приходил и потерял целый вечер на разговоры и чесание подмышек — непонятно. На кухне рыдает хозяйка.

— Неправильно сделали,— говорят бессердечные знакомые.— Вот когда те трое с мальчиком приходили, надо было их запереть и не выпускать из квартиры, пока не кончат работы.

— Если бы я знал! — вопит страдалец.— Ах, если бы я знал! Уж я бы их...

Его утешают. Ему рассказывают интересные истории о печниках, о плотниках, о водопроводчиках, о перевозчиках мебели, о всей этой касте подпольных полукустарей, полуспекулянтов с топорами, клещами и малярной кистью.

И стиль их работы, и способы их найма, и все их разговоры полностью сохранились со времен боярской Руси.

Они могли сохраниться только потому, что у нас, собственно, никто не занимается ремонтом квартир. Есть организации, которые строят сразу по сто домов; есть организации, которые воздвигают целые города, но нет простой конторы, где можно заказать побелку потолка, перетирку и окраску стен, переборку паркета, новое стекло нужного размера, дверь, шпингалет; нет конторы, где можно было бы по вкусу выбрать краску или обои; конторы, где есть специалисты, гарантирующие качество работы и сдачу ее в срок.

Такая контора должна быть своего рода строительным магазином. Работа строительных магазинов будет великолепно окупаться, и за несколько месяцев, оставшихся до весны, этого благоухающего и светлого квартала ремонтов и починок, их надо организовать в возможно большем числе.

Вы только подумайте! Сейчас легче попасть на прием к одному из лучших в мире специалистов по сердечным болезням, чем найти маляра. Профессор вас примет через две недели после записи, но уж примет точно в назначенный день и час, а за маляром можно гоняться месяц. И происходит это не потому, что профессоров-сердечников много, а маляр один, а потому, что врачебная помощь людям у нас организована, строительной же помощи не существует.

Все рассказанное основано на большом количестве проверенных фактов путем опросов и расследований.

А теперь разрешите, так сказать в порядке ведения собрания, высказаться по личному вопросу. Он тоже, впрочем, имеет общественное значение и иллюстрирует бедственное положение на купоросном фронте.

Жили мы тихо, мирно, писали романы, повести, рассказы и пьесы. Вдруг прошлой весной приходит бумажка от родимой организации, от Союза писателей.

«Не хотите ли произвести ремонт своей квартиры? Ремонт будет, разумеется, произведен за ваш счет, но, разумеется, под нашим наблюдением, из лучших материалов и в железные сроки».

Очень приятно было читать такой документ. Мы оставили на время сочинение романов, повестей, рассказов и пьес, побежали в Союз и выразили свою признательность и согласие на производство ремонта. Главное, радовало сознание того, что о тебе кто-то заботится, кто-то тебя лелеет.

И точно. Через несколько дней пришел молодой человек с рулеткой, произвел разного рода обмеры, что-то умножал, делил и складывал, а в заключение сказал, что вскоре будет составлена смета, а за ней начнутся и строительные работы.

Засим довольно быстро прошли три месяца, никто не приходил ремонтировать квартиры. Наступила осень. Пушкин, например, любил осень. Но, разумеется, и он не считал это время наиболее удобным для производства ремонта своего дома в селе Михайловском. Мы снова оставили сочинение романов и побежали в Союз. Там уже прибавилось несколько новых фанерных перегородок и конторских столов, но все-таки нужного человека мы нашли.

Он долго смотрел на нас затуманенным взглядом и наконец сказал:

— Значит, вы просите сделать ремонт?

— Да нет, мы ничего не просим. Вы сами предложили.

— Ах, мы предложили? Да, да, верно. Но эта идея уже механически отпала. Мы, товарищи, отказались от этой идеи.

— Почему же вы не сообщили? Мы ждали все лето.

— Нет, нет, товарищи, эта идея отпала.

Ну что ж, отпала так отпала. Обидно, конечно, оставаться на зиму в потрепанных квартирах, но все-

таки стен никто не купоросил, сукна не прожигал, жить можно.

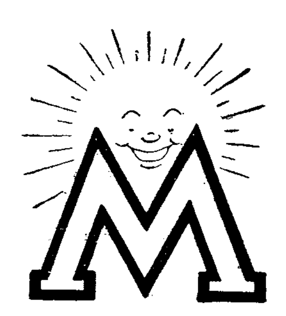
И вдруг недавно приходит новая бумажка от той же родимой организации, но уже не весенняя, а зимняя, суровая и даже нахальная.

«Настоящим извещаю, что с вас причитается за составление сметы на ремонт 57 рублей столько-то копеек. В случае неуплаты дело будет передано в суд».

Вот тебе на! Идея отпала, но мы почему-то должны за нее платить. Тут даже темный Вавилыч покажется кристальным стариком.

Что ж, суд так суд. Любопытно будет встретиться перед лицом закона.

1935



В ближайшие дни многоопытные московские пассажиры — люди, испытавшие великие трамвайные страсти, закалившие свое тело и душу в битвах у автобусных подножек и в схватках с жадными грязными извозчиками,— спустятся в метро.

Они увидят распределительные вестибюли — блестящие фойе метрополитена, со стеклянными кассами, широкие, превосходно освещенные коридоры и неожиданно громадные сияющие залы подземных станций.

«Станция» — здесь слишком скромное слово. Это — вокзалы. Тринадцать вокзалов, одетых в мрамор, гранит, медь и разноцветные кафели.

Вокзалы открываются необыкновенно эффектно — сверху, с высоты виадуков, откуда по широким лестницам вправо и влево спускаются на перрон пассажиры.

Да и «перрон» здесь — слово, определяющее лишь назначение места, где люди садятся в поезд. Внешность его совсем не перронная. Это скорее дворцовая зала. Высота, чистота, блеск нежно-серых, или розоватых, или красных с прожилками колонн, ровный молочный свет строгих люстр, полированные стены.

И в этом зале стоит поезд, верхняя половина которого цвета слоновой кости, а низ — светло-оливковый. Вагоны московского метро не имеют классов. Все они

одного класса — высшего. Тут нет ни славословия, ни излишней очеркистской восторженности. Просто небольшой факт из жизни.

Как же будут вести себя здесь наши старые знакомые, многоопытные москвичи, жертвы трамвая и своего собственного темперамента?

Возможно, что на поверхности земли, где-нибудь на трамвайной остановке, они еще некоторое время останутся верны себе, будут по-прежнему ссориться и попрекать друг друга мягкой шляпой. Но даже и тут пойдут новые веяния:

— Тоже шляпу надел. Тебе бы в метро ездить!

Под землей же, несомненно, восторжествуют мягкость нравов, необыкновенная вежливость и даже радушие.

— Не толкнул ли я вас локтем, бабуся?

— Нет, нет, голубчик! Ведь ваш локоть от меня на целый метр...

— Ну, все равно. Извините, бабуся.

— Пожалуйста, пожалуйста. Могу и извинить, если вам это доставит удовольствие.

— Очень, очень рад.

— Да уж и я как счастлива. Ужасно приятно было познакомиться с таким милым молодым человеком.

И, посылая друг другу воздушные поцелуи, они расстанутся. Бабуся сойдет в «Охотном ряду», а милый юноша поедет (ну, куда?) — конечно, в «Ленинскую библиотеку».

И люди не только не будут набрасываться на соседа в очках с криком: «А еще очки надел»,— а с лучезарной улыбкой будут говорить:

— Ах, какие у вас очки прелестные! Чудная оправа! Под черепаху? Очень, очень красиво. Поздравляю вас с такими очками. Простите за беспокойство.

А места будут уступать не только инвалидам, матерям с детьми до четырех лет, женщинам, предъявившим удостоверение о беременности. Будут уступать даже старухам. Да что там — старухам!

— Садитесь, пожалуйста!

— Что вы, что вы. Спасибо.

— Нет уж, пожалуйста.
— Сидите, сидите.
— Ну, умоляю вас!
— Могу и постоять. В конце концов я мужчина.
— Мужчина-то мужчина, но возраст! Вы старше.
— Какой уж там такой особенный возраст. Мне и всего-то двадцать девять лет.
— А мне двадцать семь. Ага! Попались. На два годика меньше. Теперь вам не отвертеться, извольте сесть.

Шутки шутками, а очень многим взрослым людям метро поможет ликвидировать свою культурную неграмотность.

Может быть, пока строили метрополитен, у кого-нибудь и скребло на душе:

— «Лучший в мире», а он вдруг окажется не лучший в мире. Не так это просто сделать лучше, чем в Лондоне, в Париже или Берлине.

Но ошибки не произошло.

Московский метрополитен оказался лучше, неизмеримо лучше.

Ведь даже самому богатому и либеральному акционерному обществу не придет в голову окружить пассажира такими удобствами и великолепием, как это сделано сейчас в Москве. Ибо не столько о пассажире помышляет акционерное общество, сколько о получении дивидендов, прибыли. Вот и превратились метро в мрачные, пронизанные погребной и прачечной сыростью туннели для высасывания пенсов, сантимов и пфеннигов.

Обыкновенный рабочий или служащий человек проводит в метро ежедневно часа два (на работу, с работы, на обед, с обеда, куда-нибудь вечером). И эти два часа пребывания в казематах заграничных метро ложатся печальным добавлением к тяжелому рабочему дню.

Если первая стройка первой пятилетки — Турксиб — была предприятием социалистическим только по своему содержанию, то московский метрополитен — великое предприятие второй пятилетки, уже является социалистическим и по форме, по выполнению.

И те часы, которые москвич проведет под землей. не будут ему в тягость.

Представьте себе, под землей — хорошо, красиво, даже уютно. Не знаем, как будет лет через пять, когда Москва перестроится заново, но сейчас, после подземных улиц и площадей на московских площадях и улицах кажется и не очень уж светло, и не так уж чисто, и сыровато, и шумновато.

Так что придется подтянуться, товарищи на поверхности!

1935

ТЕАТРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Ощущения человека, собирающегося в театр, не сложны, но очень приятны. Утром, на работе, он как бы между делом важно сообщает:

— Сегодня я иду в театр, так что в вечернем культштурме участвовать не смогу.

Дома он с удовольствием слышит, как в соседней комнате жена говорит кому-то по телефону:

— К сожалению, сегодня вечером нас с Павликом не будет дома. Мы с Павликом идем к Мейерхольду. Нет, почему же, в пятом ряду, середина. Мы никогда не сидим дальше пятого ряда.

И хотя Павлик знает, что жена прилгнула, что весьма часто они сидят далековато и на этот раз был куплен пятый ряд потому лишь, что не было мест дешевле, все же ему приятно слышать ее слова. В конце концов чувство гордости не чуждо нашим современникам.

И даже пятилетняя дочка тоненьким голоском кричит с балкона играющим на дворе девочкам:

— Папа и мама идут сегодня на «Три обморока».

— «Тридцать три»,— поправляет костлявый Павлик, надуваясь от гордости.— Сколько раз я тебе говорил!

В этот день обедают раньше обычного. Надо спешить, ибо после третьего звонка вход в зрительный зал не допускается. Вообще все эти слова: зрительный зал,

третий звонок, либретто, запасный выход, капельдинер — удивительно приятны.

Одеваться начинают за два часа до спектакля. Тут, конечно, выясняется, что пропала запонка, и черт знает, где теперь ее искать, что воротничок плохо выглажен и на нем есть морщинка, что бинокль взяли Власовы и уже месяц не отдают. Просто свиньи, которым никогда не надо делать одолжений. Наконец все улаживается. Запонку находят, воротничок переглаживают, а бинокля никакого не надо, ведь сидеть-то будут в пятом ряду, откуда все прекрасно видно.

Однако в последнюю минуту жена обнаруживает, что спустилась петля на чулке, и принимается ее подымать с медлительностью, приводящей Павлика в негодование. Он стоит в пальто и новой кепке. В другой раз он никогда не пойдет в театр с такой, мягко выражаясь, легкомысленной женщиной.

— Неужели нельзя было раньше посмотреть? — говорит он с дрожью в голосе.— Все пропало.

Но ничего не пропало. Они необыкновенно удачно сели в автобус и поспели в театр как раз вовремя, даже немножко рано. И сейчас все пережитые волнения с запонкой и чулком кажутся очаровательными. Без них, пожалуй, все было бы даже не так интересно и значительно. Нет, что бы ни говорили, а посещение театра — настоящее событие.

Это было восьмого апреля.

Некий доцент Первого московского университета с женой, испытавшие все предтеатральные ощущения, быстро сдали свои пальто, вручили рубль гардеробщику, купили программу, вручили полтинник капельдинерше и побежали в зрительный зал. Еще минута, и они увидят спектакль, о котором так много говорят.

Дальнейшие события будут изложены с протокольной точностью и в той головокружительной последовательности, в какой они развертывались.

— Постойте, постойте,— сказала контролерша у входа,— мы еще посмотрим, какие у вас билеты.

Билеты были наготове, прекрасные билеты, где с юридической педантичностью были указаны и день

спектакля, и его час, и номер ряда, и номер места, и название пьесы.

— Вас-то мне и надо,— мрачно сказала контролерша.— Эти билеты аннулированы.

— Как аннулированы?

— Это дело не мое, гражданин. Обратитесь к администрации.

Когда человека называют «гражданином», произнося это слово с металлическими интонациями в голосе, то уже ничего хорошего не ждите.

— Позвольте,— сказал доцент,— билеты у меня правильные, пустите меня в зал, мы опоздаем!

— Я уже вам сказала, гражданин, русским языком. Обратитесь к администрации.

И, отпихнув его, она уже обращалась к другим зрителям:

— Вы можете пройти. А ваши места тоже аннулированы, гражданин. И ваши. Русским языком вам говорят: граждане, обратитесь к администрации.

Началась какая-то чертовщина. Доцент помчался к администратору.

К нему вышел человек в ковбойском наряде, с выражением нечеловеческого спокойствия на молодом лице.

— Пожалуйста, выясните поскорее это недоразумение! — крикнул доцент, горячась.— Уже начался спектакль.

— В чем дело? — сказал ковбой, не теряя хладнокровия.

— Это я вас должен спросить, в чем дело. Безобразие какое!

— Ну так вот,— медлительно продолжал ковбой.— Билеты первых пяти рядов аннулированы. Понятно?

— На каком основании?

— У нас сегодня смотрят спектакль иностранные дипломаты.

— Ну и пусть смотрят. Очень рад. Но при чем тут я?

— Я ничего не могу сделать, гражданин. Обратитесь к товарищу Бернацкому.

И ковбой удалился в свое ранчо, напротив разде-

валки. А в это время в зале уже гремела музыка, шел спектакль.

АДМИНИСТРАТОР

Бернацкий (очевидно, тоже администратор) был в толстовке, но, невзирая на эти мирные одежды, характер имел железный.

— Чего вы волнуетесь? — говорил он, с отвращением глядя на доцента.— Вам уже говорили, спектакль смотрят иностранцы.

— Да, но ведь билеты проданы мне, а не кому-нибудь другому.

— Деньги за билеты можете получить обратно.

— Дело не в деньгах. Раз вы мне продали билет, вы должны дать мне место. Я этого требую.

— Вы ничего не можете требовать. Билеты аннулированы.

— Почему же вы об этом не известили заблаговременно? Почему не объявили в газетах? Наконец, если вы не успели объявить в газетах, то почему не вывесили объявления хотя бы на дверях? Нам по крайней мере не пришлось бы раздеваться, покупать программу и вообще выносить все это унижение.

— Не учите меня, как надо оповещать публику. Вас это не касается. Получите свои деньги и уходите.

Услышав этот беспредельно хамский ответ, доцент растерянно оглянулся.

Позади него уже собралась порядочная толпа таких же, как и он, обманутых зрителей. Их было человек сто. Они стояли в полутемном фойе, с ненужными биноклями и программками в руках, изумленные и беспомощные. От них пахло одеколоном и пудрой. Сейчас, в своих шелковых платьях и лучших пиджаках, они чувствовали себя неловко, как голые. Они-то спе-

шили, одевались, завивались, ехали откуда-то издалека — и вдруг нарвались на каких-то полудиких тупиц и нахалов.

— Это возмутительно! — воскликнул доцент.— Я напишу об этом в «Правду». Вы даже не понимаете, что вы делаете.

Администратор расхохотался.

— Можете писать куда хотите. Сказано — и кончено.

Говоря по совести, хотелось дать по морде. Но драться нельзя. И доцент продолжал приводить словесные доводы. Тогда из-за спины администратора выдвинулся совсем еще юный ревнитель порядка.

— Следуйте за мной,— сказал он официально.

— А вы кто такой?

Ревнитель предъявил удостоверение Осодмила.

Доцента увели в кабинет, где и потребовали объявить свое звание.

— Вот вы ученый,— рассудительно сказал юноша, ознакомившись с документами,— а бузите. Вы знаете, что вам за такие штуки сделают? Тут иностранцы ходят, а вы беспорядок устраиваете.

— Так ведь это вы устроили беспорядок! — заорал доцент, не помня себя.

После этого была произнесена классическая громовая фраза:

— Пра-а-шу очистить помещение!

И доцента выгнали.

Вот, собственно, все, что произошло восьмого апреля в театре имени Мейерхольда на спектакле «33 обморока».

Мы часто и справедливо говорим о том, какой у нас замечательный театр и какой у нас замечательный зритель. Как же случилось, что в одном из наших театров могли так поступить со зрителем? Это произошло потому, что между искусством и прекрасным советским зрителем стали люди с лакейскими душами, люди, для которых слово «иностранец» значит больше, чем гордые слова «советский гражданин».

Вызывает ярость то, что произошло вечером восьмого апреля.

Легко себе представить, как будут оправдываться эти люди.

— Что, собственно, случилось? Ну, пришли! Ну, ушли! Ведь деньги они могли получить обратно! Подумаешь, амбиция!

А дело не в амбиции. Дело в достоинстве советского гражданина, которого никому не позволено унижать. Дело в правах наших граждан, правах, которые никто не смеет стеснять. Унижение советского гражданина есть унижение достоинства всей страны и преступление против существующего в ней порядка. Надо прокуратуре заняться наконец такого рода преступлениями. Это представляет крупнейший общественный интерес.

В Советском Союзе к иностранцам — и к дипломатам, и к путешественникам, и к специалистам — относятся с величайшей корректностью. Мало того, с общепризнанным гостеприимством. Но это не значит, что под видом заботы об иностранцах кто бы то ни было получил право наносить ущерб советским гражданам.

И описанное здесь, казалось бы, простенькое происшествие на самом деле имеет большое политическое значение.

1935

ДЕЛО СТУДЕНТА СВЕРАНОВСКОГО

Преступление было совершено, как впоследствии удалось установить свидетельскими показаниями и признаниями самого обвиняемого, ровно в 7 часов вечера 28 апреля сего 1935 года.

Произошло оно в вагоне трамвая.

Студент автомеханического института им. Ломоносова Свервановский Михаил, двадцати трех лет, грамотный, холостой, не судившийся и приводов не имевший, следовал в вагоне трамвая на торжественный вечер в институт. Так как после официальной части вечера предполагалась часть неофициальная, студент Сверановский, двадцати трех лет, был чисто выбрит и принаряжен.

Что может быть лучше? Быть молодым, здоровым, веселым! Ехать на вечер, где после официальной части будет, черт возьми, еще часть неофициальная, ехать и сознавать, что впереди еще длинная чудная жизнь, диплом, работа, может быть, женитьба, может быть, путешествие! Нет, нам никогда уже не испытать такого чувства. Уже и возраст не тот, и здоровьишко не то. Завидно! Честное слово, завидно!

В вагон вошел контролер и стал проверять билеты. У Сверановского оказался билет достоинством в десять коп., в то время как ему полагалось иметь таковой достоинством в пятнадцать коп.

Контролер предложил уплатить штраф.

Студент со вздохом вынул рубль.

Контролер сказал, что надо три.

Студент сказал, что трех у него нет.

Контролер предложил студенту отправиться в милицию.

Студент выдвинул встречный план: пойти вдвоем в институт, тут же рядом, и там он ему заплатит.

Контролер отказался.

Относительно дальнейшего показания расходятся. Контролер говорит, что студент хотел убежать и даже пытался открыть дверь на площадку. Студент говорит, что контролер схватил его всей пятерней за лицо. Контролер пятерню отрицает, говоря, что студент толкнул его в грудь так, что он пошатнулся и зацепил женщину с ребенком, каковой заплакал. Студент утверждает, что никого он не толкал, а только пытался освободиться, и что он вообще терпеть не может, когда его хватают за лицо.

Вот и все. Неприятная трамвайная история.

Дальше начинается тяжелый сон.

Сверановского отправили в милицию. Там быстро сочинили протокол, где было написано, что студент признает себя виновным в хулиганстве. Этот протокол студент не подписал. Затем Сверановского заключили под стражу. Ведь действительно, если не применить этой радикальной меры пресечения и не посадить преступника за решетку, он может скрыться от суда, например, убежать в Америку или всю жизнь ходить с привязной бородой, скрываясь таким образом от агентов милиции.

Вот тебе и вечерок с неофициальной частью!

Мысли и чувства студента здесь изложены не будут. Можно только сказать, что студент просидел до суда десять дней, так что в мыслях и чувствах недостатка не было.

Наконец в камере нарсуда пятого участка Ленинского района в городе Москве состоялся сенсационный процесс.

Суд идет! Прошу встать!

Ну что ж, встанем и посмотрим, что произошло.

Суд состоялся под председательством народного судьи Бизлина, при нарзаседателях Горохове и Асен-

чукове, при секретаре Блузман, с участием защитника ЧКЗ Кагана.

Стража ввела обвиняемого. Он был бледен. ЧКЗ взволнованно пил воду, прочищая горло. Вообще все было честь честью.

Огласили обвинительное заключение:

...Будучи в трезвом виде... пытался скрыться... допрошенный в качестве обвиняемого показал... обвиняется по признакам преступления, предусмотренного...

О, этот суконный язык! Он всему придает важность и значительность.

Попробуйте переложить на этот язык такую простенькую фразу:

«Мария Ивановна сидела на диване и читала книгу, мягкий свет лампы падал на перелистываемые страницы».

Вот что получится:

«17-го сего апреля, в два часа пополуночи, в квартире № 75 была обнаружена неизвестная гражданка, назвавшаяся Марией Ивановной, сидевшая в северо-западном углу комнаты на почти новом диване, купленном, по ее заявлению, в магазине Мосдрева. В руках у нее удалось обнаружить книгу неизвестного автора, скрывшегося под фамилией А. Толстой, каковую она, по ее словам, читала, употребляя для освещения как комнаты, так равно и книги настольную штепсельную лампу с ввернутой в таковую электрической лампочкой силою в 25 свечей и, как утверждает экспертиза, накала в 120 вольт».

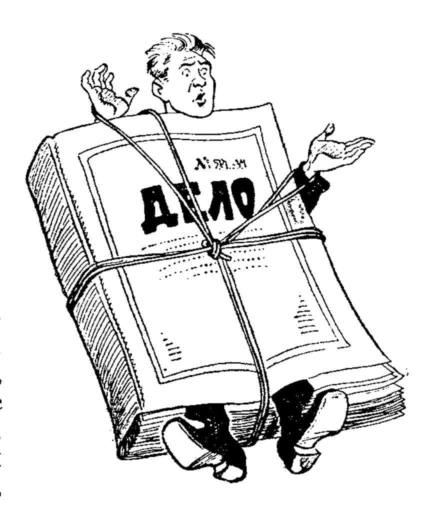
Правда ведь, таковую явно преступную гражданку хочется немедленно изолировать от общества, избрав мерой пресечения взятие под стражу.

Вернемся, однако, к нашему процессу.

На судебном следствии контролер Воронов утверждал свое, а студент Свērановский — свое. Единственный свидетель происшествия командир РККА Кульчицкий сообщил, что слышал шум на площадке, что предложил студенту подчиниться, что студент подчинился, что жалоб на студента от пассажиров свидетель не слыхал, как равно не слыхал и детского плача. Самого столкновения он не видел и поэтому не знает, кто

кого толкал. Что же касается поведения обвиняемого, то по дороге в милицию и в самой милиции он вел себя спокойно.

Были еще свидетели, вызванные защитой, которые дали обвиняемому прекрасную аттестацию. Бенецкий, староста группы, в которой учится Сверановский, заявил, что ничего не может о нем сказать, кроме хорошего. Он и хороший общественник, он и ударник учебы.



ЧКЗ произнес пламенную речь. Ни Цицерон, ни Плевако, ни Брауде не могли бы представить суду более веских и разумных доводов в защиту обвиняемого. На бледные щеки студента медленно возвращался румянец. Публика взволнованно сопела и бросала на обвиняемого сочувственные взгляды.

Оправдательный приговор не вызывал сомнений.

И тут из совещательной комнаты вышел нарсудья Бизлин, при своих нарзаседателях и при своем верном секретаре, и вкатил студенту Сверановскому два года тюрьмы за злостное хулиганство.

Берем на себя смелость утверждать, что таким приговором судья позорит советский суд и подрывает чрезвычайно важную и нужную борьбу с хулиганством, которая сейчас ведется.

В зале приговор суда вызвал возмущение. Посторонние люди, ничего общего со Сверановским не имеющие, ахнули. Некоторые женщины плакали. Сам Сверановский производил впечатление человека невменяемого. Он схватился за голову и закричал: «Что они со мной сделали!» Его увели.

Вина Сверановского не доказана. Это ясно. Однако представим себе самое худшее. Представим себе, что

Свerановский виновен в приписываемых ему преступлениях: не хочет платить трех рублей; разгорячась, сцепился с контролером, даже испугал ребенка. Предположим, что он совершил проступок, но ведь он не хулиган. Это студент-ударник, общественник, прекрасный товарищ. Об этом свидетельствуют треугольник группы и двадцать девять его соучеников.

Нельзя из-за трамвайной ссоры губить человека.

Что это? Судебная ошибка? Нет, это значительно хуже, опасней.

От судебной ошибки не гарантирован ни один судья, даже самый опытный, которого может ввести в заблуждение случайное стечение улик, оговор и тому подобное.

Здесь же судья прежде всего невежественный человек, который не знает своего дела, не видит, кого судит. Он бездушно и бессмысленно отщелкивает приговоры, как будто он не судья, а начинающий счетовод.

На суде точно установили, что трамвай, в котором произошло событие, «следовал от завода им. Сталина по направлению к Варшавскому шоссе», что трамвай этот «принадлежал линии 49». А вот личности обвиняемого суд по-настоящему даже и не пытался установить.

Эта статья не направлена к смягчению участи хулиганов. Напротив. Общество ждет от суда самой решительной борьбы с хулиганством. Но надо уметь отличать хулиганское дело от трамвайной свары, противной и, разумеется, тоже заслуживающей осуждения.

Судья Бизлин не может сделать даже такой примитивной работы. Достаточно посмотреть на его приговор, переполненный фактическими и орфографическими ошибками, на протокол судебного заседания, где перевраны даты и фамилии, на всю эту малограмотную ахинею, чтобы понять, что юридическое образование некоторых судебных работников чрезвычайно сомнительно, что воспитание кадров, которые сейчас решают все, в судебной отрасли приобретает исключительное значение.

1935

СТАРИКИ

«В тревожном состоянии, давно и тяжело больной, к вам обращается почти старик.

Мои страхи так вероятны, что лучше их предупредить.

Десятый год я — пайщик РЖСКТ им. Дзержинского,— Садовая-Земляная улица, 37/1. Я внес 2150 руб., более тысячи рублей сверх полного пая.

Я — транспортник с 1900 года. При советской власти более десяти лет был начальником эксплуатации и начальником дороги, из них четыре года на дорогах фронта. Сейчас доработался до полной инвалидности. Состояние здоровья ухудшается из-за очень плохих бытовых условий — на 19 квадратных метрах шесть человек, почти чужих друг другу. По стажу и паенакоплению я имею все преимущества. Предыдущая служба только укрепляет мое право.

Сейчас кооператив распределяет квартиры. Хотя мне говорят, что я получу, но говорят так неконкретно, так формально, что я теряю надежду. По состоянию здоровья я не в силах часто ездить и защищать свое бесспорное право. Более молодые сейчас уже получают.

Подумайте! Десять лет ждать, понимать, что в обстановке новой квартиры я еще проживу пять-шесть лет, пока не поставлю на ноги тринадцатилетнего сына,— и не получить.

Я страдаю двумя видами астмы, почти не могу ходить. Чтобы вернее себя обеспечить, я вместо трехкомнатной прошу двухкомнатную, но обязательно отдельную квартиру.

При всей моей личной заинтересованности, я думаю, что вопрос этот имеет общественное значение.

С большой надеждой Б. И. Григорович».

Вот письмо человека, которого обижают только потому, что он стар и болен.

Можно предположить, что правление РЖСКТ всполошится, даже вознегодует и с благородными нотками в голосе воскликнет:

— Друзья! К чему весь этот шум? Да разве мы б не дали квартиры? Дали бы. И напрасно этот Григорович нервничает, прибегая к такому сильному средству, как печать!

А нам кажется, что Григорович хотя и потерял трудоспособность, но не потерял сообразительности. Даже более того, десять лет бесплодного пребывания в стройных рядах жилкооперации научили его очень многому. Старик приобрел громадный опыт и великолепно знает, как иной раз распределяются квартиры.

Обычай таков: первым глухой ночью в новый дом въезжает председатель правления, комендант с ночными сторожами торопливо перетаскивает его вещи. За председателем, естественно, вкатывается в дом его заместитель; далее, естественно, следуют члены правления: они мчатся на быстроходных грузовиках, из которых в разные стороны торчат матрацы и фикусы. На рассвете, кусая друг друга, вселяются члены ревизионной комиссии, эти основные борцы за справедливость. И к утру обычно дом, в котором еще не везде есть стекла и полы, уже заселен. Бегай после этого, доказывай свою правоту, судись! Все равно — уже поздно.

Нет, как ни верти, а профилактическое мероприятие тов. Григоровича имеет большой смысл.

Ему, конечно, было бы легче, если бы он был еще начальником дороги. Но сейчас он уже больной старик; передвигается он с трудом, кричать и требовать не может, не в состоянии даже приходить, чтобы на-

помнить о своем неоспоримом праве. А если человек не приходит и не скандалит, то стоит ли на него обращать внимание! Стоит ли беспокоиться о том, как он проведет остаток своей жизни и будут ли эти последние годы проведены в счастливом покое, в светлом сознании того, что жизнь прожита недаром, что он окружен вниманием и заботами общества.

Нет, не видно здесь уважения к старости!

Вот другая история, настоящая многоактная драма.

Действующие лица:

Доктор Бердичевский — герой труда, персональный пенсионер, возраст семьдесят шесть лет.

Его жена — семьдесят пять лет.

Мартинюк — секретарь районного исполкома, бодрый, энергичный, пышущий здоровьем, полный молодого задора человек.

Место действия — город Бердянск.

Время действия — к сожалению, наши дни.

Пятьдесят один год Бердичевский лечил людей, сорок два года живет он в Бердянске, тридцать лет обитает в одной и той же квартире, на улице Республики. Оберегая покой старика, райисполком неизменно отражал все покушения на его жилплощадь. Но в конце прошлого года у доктора, по постановлению суда, отняли из пяти комнат три, и в эти три с гамом и стуком въехал Мартинюк. Стоит ли говорить, что докторскую мебель, тридцать лет простоявшую на одних и тех же местах, по требованию судебного исполнителя, надо было убрать в двадцать четыре часа. Беспомощные старики развозили мебель по знакомым, втаскивали на чердак, втискивали в ванную комнату. В этой спешке много поломали.

Вселившись, жизнерадостный Мартинюк сразу же запретил работнице доктора проходить через его коридор, ведущий на черную лестницу. Поэтому пришлось хранить топливо у знакомых, на другой улице, и ежедневно носить ведрами. Мартинюк почему-то перегородил общий коридор и только после долгих настояний сделал маленькие, узенькие дверцы, которые, как хороший администратор, всегда держит на запоре. А дверцы-то ведут в уборную. Каждый раз приходится



стучать. Иногда подолгу стучать. Иногда вообще не открывают. Однажды гость доктора постучался в заветные дверцы.

— Кто? — раздался голос.

— Гость доктора, которому необходимо в уборную,— последовал точный отчет.

— Не позволяю,— последовала не менее точная резолюция.

Ну можно ли так мучить стариков, отравлять им жизнь, отбирать комнаты, строить какие-то дурацкие дверцы! Разве может такой человек, как Мартинюк, представлять советскую власть в Бердянске? Ведь это нелепо!

Вы только подумайте! Старик, полвека лечивший

людей, заслуженный человек, которым Бердянск, несомненно, гордится, вдруг в конце своей жизненной дороги натыкается на запертые мартинюковские дверцы, принужден слушать молодецкие фразы вроде: «в двадцать четыре часа!» и сделаться лишним человеком в своей квартире.

Странный способ праздновать пятидесятилетие трудовой жизни героя труда!

Доктор, конечно, бегал по так называемым инстанциям, жаловался, просил. Но куда ему в его семьдесят шесть лет! Много не побегаешь! А для такой штуки, как восстановление квартирных прав, требуется атлетическое телосложение, безукоризненное сердце, прекрасные легкие и два года свободного времени. И там, где молодой мог бы в короткий срок восстановить справедливость, там старик пасует.

Доктору никто не помог. Но не только потому, что он недостаточно громко жаловался. Здесь есть еще другое обстоятельство, и, надо сказать правду, очень неприятное. Когда доктор был в расцвете сил, когда он был нужен, о нем заботились. А сейчас он сработался, непосредственной пользы он уже не приносит, о том же, сколько пользы принесла его громадная трудовая жизнь, успели быстро забыть. И не получил старик счастливой старости, которую заслужил.

Между тем у нас есть такие законы о стариках, о социальном обеспечении, каких нет нигде. Но как они осуществляются? Наркомсобес, конечно, считает, что выполнил свой долг, аккуратно выплачивая доктору Бердичевскому его пенсию. Но дело не в пенсии. Функции собеса гораздо шире. Нужны самые разнообразные формы помощи. Что знает, например, Наркомсобес о тысячах стариков и старух, о своих пенсионерах поменьше рангом, чем доктор Бердичевский, о тех, которые живут в коммунальных квартирах? Хорошо ли им живется? Не обижают ли их домоуправления, не притесняют ли соседи, а в иных случаях и родные?

Можно согласиться с тем, что наша художественная литература не всегда поспевает за жизнью. Однако бывают и отдельные удачи. Обратил ли вни-

мание Наркомсобес на то, что в газетных фельетонах постепенно выработался хотя и стандартный, но чрезвычайно трогательный тип жалующейся старушки и, заметьте, пожалуйста, именно старушки, а не пионера, не физкультурника, не пекаря, не слесаря, не певца, не портнихи. Именно литературный образ, обобщенный, выработавшийся благодаря типичности явления. Уж будьте покойны, если бы в литературу стал проникать тип, скажем, страдающего токаря по металлу, то в Наркомтяжпроме сразу бы заинтересовались корнями этого литературного явления. Но в Наркомсобесе и в ВЦСПС сидят как ни в чем не бывало, будто бы страдающая старушка или какой-нибудь обивающий пороги старик не имеют к ним никакого отношения.

Нет, товарищи, старики — по вашему ведомству. Мало того — по нашему общему ведомству. Все население советского государства должно заботиться о наших стариках.

В капиталистическом обществе старость — это пугало. Миллионы людей живут в ужасном сознании того, что когда они состарятся и выбьются из сил, им не на кого будет опереться, никто не обязан им помогать. Там каждый сам за себя. Если человек не накопит денег на старость, он пропадает. Черствый, казенный кусок хлеба в богадельне для старика хуже смерти. И вот все эти миллионы людей, подгоняемые призраком одинокой, нищей, беспризорной старости, копят гроши, отказывая себе решительно во всем. Только капитал может дать им спокойную старость.

У нас этого нет. Эта тяжесть с советских людей снята. У нас старость — не пугало.

И эта старость, тщательно охраняемая советским законом, нуждается не только в материальной поддержке, но и в почтительном уважении со стороны молодежи.

Приходится опять произнести два слова, которые все чаще и чаще повторяются в последние месяцы — Наркомпрос и комсомол.

Воспитывается ли в школьниках, пионерах и комсомольцах чувство уважения к старикам? Входит ли в

школьные программы воспитательная работа такого рода? Во всяком случае, любимая шутка подрастающего поколения: «Тебе, старик, в крематорий пора» — об этом не свидетельствует.

Сотни мелочей — от вежливо уступленного места в вагоне метро до помощи во время перехода оживленной улицы — скрасят жизнь стариков.

Почтение к старости должно прививаться молодежи так же решительно, как математика и география.

Давайте, товарищи, уважать стариков. Все мы будем когда-нибудь стариками!

1935

ЧУВСТВО МЕРЫ

Чем ближе подходит страна к осуществлению мечты, которая веками томила человечество, чем яснее рисуются прекрасные очертания нового общества, чем больше мы начинаем понимать, на какую высоту поднялись, какие кручи преодолели и как близка ослепительная вершина социализма, тем строже становятся люди к самим себе, тем больше обостряются их зрение и слух, тем ответственнее делается работа каждого — от уборщицы метро, гоняющейся за пылинкой, до директора металлургического завода, руководящего десятками тысяч рабочих и сотнями инженеров. И тем досаднее становится каждая помеха, тем противнее делается всякая глупость. Так, например, стало нестерпимо, почти физически больно видеть дурака, наблюдать его тошнотворную деятельность. Думается, что это чувство знакомо многим.

Если внимательно рассмотреть большинство так называемых головотяпских дел, с которыми сталкиваешься в жизни и о которых читаешь в газете, то замечаешь между ними чрезвычайно тонкое, почти неуловимое сходство. Все они вызваны одной и той же причиной — отсутствием чувства меры.

Скажем, так: товарищ Икс, не плохой, в общем, человек и работник, совершил некоторым образом антиобщественный поступок. Поступок выразился в том, что Икс на вечеринке в своем учреждении выпил лишнее, надел пальто задом наперед и лег посреди зала на пол, мешая сослуживцам и их семьям танцевать западные и восточные танцы. Его увели.

На другой день в стенгазете появилась заметка, в которой товарища Икса справедливо порицали за неприличное поведение и призывали не повторять впредь подобных поступков. Икс был очень опечален происшедшим и искренне раскаивался.

Однако в тот же день было созвано экстренное общее собрание, где Икса заклеймили самым страшным образом. Один оратор договорился даже до того, что назвал поступок Икса вылазкой. Чьей вылазкой и куда именно вылазкой, он не сказал.

Тем не менее какая-то культкомиссия на всякий случай отобрала у Икса путевку в дом отдыха, которую он получил и еще не успел использовать.

Начальник учреждения тоже принял меры против совершенно скомпрометированного сотрудника и уволил его со службы.

Жена бросила заклейменного Икса и, забрав детей, переехала к родителям, а домоуправление стало взимать с него квартирную плату, как с лица свободной профессии. Потом пришел монтер и молча унес телефон. Уже соседи начали было поговаривать о том, что не худо бы врага общества выселить из дома, отдав им освободившуюся площадь, как вдруг из прокуратуры раздался громовой отрезвляющий голос:

— Вы что, товарищи, с ума сошли? Разве можно так поступать с человеком?

И начался великий откат. Все шарахнулись в другую сторону.

Голос раздался в десять часов сорок пять минут, а уже в одиннадцать пришел монтер и молча повесил телефон на старое место, добавив вторую розетку, которой раньше не было. Затем явилась жена, ведя перед собой детей. Вид у нее был такой, словно она только на минутку уходила на рынок. В тот же день Икса приняли на прежнюю службу, уплатили за вынужденный прогул и неизвестно за что премировали сапогами. Взамен утраченной путевки он получил новую, бесплатную, на два месяца. Местком устроил в честь Икса бал, на котором всячески прославлялась его многолетняя и полезная деятельность, а так же безукоризненное поведение. Что же касается стенга-

зеты, то ее редактор получил строгий выговор за то, что опорочил товарища Икса.

Таким образом, опять началась какая-то чепуха и снова пострадал ни в чем не повинный человек. Ведь стенгазета была права, когда порицала Икса за неприличный поступок. Но в безумном стремлении исправить ошибку с шумом и гамом сотворили новый перегиб.

Это шуточная, выдуманная история, но разве она неправдоподобна, разве не бывает таких историй, когда из-за отсутствия чувства меры совершают отвратительные глупости?

Первого мая в Иркутске 18-я средняя школа готовилась к участию в праздничном шествии.

Был там старый учитель Ткаченко, известный как лучший преподаватель и общественник. За образцовое ведение кружка авиамоделистов Ткаченко был трижды премирован. С особенной любовью и старанием он подготовлял школьников к первомайским дням. Он придумал и изготовил гигантский глобус и организовал полет бумажного шара над площадью.

В общем, все было прекрасно. Ткаченко шел в колонне, окруженный детьми и товарищами по работе. Все были веселы, тащили глобус, пели и старались идти в ногу. Счастливый день!

Внезапно к колонне мелкой рысью подбежал Сельдищев, инструктор гороно. Он был бледен и еще издали махал руками. Как видно, инструктор собрался возвестить какую-то чрезвычайную инструкцию. Пение прекратилось, глобус перестал вертеться, и школа остановилась.

Инструктор направился прямо к учителю Ткаченко и решительно предложил ему покинуть колонну.

— По личному распоряжению заведующего краевым отделом народного образования товарища Басова,— сообщил инструктор.

— За что?

— За то, что вы не в летнем костюме.

— Но ведь сегодня холодно.

— Товарищ, выполняйте приказание.

— Ведь это все-таки Иркутск, а не Ялта.

— Выполняйте приказание, товарищ.

— Я, наконец, пожилой человек. Мне здоровье не позволяет ходить в майке и белых штанах.

— Выполняйте, товарищ, приказание.

Колонна ушла, а почтенный учитель остался, в одно мгновение превратившись из уважаемого члена коллектива в подозрительного одиночку — не то частника, не то разоблаченного внутреннего эмигранта. Он печально посмотрел на удаляющийся глобус, который еще вчера клеил, подумал-подумал и побрел домой.

Идиотизм этого происшествия ясен. Не требуется никаких дополнительных разъяснений. Гораздо интереснее причины, которые вызвали это происшествие.

Всем, конечно, хочется, чтобы первомайская процессия имела наиболее нарядный вид, чтобы все ее участники носили светлую одежду. Но каждое хорошее начинание можно изгадить, превратить в труху. Заведующий краевым наробразом вполне преуспел в этом, опозорив и оскорбив заслуженного педагога. Красивый вид он предпочел здравому смыслу.

Хорошо еще, что Басов не заведует образованием на острове Диксон. Там он разогнал бы всю первомайскую демонстрацию. Как сообщает корреспондент «Правды», на Диксоне встречали праздник в оленьих дохах и пимах. Этого Басов, конечно, не потерпел бы. Светлый праздник труда и весны — и вдруг какие-то меха! В майках надо, товарищи! В трусиках! В тапочках! Порядка не знают!

Большое опасение вызывает дело народного образования в Иркутске, которым руководит человек неуравновешенный и совершенно лишенный чувства меры.

Вероятно, Басов станет оправдываться тем, что он получил директиву вывести школьников в летнем. Что ж, могло быть такое разумное распоряжение. Но ведь каждая директива дается в расчете на то, что выполнять ее будет человек с головой на плечах.

Нельзя же все приказы, распоряжения и инструкции сопровождать тысячью оговорок, чтобы Басовы не наделали глупостей.

Тогда скромное постановление, скажем, о запрещении провоза живых поросят в вагонах трамвая должно будет выглядеть так:

«1. Запрещается во избежание штрафа провозить в вагонах трамвая живых поросят.

Однако при взимании штрафа не следует держателей поросят:

а) толкать в грудь;

б) называть мерзавцами;

в) сталкивать на полном ходу с площадки трамвая под колеса встречного грузовика;

г) нельзя приравнивать их к злостным хулиганам, бандитам и растратчикам;

д) нельзя ни в коем случае применять это правило в отношении граждан, везущих с собой не поросят, а маленьких детей в возрасте до трех лет;

е) нельзя распространять его на граждан, вовсе не имеющих поросят;

ж) а также на школьников, поющих на улицах революционные песни».

И так далее. Писать можно до бесконечности, потому что невозможно предусмотреть все, что может натворить осатаневший администратор.

Есть такая чрезвычайно полезная штука — агроминимум. Но вот в Кантском райисполкоме Киргизской АССР и в это ясное и важное мероприятие внесли истерическую ноту. В обязательном постановлении, изданном по этому поводу, есть пункт 3-й VIII раздела:

«Организовать уничтожение воробьев, грачей, уничтожив в первую очередь гнезда».

Самый пункт ничем, собственно, не угрожает населению Кантского района. Зато 9-й пункт этого же раздела наводит страх:

«Лица, виновные в нарушении настоящего обязательного постановления, подлежат ответственности в административном порядке: штрафу до 100 рублей или принудительным работам на срок до 1 месяца, а в особо злостных случаях привлечению к уголовной ответственности по декрету правительства от 7 августа 1932 года, как за расхищение общественного имущества».

Позвольте! За неуничтожение воробьев отвечать как за расхищение общественного имущества?

Что за глупость! Почему тогда не карать за «неуничтожение воробьев и их гнезд» как за разбой-

ное нападение, или кражу со взломом, или за изготовление фальшивой монеты?

Закон от 7 августа — это очень серьезный закон и имеет в виду никак не воробьев, а птиц совсем другого полета. Неужели и этот исторический закон снабжать специальными оговорками по типу трамвайной инструкции о поросятах, чтобы кантское начальство могло его понять?

Казалось бы, что общего между историей учителя Ткаченко и этим вот воробьиным делом? Что общего между этими обоими делами и делом студента Сверановского, которого за ссору в трамвае приговорили к двум годам тюрьмы, или случаем в Сидоренковской школе, где в попечении о нравственности детей (вопрос важный и злободневный) пошли на безумную затею: стали свидетельствовать всех школьниц «на предмет установления невинности»?

Есть общее. Это делали люди, лишенные чувства меры и все доводящие до абсурда.

Праздник 1 мая — замечательный праздник.

Закон от 7 августа — важнейший закон.

Борьба с хулиганством — актуальнейшая проблема.

Наблюдение за нравственностью детей — первейшая задача педагога.

А что получилось у этих людей?

В заботе о красоте праздника оскорбили учителя. Закон о расхищении общественного имущества пытаются применить идиотическим образом. Борьбу с хулиганством дискредитируют несправедливым приговором. А в борьбе за нравственность совершили безнравственный, отвратительный поступок.

И все это делается не от излишнего усердия, не от рвения к работе, а от мучительного желания избавиться от работы, спастись от железной необходимости думать о том, что делаешь.

Здесь под видом бурной деятельности скрывается глубокая пассивность, особенно нетерпимая сейчас, в дни блестящего расцвета всех производительных и интеллектуальных сил страны.

1935

МАТЬ

Слово «рождение» пользуется в нашей литературе большим почетом, но употребляется почему-то только иносказательно. Литераторы любят пользоваться иносказаниями. Восторженный очерк о больнице называется «Кузница здоровья», а восторженный очерк о кузнице называется «Здравница металла». Делать это, в общем, совсем не трудно (каждый может), а получается довольно мило.

Так же поступают и со словом «рождение». Можно найти какие угодно названия и заголовки: «Рождение книги», «Рождение домны», «Рождение автомобиля», даже «Рождение лампочки» (как видно, электрической).

Товарищи, а просто рождение? «Рождение человека»?

Впрочем, бывает, что попадается и такой лучезарный заголовок, но это тоже иносказание. Под этим заголовком обычно таится история перестроившегося интеллигента. Поэтому не ищите здесь описания того, как мучилась мать, как волновался отец, причитала бабушка и как, наконец, раздался первый крик появившегося на свет младенца, крик раздраженный и хозяйский.

Не будем замазывать факта. Если перевести на общепонятный язык младенческое «уа-уа», то иной раз получится вот что:

— Товарищи, надо вам сказать откровенно, я родился по ошибке. Мама не успела вовремя сделать аборт, уа-уа. Таким образом, уа-уа, я появился в результате, так сказать, головотяпства моих родителей. И я заранее знаю, что произойдет. Уа-уа, у меня не будет ни братьев, ни сестер. Мама не хочет иметь детей, она не верит в прочность брака. А папа, уа-уа, тоже хорош гусь: он считает, что дети — это мещанство. Я все знаю. Через полгода мой бойкий папа, уа-уа, побежит в загс и в пять минут разведется с мамой. Он любит молодых и часто женится. Алименты у него, черт возьми, придется вытаскивать клещами, уа-уа. Я-то не пропаду. Обо мне позаботится государство. Но обидно, уа-уа! Я хочу жить в семье, чтобы меня, уа-уа, любили, обожали, чтоб у меня были братья и сестры, чтоб нас было много, уа-уа. И чтоб все были похожи друг на друга, большая веселая компания детей. И чтоб никогда не угас великий род Ивановых, к коему, уа-уа, я имею честь принадлежать. Смотрите, как я хорош! Я вешу девять фунтов. Радуйтесь моему приходу, приветствуйте меня, снимите шляпы! Уа!

Ну, как после такой яркой и содержательной речи не удовлетворить законных, естественных требований младенца! Как не устроить торжества по поводу рождения нового человека!

Никто еще, собственно, не знает, как это надо делать. Но тут беспокоиться нечего. Новые обычаи приходят сами по себе. Их нельзя создавать искусственно.

В свое время новый быт пытались создать в учрежденском кабинете. Появились специальные книги и руководства, где с леденящей душу добросовестностью излагались формы новых обрядов.

По этому рецепту была наскоро состряпана кошмарная музыкально-профсоюзная мистерия под названием «Октябрины».

Новорожденного несли в местком. Здесь происходил церемониал вручения подарка. Дарили всегда одно и то же — красное сатиновое одеяло. Но уж за это одеяло председатель месткома брал реванш — над люлькой младенца он произносил двухчасовой доклад о международном положении. Новорожденный, нату-



рально, закатывался, но опытному оратору ничего не стоило его перекричать. Взрослые тоскливо курили. Оркестр часто играл туш. По окончании доклада несколько посиневшему младенцу давали имя: мальчика называли Доброхим, а девочку — Кувалда, надеясь, что детей будут так называть всю жизнь. Потом все с чувством какой-то неловкости шли домой, а председатель, оставшись один, вынимал ведомость и с удовлетворением записывал: «За истекший квартал проведено политобеденных перерывов 8, культшквалов — 12, октябрин — 42».

Дома, конечно, все приходило в норму. Доброхима называли Димой, а Кувалду, естественно, Клавдией. Но чувство неудовлетворенности оставалось еще долго.

И произошло то, что не могло не произойти. Форма, не наполненная содержанием, распалась.

Обычаи и традиции создаются не так.

В прошлом году Москва встречала челюскинцев и их спасителей. Встреча была триумфальная, очень красивая и сердечная.

Следует заметить, что до гибели «Челюскина» не существовало ни одного многотомного теоретического труда о том, как в социалистической стране надо встречать героя, въезжающего в город. Тем не менее все вышло прекрасно, хотя было сделано экспромтом, в несколько дней. В эти дни заговорило чувство. Произошло событие, содержание которого было настолько значительно, что стало легче лепить форму торжества.

Когда все мы научимся считать рождение ребенка прекрасным и радостным событием, то форма празднования этого события придет сама собой.

Не надо только торопиться и нервно сочинять заметки о многодетных родителях, называя их «кузнецами, выковывающими каждый год по малютке». Насколько нам известно, молот и наковальня тут совершенно ни при чем.

После рождения наиболее важным этапом в жизни человека является брак. Выражаясь языком театральных критиков, можно сказать, что брак по сравнению с рождением — это шаг вперед. Как же делается этот шаг? Уа-уа, как говорит наш друг-младенец, весьма часто он делается легкомысленно и бездумно. Жениться легко, а развестись уж совсем нетрудно. Говоря откровенно, развестись у нас легче, чем, скажем, прописаться в доме, или получить нужную справку, или перевезти на дачу керосин. И этой легкостью, несомненно, злоупотребляют.

Однако чрезвычайно умный и человечный закон о разводе писан вовсе не для того, чтобы пользоваться им, как трамваем. Сел, заплатил десять копеек, проехался в свое удовольствие и погнался за другим вагончиком. Закон этот писан для облегчения человеческой жизни, для того, чтобы не угнетать формальностями людей, которые глубоко запутались в своих семейных противоречиях и вынуждены прибегнуть к разводу — печальному и, к сожалению, единственному выходу. Но никто никогда не позволял прикрывать законом половые похождения эгоистических и морально нечистоплотных людей.

Было бы проще всего изречь громовую фразу: «Пора уже ударить по донжуанским настроениям».

Изречь — и успокоиться. Борьба с донжуанством велась бы в профсоюзных канцеляриях. Спустили бы директиву, и тот самый месткомовец, который так усердно октябрил малюток, снова вытащил бы ведомость и, прищурив глаз, начал бы выводить свои кривые: «Выявлено растратчиков 85, хищников кооперации — 58, донжуанов — 16, половых разложенцев — 2, прочих — 11».

Разве это поможет?

Здесь на помощь закону должно прийти общественное мнение. Человек, меняющий жен чуть ли не каждый год, человек, бросающий женщину с ребенком и увиливающий от уплаты алиментов, должен знать, что это ему с рук не сойдет, что друзья отвернутся от него, что товарищи по работе перестанут подавать ему руку.

Сейчас все эти вещи происходят с какой-то обидной простотой. Человек бросил женщину ни с того ни с сего. Официально это называется «не сошлись характерами». На самом же деле совершена подлость. И все это знают, сочувствуют бедной женщине. Но сочувствие это абстрактно и не влечет за собой никаких практических последствий. Друзья-приятели подлеца ведут себя, как будто ничего не случилось,— разговаривают с ним, выпивают, дружат. У них не хватает мужества поступить так, как подсказывает совесть,— при встрече с ним спрятать руку за спину. Кстати, если полная отмена рукопожатий есть некий перегиб, то уж рукопожатия с мерзавцами можно отменить безболезненно.

Покамест этого еще нет, и лихие советские гусары чувствуют полную безнаказанность. Законом можно воспользоваться в своих низменных целях, друзья не осудят,— таким образом, все в порядке.

Надо ли удивляться теперь большому количеству абортов?

Очень часто женщина боится рожать, потому что не верит мужу. Да и как ему поверить, когда шалун уже третий раз женат! Он может сбежать и теперь. Уедет куда-нибудь на две недели поправлять расшатавшееся здоровье, вернется с новой женой и бодро

примется возводить в комнате перегородку. Нет, такому попрыгунчику никто не родит ребенка. Будь авторы этой статьи женщинами, они не хотели бы иметь детей от такого типа.

Есть и самый обыкновенный эгоизм. Семья хорошая: муж любящий и верный, жена верная и любящая, квартира удовлетворительная, а детей все-таки нет. Не хотят рожать. Дети, видите ли, кричат, плачут, мешают ходить в театр, в гости, мешают, как говорит жена, заниматься общественной работой (как будто воспитание детей — это не общественное дело, как будто у нас мало женщин, которым большая семья не мешает заниматься общественной работой).

Многим, конечно, рожать трудно. И жить тесно, и материальное положение еще не ахти какое, и работа с различными нагрузками отнимает порядочно времени. При таких условиях иметь детей нелегко. И все же женщина самоотверженно становится матерью.

Государство это понимает. Оно заботливо предоставляет роженице бесплатную врачебную помощь, продолжительный отпуск до и после родов, помещает ее в лечебницу, выдает пособия, дает для детей консультацию, ясли, сады.

Но в быту у нас материнство не пользуется даже частицей подобного внимания. Это факт не очень приятный, но все-таки факт, и обойти его невозможно, потому что, как нам кажется, невнимательность к женщине является центром всех затронутых здесь вопросов.

Женщина в Советском Союзе имеет совершенно равные права с мужчиной, без всяких оговорок и ограничений. Но находятся люди, которые считают, что это равенство освобождает их от каких бы то ни было обязательств по отношению к женщине. Мы, дескать, равны, и нечего тут огород городить, проявлять какое-то особенное почтение. Мы ребята, они девчата — и все тут.

И вот иногда под видом товарищества процветает грубость, даже цинизм, высмеивается естественная у молодежи нежность. Она заменяется панибратством

и развязным похлопыванием по плечу. И в этой атмосфере принижается важность отношений между мужчиной и женщиной, исчезает значительность супружества.

И так как свадьба не считается событием, то и проходит она незаметно и серовато. Позавтракал, сходил в кино, женился, заплатил профсоюзные взносы... Происшествия довольно обыкновенные, одного и того же ранга.

Не надо забывать, что, получив права равенства, советская женщина получила множество новых обязанностей. Она учится и работает наравне с мужчиной. И это равенство в работе обязывает мужчину относиться к женщине с особенной, рыцарской заботливостью.

И это не должно быть рыцарством вовремя поднятого платочка или обидным покровительством «слабому полу».

В каждой девушке надо ценить не только текстильщицу, отважную парашютистку или инженера.

В ней надо ценить будущую мать.

В матери одного ребенка надо ценить будущую мать восьмерых детей.

А в матери восьмерых детей... Впрочем, не будем загадывать. Будем ценить ее за то, что она уже успела сделать.

1935

В ЗАЩИТУ ПРОКУРОРА

История несчастной Марии Пронько, которая, к сожалению, осталась незамеченной, может вызвать волнение даже у самых мужественных людей.

Двадцать седьмого апреля студентка Никопольского пединститута Панасенко пришла к своим подругам в общежитие № 5. Она отдала студентке Марии Пронько двадцать рублей, которые была ей должна. Оставшиеся у нее сорок рублей она положила в книгу, и в тот же вечер эти деньги пропали. Очевидно, их кто-то украл.

Это событие вызвало большое возбуждение. Девушки решили обыскать друг друга, и три студентки-комсомолки, имеющие наибольший авторитет, в том числе и Мария Пронько, были выбраны для осуществления этой операции.

Обыск подходил к концу. Наступила очередь Пронько. Она сказала, что у нее должно быть сто семнадцать рублей. А нашли у нее сто сорок один рубль, на двадцать четыре рубля больше, чем она заявила. Этого было достаточно, чтобы подруги обвинили ее в краже. Мария Пронько отрицала свою виновность. Тем не менее вызвали коменданта общежития и в двенадцать часов ночи созвали общее собрание, на котором было решено просить дирекцию выселить Пронько из общежития и поставить вопрос о ней на обсуждение комсомольской организации и профкома.

Двадцать девятого состоялось заседание комитета комсомола. Студентка Кундер сообщила о тяжелом настроении Пронько и предупредила, что к девушке следует отнестись более чутко. Студентка Кожура рассказала, что Мария ведет себя очень подозрительно, что вчера она бесцельно бродила возле Днепра и что все это может кончиться худо. На это секретарь комитета Подреза ответил репликой, которая тогда, наверно, казалась ему очень остроумной и о которой он сейчас, может быть, вспоминает с ужасом. Он сказал:

— Вода в Днепре холодная, не утопится.

Решили: из комсомола исключить, а в институте оставить. Этим самым вопрос о том, воровка Пронько или нет, был решен — воровка. Ни секретарь комитета комсомола Подреза, ни председатель профкома Леонов, ни член комитета комсомола Круглик, которому поручили проверить случай с исчезновением сорока рублей,— никто из них не поговорил как следует с девушкой, никто не попытался вникнуть в обстоятельства дела.

Проснувшись в два часа ночи, студентка Кожура, которая взялась дежурить возле Пронько, заметила, что ее кровать пуста, и разбудила подруг. Девушки побоялись выйти ночью на поиски и обратились за помощью к Леонову, но он, вместо того чтобы немедленно организовать поиски девушки, о которой уже несколько дней было известно, что она покушается на самоубийство, заявил: «Если ее утром не будет, сообщим в милицию». А сам, как видно из обвинительного заключения, «лиг спаты».

В семь часов утра студентки Кожура и Кунахи пошли искать Пронько и на берегу Днепра нашли ее пальто и калоши. А через пятнадцать дней труп Пронько Марии, одной из лучших студенток института, всплыл в шести километрах от Никополя.

Как все это назвать? Есть только одно подходящее слово — самосуд. Самый дикий, темный самосуд, пропитанный идиотизмом деревенской жизни (хотя дело происходило в городе и в высшем учебном заведении).

Какие-то люди — студенты, коменданты, секретари, профорганизаторы — присвоили себе среди бела дня

права прокурора, следователя и судьи, сами обвинили, сами производили обыск, сами допрашивали, сами вынесли приговор и сами привели его в исполнение.

Конечно, виновников гибели несчастной девушки судили.

— И вы знаете,— сказал нам заместитель днепропетровского облпрокурора, выступавший на этом процессе,— самым удивительным было то, что все эти люди — Подреза, Круглик, Леонов и другие — не понимали, за что их судят. И только к концу процесса, после речей, начали смутно догадываться, что своим куриным равнодушием и легкомыслием погубили девушку.

Это большая заслуга процесса. Он заставил обвиняемых понять, что произошло, и знание жизни, которое они получили за время судебной процедуры, несомненно, было значительнее воспитания, полученного ими в пединституте и в местной комсомольской организации.

Но есть еще одно важное обстоятельство, даже самое важное.

Когда в общежитии № 5 произошла кража, то никому из живущих там не пришла в голову мысль обратиться к судебным органам, которые установлены нашим законом. Люди считали, что могут судить сами. А комитет комсомола дошел даже до того, что, исключив Пронько из своих рядов, разрешил ей остаться в институте, хотя ни принимать в институт, ни изгонять из него не имеет ни малейшего права. Он делал все: возложил на себя функции прокурора, следователя, суда, даже Наркомпроса, но своего дела — воспитания молодежи в коммунистическом духе — он не сделал.

Молодые девушки и юноши, ничем, очевидно, не отличающиеся от других хороших юношей и девушек, вдруг забыли в трудную минуту о существовании прокуратуры и суда. Такую забывчивость можно объяснить лишь тем, что эти учреждения не пользуются у нас настоящей известностью. Они недостаточно популярны.

В газетах можно найти сообщение о ком угодно: о

талантливом доменщике, о смелом водолазе, о способном инженере, спортсмене, хирурге. Это хорошо. Но, скажите, читали ли вы хоть строчку о талантливом прокуроре, проницательном следователе, умном судье или способном защитнике?

О какой-нибудь дрянной пьеске, сооруженной с лихорадочной быстротой и залакированной до отвращения, пишутся десятки статей. Но скажите, пожалуйста, много ли вы читали толковых судебных отчетов, известны ли вам речи наших выдающихся прокуроров, в которые вложено глубокое знание жизни?

Если о судебном процессе и пишется, то пишется так: «обвинение поддерживал такой-то» (следует перевранная фамилия), «защищал ЧКЗ такой-то».

А как поддерживал, как защищал и что такое «ЧКЗ»,— будьте добры, догадывайтесь сами.

О том же, в каких условиях работают прокуратура и суд, совсем уже ничего не известно.

Между тем их ответственный труд протекает в условиях чрезвычайно тяжелых. Начать с того, что в одном из народных судов после торжественного возгласа «суд удаляется на совещание» судья с печальной миной встает и, сопровождаемый народными заседателями, направляется прямо в уборную, потому что это единственное место, где можно совещаться,— другого помещения нет. Мы нарочно не указываем, где находится этот суд, так как подсудимые, свидетели и публика потеряют к нему всякое уважение. Правда, после мобилизации средств местного бюджета удалось добиться того, что сняли унитаз. Но трубы остались, остался бак, висит цепочка.

Большинство райисполкомов считает своим долгом запихнуть суд, прокурора и следователя в самое скверное, грязное и вонючее помещение во всем районе.

Прокуроры, эти суровые хранители закона, бегают с протянутой рукой и вымаливают несколько рублей на побелку служебных комнат. Работники прокуратуры уже не говорят о том, что получают маленькие ставки. Общий крик: дайте хоть немножко денег на организацию дела. Нет грошовой суммы, чтобы купить шкаф для хранения документов. Судебные дела лежат

на стуле. Но самое тягостное, просто невыразимое — это отсутствие бумаги.

Вообще говоря, надо приветствовать всякое сокращение учрежденческой переписки. Но в делах судебных каждое действие обязательно должно быть занесено на бумагу. Допрос обвиняемого — это бумага, допрос свидетеля — это бумага, обвинительное заключение, протокол заседания, приговор, повестка — все это бумага, бумага. Дошло до того, что в некоторых районах осужденным не дают копий обвинительного заключения и приговора — нет бумаги и нет на нее средств.

Следователь г. Орехова ходит по учреждениям и выпрашивает два-три листка бумаги. Он пишет свои протоколы, постановления и заключения на оборотной стороне веселеньких розовых или лиловых обоев. В районе все пишут на обоях. Там давно уже забыли, что обоями оклеивают комнаты. И следователь жаловался не на то, что пишут на обоях, а на то, что обоев нельзя достать.

— Я думаю устроить так,— сказал он совершенно серьезно,— отказаться от телефона и электрического освещения. Тогда у меня будет целых семнадцать рублей в месяц, и на эти деньги я смогу покупать бумагу.

Следователь, работающий вблизи Днепрогэса и отказывающийся от электричества,— это очень грустное, товарищи, явление.

Тут же на столе районного прокурора лежала бумажка относительно обложения его сельхозналогом. Дело в том, что у прокурора есть лошадь для разъездов по служебным делам, а средств на ее прокорм не дают. Пришлось ему самому засеять несколько гектаров овсом и кормовыми травами. Прокурор, сеющий овес,— явление тоже довольно грустное. Но он доволен. Другим судебным работникам хуже. У них нет никаких средств передвижения, и они ходят пешком по двадцать километров, по тридцать километров.

У следователей нет даже самых примитивных технических средств для расследования преступлений: нет фотографического аппарата, нет обыкновенной лупы, ничего нет.

Попробовали бы поставить Шерлок Холмса в такие условия! Великий сыщик захирел бы в два дня и поспешил бы изменить профессию. А наши следователи и прокуроры работают, не падая духом и даже не надеясь на простую благодарность. На Всеукраинском съезде работников юстиции прокурор Криворожья сказал:

— Работаю больше десяти лет и никогда не слышал слова о том, как я работаю — хорошо ли, плохо ли. Это тяжело — работать десять лет в молчании.

Мы приехали в маленький город Большой Токмак. Был ранний вечер. В скверике прогуливались большие и малые токмакцы. На столбе висела афиша фокусника и жреца Кефалло, предлагающего вниманию публики какой-то таинственный саркофаг, летающую женщину и прочие чудеса XIX века. На главной улице достраивалось несколько четырехэтажных кирпичных домов. И в этом тихом городе мы узнали историю, очень напоминающую дело Марии Пронько и показывающую, как тесно связана прокуратура с жизнью и как велика была среди внезапно запылавших страстей роль прокурора, точно выполнившего закон.

Мы застали дело в самом разгаре.

В комсомольскую организацию села Гавриловки поступило заявление о том, что учитель школы-семилетки Василь Вивчар вынуждает учениц школы к сожительству и живет с некоторыми из них. Страшная картина! Сразу же представляется пожилой, бледный и усатый мерзавец, заманивающий маленьких девочек в сарай и там развращающий их. Строгое возмездие последовало немедленно. Вивчара исключили из комсомола и уволили из школы. Обе организации — райком комсомола и наробраз — потребовали от прокурора предать Вивчара суду. В общем, повторилась история Марии Пронько. Судили и вынесли приговор сами. Разница была лишь в том, что Вивчара решили засадить еще и в тюрьму. Это было большое счастье, потому что когда следователь Пироженко и прокурор Машкевич взялись за дело, то оно приобрело совершенно другое освещение.

Как много значит добросовестное и точное предва-

рительное следствие. Вот какими оказались обстоятельства дела:

Вивчару двадцать один год. Он преподает в первом классе. Ученице Ю., в сожительстве с которой его обвиняли, семнадцать лет. Училась она в седьмом классе, в школьной зависимости от Вивчара не находилась и к началу следствия уже окончила школу. На допросе она сперва все отрицала, а потом храбро призналась, что находится с Вивчаром в близких отношениях, больше того — любит его и собирается выйти за него замуж. Сам Вивчар тоже признал свою вину. С ученицей Ю. он встречался не в школе, а в клубе или на улице, стал с ней близок за несколько дней до окончания ею школы, очень ее любит и, естественно, собирается на ней жениться. Что же касается обвинений в том, что он близок с другими ученицами, то они сразу отпали как ложные. Все дело затеял дядька и опекун ученицы Ю., бывший кооператор, темные дела которого Вивчар в свое время разоблачил в газете. Этот дядька выкрал любовные письма Вивчара,— кстати, очень чистые и нежные, и передал их в комсомольскую организацию. Вот все.

Это была настоящая драма, которая неумолимо вела молодых людей к гибели.

Когда Вивчара судили на комсомольском собрании, он прислал заместителю секретаря райкома комсомола Пономаренко, который, как видно, в порядке кампании «проворачивал» это дело, трагическое и правдивое письмо. Письмо это в сокращении и переводе с украинского много теряет, но даже и в таком виде вызывает волнение.

«Я хотел бы, чтобы эти строки попали к вам до того, как вы будете говорить там про меня. Но, вероятно, это делается в одно и то же время. Я тут пишу, а вы там говорите. Ну, ничего. Я признаю свою ошибку, что как учитель я по закону не имел права влюбиться в ученицу седьмого класса, которой семнадцать лет... Мне никто не верит. Судите как хотите, но я еще раз со всей твердостью говорю, что я ее люблю. Не поверить этому может только человек, который никогда не был молодым. Я хочу привести один

пример, который может показаться вам смешным. Когда цыплята живут дружно и все здоровы, они живут мирно. Но если у одного появляется ранка, все моментально набрасываются на него и клюют. И если не отнимешь — заклюют. За что постановили исключить меня из комсомола? За то, что я влюбился... Когда умерла моя сестра, я не плакал, а на собрании слезы душили горло, и я не мог говорить... Не вызывайте меня, я не смогу говорить снова».

И после такого письма Пономаренко не только добился изгнания Вивчара из комсомола и из школы, но еще напечатал в токмакской газете «Більшовицким шляхом» погромную статью под названием «Хлестаков из села Гавриловки». Он — невежда, этот Пономаренко. Вместо «Дон-Жуан» он написал «Хлестаков». Когда секретарь Большетокмакского райкома партии, находившийся в отпуску, получил в Крыму номер газеты с этой статьей, он схватился за голову. Он знал Вивчара, хорошего комсомольца, помогавшего ему в политотдельские времена, вдумчивого парня, сочиняющего повесть о том, как создался в Гавриловке колхоз, а тут о нем писали, как о бандите. Писали, что он «як хижий звир, почав переслідувати одну за одніею дівчат», что мало того, что его исключили из комсомола, сняли с работы и передали прокурору, что его еще надо «випекти печеним залізом».

Можно твердо сказать, что трагический конец был предотвращен только потому, что прокурор и следователь отказались от привлечения Вивчара к ответственности, несмотря на давление, которое оказывалось со всех сторон. Они твердо держались закона. Народный судья поддержала их в этом решении, вспомнив, что сама в свое время вышла замуж шестнадцати лет.

Мы попали в село Гавриловку в тот самый день, когда была назначена свадьба страшных преступников. Видели мы и «хищного зверя» Вивчара, мечтательного, скромного и красивого юношу, видели и бывшую ученицу Ю., чрезвычайно милую и скромную девушку, видели мы и других девушек-комсомолок, которые судили Вивчара, очень смешливых и симпатич-

ных. И как это они чуть не заклевали двух славных цыплят, сразу даже непонятно. Руководство было плохое! А как нужны умные люди в районе! И как хорошо, когда они есть.



Прокуратура и суд нуждаются в средствах и людях. Но туда не идут. Там тяжело работать и нет шансов оказаться замеченным. Когда человека посылают в прокуратуру, он с тоской вопрошает: «За что? Чем я провинился?» А если члену партии предложить, по окончании университета, пойти в коллегию защитников, то он просто засмеется, как будто институт защитников создан законом не для того, чтобы помогать суду в судебном следствии, а для каких-то темных и грязных делишек.

Если мы хотим, чтобы суд был не только карающим, но и воспитывающим органом, его надо соответствующим образом обставить. Хорошо освещенный процесс по бытовому делу может принести громадную пользу. Хорошая речь прокурора или защитника имеет не меньшее воспитательное значение, чем роман или пьеса, которым отдается столько внимания. И с этой позиции приходится только сожалеть, что наши выдающиеся судебные ораторы не выступают по бытовым процессам, а о тех, кто выступает, нигде и никогда не пишут.

1935

ОТЕЦ И СЫН

Студента четвертого курса Ростовского-на-Дону института путей сообщения Окуня вычеркнули из списка учащихся и объявили ему, что он может идти на все четыре стороны.

Когда человеку объявляют, что он может идти на все четыре стороны, то это, собственно говоря, значит, что, несмотря на обилие сторон, идти некуда.

Что же такое натворил студент, что за несколько месяцев до окончания института к нему была применена столь строгая репрессия?

Может быть, он плохо учился и не вылезал из двоек и единиц?

Да нет, он не вылезал из четверок и пятерок, он отлично учился.

Может быть, однако, он хулиганил, пьянствовал, вносил разложение в среду товарищей, отличался половой распущенностью, был замечен в краже, грубил профессорам, наконец вел контрреволюционную пропаганду!

Нет, нет и нет. Не пил, не имел трех жен, не воровал, не распутничал, ничего антисоветского не совершил.

Всех проступков, которые может совершить человек, не перечислишь. Их слишком много.

Но хоть какой-нибудь из них студент совершил? Никакого! В этом вся оригинальность дела.

Когда Окуня исключали, никто и не предъявлял ему никаких обвинений. Администрация института великолепно знала, что он ни в чем не провинился, и наказала невинного, находясь в здравом уме и твердой памяти.

В общем, Окуня выгнали за то, что его отец совершил уголовно-наказуемое деяние и был приговорен к двум годам лишения свободы без поражения в правах.

Неизвестно, как разговаривал Окунь с начальником института, когда тот подымал на него карающую руку, но, как видно, разговор был такого рода:

— За что? Разве я виноват?

— Вы не виноваты. Виноват ваш отец.

— Ну, так его и исключайте.

— Мы не можем его исключить. Он у нас не учится.

— Почему же вы наказываете меня?

— Вы его сын.

— Но ведь я не совершал уголовно-наказуемого деяния.

— Боже упаси! Разве мы это когда-нибудь утверждали?

Студент обрадовался:

— Тогда не исключайте меня.

— Этого мы не можем. Он ваш отец, вы его сын. Значит, между вами есть многолетняя связь.

— Не преступная же связь, а родственная. Он меня родил. Так сказать, произвел на свет. Конечно, если б я знал, что так случится, может быть, я успел бы принять какие-нибудь профилактические меры,— например, не родился бы.

— Да,— сказал начальник,— конечно, лучше было бы, если б вы своевременно приняли меры. А теперь поздно.

— Значит, пропадать?

— Пропадать!

Студент стал пропадать. Тем более это было ему неприятно, что его преступный папаша сидел не два года, а только два месяца, так как был освобожден по 458-й статье. Папаша снова преспокойно служит. Как

видно, преступление, которое он совершил, было маленькое.

А сын, который никакого преступления не совершал, отбывает наказание и по сей день, наказание гораздо более суровое, чем отсидка в тюрьме. Это продолжается уже десять месяцев.

Все, кто знает про его беду, пожимают плечами и говорят, что это уму непостижимо.

Здесь проявлено величайшее пренебрежение к революционному закону, величайшее неуважение к советскому суду.

Если бы суд нашел необходимым, он в своем приговоре указал бы, что отец Окунь присуждается к двум годам, а сын Окунь — к лишению права учиться. Однако суд этого не сделал.

На каком же основании начальник института дописывает приговоры суда, добавляет к ним новые пункты? Никто ему такого права не давал.

Разве такого рода действия не являются превышением власти и нарушением закона?

Тут дело уж не только в восстановлении Окуня в его студенческих правах, тут надо восстановить право советской законности, которому начальник института нанес ущерб.

Вообще поражает легкость и беззаботность, которая проявлена в деле Окуня.

Оставим в стороне тот несомненный факт, что десять месяцев борьбы провели в душе студента резкий след. Посмотрим на дело с узко практической стороны.

Студента учили четыре года, затратили на обучение много государственных средств, наконец почти выучили. Через какие-нибудь месяцы Советская страна получила бы нового знающего инженера.

А вместо этого ей хотят подарить издерганного неудачника, без образования и перспектив, человека, который в лучшем случае может стать конторщиком.

Подумали ли об этом в Ростовском институте?

1935

ЧАСЫ И ЛЮДИ

В первый же день после возвращения из Америки мы встретили довольно известного хозяйственника. Это был деловой человек. Он и не думал заводить пустяковых разговоров: не стал спрашивать, какой высоты нью-йоркские небоскребы, благоприятствовала ли погода нашему путешествию и качало ли нас в океане. Нет, он сразу, как говорится, взял вола за хвост.

— Слушайте, черт бы вас подрал, вы же теперь американцы. Вы, наверно, видели массу интересного и полезного по нашей линии.

Его линия была торговая, и мы ответили, что в области торговли действительно кое-что видели.

Тогда хозяйственник извлек из портфеля хорошенькую записную книжку и воскликнул:

— Вы обязательно должны поделиться с нами своими впечатлениями!

Мы сказали, что собираемся писать об Америке целую книгу, и там вопросы торговли...

— Ну, когда это вы еще напишете свою книгу! Нам все это необходимо сейчас. Мы люди оперативные. Итак, друзья, я записываю — завтра ровно в семь часов или даже лучше ровно в восемь я соберу у себя человек десять или лучше двадцать наших работников, заведующих универмагами и так далее, и в такой товарищеской обстановке вы расскажете нам про торговлю в Америке.

Мы согласились. Он записал наши телефоны и адреса.

— Завтра ровно в семь тридцать за вами заедет машина. О'кей? Верно?

Мы почувствовали себя немножко пристыженными. Мы-то, по совести говоря, собирались еще денька три ничего не делать, отдыхать. Как раз завтра собирались пойти к знакомым на вечеринку — поболтать и потрепаться. Пришлось все отложить. Дело прежде всего. Хозяйственник был прав.

И, получив наше согласие, он исчез — бодрый, деловитый, жадный до дела янки.

На другой день ровно в семь тридцать машина не пришла. Не пришла она также ровно в восемь. Ровно в восемь тридцать ее тоже не было. Мы некоторое время простояли в передней в шубах и шапках, а потом вышли в переулок. Может, шофер спутал адрес, черт его знает! Погуляв по переулку с полчаса, мы побежали домой, охваченные тревогой. А вдруг, покуда мы прохлаждались в переулке, он нам звонил? Но нет, домашние сказали, что никакого звонка не было. Ровно в одиннадцать, правда, звонили и спрашивали какую-то Бенуэссу Александровну. Но это была явная ошибка. Кто-то спутал телефон.

С того времени прошел год. Уже мы и книгу об Америке написали, толстую-претолстую, уже ее даже напечатали, а наш знакомый из Наркомвнуторга до сих пор не прислал за нами и даже не позвонил.

Мало у нас деловитости, товарищи, все еще мало. Почему-то не считается грехом нарушать свое слово, нарушать ежедневно, десятки раз на день. Ну не позвонил, не приехал, заставил человека прождать три часа — пустяки, не в этом главное! Мол, в важном деле он никого не подведет. В важном деле он — гранит. Ой, не верится, что гранит! Человек, способный нарушить свое слово в самом мелком деле, несомненно, способен нарушить его и в важнейшем, даже, может быть, невольно, просто по привычке.

Сейчас мы расскажем несколько «пустяков» об одном заводе, на котором были недавно. Мы не называем этого завода, как не назвали фамилии янки из

Наркомвнуторга, потому что и янки по существу хороший работник и настоящий энтузиаст, и завод превосходный, и люди там напрягают свои силы, чтобы сделать его еще лучше.

Мы вошли в бюро пропусков. Над окошечком висели большие часы. Они показывали двенадцать с четвертью, хотя на деле было только одиннадцать без четверти. Этот простейший агрегат не работал и сразу лишил нас роскошной метафоры (ее мы любовно подготовили), что завод работает с точностью часового механизма. Мы огорчились этой литературной неудачей и пошли в заводоуправление.

Но, в общем, часы — это пустяк.

Нас принял главный инженер. Хотя рабочий день начался сравнительно недавно, лицо у инженера было такое утомленное, словно он только что приехал из Владивостока, причем десять суток провел в дороге, сидя на жесткой скамье в бесплацкартном вагоне. У него дергалась щека от нервного тика, и он тут же в кабинете принял какое-то лекарство. На стене висела стеклянная табличка: «Просят не курить и не просить разрешения». Это был вопль о пощаде. Как видно, пользуясь добротой главного инженера, при нем и курили и, чтобы его попусту не расстраивать, делали это без всякого разрешения.

Нас заинтересовал телефонный рупор на металлической раздвижной гармонике, который стоял на письменном столе.

— Это диспетчерский телефон,— объяснил нам главный инженер.— Очень удобная штука. Понимаете, голос диспетчера я слышу по радио, а рупор притягиваю таким вот манером к самому рту, так что руки у меня свободны, не надо держать трубку.

Тут же, впрочем, выяснилось, что эта хитроумная штука инженеру не особенно нужна, потому что с диспетчером ему приходится разговаривать очень редко. Кроме того, этот прибор вообще испорчен, так что связь с диспетчером поддерживается по самому обыкновенному телефону с самой обыкновенной трубкой, которую все-таки надо держать в руках без применения радио и тому подобных изобретений беспокойного

XX века. Но в конце концов — это пустяк и не стоит об этом много распространяться.

За двадцать минут главный инженер очень ясно и точно рассказал нам о работе завода и о его реконструкции. Мы уже могли идти смотреть цехи, но тут выяснилось, что нет того человека, который должен был нас сопровождать. Пока искали другого, прошло еще сорок минут. Эти сорок минут мы могли бы уже не утруждать главного инженера и провести время где-нибудь в коридоре на диванчике. Но он, очевидно из любезности, удерживал нас у себя.

Ну ладно, лишних сорок минут — в конце концов пустяки, мелочь.

Все-таки мы ушли в коридор. Это был обыкновенный полутемный учрежденский коридор, по которому часто без всякого дела проходили многочисленные уборщицы в громадных валенках и лихо надетых беретах, из-под которых кокетливо выглядывали челки. Долго они ходили мимо нас, строгие, вооруженные метлами.

В коридоре было как бы чисто, но в то же время как бы грязно. Это даже трудно объяснить. Это была чистота районной гостиницы, лихорадочно наведенная к приезду председателя облисполкома, видимость чистоты, грязь, замазанная масляной краской.

На стенах коридора было много черных стеклянных табличек, на которых золотом было выведено: «Уважайте труд уборщиц». Оконные стекла были все-таки немытые, а помещение плохо проветрено.

Впрочем, немытые стекла — это не так уж важно!

Унося в груди теплое чувство уважения к уборщицам, мы отправились на завод.

Хотя завод находился в состоянии реконструкции со всеми естественными в этом случае трудностями в работе, он производил великолепное, неизгладимое впечатление. В его громадных и светлых цехах, наполненных ультрасовременным оборудованием, мы забыли и об испорченных часах, и о ведомственном стишке: «Уважайте труд уборщиц, соблюдайте чистоту». Мы видели плоды великой победы.

Но самое большое впечатление производили не машины, а люди. После фордовского завода в Дирборне, где техника поработила и раздавила людей, где рабочие, прикованные к станкам и конвейерам, кажутся людьми глубоко несчастными, мы словно попали на другую планету. Мы увидели молодых рабочих, здоровых и веселых, увлеченных своей работой, дисциплинированных, дружелюбно настроенных к своим руководителям. Мы, конечно, и раньше знали об этой разнице, но как-то отвлеченно. А сейчас, под свежим еще впечатлением виденного в Америке, этот контраст восхищал, вселял непререкаемую уверенность в том, что все преодолеем, что все будет хорошо и что не может быть иначе.

Оптимистическое чувство, вызванное посещением завода, позволяет совершенно откровенно вернуться к тем мыслям, которые не покидали нас в бюро пропусков, в кабинетах и коридорах заводоуправления,— о том, что мало еще настоящей аккуратности и четкости в деловых отношениях.

Внезапно в каком-нибудь цехе нарушался великолепный ритм работы. Что такое? Не хватило какой-то детали. Остановка маленькая, как говорится,— пустяковая, какие-нибудь две минуты. Но для того чтобы войти в ритм, надо снова раскачиваться, ловить ритм, завоевывать его. А на это уходят уже не две минутки, а все пятнадцать.

Не надо быть специалистом, чтобы понять, какой громадный вред приносит производству беспрерывное хождение людей по цехам и дворам. Народ шел так густо, что сперва нам показалось, что происходит смена. Но мы пробыли на заводе несколько часов, и все это время по широким цеховым магистралям текли людские потоки. Гулянье было, как на Тверском бульваре в выходной день. Кто эти люди? Зачем они здесь? Если они пришли работать, почему они гуляют, а если они пришли гулять, то зачем их пустили сюда?

Не вызвано ли это теми же причинами, по которым стоят часы, главный инженер принимает лекарства, диспетчерский телефон не действует и так далее? И тут мы видим, что так называемые пустяки, соединяясь

вместе и дополняя друг друга, вырастают в явление значительное и важное, из-за которого стране недодают сотни машин, тысячи тонн угля, десятки кинокартин, сотни тысяч книг.

Итак, казалось бы, обычная статья на обычную тему. И назвать ее можно обычно, как это уже делали не раз: «Внимание мелочам». Но все-таки здесь идет речь о гораздо более важном — о воспитании характера.

Почему человек, приставленный к важному делу и сам считающий, что он работает до седьмого пота, не покладая рук, не щадя живота и засучив рукава (он и в самом деле так работает),— почему этот человек:

— не находит времени для деловой встречи,

— неуловим в своем же учреждении,

— всегда и всюду опаздывает, даже в гости приходит с опозданием на шесть часов,

— уже два года собирается написать письмо матери,

— вечно теряет адреса, квитанции, повестки,

— записывает номера телефонов на папиросной коробке «Почетные», которую выбрасывает через два часа?

Сам не замечая того, он по мелочам обманывает огромное количество людей и вносит серьезное расстройство в жизнь страны. Таков уже характер этого делового человека. А ведь он действительно себя не жалеет. Только вот характер у него суматошный, рыхлый.

Этот характер требует упорного воспитания. В нем надо развить черты, особенно важные в социалистическом обществе,— точность, аккуратность, педантичность.

Не надо бояться этого слова. Педантичность не имеет ничего общего с формалистическим отношением к делу. Педантичность — это в первую голову умение, знание, спокойная уверенность в своих силах, работа без надрыва, без истерики.

Нам нужны педанты. Умные педанты, потому что нет ничего страшнее педантичного дурака, который в

основу своей жизни может положить хранение старых, никому уже не нужных квитанций и повесток.

Нам нужно педантичное выполнение советских законов, педантичное выполнение Конституции. Она должна выполняться с той же точностью, с какой она написана.

Для этого наши прекрасные люди должны пользоваться часами, которые ходят, говорить по телефону, который работает, а самое главное — должны держать свое слово, по какому бы микроскопическому случаю оно ни было бы дано.

1937

ПИСАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПИСАТЬ

— Товарищи, речь, которую я хочу произнести, написана вместе с Ильфом (смех, аплодисменты), и мы хотим рассказать в ней обо всем, что нас беспокоит, тревожит, о чем мы часто говорим друг с другом, вместо того чтобы работать. То есть мы, конечно, работаем тоже, но уж обязательно, прежде чем начать писать, час-другой посвящаем довольно нервному разговору о литературных делах, потому что эти дела не могут нас не волновать. И вот, товарищи, мы надеемся, что, после того, как мы вам здесь все расскажем, мы уже сможем садиться за работу, не теряя времени на предварительные разговоры.

Недавно в отделе происшествий «Правды» была напечатана заметка об одном молодом человеке по фамилии Халфин. Этот самый Халфин позвонил по телефону в Главное управление нефтяной промышленности и сказал, что говорят из ЦК ВЛКСМ, что ЦК направляет в Баку и Грозный литературную бригаду для собирания материала о стахановцах нефтяной промышленности и что эту бригаду возглавляет писатель Халфин, каковому и следует оказать всемерное содействие, главным образом — материальное. (Смех.)

После этого Халфин пошел в бухгалтерию Главнефти и, отрекомендовавшись руководителем литературной бригады Халфиным, попросил денег. В кассе ему выдали две тысячи рублей. Через некоторое

время выяснилось, что никто из ЦК ВЛКСМ по телефону не звонил и что получивший деньги — аферист.

Что и говорить — происшествие неприятное!

И чем больше думаешь о нем, тем неприятнее оно становится. Ведь в самом деле! Жулик Халфин не выдавал себя за врача по уху, горлу и носу, за летчика-полярника, за преподавателя истории и географии, за девушку-парашютистку. (Смех.)

Нет, он выдал себя за писателя. (Смех.) И сделал это рассудительный Халфин потому, что легче всего получить деньги, назвавшись писателем.

Другая сторона этого дела еще неприятнее. Представим себе на мгновение, что из ЦК ВЛКСМ действительно позвонили в Главнефть и говорили о действительной, всамделишной литературной бригаде. Но даже в этом случае нужно ли было расходовать государственные деньги? Разве Лев Николаевич Толстой ходил к маме Наташи Ростовой просить денег на описание ее дочки? (Смех, аплодисменты.) А если бы даже пошел? Ну, представим себе на мгновение этот невероятный случай. Мама все равно не отпустила бы средств на эти явно сверхсметные расходы.

Такими вот суровыми мамами должны быть и Главнефть, и Главрыба, и Главчай с Главсахаром и Главлимоном. (Смех.) Одним словом, все хозяйственные учреждения. И Союз советских писателей тоже. Обращаемся к ним от лица русской литературы!

Любите писателей, читайте их, уважайте их, детям своим закажите уважать и читать,— только, пожалуйста, не меценатствуйте, не покровительствуйте, не занимайтесь благотворительностью! Литература — дело чрезвычайно серьезное, и усилиями одних кассиров создавать ее нельзя. (Аплодисменты.)

Наша литература тяжело страдает от большого количества дутых, фальшивых писательских репутаций. (Аплодисменты.)

Маленькая оговорка. Ее надо сделать в связи с выступлением предыдущего оратора. Аудитория требовала у него фамилии. Так вот, товарищи, там, где это потребуется, мы будем их называть, но ведь здесь не бой быков, чтобы колоть писателей направо и налево.

Дальше мы скажем о вреде голословной, бездоказательной критики, когда фамилии писателей произносятся мельком, а работа их при этом совершенно не разбирается. (Голоса с мест: «Правильно».)

Нужны глубокие, дельные и веские доказательства, когда произносятся фамилии. Поэтому некоторые вопросы надо ставить общо, иногда даже не подкрепляя речь фамилиями. Потому что это уже не просто факты, а целые явления литературной жизни.

Продолжу дальше нашу мысль. Фальшивые репутации возникают от неуменья многих критиков и редакторов отличить настоящее произведение искусства от галиматьи, от дребедени.

Многолетняя практика наших журналов и литературных органов показала этому множество примеров. Дилетантизм и невежество в этой области привели к тому, что число ложных репутаций приняло угрожающие размеры. Список талантов, хранящийся в канцелярии Союза писателей (смех) и принятый к руководству в издательствах, имеет с жизнью очень немного общего. Вследствие этого иногда получается такая картина:

Писатель с твердо установившейся репутацией таланта сдает новую рукопись в издательство. Как и полагается по рангу, книга сразу печатается несколькими изданиями. Еще до того как читатель увидел книгу и дал свою оценку, критика подымает восторженный, однообразный и скучный крик. Фантазии при этом нет никакой. Книга зачисляется либо в «железный инвентарь», либо в «золотой фонд». (Смех.) Если же никак нельзя запихнуть новую книгу ни в инвентарь, ни в фонд, то о ней пишут, что она «заполняет пробел». При этом не обращают внимания, какими художественными ценностями этот пробел заполняется. (Смех.)

Наконец, с приличным полугодовым опозданием книга выходит в свет и жадно расхватывается библиотеками. Она исчезает с магазинных прилавков в один день. Да и как не схватить это новое произведение искусства, когда о нем совершенно точно сказано, что оно уже вошло в «железный инвентарь» или является

жемчужиной «золотого фонда». Заведующий библиотекой должен иметь стальные нервы или по крайней мере вкус Стендаля, чтобы удержаться от покупки такой книги. (Смех.) Конечно, нервы у него обыкновенные, человеческие, а что касается вкуса, то и тут ничего сверхъестественного не наблюдается. И вот библиотекарь приобретает для своих абонентов сразу пятнадцать экземпляров новой книги и любовно ставит их на полку. В тот же день книгу разбирают по рукам.

Все ликуют. Писатель убежден, что его произведением упиваются миллионы читателей, издатель радостно потирает руки и заявляет, что сделал хорошее коммерческое дельце — продал товар без остатка. Писатель, не будь дурак, предлагает издателю подписать договор на новое издание своей книги, а издатель, не будь дурак, соглашается. Как не согласиться! Ведь книга разошлась чуть ли не в один день!

На фоне этого восторженного ликования особенно страшными кажутся те драматические события, которые тем временем разыгрываются в библиотеке. Читатели берут книгу и на другой день с непроницаемыми лицами возвращают ее. И с тех пор книгу больше не спрашивают. Если покопаться в библиотеках, там можно найти целые полки совершенно обесцененных книг, вышедших еще так недавно, прогремевших в прессе, беспрерывно переиздающихся и почти никем не читаемых.

Радует, однако, то, что громадное большинство литераторов живет честной, здоровой писательской жизнью. Репутации их нисколько не преувеличены, не раздуты, часто даже преуменьшены,— кстати, для писателей это только полезно. Живут они скромно. Могли бы жить лучше, если бы внимание издательств и Союза не было так поглощено лишь двумя десятками человек (смех), записанных когда-то в знаменитый список, о котором уже шла речь.

Создалась унизительная для писателей, но, к сожалению, имеющая под собой некоторое основание, легенда о литературном Эльдорадо, о чудном месте, куда падают с неба бесплатные дачи, денежные пособия, колоссальные тиражи и опять-таки великая слава, пре-

восходящая славу Льва Толстого и Флобера вместе взятых. И бегут с протянутой лапой бесчисленные халтурщики и просто мазурики вроде Халфина. Когда видишь, как пробирается к государственной кассе, расталкивая почтенных конкурентов, мосье Халфин, делается совестно.

Что привело к тому положению, которое существует сейчас?

Самое опасное — это признать плохую книгу доброкачественной.

Если хороший роман назвать хорошим, то это не значит, что через полгода у нас появится еще десять хороших романов,— хороший роман написать трудно. Но достаточно только расхвалить какую-нибудь слабую, незрелую книгу, как со всех сторон нанесут десятки дрянных романчиков, повестушек и рассказов. Ведь плохие вещи писать очень легко. Только свистните — притащат в любом количестве!

Вспомним, сколько неправильных, отброшенных жизнью оценок было сделано в литературе, сколько книг было названо хорошими, а через два-три года выяснилось, что они никогда не были хорошими! Отсюда берут начало громкие, но пустые известности и выпуск обесцененных книжных знаков. Искусству нужна нормальная температура. Истерическое, нервозное превознесение писателей, а через некоторое время такое же истерическое сокрушение их,— все это мешает работе.

Несколько дней назад т. Вашенцев выступил в «Литературной газете» с заявлением, что молодой писатель Курочкин «на много голов выше некоторых незаслуженно маститых писателей».

Надо решительно отказаться от такого рода мерок в литературе — на голову выше, на голову ниже, на полкорпуса впереди, идут ноздря в ноздрю и так далее. (Смех.) Это, товарищи, беговые жеребячьи термины (смех), и они неприменимы к искусству. (Аплодисменты.) Это несерьезно. Это примитив. Движение литературы и литераторов должно определяться серьезными литературными исследованиями. А Вашенцев начинает с выводов. И он не одинок в этом отно-

шении. Этим у нас любят заниматься. Что, кроме вреда, может принести этот «тотализаторный» взгляд на литературу? И этот вред уже налицо.

Сегодня в «Комсомольской правде» появилась статья, где написано, что Курочкин не только не на много голов выше кого-то, а писатель безжизненный, холодный, нарочитый и внушающий тревогу. Обе стороны ведут себя ужасно. Вашенцев ни с того ни с сего размахивает кадилом, а «Комсомольская правда» рубит — и начинающему, несомненно, способному писателю наносится вред с обеих сторон. Это — образец примитивного отношения к искусству.

Литературная работа, сочинительство — вещь необычайно сложная, в ней есть тысяча тонкостей. Когда же работа закончена, к ней, как мы только что видели, подходят с топором. Конечно, иногда этот самый сложный литературный труд может быть целиком отвергнут как враждебный политически, и тогда, конечно, можно пустить в дело и топор. Но в отношении произведений советских, которые не могут быть отвергнуты в целом по политическим соображениям, топор не есть орудие критики и воспитания.

У нас в литературе создана школьная обстановка. Писателям беспрерывно ставят отметки. Пленумы носят характер экзаменов, где руководители Союза перечисляют фамилии успевающих и неуспевающих, делают полугодовые и годовые выводы.

Успевающим деткам выдаются награды, и они радостно убегают домой, унося с собой подаренную книжку в золотом цыпинском переплете или «М-1», а неуспевающим читают суровую нотацию, так сказать отповедь. Неуспевающие плачут и ученическими голосами обещают, что они больше не будут. Один автор так и написал недавно в «Литературной газете» — «Вместе с Пильняком я создал роман под названием «Мясо». Товарищи, я больше никогда не буду». (Смех, аплодисменты.) Но от этого не легче. Совестно, что существует обстановка, в которой могут появиться такие письма. Было бы лучше, если бы с таким заявлением выступил издатель, напечатавший этот литературный шницель. (Смех, аплодисменты.) Впрочем, он,

наверное, сейчас выйдет и тоже скажет, что больше не будет. Обязательно выйдет. Вот увидите! То, что он выйдет сюда и покается,— это очень приятно. Но гораздо приятнее было бы, если бы он в свое время по рукописи понял, что книга плохая. Но — что поделаешь! Люди отвыкли самостоятельно думать, в надежде, что кто-то за них все решит. В Союзе, в журналах, в издательствах не любят брать на себя ответственность. Попробуйте оставить издателя или критика на два часа наедине с книгой, которую еще никто не похвалил и не обругал. (Смех.)

(Голос: «Он не останется».)

Он же выйдет из комнаты поседевшим от ужаса. (Смех, аплодисменты.)

Он не знает, что делать с этой книгой. Он плохо разбирается в искусстве. От неуменья правильно оценить книгу литература страдает.

(Голоса: «Правильно».)

Не помогает и то, что редакторы, издатели и руководители Союза охотно и даже с каким-то садистическим удовольствием каются в содеянных ошибках. Раскаяние хотя вещь и хорошая, но помогает оно спасти свою душу, в общем, самому нагрешившему. Всем же остальным от этого, честно говоря, ни тепло ни холодно.

Нам нужны люди глубоко идейные, образованные, любящие литературу. Такими людьми располагает партия, такие люди есть и среди беспартийных. Наша общая задача — таких людей найти, выдвинуть их из своей среды.

В заключение мы выдвигаем предложение, может быть, чересчур смелое, слишком оригинальное — писатель должен писать. Произведения писателя всегда будут убедительнее его речей. На плохое, чуждое произведение у советского писателя может быть один ответ:

— Написать свое, хорошее! (Аплодисменты.)

1937

ВОДЕВИЛИ
И
КИНОСЦЕНАРИИ

Рисунки художника

И. СЕМЕНОВА

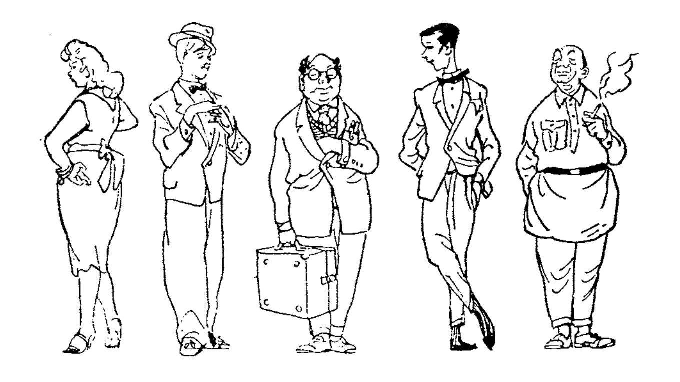
СИЛЬНОЕ ЧУВСТВО

Водевиль в одном действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Стасик Мархоцкий — жених.
Ната Мархоцкая-Лифшиц — невеста.
Лифшиц — первый муж Наты.
Рита — ее сестра.
Мама.
Чуланов — молодой пижон.
Бернардов — член горкома писателей.
Мархоцкий — папа Стасика.
Справченко — доктор, лечит буриданом.
Антон Павлович, Лев Николаевич, Сегедилья Марковна, Молодой человек, Девушки — гости
Мистер Пип — прекрасно одетый иностранец.

Московская комната. Идут приготовления к свадебному пиру. Мама и Рита хлопочут у стола.



Рита. Водки, безусловно, не хватит. Три бутылки на пятнадцать человек! Это не жизнь, мама!

Мама. Рита, ведь не все же пьют!

Рита. Именно все, мама! Бернардов пьет, Чуланов пьет, Сегедилья Марковна пьет, доктор, вероятно, тоже пьет...

Мама. А будет доктор? Мне что-то не верится. Лечить таким неприличным способом, этим ужасным буриданом...

Рита. Оставьте, мама! Теперь все это впрыскивают! Значит, доктор, очевидно, пьет. Лев Николаевич и Антон Павлович пьют, как звери. Стасик пьет...

Мама *(в ужасе)*. Стасик пьет?

Рита. Как конь!

Мама. Боже мой, Рита, что за выражение! Нет, это для меня ужасная новость — Стасик пьет! Такой приличный, нежный молодой человек!

Рита. На месте Наты я никогда не вышла бы второй раз замуж. Лифшиц гораздо лучше Стасика!

Мама. Да, но Лифшиц почти еврей, Риточка,— караим!

Рита. Надо, мама, смотреть на вещи глубже. Караим — это почти турок, турок — почти перс, перс — почти грек, грек — почти одессит, а одессит — это москвич!

Мама. Я не против греков, но у Стасика большая комната!

Рита. Все равно противно! Менять мужа из-за комнаты!

Мама. Но какая комната!

Рита. Но какой муж... Нет, водки положительно не хватит! Если я выйду замуж, то только за иностранца. Поехать с ним за границу! Так хочется еще разок пожить в буржуазном обществе, в коттедже, на берегу залива, с иностранцем!.. Кстати, иностранец, наверное, тоже пьет! Скандал! Нечего пить, нечего лопать!

Мама. Господи боже, где ты научилась таким словам?! Лопать!.. Молоденькая девушка!

Чуланов *(вбегает, молча сует маме рыбу и тотчас же бросается к телефону. Во время разговора вынимает из кармана разные припасы и бутылки. Часть слов произносит в трубку, часть обращает к Рите)*. АТС! *(Декламирует.)* АТС своею кровью начертал он на щите... Рита, я — гений. Бе один ноль один одиннадцать. Да, Замоскворечье. Вот баклажаны. Это кардонахи из закрытого. Алло! Можно мистера Пипа? Рита, Пип — это мировой иностранец! Только вчера приехал. Мировые свинобобы. По блату. Алло! Мистер Пи...! Что? Куда уехал? Позвольте, ведь я с ним условился... Вот это уже нахальство! *(Вешает трубку.)*

Рита. Что случилось?

Чуланов *(гробовым голосом)*. Случилось самое худшее! Мистера Пипа увели. В последнюю минуту утащили на вечеринку к Поповым. Знаете, к тем Поповым?

Рита *(ледяным тоном)*. Значит, иностранца не будет?

Чуланов. Ей-богу...

Рита. Тогда уходите отсюда.

Чуланов. Дайте мне сказать! Сейчас не сезон, уверяю вас — не сезон! Недостаточное количество интуристов. Ей-богу, нехватка иностранцев! Скажи вы мне две недели назад, я бы вам привел сколько угодно. Тут их был целый пароход. Четыреста пар-

ламентариев. Как огурчики! Все в смокингах, блек энд уайт! А сейчас нету. Я уже ходил в «Националь», там у меня знакомый швейцар, и он тоже говорит, что нету. Лучше я вам Утесова приведу. У меня есть друг, который здорово знает Утесова. Он его уговорит. Представляете себе, что это будет? Утесов на свадьбе! *(Трусливо напевает.)* «Пока-а-а, пока-а-а... Уж ночь недалека. Пока-а...»

Рита. Пока вы не приведете иностранца, я с вами не буду разговаривать!

Чуланов *(подумав)*. Я люблю вас, Рита!

Рита. Это что, объяснение?

Чуланов. Да.

Рита. Откладывается!

Чуланов. Но ведь это волокита, бюрократизм. Я буду жаловаться!

Рита. Кому? Купидону? Я вообще... я выйду замуж только за иностранца!

Чуланов. А я?

Рита. Вы не иностранец.

Чуланов. Что же, я, по-вашему, камаринский мужик? Если хорошо разобраться, я тоже иностранец. *(Кипятится.)* Что у меня общего с советским государством? Рассматривайте меня как представителя капиталистического общества.

Рита. Хорош представитель! Не может исполнить просьбы любимой девушки.

Чуланов *(хватает шапку)*. Для вас я готов на все! Смотрите, я приношу себя в жертву! Смейся, паяц... Иностранец будет!

Рита. А патефон?

Чуланов. Принесет Бернардов. Я сделаю все, а потом повешусь, Рита. От любви умирают. *(Уходит. В дверях.)* На мой взгляд, водки не хватит! *(Уходит.)*

Мама. Напрасно ты его так. Он вполне приличный молодой человек.

Рита. У вас все приличные... Вина достаточно, но водки, безусловно, не хватит!

Мама. Где же Ната и Стасик? Пора уже им вернуться...

Чуланов *(входя)*. Граждане, на лестнице стоит Лифшиц!

Рита. Лифшиц?

Чуланов. Да, Исачок Лифшиц, первый муж. Стоит на лестнице темный-темный.

Мама. Боже мой, только этого не хватало! Что будет? Сейчас Стасик и Ната приедут из загса, и если они столкнутся... Это ужасно!.. Какой у него вид?

Чуланов. Я же вам говорил. Стоит бледный-бледный...

Мама. Он ее убьет! *(Ломает руки.)* Он караим, все караимы ревнивы...

Рита. Ну да. Караимы почти турки, турки почти мавры, а мавры, сами знаете...

Звонок.

Чуланов. Это он!

Мама. Надо что-то сделать. Уговорите его как-нибудь.

Рита. Чуланов, дорогой, пойдите на лестницу, повлияйте на него...

Пронзительный звонок.

Чуланов. Стоит ли? Ну что я ему скажу? Ведь я не оратор, не Максим Горький...

Рита. Да-а... Вы далеко не оратор.

Чуланов *(плачущим голосом)*. Если бы я был военным, тогда другое дело. Но ведь я штатский, тихий. Это дело милиции — бороться с проявлениями ревности и другими видами бытового хулиганства. *(Смотрит на Риту.)* Хорошо. Смейся, паяц! Я иду. *(Торжественно подвигается к двери.)* Прощайте! *(Сильный стук в дверь. Чуланов отскакивает назад.)*

Рита. Не открывайте дверь! *(Звонок.)* Нет, лучше откройте! Повлияйте на него.

Чуланов. Лучше вы откройте. А я на него потом повлияю.

Рита *(презрительно)*. Иностранец! *(Открывает дверь.)*

Бернардов *(входит с патефоном)*. Граждане, на лестнице стоит Лифшиц!

Мама. Почти мавр!

Бернардов (*мельком взглянув на стол*). Граждане, водки не хватит!

Рита. Подождите, что он сказал?

Бернардов. Он сказал, что пришел за Натой.

Мама. Какое нахальство! Вы объяснили ему, что Ната выходит замуж за Стасика?

Бернардов. Объяснил. Но он говорит, что плевал на это.

Рита. А вы ему что?

Бернардов. Да ничего. Я в конце концов только гость. Я ему сказал, что все-таки неудобно — свадьба. А он сказал, что еще всем покажет!

Мама. Так и сказал?

Бернардов. Так и сказал. Я уже стал побаиваться за свой патефончик.

За дверью начинается возня. Слышен все возрастающий шум борьбы и неясные голоса.

Чуланов. Ну, Риточка, я побежал за иностранцем. Спокойно, спокойно, через черный ход! (*Поспешно уходит.*)

Дверь распахивается, и в комнату влетает сначала Стасик, а потом Ната. У Наты шляпа съехала набок. Стасик слегка помят.

Стасик. Это просто какая-то западня!

Ната (*бросается на шею маме, плачет*). Мама! Мамочка!..

Мама. Что случилось? Он тебя оскорбил?

Ната. Хуже!

Мама. Он тебя ударил?

Ната. Ах, мамочка... (*Плачет.*) Хуже!

Мама. Что же он сделал, этот негодяй?

Ната. Он меня поцеловал!

Стасик. Просто какое-то хулиганство! (*Поправляет на себе костюм.*) Жалею, что не спустил его с лестницы! Таких типов надо штрафовать!

Рита (*Стасику*). Ну, ничего. Я так рада, что все в конце концов обошлось благополучно, вы себе представить не можете!..

Стасик (*обиженно*). Почему ж я не могу себе представить? Что, у меня нет воображения? Или, может быть, я идиот?

Рита. Да нет, вы меня не поняли.

Стасик. Почему ж я не понял? Значит, я дурак, по-вашему?

Рита. Вы смеетесь надо мной.

Стасик (*обижается еще больше*). Когда же я смеялся? Я не смеялся. Все могут подтвердить.

Рита. Ф-фу, зачем вы женились с таким нудным характером?

Стасик (*степенно*). Я женился, чтобы отрегулировать половой вопрос.

Рита. Вот дурак. (*Отходит.*) Нет, только за иностранца. Только за иностранца!..

Входит доктор Справченко.

Ната. Здравствуйте, доктор. Как я рада!

Доктор. Что это за молодой человек стоит на лестнице?

Ната. Это наконец невыносимо!

Стасик. Он дождется, что я спущу его с лестницы.

Доктор. Ну-с, позвольте поздравить с законным...

Входят Лев Николаевич и Антон Павлович.

Лев Николаевич. Что, не будет сегодня свадьбы?

Антон Павлович. Отменяется?

Стасик. Какая чепуха!

Лев Николаевич. Мне только что сказал Лифшиц, что свадьбы не будет.

Антон Павлович. Он тут стоит на лестнице.

Стасик. Нахал и сволочь!

Лев Николаевич и Антон Павлович. Тогда разрешите поздравить... Наталья Викторовна (*чмок, чмок*). Станислав Александрович... Мамаша (*чмок, чмок*). Хорошо, что не отменили... Это вся водка? Не хватит...

Входят Сегедилья Марковна и две девушки с молодым человеком.

Сегедилья Марковна. Дорогая Наточка! *(Целуются.)* Лифшиц просил меня передать вам записку. Он тут, на лестнице. *(Здоровается с остальными гостями.)*

Стасик *(вырывает у Наты записку, читает и разрывает в клочки).* Ну, он у меня дождется, что я спущу его с лестницы.

Ната *(Стасику).* Ты не представляешь, до какой степени он меня любит.

Стасик. Почему же я не представляю? Что я, дегенерат?

Ната *(доктору).* Это верно, доктор, что вы делаете буквально чудеса?

Доктор. Буквально — нет, но вообще, так сказать, бывают разные случаи.

Ната *(утирая слезы).* Скажите, доктор, вы много зарабатываете в переводе на золото?

Доктор. В переводе на золото н-нет... но вообще...

Сегедилья Марковна. Доктор, я тоже хочу впрыскивать буридан. Мне можно?

Доктор. Вам? Вообще нет, но в общем... можно.

Бернардов. Скажите, доктор, вот я, например, член горкома писателей. Я хотел бы узнать, как впрыскивание влияет, если можно так выразиться, на специфику творчества? Улучшает ли это качество писательской продукции?

Доктор. Качество? Н-нет. Количество? Да, пожалуй.

С черного хода появляется Чуланов, останавливается у двери.

Чуланов *(таинственно).* Рита!

Рита *(подходит).* Ну что, есть иностранец?

Шум на лестнице.

Чуланов. Что это?

Рита. Это Лифшиц. Ну, как иностранец?

Чуланов *(сконфужен).* Есть. Я его оставил на кухне.

Рита. Что за глупости! Это неудобно. Зовите его скорей сюда!

Чуланов. Но я должен вас предупредить... Он, хотя и иностранец, но, знаете, не европеец...

Рита. А кто же?

Чуланов *(мнется)*. Так, один дипломат. Он очень любит белых женщин.

Рита *(радостно)*. Японец?

Чуланов *(запинаясь)*. Японец.

Рита. Из посольства?

Чуланов. Да, в общем, из посольства. По должности приравнен к коммерческому атташе. Очень интеллигентный человек. Окончил три университета. Или четыре. Ей-богу! Два в Токио и два в Манчжоу-Го. Но у него есть одна маленькая странность. Так, чепуха — причуда дипломата. Вы, главное, не обращайте внимания. Он, понимаете, любит поговорить о крахмальных воротничках, о манжетах, о каких-то сорочках... Ничего не поделаешь, этикет обязывает.

Рита *(нетерпеливо)*. Где он?

Чуланов. Ей-богу, Рита, я сделал все возможное! *(Открывает дверь. За ней стоит, застенчиво улыбаясь, человек.)*

Рита. Чуланов!

Чуланов. Что?

Рита. Это не дипломат.

Чуланов. Дипломат. Клянусь честью!

Рита. Это не японец.

Чуланов. Ей-богу, японец!

Рита. Это китаец.

Чуланов. Японец из посольства.

Рита. Китаец из прачечной.

Чуланов *(плачущим голосом)*. Я же вам говорил, что сейчас не сезон!

Рита *(выпихивая Чуланова)*. Уходите и без иностранца не возвращайтесь! И чтоб он был настоящий. Европеец. Париж. Понимаете? *(Напевает.)* «Су ле туа де Пари», та-ра-рам-там-там-там.

Чуланов *(понимающе)*. Та-ра-рам-там-там-там...

Рита. Вот, вот, та-ра-рам.

Чуланов *(решительно)*. Смейся, паяц, над разби-

той... Так и быть! Пойду к Поповым на вечеринку и уведу от них Пипа.

Рита. А этот мистер Пип не какой-нибудь такой?

Чуланов. Ну, он знаете какой! Только вчера приехал из Филадельфии. А водки хватит? Смотрите. *(Уходит через черный ход.)*

Мама. Что ж, Риточка, раз нет иностранца, будем садиться за стол.

Гости рассаживаются, поднимают бокалы. Торжественная пауза.

Доктор *(собираясь произнести тост)*. Ну...

Оглушительный стук в дверь. Все испуганно пригибаются, как от снаряда.

(Ставит бокал на стол.) Нет, так нельзя. Я пойду с ним поговорю.

Уходит. Все напряженно ждут. Доктор возвращается с чрезвычайно недовольной физиономией.

Ната. Ну, что?

Доктор *(растерянно подкручивая усы)*. Да это просто мерзавец!

Садится на место. Все поднимают бокалы. Снова грохот. Гости опять пригибаются.

Лев Николаевич. Морду надо бить, вот что! Идем, Антон Павлович.

Антон Павлович *(снимает пиджак)*. Не пейте без нас. Мы сейчас вернемся. Пошли, Лев Николаевич. Дадим ему дыни. *(Уходят.)*

Гости ждут в молчании. Пауза. Хлопает дверь. Полная тишина. За дверью возникает шум короткой бешеной схватки. Опять тишина. Входят, шатаясь, Антон Павлович и Лев Николаевич.

Лев Николаевич. Чего же вы его не держали?

Антон Павлович. Как я мог его держать, когда вы сами его выпустили?

Лев Николаевич. Я его выпустил? Это вы его выпустили.

Антон Павлович. Из-за вас он меня чуть не задушил. Безобразие! На площадку выйти нельзя.

Садятся за стол под равномерный стук. Очевидно, страшный Лифшиц лягает дверь ногами.

Мама. Хоть бы граммофон завести.

Бернардов заводит патефон, и пир начинается под музыку и стук.

Лев Николаевич. Советую присматривать за водкой, Антон Павлович. Ее не хватит. Так всегда бывает.

Антон Павлович (*наливает себе и Льву Николаевичу*). В таком случае не будем терять драгоценного времени. (*Громко.*) Здоровье новобрачных! (*Быстро пьет и снова наливает.*) Здоровье присутствующих!

Пьют, наливают.

Здоровье хозяйки дома!

Пьют, наливают.

За будущее потомство новобрачных!

Пьют, все это проделывают со сказочной быстротой.

Мама. Что ж это вы, господа? Мы еще и налить не успели, а вы... Так нельзя.

Лев Николаевич (*не обращая внимания, поднимает новый бокал*). За счастье человечества! Верно, Антон Павлович?

Антон Павлович. Верно, Лев Николаевич.

Пьют.

За человечество! Черт с ним!

Доктор (*косясь на гостей*). Да, я вижу, тут времени терять нельзя! (*Выпивает подряд четыре рюмки. Пятой чокается с Сегедильей Марковной.*)

Сегедилья Марковна. Доктор, я обязательно хочу впрыскивать себе и моему мужу буридан. Мне рассказывали чудеса. Одна моя знакомая дама

чувствовала такой упадок сил, что последний год почти совсем не выходила из дому. И, знаете, после двух впрыскиваний буридана она совершенно преобразилась — пошла на рынок, продала пальто мужа и купила замечательные заграничные бусы.

Доктор. Да, буридан дает поразительный эффект. Приходит ко мне одна старушка, лет шестидесяти. Ну, конечно, старческая слабость, хирагра, маразм... Ну, я ей сейчас же... *(Звуками и жестами изображает впрыскивание.)* Второй раз... *(Изображает.)* А вчера встречаю на улице — бежит куда-то со всех ног хлопотать. Что такое? Лишили пенсии. Не верят, что шестьдесят лет. Говорят — двадцать. Молодость вернулась!

Сегедилья Марковна. Доктор, вы маг и волшебник! Маг и волшебник!

Девушка. Я упиваюсь этим фактом!

Доктор *(косится на Льва Николаевича и выпивает несколько рюмок подряд)*. Да-а... Приходит еще одна старушка, лет восьмидесяти. Зубов нет, волос нет, ни черта нет... Ну, я ей... *(Изображает троекратное впрыскивание.)*

Девушка. Я упиваюсь этим фактом!

Входит Александр Витольдович Мархоцкий.

Доктор. Это кто ж такой?

Рита. Представьте себе, не знаю.

Доктор. А вот я ему сейчас... *(Изображает впрыскивание, пытается встать, его удерживают.)*

Стасик *(изумленно)*. Папа!

Мархоцкий. Здравствуй, Станислав. С трудом нашел эту квартиру. Хорошо, что на площадке стоит какой-то милый молодой человек, он мне показал. Ну, рад видеть тебя на свободе. Здравствуйте, товарищи. *(Общий поклон.)* Где твоя молодая? Пора, пора познакомиться. Ага! *(Галантно целует руку Наты.)* Очень, очень рад. Я, знаете, несколько отвык от дамского общества. *(Знакомится с гостями.)* Мархоцкий, Мархоцкий, Мархоцкий...

Ната *(Стасику)*. Ты мне даже не говорил, что у тебя есть папа. Где он живет?

Стасик. Сейчас, сейчас. *(Отводит отца в сторону.)* Как ты сюда попал, папа?

Мархоцкий. Мне дали отпуск на сегодняшний вечер. Дело в том, что мое положение значительно улучшилось и меня стимулируют различными льготами.

Стасик *(ошеломленно)*. Значит, ты пришел с конвойным?

Мархоцкий. Ты ужасно отстал. Какой там конвойный! Ты даже не представляешь себе, что такое современная пенитенциарная система.

Стасик *(нудно)*. Почему ж я не представляю? Что я, осел или кретин какой-нибудь? И потом — дело вовсе не в системе. О том, что ты сидишь в тюрьме, никто не знает. Что подумают Ната, гости! Наконец, ожидается иностранец. Нет, я прошу тебя уйти куда-нибудь.

Мархоцкий. Куда ж я денусь? У меня отпуск до двенадцати часов.

Стасик. Ну, походи по улицам. Тебе ж это должно быть интересно.

Мархоцкий *(печально)*. Ты меня гонишь, Стась?

Стасик. Вот несчастье... Оставайся. Но очень тебя прошу — ни слова об этом печальном факте.

Мархоцкий *(оживляется, бодро подходит к столу)*. Какая роскошная передача!

Стасик. Папа!

Мархоцкий *(садится рядом с Натой)*. Какое очаровательное соседство! Отвык, совсем отвык! У нас, знаете, женский... то есть дамский корпус расположен изолированно от мужского...

Стасик. Папа!

Ната. Я не совсем понимаю. Где? Почему изолированно?

Стасик *(сухо)*. Папа приехал из санатория...

Ната. Я мечтаю отдохнуть в санатории.

Бернардов. Простите, вы как устроились в санаторий, по путевке или по блату?

Мархоцкий. Как вам сказать... Видите ли, когда за мной пришли...

Стасик. Папа!

Мархоцкий *(пьет)*. Да, по путевке.

Бернардов. И приличный санаторий?

Мархоцкий. Мало сказать — приличный. Иностранцы приезжают — восхищаются. Заходишь в изолятор...

Стасик. Папа!

Мархоцкий. И вы знаете, люди выходят оттуда совершенно преобразившиеся. Ну, не узнать, просто не узнать...

Ната. Прибавляют в весе?

Мархоцкий. Что? В весе? *(Пьет.)* Кто это там стучит?.. Да, в весе тоже. Но главное — это изменение психики. Культработа ведется громаднейшая. А какой там зубоврачебный кабинет! Я вставил себе все зубы. *(Показывает.)* Времени, знаете, много, почему не вставить. На свободе никогда не успеваешь подумать о зубах, а у нас...

Стасик. Папа, я же просил...

Бернардов. Сколько стоит путевка?

Мархоцкий. Ничего не стоит, все даром. Недавно меня даже брюками стимулировали, и тоже даром. Кто это там все время стучит?

Рита. Не обращайте внимания!

Бернардов. Это здорово! Без копейки расходов! У вас путевка на месяц?

Мархоцкий. Милый! На три года...

Ната. Видишь, Стасик, твой папа так хорошо устроился, а ты просто шляпа!

Бернардов. Я вас прошу, устройте и меня, пожалуйста!

Гости *(хором)*. И меня! И меня!..

Мархоцкий *(польщен всеобщим вниманием)*. Я, конечно, сделаю все возможное, хотя я, так сказать, не главный, но как поправляющийся заключенный... то есть исправляющийся больной...

Стасик. Папа, я наконец умоляю...

Мархоцкий. У нас на прогулке...

Стасик. Папа!

Мархоцкий. Оставь меня, м-мещанин!

Сегедилья Марковна *(Стасику)*. Вы и понятия не имеете, как далеко шагнула сейчас санаторная система.

С т а с и к *(обижается)*. Почему ж я не имею понятия? Все имеют, а я один не имею. Ну, что это такое!

Телефонный звонок.

Р и т а *(берет трубку)*. Это я. Везете? В такси? Слава богу! Скорее! Нет, Лифшиц не ушел. Все время ломится в квартиру. Прямо не знаю, что будет. Позор. Придется с черного хода. Вот страна! *(Вешает трубку.)* Сейчас будет мистер Пип. Лев Николаевич, голубчик, Антон Павлович, доктор, Сегедилья Марковна, девочки, как вам не совестно, оставьте немного водки для мистера Пипа... Бернардов, просят же... Заведите лучше патефон. Предлагаю сейчас танцевать, а когда приедет мистер Пип, опять сядем ужинать... *(Мечтательно.)* Когда приедет мистер Пип... *(Танцует с Бернардовым. Весь последующий разговор ведется во время танца.)*

Б е р н а р д о в. Не понимаю, почему девушкам так нравятся иностранцы?

Р и т а *(напевая)*. Когда приедет мистер Пип...

Б е р н а р д о в. Меня этот Пип интересует, поскольку я хочу купить у него по дешевке костюм. Знаете, я так морально устал без костюма...

Р и т а. Вы прибедняетесь, Бернардов. Этот на вас тоже хороший. Сколько вы заплатили за него в переводе на золото?

Б е р н а р д о в. В переводе не знаю. Я купил его в распределителе водников за шестьдесят пять рублей.

Р и т а. Разве вы водник?

Б е р н а р д о в. Нет, я не водник. Я состою в горкоме писателей.

Р и т а. Вы писатель?

Б е р н а р д о в. Нет, я не писатель. Я только обедаю в писательской столовой, а вообще я числюсь по Энкапээсу.

Р и т а. Ах, вы железнодорожник?

Б е р н а р д о в. Нет, я не железнодорожник, я только получаю там бесплатный проезд по железным дорогам. А вообще-то я ближе всего к пожарному делу.

Р и т а. Вы тушите пожары?

Бернардов. Нет, я только получаю там молоко. Видите ли, пожарная профессия очень вредная для здоровья, и там выдают молоко. Так устаешь каждый день ездить с бидонами за этим молоком в Сущевскую часть... Честное слово, буду требовать, чтобы меня перевели в центр, в Кропоткинское депо.

Рита. Я вам сочувствую, каждый день в трамвае...

Бернардов. Как раз трамвай — это не страшно. Я езжу на передней площадке как член Моссовета.

Рита. Ах, вы член Моссовета?

Бернардов. Нет, я не член Моссовета, я только езжу как член Моссовета. Но, конечно, и это ужасно утомляет. И если бы не отдых в санатории Совнаркома, я совсем бы выбился из сил.

Рита. Вы член правительства?

Бернардов. Да нет, я не член правительства. Я же вам объяснил. Я член горкома писателей по разряду гениев с правом бесплатно лечить зубы.

Рита. Значит, вы все-таки писатель?

Бернардов. Да ничего подобного! Полчаса вам объясняю, и вы не можете понять...

Внезапно грохот усиливается.

Стасик. Это все из-за тебя. Этот кошмарный стук срывает нам свадьбу.

Ната. Чем я виновата, что он меня так любит?

Девушка. Я упиваюсь таким фактом!

Рита. Нужно вступить с ним в переговоры. Бернардов, пойдите и спросите, что он наконец хочет.

Бернардов уходит. Все столпились у дверей и ждут. Стук прекращается. Входит.

Бернардов. Он говорит, чтобы Стасик немедленно убрался отсюда к черту.

Стасик. Он, кажется, дождется того, что я спущу его с лестницы!

Мама. Скажите ему, что мы вызовем милицию.

Бернардов *(уходит и возвращается)*. Он говорит, что никакая милиция в мире не помешает ему любить Нату... то есть вас, Наталья Викторовна.

Ната (*польщена*). Скажите пожалуйста.

Стасик. Вот видишь, что ты наделала своей дурацкой красотой! Сознайся, что это тебе нравится?

Ната. Убирайтесь вы все!

Стасик (*Бернардову*). Скажите ему, что я сейчас сброшу его с лестницы!

Бернардов (*уходит и сию же секунду появляется в дверях с отчаянным криком*). Лифшиц прорвался!..

Общество издает вопль. Дамы со Стасиком отскакивают от двери. Мужчины бросаются на помощь Бернардову. Они наваливаются на Лифшица так, что зрители не успевают даже его заметить. Из человеческих тел образуется шар, катающийся по сцене. Наконец шар выкатывается за дверь. Крики: «Держите дверь! Не пускайте! Палец! Палец!» С черного хода входит Чуланов, таща под руку мистера Пипа.

Чуланов. Рита, вот он. Что я претерпел! Видите, мадам Попова маникюром по щеке. Это когда я его уже тащил по лестнице. Ну, ничего, я ей тоже ногой... Рита, познакомьтесь, пожалуйста, мистер Пип.

Рита. Гав-дью-ду, мистер... (*Запинается.*)

Чуланов. Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Он прекрасно говорит по-русски. Говорите, мистер Пип.

Пип. Здравствуйте, барышня.

Из передней, тяжело дыша, возвращаются мужчины.

Эти люди перетаскивали рояль?

Рита. Разрешите вам представить — мистер Пип, европеец.

Знакомство.

Чуланов (*сияет*). Ну как? Настоящий? А? «Су ле туа де Пари», та-ра-рам-там-там-там...

Рита (*благодарно*). Настоящий. Та-ра-рам-там-там-там...

Чуланов. Вот, вот, та-ра-рам. А как будет со мной? Я же вас люблю.

Рита. Потом, потом.

Все грубо рассматривают иностранца, который вертится и застенчиво улыбается.

Б е р н а р д о в *(щупает костюм гостя)*. Настоящая полушерсть!

Д е в у ш к а. Скажите, какая погода сейчас за границей?

С е г е д и л ь я М а р к о в н а. Познакомьтесь с доктором.

Доктор, пошатываясь, кланяется и производит звук, изображающий впрыскивание.

Р и т а. Граждане, товарищи... *(Легонько отстраняет гостей.)*

Б е р н а р д о в. Скажите, мистер Пип, вы не продадите мне свой костюм?

Рита берет Пипа под руку и отводит его в сторону. За ними идут все гости во главе с Чулановым. Лев Николаевич и Антон Павлович дремлют за столом.

Р и т а. Ю спик инглиш?

Ч у л а н о в. О чем вы его спрашиваете? Слава богу, не тульский мужик. Конечно, говорит по-английски. И по-русски говорит.

Б е р н а р д о в. А галстук вы не продадите? Если б вы мне продали костюм, то этот галстук как раз к нему подошел бы.

Р и т а *(пытается увести иностранца)*. Мне так давно хотелось поговорить с человеком европейской культуры.

Н а т а *(берет Пипа под другую руку. Кокетливо)*. Отчего вы такой грустный?

Б е р н а р д о в *(перебивает)*. Если б вы мне продали ваши ботинки, они бы чудно подошли к этому костюму и галстуку. Продайте!

Ч у л а н о в. Не напирайте на человека все сразу. Он даже ответить не успевает. Что вам нужно, Сегедилья Марковна? Румбу? Уже не танцуют. Это он мне еще в такси сказал. Дальше?

М а р х о ц к и й. Скажите, как у вас там, на Западе, пенитенциарная система?

Ч у л а н о в. Это неинтересно. Дальше!

Г о л о с а. Спросите его... А пусть он скажет... Как насчет...

Общий шум.

Чуланов. Подождите! Подождите! Зачем он приехал? Сейчас спрошу. Ваши новые друзья, мистер Пип, хотят узнать, что вы собираетесь у нас делать?

Пип. Я приехал сюда искать работу, джентльмены.

Рита. Что? Что он сказал, Чуланов?

Пип. Я не имею на жизнь, джентльмены... *(Улыбается.)* Но я вижу, что я имею много хороших друзей...

Бернардов *(отходит к столу)*. Явно отрицательный тип.

Чуланов поспешно отходит к столу. За ним гонится Рита.

Рита. Я вам этого никогда не прощу!

Чуланов. Что я могу сделать, Риточка? Дитя кризиса. Ну, кризис, понимаете — мировой кризис. Я не виноват. Еще Маркс говорил, что так будет. Марксу вы наконец верите?

Рита *(подавленная аргументами)*. Все равно вы свинья.

Гости бесцеремонно покидают Пипа и садятся за стол. Пип остается один в стороне.

Мархоцкий *(наливает)*. Что за чепуха! Давайте лучше выпьем за пенитенциарную...

Стасик. Папа!

Мархоцкий. Молчи, щенок!

Доктор *(пьет)*. Темное это дело — буридан. Абсолютно темное. Никто не вылечивается. Наоборот, умирают!

Сегедилья Марковна. Доктор, что вы?

Доктор *(передразнивает)*. Что я! Что я! Бросьте вы эти цуцели-муцели... Маг и волшебник... Шарлатан я. Шар-ла-тан! Не нравится? А мне, вы думаете, нравится?

Пип подходит к столу, хочет сесть, но все места заняты. Он даже пытается раздвинуть чьи-то плечи, но это ему не удается.

Пип *(улыбаясь)*. Тут, кажется, свадьба? *(Молчание. Гости пируют.)* Там кто-то стучит. *(Молчание.)* Там очень сильно стучат. Нужно открыть.

Б е р н а р д о в. Слушайте, Пип, не путайтесь вы, пожалуйста, под ногами!

Пип ошеломленно улыбается и отходит в сторону.

М а р х о ц к и й *(держит речь)*. В конце концов, Стасик, это хорошо, что ты женился. Через месяц я выйду из тюрьмы...

С т а с и к. Папа! Это наконец черт знает что...

М а р х о ц к и й. Не мешай! Будем жить все вместе... Я буду нянчить внучат...

Н а т а. Что он говорит? Какая тюрьма? Кого нянчить? Он будет жить вместе с нами? В одной комнате?

С т а с и к. Успокойся, Ната. Это... это недоразумение! Папа, я прошу вас немедленно отсюда уйти.

М а р х о ц к и й. Что? С кем ты говоришь, болван?

С т а с и к *(вне себя)*. Папа, вон отсюда!

М а р х о ц к и й *(встает, шатается)*. Скорей, скорей! Вон из этого ада! Назад, в тюрьму! *(Бежит к выходу, за ним молча устремляется мистер Пип.)*

Н а т а. Ты от меня все это скрыл!..

С т а с и к. Какие мелочи, Наточка...

Н а т а. Ты даже не представляешь себе, какой ты негодяй!..

С т а с и к. Почему я не представляю? Что, у меня нет воображения?

Н а т а *(решительно)*. Зовите Лифшица!

Чуланов выбегает. Открывается дверь, наступает триумф Л и ф ш и ц а. Он идет, маленький, хилый, с бледным одухотворенным лицом. Гости выстроились шпалерами.

Л е в Н и к о л а е в и ч *(просыпается, кричит)*. Горько!

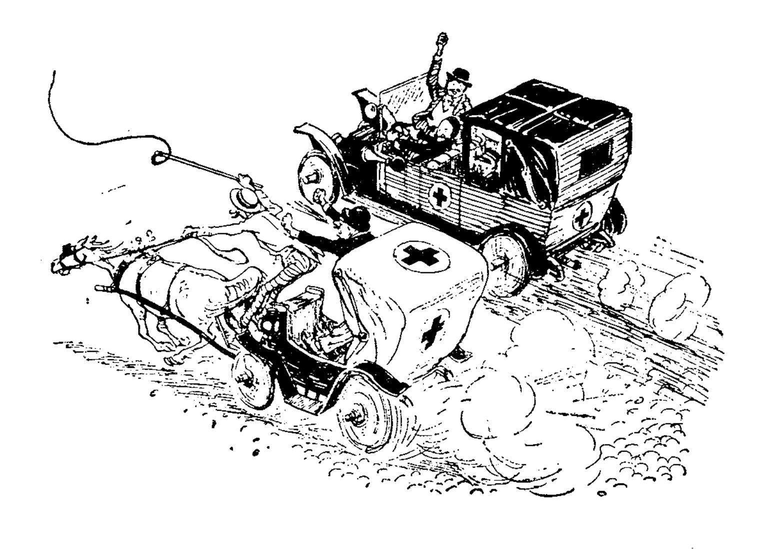
Лифшиц и Ната целуются, Чуланов воровато целует Риту. Общий шум.

А н т о н П а в л о в и ч *(просыпаясь)*. Горько! За великое чувство любви! Ура!

М а м а. Вот говорили — водки не хватит, а все перепились!..

З а н а в е с

1933



СЦЕНАРИЙ ЗВУКОВОГО КИНОФИЛЬМА

Молодой парижский служащий просыпается в своей комнате в тот сумрачный час, когда люди готовятся идти на работу.

Первый взгляд его падает на календарь. 13 число. Плохая примета. Он переводит взгляд. Пятница. Еще хуже.

Хмурый, он подымается с постели и уже с ужасом замечает, что встал с левой ноги. День не предвещает ничего доброго.

Он выходит на улицу. Плохие приметы обрушиваются одна за другой: кошка перебегает дорогу, навстречу идет священник, похороны преграждают путь.

Служащего пугает это невероятное стечение примет.

Он спускается в метро. Покупает газету.

Входит в вагон. Садится. Закрыв глаза, гадает на пальцах. Снова неудача — пальцы не сходятся.

В полном отчаянии разворачивает газету и видит, что выиграл пять миллионов франков.

Вынимает билет. Сравнивает. Все правильно. Вытаращив глаза, он смотрит то на газету, то на билет. Он совершенно позабывает об окружающем.

Над ним, в тесноте вагона, стоит девушка. Она раскрывает сумочку, чтобы попудриться, и случайно роняет свой платочек на колени счастливца.

Девушка хочет взять платочек, но он лежит так неудобно, что она внезапно смущается и отдергивает руку.

Счастливец ничего этого не замечает.

Пассажиры переглядываются и начинают улыбаться.

Девушка смущается еще больше.

Публика с интересом ждет, чем все это кончится.

Счастливец отрывает наконец глаза от газеты.

Он замечает, что все, усмехаясь, смотрят на его колени.

Он опускает глаза, видит что-то белое и судорожно запихивает платочек в штаны, думая, что это высунувшийся конец нижней рубахи.

Под общий смех он выскакивает из вагона.

Опомнившись, проверяет, на месте ли билет.

Прячет его в другой карман, но, не сделав и двух шагов, вынимает снова.

Боязнь потерять билет так велика, он его перекладывает так часто, что билет все время на виду и трепещет, как голубь, готовый вырваться из рук.

Наконец билет укладывается в бумажник.

Однако бумажник — помещение ненадежное для столь драгоценного предмета, как пятимиллионный билет.

Счастливец покупает портфель и прячет туда бумажник.

Но и этого ему мало. Покупается чемодан, в который запирается портфель.

Секунда спокойствия и блаженства сменяется новым припадком ужаса. Все распаковывается и выбрасывается. Самое надежное — держать билет в руке. По крайней мере видно, что он тут.

У павильона Флоры счастливец видит, как толпа фотографов, кинематографистов и репортеров набрасывается на предыдущего счастливца.

Этот пришел за выигрышем со всей семьей. Тут — папа, мама, бабушка, которую держат под руки, идиотически улыбающийся дедушка и дети.

Их бесцеремонно фотографируют — заставляют принимать различные позы, отцу впихивают на руки младенца. Дедушку теребят репортеры с записными книжками — берут у него интервью.

Диктор спешно кричит в радиомикрофон.

Диктор. Вниманье, вниманье! Говорим из павильона Флоры. Сейчас перед вами выступит бакалейщик, господин Жаклен, только что получивший миллион франков. Он еще держит его в руках. Пожалуйста, господин Жаклен.

Микрофон подносят ко рту бакалейщика, и он, бледно улыбаясь, начинает:

Бакалейщик. Я никогда не думал, господа, что выиграю миллион франков. Но теперь я очень доволен...

Фотограф грубо поворачивает его лицо в нужную сторону.

— ...Я чувствую себя очень хорошо. Что я сделаю с миллионом, господа? Немножко я дам родственникам...

Жена *(перебивает)*. Кому? Кому?

Бакалейщик. Моим родственникам, господа.

Жена *(в микрофон)*. Родственникам! Ну, вы видели большего идиота, господа? *(Мужу.)* А родственники тебе что-нибудь давали? Дурак!

Бакалейщик *(тупо улыбаясь)*. Жизнь прекрасна, господа.

Обладатель пятимиллионного билета с тоской наблюдает страдания бакалейщика.

Пользуясь тем, что внимание толпы отвлечено, он проскальзывает в павильон и предъявляет чиновнику свой билет.

Увидев пятимиллионный билет, чиновник вскакивает, чтобы позвать людей.

Но счастливец силою усаживает его на место.

Счастливец. Ради бога... умоляю вас... никого не зовите!

Чиновник. Ваша фамилия?

Счастливец. У меня нет фамилии... То есть у меня есть фамилия, но я хочу остаться неизвестным.

Чиновник. Это ваше право.

Выполняет формальности.

Счастливец смотрит в окно. Лицо его выражает ужас.

Чиновник. Но вы живете в Париже?

Счастливец видит сверху новые «пытки», которым подвергается бакалейщик и его семья. Теперь этих добрых людей снимают для звуковой кинохроники, и они растерянно отступают под натиском кинооператоров.

Счастливец *(испуганно)*. Нет, нет, не в Париже, только не в Париже!

Чиновник. Ах, в провинции! В каком же городе?

Счастливец. В таком... в небольшом...

Растерянно водит пальцем по карте Франции, которая висит тут же. Палец останавливается на первой попавшейся точке.

Счастливец. Бург-сюр-Орм.

Чиновник *(пишет)*. Бург-сюр-Орм. Отлично.

Раннее чистое летнее утро в провинциальном городке. Центральная площадь городка.

Два отеля с кафе, расположенные друг против друга.

В утреннем полусвете все-таки можно прочитать надписи на полотняных навесах кафе.

Одно заведение называется:

«Друг желудка»

Г-н Огюст Лево

Другое:

«Веселая устрица»

Г-н Виктор Бранден

Перед «Другом желудка» помещается бензиновая колонка «Шелл». Перед «Веселой устрицей» колонка «Стандарт».

В перспективе улички показывается обнявшаяся парочка. Парочка медленно подвигается к площади, ежесекундно целуясь.

Наконец он снимает руку с ее плеча.

Молодые люди нежно прощаются, осторожно оглядываются по сторонам и расходятся.

Она снимает туфли и влезает в окно кафе «Веселая устрица».

Он перелезает забор двора «Друга желудка».

На площади снова пусто и чисто.

Солнечный луч скользит по плакату, наклеенному на стене «Веселой устрицы»:

КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ ГОРОДА БУРГ-СЮР-ОРМ

В четверг, 12 июня, состоится торжественное открытие и пуск кареты

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,

которую г. Бранден в заботах о гражданах его родного города учредил для перевозки жертв несчастных случаев в городскую лечебницу.

Да здравствует партия республиканских радикалов города Бург-сюр-Орм и ее непреклонный вождь г. Бранден!

На выборах мэра все голосуйте за г. Брандена!

Утро дышит миром.

И только другая афиша на стене «Друга желудка» показывает, что в городке бушуют микроскопические страсти и между владельцами обоих гостиничных заведений идет отчаянная борьба.

ГРАЖДАНИН!

Если с тобой произойдет несчастный случай, если ты внезапно сломаешь ногу или скоропостижно заболеешь — ничего не бойся. Тебе обеспечена быстрая помощь.

О тебе позаботился старик Лево. Старый Лево никогда не забывает о гражданах своего родного города.

Ровно в 9.30 утра
состоится торжественный пуск
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КАРЕТЫ.

Да здравствует партия радикальных республиканцев и ее дальновидный вождь старик Лево!

На выборах мэра голосуйте только за старика Лево!

Перед дверью «Друга желудка» появляется мадам Лево. Она вывешивает на веревке брюки мужа и начинает их выколачивать. Это широкие и прочные штаны добродетельного человека. Сразу видно, что их носит не какой-нибудь шалопай. Это чудные штаны в полоску с большими пуговицами, пришитыми на всю жизнь.

В дверях «Веселой устрицы» происходит такая же сцена. Мадам Бранден проветривает и выбивает клетчатые брюки. Это грандиозное вместилище, и можно сразу понять, что это брюки г. Брандена, кандидата в мэры, а не какого-нибудь незначительного лица.

Матроны усердно работают над брюками великих людей. Они с напускным равнодушием поглядывают друг на друга, но чувствуется, что под их корсетами клокочет ярость.

Через площадь, между обоими кафе торопливо проходит агент по страхованию г. Писанли. Это немолодой сердцеед с маленькими усиками и в котелке, элегантно нахлобученном на самые уши.

Он раскланивается с обеими дамами грациознейшим образом.

Дамы провожают его страстными взглядами.

Когда г. Писанли исчезает, взоры их встречаются.

Сладчайшие улыбки сменяются грозными. Женщины готовы схватиться. Однако благоразумие берет верх, и они возвращаются к прежнему занятию.

Кидая воинственные взгляды друг на друга, они колотят брюки все сильнее и сильнее, вкладывая в удары ненависть, предназначающуюся сопернице.

Брюки взвиваются, трещат под ударами — и облако пыли застилает площадь.

Когда оно расходится, соперниц уже нет.

Из «Друга желудка» выходит на площадь тринадцатилетний гарсон г. Лево — мальчик Тити. В руках у него рулон афиш, ведерко с клейстером и кисть. За ним плетется собака.

Он подходит к афише, восхваляющей достоинства г. Брандена, и заклеивает ее афишей, превозносящей добродетели г. Лево.

Покуда Тити занят своим делом, собаке тоже находится занятие.

Она бросается на кошку, появившуюся из «Веселой устрицы», и загоняет ее на дерево.

На помощь кошке спешит Мак-Магон, по виду хотя и дремучий, но совершенно вздорный старик, гарсон г. Брандена.

Он видит страшную работу Тити, бросается в дом и сейчас же появляется снова с рулоном афиш, клейстером и кистью.

Он подкрадывается к мальчику, отбрасывает его в сторону и срывает афишу врага.

Одержав эту победу, старик приступает к расклейке своих афиш. Но пока он возится с ведерком, Тити подменяет сверток с афишами. Упоенный успехом, старик ничего не замечает и заклеивает всю стену афишами г. Лево. Во время работы он бормочет:

— Я тебе покажу, Лево, молокосос! Лево! Лево! Дерьмо твой Лево, вот что! Плевал я на Лево! Тоже кандидат в мэры нашелся!..

Закончив расклейку, он отходит, чтоб полюбоваться своей работой.

С недоумением видит, что вся стена заклеена афишами противника.

Бросается на Тити, который с довольным видом вертится тут же под ногами.

Тити, увертываясь, кричит:

— Меня убивают! Господин Лево! Помогите!

В окне появляется полуодетый Лево.

На пороге своего кафе вырастает Бранден с намыленной физиономией и безопасной бритвой в руке.

Тити. На помощь, хозяин!

Мак-Магон (*гоняясь за мальчиком*). Посмотрите, что он сделал, господин Бранден!

Бранден смотрит на афиши и взмахивает бритвой.

Мадам Бранден (*оттаскивает его назад*). Тебе вредно волноваться. У тебя больное сердце!

Лево прыгает в своем окне, как обезьяна. Жена его успокаивает.

Мадам Лево. Огюст! Умоляю тебя! С твоим сердцем!..

Оба исчезают внутри своих домов и тотчас же снова появляются, но жены их утаскивают.

Мак-Магон в ярости срывает афиши врага. Покуда он это делает, Тити снова подменяет рулон. И когда Мак-Магон набрасывается на рулон и начинает его рвать, то видит, что рвет собственные афиши.

Мак-Магон (*перед клочьями афиш, держа за шиворот мальчика*). Скорее, господин Бранден! Посмотрите, что они сделали с нашими афишами!

Тити издает ужасные вопли.

На площадь выскакивают Бранден и Лево. Они уже одеты. На них те брюки, которые выбивали их жены. Оба до крайности взволнованы.

Некоторое время они только задыхаются, так как не в состоянии сказать ни слова.

Они разевают рты, ловят воздух, хватаются за сердце, надуваются все больше и больше.

Молчаливая дуэль кончается тем, что оба противника валятся в обморок.

Их растаскивают по домам. Но они неожиданно опять выскакивают на площадь. Однако, не успев добежать друг до друга, снова падают в обморок. Их уносят по домам жены, дети и слуги. Площадь пустеет.

И в заключение на ней разыгрывается маленькая война — кошка г. Брандена, прижатая к стене и лишенная возможности отступить, дает ловкие пощечины собаке г. Лево.

Неизвестно откуда доносится бурный, порядочно фальшивый марш.

Двор отеля «Друг желудка».

У небольшого полугрузовичка, служащего в обычное время для перевозки хозяйственных грузов, наспех и грубо переделанного в карету скорой помощи с красным крестом и надписью: «Милосердие старика Лево. Все голосуйте за радикальных республиканцев», идут последние приготовления.

Тити с сияющим лицом выметает из машины мусор.

Сын Лево, Андре, в котором мы узнаем молодого человека, прощавшегося с девушкой, уже сидит на месте шофера.

Мадам Лево тут же во дворе поправляет старику галстук и готовит его к выступлению.

Лево взбирается в машину и становится в позу триумфатора, Тити раскрывает ворота, марш гремит с удвоенной силой, становится еще фальшивей, и медицинское сооружение выкатывается на площадь.

На площади собралась небольшая толпа граждан. Между обеими конкурирующими гостиницами поместился любительский оркестр из шести человек. Музыканты щеголяют узкими и короткими белыми панталонами, из-под которых глядят мощные черные ботинки военной доброты. Состав исполнителей такой: тарелки, геликон, губная гармоника, скрипка и две необыкновенно пискливых фанфары. Губная гармоника почти исчезает под пышными усами музыканта.

При выезде автомобиля раздаются восклицания. Оркестр играет туш. Господин Лево раскланивается, подымает руку и начинает речь.

— Граждане, в этот знаменательный день, когда партия радикальных республиканцев дает новое свидетельство своих забот о благе общества, в этот день, когда...

Но тут широко раскрываются ворота «Веселой устрицы», слышится громкое кучерское причмокиванье и на площадь выезжает большая белая лошадь с толстыми ногами и генеральским плюмажем на челе. Лошадь влечет за собой тележку с красным крестом и надписью: «Скорая медицинская помощь при несчастных случаях г. Виктора Брандена. Голосуйте исключительно за республиканских радикалов».

На козлах сидит Мак-Магон, рядом с ним дочь Брандена Люси в госпитальной наколке. (Это девушка, прощавшаяся утром с Андре.) В тележке стоя помещается г. Бранден.

Оркестр играет туш. Мак-Магон делает «тпр-ру», и колесница останавливается напротив вражеского автомобиля.

Приветственные клики толпы.

Бранден. Я не оратор, граждане. Жизнь общественная есть общественная жизнь общества. Потому что общество составляется из общественной жизни. Без общественной жизни общество уже не общество...

Здесь содержательная речь Брандена прерывается тушем, который грянул по поводу торжественной церемонии, разыгрывающейся у автомобиля Лево.

Господин Писанли подносит букет с лентами г. Лево и целует руку мадам Лево. Оркестр играет «Марсельезу».

Мадам Бранден устремляет на Писанли магнетический взгляд, и он смущенно скрывается в толпе.

В лагере Брандена полное смятение. Бранден хватается за сердце. Жена из аптекарской бутылочки наливает ему успокоительные капли. Он выпивает.

Растроганный Лево продолжает свою речь.

— Этот букет, господа, только лишнее подтверждение того, как высоко стоит авторитет радикальных республиканцев среди прогрессивных слоев Бург-сюр-Орма. Жалкое лепетание республиканских радикалов никогда...

Его прерывает визгливый туш. Толпа поворачивается в сторону белой лошади.

Там происходит великое торжество. Господин Пи-

санли подносит Брандену венок с лентами и склоняется перед мадам Бранден.

Мадам Бранден торжествует.

Г. Лево хватается за сердце.

Лево. Лекарство!

Протягивает руку к жене. Но она, не сводя глаз с коварного Писанли, сама пьет капли.

Писанли испуганно ныряет в толпу.

В толпе рядом стоят Тити и Мак-Магон.

Тити. Да здравствует господин Лево!

Мак-Магон. Долой Лево. Да здравствует господин Бранден!

Мак-Магон в припадке преданности подбрасывает в воздух свою шапку. Тити ловит ее и не отдает. Мак-Магон за ним гоняется.

Оправившийся Бранден кричит:

— Господа, лучшим идеалам общественной жизни общества угрожает опасность. Перед вами стоит узурпатор. Это он украл у меня идею скорой медицинской помощи при несчастных случаях.

Лево *(стараясь перекричать противника)*. Граждане, вы слишком хорошо знаете старика Лево, чтобы поверить этой демагогии. Идея скорой медицинской помощи принадлежит исключительно радикальным республиканцам.

Бранден. Нет, республиканским радикалам.

Лево. Нет, радикальным республиканцам.

Бранден. Мне!

Лево. Нет, мне!

Бранден. Вам?

Лево. Мне.

Бранден. Тебе?

Лево. А кому? Вам?

Бранден. Мне!

Лево. Те-бе?

Бранден, стегнув свою лошадку, подъезжает вплотную к противнику.

Бранден. А у кого [.?.] сумасшедший?

Лево. А у кого в гостинице клопы?

Тити. Ура!

Тити нагло смотрит на Мак-Магона.

Оркестр играет туш. Брандену подают капли. В[.?.] он подымает стаканчик, как заздравную чашу, и кричит:

— Да здравствует партия республиканских радикалов! Долой интригана Лево, который в своем «Друге желудка» подавал вчера тухлого гуся. Я сам нюхал!

Мак-Магон. Нюхал, нюхал! Ура!

С торжеством смотрит на Тити. Тити повержен. Оркестр играет туш.

Лево хватается за сердце, в волнении вырывает у Брандена капли, пьет их и, возвратив удивленному врагу пустой стаканчик, кричит:

— А кого жена бьет по морде?

Бранден. А в самом деле? Кого?

Лево. Вас!

Бранден. Меня?

Лево. Тебя!

Бранден. А вас?

Лево. Как? Ме-ня?

Бранден. Да, да! Тебя! По морде!

Лево смущенно молчит. Писанли с ужасом переводит глаза с мадам Лево на мадам Бранден и снова на мадам Лево. Толпа неистово кричит. Такой спектакль бывает не каждый день.

Внутри медицинской кареты г. Лево, сквозь разрез брезентового навеса, сквозь который видна площадь и люди, обнимаются Люси и Андре. Вражда отцов не мешает им любить друг друга. Вся их сцена немая и идет под пререкания невидимых родителей.

Голос Лево. Негодяй!

Голос Брандена. Сам негодяй!

Молодые люди целуются.

Лево. Дурак!

Бранден. От такого слышу.

Молодые люди целуются.

Лево. Я убью его.

Поцелуй.

Бранден. Держите меня!

Поцелуй.

Нечленораздельный крик Лево.

Поцелуй.

Рев Брандена.

Поцелуй. Поцелуй. Поцелуй.

Снова площадь.

Противников развели по местам и успокаивают. Мак-Магон отнимает наконец у Тити свою шапку и водружает ее на голову. Из автомобиля незаметно выходят Андре и Люси.

На площадь, размахивая котелком, вбегает Писанли и кричит:

— Несчастный случай! Скорее! Несчастный случай с мадам Буало. Она упала на рыночной площади и подвернула себе ногу.

При этом крике оба государственных мужа, поникшие было главами от перенесенных волнений, проявляют необыкновенную деятельность. Расталкивая окружающих, они бросаются к своим каретам.

Лево *(вскакивая в машину)*. Андре! Полный ход!

Бранден *(переваливаясь в тележку)*. Мак-Магон! Люси — на место!

Андре заводит ручкой мотор. Искры нет. Машина не движется. Лево вне себя. Андре подымает капот и углубляется с головой в мотор.

Бранден с дьявольским смехом выносится вперед на своей колеснице.

Бранден *(кричит)*. Да здравствует партия республиканских радикалов и ее вождь — я!

Ужасные понукания Лево. Андре наконец починился, берется за руль, машина делает ужасный скачок и мчится вдогонку за Бранденом.

Узкая уличка, по которой еле-еле движется норовистая белая лошадь. Сзади подъезжает автомобиль Лево, но обогнать противника он не может — узка улица. Тогда он сворачивает в первый же переулок и вскоре появляется на этой же улице, но уже впереди лошади.

Лево в восторге кричит:

— Да здравствует партия радикальных республиканцев!

Мотор капризничает, машина едва движется, а ло-

шадь, которая только взяла ход, наседает сзади, но тоже из-за узости мостовой не может обогнуть автомобиль.

В горячке Бранден также сворачивает в переулок.

Новая уличка, где автомобиль и лошадь почему-то мчатся навстречу друг другу. И только почти столкнувшись, они с проклятиями поворачивают назад и так же бешено мчатся в разные стороны.

Широкая и большая улица. Теперь соперники несутся рядом.

Сумасшедшая гонка лошади и автомобиля.

Обезумевший Мак-Магон стоя нахлестывает лошадь.

Тити чуть не выпадает из автомобиля.

Бранден теряет шляпу.

Лево лихорадочно пьет капли.

Кареты въезжают на рыночную площадь. Действительно, там у стены дома, окруженная небольшой кучкой людей, со страдальческим выражением на лице лежит старуха.

Бранден и Лево одновременно спрыгивают на землю и подбегают к старухе.

Лево еще издали кричит Брандену:

— Прочь! Прочь! Это моя больная!

Бранден. Отойдите от нее немедленно. Вам говорят!

Над телом старухи они сталкиваются и начинают отпихиваться руками.

Лево. Это моя старуха.

Бранден. Ваша?

Лево. Моя!

Бранден. Твоя?

Лево. А чья же?

Бранден. Общественная.

Лево. Как, общественная?

Бранден. Я ее нашел!

Лево. Нет, это я ее нашел.

Старуха. Ох, умираю!

Лево. Видите, старушка умирает, а вы... Пустите сию минуту.

Бранден. Нет, вы пустите!

Лево. Почему же я должен вас пустить?

Бранден. Потому что старушка гибнет на глазах подлой радикально-республиканской партии.

Лево. Нет, она гибнет на глазах республиканско-радикальной партии, на ваших глазах, а не на моих.

Старушка со страхом подымается и, ковыляя, уходит. Но никто этого не замечает. Государственные мужи продолжают спорить.

Бранден. В таком случае могу вам сообщить, с кем живет ваша жена.

Лево. Пожалуйста!

Бранден. Она живет с господином Писанли.

Лево. Извините, с господином Писанли живет ваша жена!

Бранден. Но весь город знает про вашу жену.

Лево. Нет, весь город знает про вашу.

Писанли поспешно выбирается из толпы и скрывается с глаз.

Оба кандидата в мэры надуваются до последней степени и падают в обморок.

Их подхватывают и засовывают в свои же скорые медицинские кареты. Кареты увозят безжизненные тела своих владельцев тем же бешеным аллюром, каким неслись к старухе, так и не дождавшейся помощи.

Завернутый в плед, с компрессом на голове, окруженный аптекарскими бутылочками, сидит за столом г. Лево и, поглядывая в окно на гнездо врага, сочиняет донос.

«Господину префекту.

Обуреваемый желанием принести посильную помощь городу, его благоустройству и процветанию, не могу не сообщить Вам, г. префект, о том, что, известный низостью своего поведения, содержатель кабака под названием «Веселая устрица» Виктор Бранден торгует после 12 ночи, при закрытых шторах, что строжайше воспрещено обязательным постановлением, и подает плохой пример подрастающему поколению.

Остаюсь навсегда преданный *Огюст Лево*».

Составив этот документ, г. Лево прячет его в карман своих брюк, полосатых брюк.

Г. Бранден, полулежа на диване, удовлетворенно заканчивает донос на Лево и прячет его в карман своих фундаментальных клетчатых штанов.

Едва он кончает это достойное занятие, входит Люси.

Люси. Можно, папа?

Бранден утвердительно хмыкает.

Люси. Я давно хотела тебе сказать.

Бранден хмыкает.

Люси. Мне сделали предложение.

Бранден одобрительно хмыкает.

Люси. Один молодой человек.

Бранден одобрительно хмыкает.

Люси. Ты его знаешь.

Бранден вопросительно хмыкает.

Люси. Он очень хороший.

Бранден одобрительно хмыкает.

Люси. [.?.]

Бранден энергично и отрицательно хмыкает.

Люси. Но почему же?

Бранден. Потому что он такой же мерзавец и негодяй, как его отец. И кончим на этом разговор.

Люси плачет. Отец выталкивает ее.

Г. Лево стоит в грозной позе перед сыном.

Лево *(кричит)*. Никогда. Никогда. Только через мой труп!

Есть в городе девушка по имени Лилиан. Это обыкновенная провинциальная проститутка с истерическими потугами на парижский жанр. Она сидит у окна своей комнаты и беседует с господином Писанли, который стоит на улице. Вечер. Господин Писанли приторно любезен и все время приподымает над головой свой элегантный котелок.

Писанли. Дела не идут, дитя мое.

Лилиан. Да, дела не идут.

Писанли. Кризис.

Лилиан. Да, кризис.

Писанли. Когда дела шли...

Лилиан. О, когда дела шли...

Писанли. Тогда я страховал в день не меньше трех человек от смерти. Это была жизнь.

Лилиан. У меня тоже было не меньше трех в день. Иногда даже больше.

Писанли. А теперь нет клиентов.

Лилиан. Да, клиентов мало.

Писанли. Так как же будет, дитя мое? Может быть, можно в кредит?

Лилиан. В кредит?

Писанли. Когда дела пойдут, я заплачу. Честное слово.

Лилиан. Убирайся ты вон, свинья такая.

Писанли. Вот видите. В любви тоже не везет. Так и знал. *(Мнется.)* Слушай, девочка, тебе не нужен тихий, спокойный, непьющий, средних лет, глубоко-интеллигентный кот?

Лилиан. Проваливай!

Писанли. Пожалуйста, пожалуйста.

Он уходит, вежливо приподымая котелок. Лилиан закрывает окно и опускает занавеску.

Стук в дверь. Входит г. Бранден в своих замечательных штанах в клетку. В петлице у него цветок. Усы торчат кверху.

Бранден. Ку-ку!

Целует Лилиан, которая молчит довольно сурово.

Бранден. Птичка, я пришел отдохнуть на твоей груди.

Лилиан, не отвечая, роется в ящике стола.

Бранден. Что с тобой, моя крошка?

Лилиан протягивает ему маленькую афишку.

Лилиан *(грозно)*. Кто это писал?

Бранден тупо смотрит на афишку.

Текст афишки:

Матери и жены, я осушу ваши слезы. Я вырву юношество Бург-сюр-Орма из грязных объятий развратницы Лилиан, которая при попустительстве радикальных республиканцев свила себе гнездо на священной почве нашего города. Как только меня выберут мэром, я изгоню ее.

Голосуйте на выборах только за партию республиканских радикалов.

Виктор Бранден.

Лилиан. Ну?

Бранден (*трусливо*). Что тут особенного?

Лилиан. Зачем же ты приходишь отдыхать в грязных объятиях развратницы?

Бранден. Детка!

Лилиан. Нет, что это значит?

Бранден. Ну, стоит ли обращать внимание? Это же политика! Чистая политика и ничего больше.

Лилиан. У одного кризис, у другого политика. Спасибо!

Бранден обнимает разгневанную Лилиан. Раздается осторожный стук в дверь. Бранден в испуге отскакивает.

Бранден. Ради бога! Меня не должны здесь видеть! В такой ответственный момент острой политической борьбы. Куда мне деваться?

Лилиан вталкивает государственного деятеля в соседнюю комнату и открывает входную дверь.

На пороге ее с победоносной улыбкой стоит г. Лево, подвинчивая свои усы. Он предостерегающе протягивает руку и шипит:

— Никто не должен знать, что я здесь.

Лилиан. Понимаю, понимаю! Политика!

Лилиан молча уводит Лево в комнату, расположенную напротив той, где укрылся Бранден, подводит его к стене и, указав на афишку, приколотую к стене кнопками, говорит:

— Я тоже стала заниматься политикой.

Лево, тараща глаза, видит собственное воззвание к избирателям.

Текст воззвания:

Женщины города!

Дело нравственности в верных руках. Когда старик Лево будет мэром, он немедленно обрушится на темное пятно нашего города, притон потаскухи Лилиан.

Воздействуйте на своих мужей, скажите своим сыновьям, что все голоса должны быть отданы только радикальным республиканцам.

Огюст Лево.

Лево молчит.

Лилиан. Значит, я темное пятно?

Лево. К чему такие мрачные мысли, курочка? Это же сделано для семьи.

Лилиан (*считает на пальцах*). У одного — кризис, у другого — политика, у третьего — семья. Очень мило!

Лево обнимает ее.

Лилиан. Теперь я вижу, что дело нравственности действительно в верных руках.

Средняя комната, в которой началась сцена. Входит Лилиан. Она замечает, что на стуле у двери комнаты, где поместился Бранден, уже лежат его замечательные брюки в клетку.

Когда она оглядывается, то на стуле у противоположной двери уже висят прекрасные, вечные брюки в полоску господина Лево.

Лилиан. Ну, кажется, кризис кончается.

Ночь. Улица. По ней бредет невзрачный человечек. Он движется медленно, иногда останавливается, внимательно смотрит на входные двери, потом подходит к окну одного дома, нажимает на раму, но она не открывается. Оглянувшись, идет дальше.

Заглядывает сквозь прутья изгороди другого дома и отскакивает. Ему не понравилась большая собака, строго выглядывающая из будки.

По всему видно, что это неэнергичный и невезучий маленький вор.

Он подходит к другому окну. Рама легко растворяется. Вор влезает в комнату и сейчас же выпрыгивает из окна с двумя парами замечательных фундаментальных штанов.

Еще у самого дома он шарит в карманах брюк, но, найдя там только какие-то сложенные бумажки, недовольно гримасничает, пихает бумажки как попало назад в брюки и скрывается во мраке.

Средняя комната Лилиан.

Одна из дверей приоткрывается, оттуда высовывается голая толстая рука и протягивается за брюками. Не найдя их в том месте, где они лежали, рука прячется назад.

Затем дверь снова приоткрывается, показывается голова Лево. Глаза его с недоумением глядят на пустой стул.

Раздается скрип другой двери, и голова Лево испуганно скрывается.

В противоположной двери появляется Бранден и, не увидев своих брюк, прячется в комнату.

Лилиан в средней комнате. Ничего не понимая, обнаруживает исчезновение брюк. Подбегает к открытому окну. Ночь. Тишина. Мерцают фонари.

Из темноты — колокольный звон.

Разворачивается чудное воскресное утро в тишайшем Бург-сюр-Орме.

Сухонькие старушки с молитвенниками движутся в церковь. Идут в церковь целые семьи, папы, мамы, ведут детей, катят какого-то старика в колясочке, обмениваются поклонами. Всё очень чинно и достойно.

Чистый колокольный звон. Где-то за городом, в овраге, сидит вор и восхищенно рассматривает украденные брюки.

Писанли с рюмочкой в руках стоит перед стойкой, за которой помещается заплаканная мадам Лево, и разглагольствует.

Писанли. Вы, главное, не волнуйтесь, мадам Лево. Не пришел ночевать? Ничего тут нет особенного. Одно из двух: либо он вернется, либо он не вернется. Если он вернется, то уже хорошо. А если не вернется, то одно из двух. Либо с ним случилось несчастье, либо не случилось. Если не случилось несчастье, то уже хорошо, а если случилось, то одно из двух. Либо он остался жив, либо он не остался жив. Если он остался жив, то уже хорошо, а если не остался, то одно из двух...

Мадам Лево глотает слезы.

Андре и Люси направляются в церковь по разным сторонам улицы. Отойдя достаточно от дома, они переглядываются, сходятся и дальше идут вместе.

Писанли уже ораторствует перед плачущей мадам Бранден. Развязно попивая из бокала, он болтает.

Писанли. В конце концов, мадам Бранден, вам совершенно нечего беспокоиться. Либо он умер, либо он не умер. Если он не умер, то уже хорошо, а если умер, то одно из двух, либо он умер в мучениях, либо умер без мучений.

Мадам Бранден плачет навзрыд.

Писанли. Почему же вы плачете? Если он умер без мучений, то уже хорошо, а если он умер в мучениях, то одно из двух. Либо он попал в рай, либо он попал в ад. Если он попал в рай, то уже хорошо, а если он попал в ад, то одно из двух. Либо сатана его полюбил, либо сатана его не полюбил. Если полюбил, то уже хорошо, а если не полюбил, то одно из двух...

Мадам Бранден ревет.

Великий утешитель беззаботно пьет из бокала.

Чрезвычайно грустное зрелище. Кандидат в мэры г. Бранден в удобных домашних кальсонах, но в пиджаке и галстуке, под тихий колокольный звон прыгает перед Лилиан. Он разъярен и одновременно испуган до крайности.

Бранден. В конце концов надо купить штаны. Не могу же я здесь сидеть вечно!

Лилиан. Что ты кричишь? Ты хочешь, чтоб весь город сюда сбежался?

Бранден *(шепчет)*. Умоляю. Ну, надо купить штаны. Надо! Понимаешь? Брюки!

Лилиан. Сколько раз тебе говорить. Сегодня воскресенье. Все закрыто.

Бранден. О! Воскресенье! *(В отчаянии бросается на кровать.)* Я погиб! Что теперь со мной сделает этот мерзавец Лево!

В комнату доносится тонкий протяжный стон. Бранден в страхе прислушивается. Он вскакивает.

Бранден. Там кто-то есть!

Лилиан. Это собака. Я ее сейчас прогоню!

Выходит, тщательно прикрыв за собой дверь, и открывает дверь второй комнаты.

Там, на коленях, в одних коротких кальсонах стоит Лево и ужасно стонет.

Лилиан. Что это за штуки? Ты с ума сошел!

Лево. Лилиан, спаси меня.

Лилиан. Прежде всего тише.

Лево *(шипит)*. Я же не прошу роскоши. Я прошу предмет первой необходимости. Брюки! Неужели ты не понимаешь, что такое для мужчины брюки! О, если Бранден узнает! Что скажут мои избиратели!

Стонет так страшно, что Лилиан хватается за голову.

Лево. Ах, мои брючки, мои старые верные штаны!

Из соседней комнаты доносится грустный рев обезумевшего Брандена. Лево настораживается.

Лилиан. Ничего, ничего, это собака. Слушай, у меня есть идея. Рядом живет портной.

Лево. Правильно! Лилиан, ты святая женщина. *(Косится на афишку.)* Ей-богу, святая! Я всегда это говорил!

Поспешно достает деньги.

Лево. Как можно скорее!

Лилиан. Побегу и закажу две пары брюк.

Лево. Зачем же две пары?

Лилиан. Э-э... Я думала, что одна пара будет запасная.

Лево. Какая там запасная! Хватит и одной. Скорей беги. Ради бога. Пусть немедленно шьет. Честное слово, ты святая женщина.

В кафе Брандена «Веселая устрица» по-прежнему пусто. Разволновавшаяся мадам с распухшим от слез лицом сидит за столиком. Ее осторожно поглаживает по толстой спине господин Писанли.

Писанли *(вкрадчиво)*. Скажите, мадам Бранден, вам не нужен тихий, спокойный, непьющий, средних лет, глубоко интеллигентный метрдотель или, например, муж?

Мадам Бранден. Подождем еще немножко. Может быть, он вернется.

Писанли. Одно из двух. Либо он вернется, либо не вернется. Если он не вернется, то это уже хорошо. Значит, сатана его полюбил...

Новый приступ рыданий охватывает мадам Бранден.

Лилиан у портного, человека крайне медлительного и склонного философически вникать в сущность явлений.

Портной. Что это такое? Целый год никто не заказывал брюк! Вы меня извините, мадемуазель, но я уже начинал думать, что человечество перестало интересоваться брюками. И вдруг сразу две пары и чтоб были готовы в один час.

Лилиан. Да, да. В один час и две пары.

Портной. И вот когда я начинаю думать над тем, что бы все это могло значить, я прихожу к мысли, что кризис кончается.

Лилиан. Кончается, кончается. Только вы, главное, не думайте. Шейте как можно скорее. Думать будете потом.

Она уходит, а портной медленно разворачивает кусок ткани и упирается в нее тусклым взглядом. После долгой паузы он произносит:

Портной. Думать будете потом! Потом будет уже поздно.

Пауза.

Портной (*тяжело задумавшись*). Что такое брюки? А что такое жизнь?

Нисколько не торопясь, принимается резать ножницами сукно.

На безлюдную станцию Бург-сюр-Орм вкатывается пассажирский поезд.

Из багажного вагона выбрасывают пачку парижских газет.

Поезд уходит, оставив на перроне необычайных для городка пассажиров — здесь три кинематографиста с аппаратами, еще один человек весь на застежках-молниях (у него на таких же застежках — карманы пиджака и брюк, портфель, блокнот, рубашка) и бледный, превосходно одетый господин с толстеньким акушерским саквояжем.

Станционные служащие с удивлением рассматривают приезжих.

Вдруг у одного из них, принявшего пачку газет,

меняется лицо, и он уже не сводит глаз с заголовка, перерезанного шпагатом упаковки.

Текст заголовка:

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ФРАНКОВ ВЫИГРАНЫ ЖИТЕЛЕМ ГОРОДА БУРГ-СЮР-ЭРМ, СЧАСТЛИВЕЦ ПОЖЕЛАЛ ОСТАТЬСЯ НЕИЗВЕСТНЫМ.

Удивленные его поведением, заглядывают на пачку через плечо и другие служащие. Волнение охватывает всех.

Кучка людей, которые первые узнали поразительную новость, возбужденно шагает по улице. К ней присоединяются прохожие. Впереди всех, размахивая еще не развязанной пачкой, идет газетчик. Распахиваются окна, люди выбегают на балконы, кучка превращается в толпу.

Происходит чудо. Нищий, стоящий у перекрестка на костылях, узнав чудесную новость, бросает костыли и бежит за толпой, бодро ступая на обе ноги.

Из своего заведения выходит портной-философ с сшитыми брюками и клеенчатым метром на плече. Узнав, что произошло, он столбенеет.

Толпа идет дальше.

Кинематографисты тащат свои аппараты. Внимательно осматривая всех, чинно идет приезжий господин с саквояжем. Безмерно суетится репортер в [.?.], то раздергивая, то задергивая свои бесчисленные застежки.

Портной продолжает стоять все в том же свинцовом раздумье у своей лавки.

Церковь полна народа. Идет служба. Торжественные звуки органа.

С улицы входит один из граждан и что-то шепчет ближайшему к входу молящемуся.

Слух передается из уст в уста. Странный шелест и бормотанье наполняют церковь.

Органисту под самый нос подложили газету. Органист в волнении начинает страшно фальшивить.

Кюре, стоящий лицом к алтарю, морщится, бро-

сает недовольный взгляд на органиста, потом смотрит вниз.

Церковь пуста. Последние молящиеся толпятся у входа.

Только у одной колонны, забыв все на свете, шепчутся Андре и Люси.

Ничего не поняв, кюре откашливается и продолжает службу под фальшивый рев органа.

К портному, который все еще стоит в позе полного и решительного обалдения, подбегает Лилиан.

Лилиан. Готово?

Портной. Возьмите ваши брюки, мадемуазель, и уходите. В последний раз я делаю такую грязную работу. Раз в городе появился человек с пятью миллионами, для меня найдется работа получше. *(Начинает горячиться.)* Может жить миллионер без фрака? Не может! Может он жить без визитки? Не может! Смокинг ему нужен? До зарезу! Кто все это ему будет шить? Я! Другого портного в городе нет.

Лилиан. Да, но ведь он может выписать себе портного из Парижа!

Портной. Из Парижа? *(Тяжело задумывается.)* Как это я не сообразил! Так не забудьте. Моя фирма существует с тысяча восемьсот девяносто пятого года. Быстрое, точное, аккуратное исполнение заказов. Из Парижа! Как я об этом не подумал!

Лилиан. Кто же все-таки выиграл, хотела бы я знать?

Портной. О, если б я знал! Дайте мне только мерку с этого человека, и я сошью такой фрак, какой даже в Лондоне не сошьют.

Лилиан со свертком торопливо уходит, а портной снова застывает в беспредельном раздумье.

Бранден растрепан и ужасен. Он уже не владеет собой. Он бегает по комнате, как пленный тигр. Иногда он останавливается, тупо смотрит вперед себя и снова начинает гонять из угла в угол.

В горе он даже бьет себя по щекам.

Отчаяние этого человека показалось бы величественным и трагичным, если бы на его толстых ногах

были брюки. Но брюк все нет, и это вызывает у несчастного безумные взрывы горя.

Лево, наоборот, впал в мистицизм.

Он стоит на коленях и, молитвенно сложив руки, взывает к господу.

— Боже, ты один, всемогущий, видишь, в каком идиотском положении я нахожусь. Господи, за что ты так покарал видного общественного деятеля? Помоги мне, господи! Я же многого не прошу. Я ведь не такой, как другие, например, Бранден. Я ведь не хам. Только одну пару брюк. Ну, что тебе стоит?

Он так трогательно молится, что нужно удивляться тому, как потолок не разверзается и оттуда не спускается на страдальца просимый им предмет одежды.

Бранден прерывает свою беготню для того, чтобы осторожно посмотреть в окно сквозь занавеску.

Он видит Лилиан, идущую со свертком в руках. Он радостно переминается с ноги на ногу, но потом замечает, что Лилиан остановилась и присоединилась к кучке людей, горячо толкующих о чем-то и размахивающих руками.

Переходы Брандена от отчаяния к надежде из-за того, что Лилиан то направляется к дому, то снова останавливается, чтобы поговорить с гражданами города, которые толпятся на улице.

Лево в той же позе молящегося.

Открывается дверь, в комнату влетают брюки и падают прямо на простертые к небу руки Лево.

Он так радостно взволнован, что долго прыгает на одной ноге, не в силах правильно прицелиться другой ногой в штанину. Застегиваясь на ходу, он выпрыгивает из окна в сад и исчезает.

Лилиан вносит брюки в комнату Брандена.

Лилиан. На! И убирайся отсюда поскорее! Надоели вы мне все. Раз в городе есть миллионер, то для меня найдется работа получше!

Бранден (*лихорадочно одеваясь*). Что ты там мелешь! Какой миллионер?

Лилиан сует ему газету, а сама присаживается к зеркалу и поспешно начинает прихорашиваться. По-

куда Бранден осмысливает прочитанное, Лилиан болтает.

Лилиан. Может жить миллионер без фрака? Не может! Смокинг ему нужен? До зарезу! Девушка ему нужна? Конечно, нужна! А где он возьмет другую, если, кроме меня, в городе никого нет! Что ты на это скажешь?

Когда она оборачивается, Брандена уже нет в комнате.

Лилиан *(глядя на себя в зеркало)*. Да, но с такими деньгами он может выписать себе девушку из Парижа! Как я этого сразу не сообразила!

На центральной площади Бург-сюр-Орма, среди большой толпы граждан, горячо ораторствует Писанли. Он полностью овладел вниманием слушателей и врет без удержу. Тут и кинематографисты и репортер. Не видно только бледного господина с акушерским саквояжем.

Вообще от тихого, благостного воскресенья ничего не осталось. Исключительно земные заботы овладели людьми.

Писанли. Вы только не беспокойтесь. Вы положитесь на Писанли. Писанли вас не обманет. Я этих миллионеров знаю как свои пять пальцев. Я у самого Бонура брился, когда проезжал Тараскон. Даже смешно вспомнить. Смотрите, вот эти самые щеки брил Бонур. Вы мне только дайте найти этого счастливца. Уж я его застрахую, будьте уверены. И от огня, и от смерти, и от женитьбы, и от всех других несчастных случаев.

Мак-Магон. Все-таки свинство, что этот миллионер пожелал остаться неизвестным. Скаред он, вот и все.

Писанли. Слушайте, папаша, выражайтесь осторожней. Этот миллионер, может быть, находится среди нас и слышит, как вы его ругаете.

Мак-Магон *(испуганно)*. Ну, ну, я пошутил.

Писанли. Пожалуйста, пожалуйста! Да, да, даже наверно находится. Здесь собрался весь город. Кто-то из нас ведь выиграл. Тут уж сомнений никаких

нет. Может быть, он! *(Показывает на одного из горожан, на которого устремляются все взоры. Тот трусливо смеется и прячется в толпу.)* Или я! Да, я выиграл пять миллионов и пожелал остаться неизвестным. *(Все смотрят на Писанли.)* Нет, я, конечно, не выиграл, но счастливец тут, среди нас. *(Все с подозрением начинают смотреть друг на друга.)* Я его найду, я его по глазам узнаю, я его так застрахую... *(Ходит в толпе, хватает людей за руки и заглядывает им в глаза, не минует даже Тити, долго гипнотизируя его. Толпа трусливо жмется под взглядами страхового агента, однако миллионер не открывается.)*

Кинематографисты и репортер подходят к Писанли. Один из кинематографистов:

— Повлияйте на них, пожалуйста. Мы ведь люди занятые, приехали из Парижа. Что мы тут, вечно будем сидеть?

Писанли. Ну что я с ними могу сделать? Ну не хотят, не хотят. Желают остаться неизвестными.

Кинематографист. Господа, нельзя же так! Кто из вас выиграл пять миллионов? *(Пауза. Горожане уныло смотрят в землю.)* Ну, больше жизни, больше жизни! Вся Франция интересуется. Ну?

Толпа недвижима.

В номере гостиницы бледный господин нервно тасует карты. Его акушерский чемоданчик раскрыт, и видно, что он наполнен колодами.

Наконец он сердито закрывает чемоданчик, выходит к толпе и присоединяется к представителям прессы.

Бледный господин *(к толпе)*. Нельзя же, господа, тянуть бесконечно! Ну, пошутили — и будет. Господин, выигравший пять миллионов, можно вас на пару слов? Что вы тут стоите, ей-богу, скучаете? Пойдем куда-нибудь, выпьем по рюмочке, сыграем в карты. Я угощаю, в чем дело!

Но никто не выходит из толпы. Бледный господин возмущенно разводит руками.

Снова начинает кинематографист. Он подтягивает поближе аппарат и говорит:

— Честное слово, это так нетрудно, всего-то дела на пять минут. Немножко попозировать и ответить всего на два вопроса — что вы почувствовали, когда выиграли пять миллионов, и что думаете о частой смене министерских кабинетов?

Толпа безмолвствует.

Писанли. Подождите, подождите, дайте подумать. Кажется, я уже знаю в чем дело.

Все напряженно смотрят на Писанли.

Писанли (*глубокомысленно*). Выиграл тот, кого сегодня утром не было в городе. Надо ведь было поехать в Париж получить выигрыш. Верно? Кого же сегодня не было?

В это время в конце улицы показывается вороватая фигура Лево.

Писанли. Стоп, стоп, сто-о-оп! Вот теперь мне все ясно.

Толпа смотрит на приближающегося Лево.

Писанли. Так, так. Он пожелал остаться неизвестным. Ясно почему. Он хотел скрыть свой выигрыш от семьи, от вас, мадам Лево.

Мадам Лево. Мерзавец!

Лево подходит к самой толпе. Он больше чем смущен. Он подавлен и запуган.

Писанли (*громовым голосом*). Снимайте его! Это он!

Мадам Лево бросается к мужу. Весь их семейный разговор лихорадочно записывается и накручивается на пленку.

Мадам Лево (*плачет*). Вот этого я от тебя никак не ожидала! Где ты был?

Лево (*с ужасом оглядывается на толпу*). Умоляю тебя, Жанна, постесняйся людей.

Мадам Лево. А, ты продолжаешь от меня скрывать, негодяй!

Лево. Ради бога, пойдем домой, я тебе все объясню.

Мадам Лево. Скрывать нечего, это уже знают все.

Лево. Как все?

Мадам Лево. Конечно! Весь город!

Л е в о. А-а-а! Я погиб!

Кинематографист *(бешено крутит)*. Вот это [.?.]! Теперь моя карьера сделана!

Мадам Лево. Почему ты мне этого сразу не сказал? Разве я тебе помешала бы?

Л е в о. Жанна, ей-богу, что за странные вопросы?

Мадам Лево. Я бы тебе даже помогла.

Л е в о *(в крайнем удивлении)*. Ты бы мне помогла?

Писанли *(хлопая Лево по плечу)*. А все-таки сознайтесь, плутишка, приятно было, а?

Лево балдеет от стыда. Кинематографист продолжает накручивать.

— Чудное актюалите!

Репортер *(подступая с записной книжкой)*. Простите, пожалуйста, наша редакция хочет задать вам два вопроса. Во-первых, как это было и, во-вторых, что вы при этом почувствовали?

Лево со стоном вырывается, но на него продолжают наседать.

Мадам Лево. Куда ты их девал?

Лево смущенно смотрит на свои брюки.

Мадам Лево. Ты их положил в банк?

Л е в о. Милочка, кто же кладет их в банк?

Шулер. Совершенно правильно. Никому не доверяйте. Пойдем лучше, папаша, посидим где-нибудь, выпьем по рюмочке. Я угощаю.

Нервно тасует карты.

Мадам Лево. Где же они все-таки?

Л е в о. Я, э-э-э... я их потерял.

Мадам Лево. Ложь! Этого не может быть! Это не иголка, чтобы ее можно было потерять.

Л е в о. В таком случае даю тебе честное слово, что их у меня украли.

Мадам Лево. Украли пять миллионов франков?

Л е в о. Какие пять миллионов? Каких франков?

Мадам Лево. Которые ты выиграл, жалкий эгоист!

В глазах Лево появляется луч надежды.

Л е в о. Что выиграл? Где выиграл? Когда выиграл? Почему выиграл? Для чего выиграл? *(Наглеет.)*

С ума вы здесь посходили! Уже человеку погулять нельзя. Вышел человек на минутку, никого не трогал, так нет, подавай им пять миллионов. А ты, дура, уже уши развесила. *(Хорохорится.)* Нет, ей-богу, на секунду нельзя отлучиться из дому. Просто инквизиция какая-то.

Кинооператор *(прекращая работу)*. Значит, вы не выиграли?

Лево. Бабушка моя выиграла!

Кинооператор угрожающе подходит к Писанли.

Кинооператор. Что это значит? Я уже накрутил двести метров. Что ж это, все выбрасывать? Где миллионер?

Писанли. Позвольте, дайте подумать. Я привык думать. Если не Лево, то кто же? Выиграть мог только тот, кого не было в городе.

Из-за угла появляется Бранден. Увидя толпу, которая сразу к нему поворачивается, растерянно останавливается и пытается улизнуть.

Писанли. Вот теперь уж абсолютно ясно. Вот кто выиграл. Бранден выиграл.

Мадам Бранден издает радостный крик и бросается к мужу. Имея все основания опасаться жены, Бранден обращается в бегство. Мадам Бранден, а вслед за ней все горожане, вместе с кинематографистами и шулером кидаются вслед за ним. Шулер гонится за Бранденом с картами в руках.

Брандена настигают.

Увидя, что от жены ему не уйти, он закрывает голову руками.

Жена обнимает его. Бранден поражен.

Ему жмут руки. Он ничего не понимает.

Его снимают. Он только растерянно вертит головой.

Портной-философ неторопливо обмеривает его со всех сторон. Удивленный, он молчаливо подчиняется. Он покорно поднимает руки, расставляет ноги, делает все, что полагается делать на примерке.

Репортер. Что вы при этом почувствовали?

Писанли. Господин Бранден, вам не нужен тихий, спокойный, непьющий, получивший низшее и сред-

нее образование, симпатичный и честный, средних лет, глубоко интеллигентный управляющий финансами?

Шулер. Пойдем, тут прямо за углом посидим, выпьем по рюмочке, перекинемся в картишки, а?

Нервно тасует карты.

Кинооператор. Стоп, стоп. Тише. Теперь он пусть что-нибудь скажет.

Писанли. Скажите ему что-нибудь. Иначе он не отвяжется.

Бранден. Что я должен наконец сказать?

Писанли. Скажите ему, как вы выиграли пять миллионов?

Бранден. Откуда вы взяли! Ничего я не выиграл!

Писанли. Выиграл, выиграл! Я же по глазам вижу.

Бранден. Оставьте меня, пожалуйста, в покое!

Кинооператор. Ух, какой хитрый! *(Бешено накручивает.)* Вот это актюалите!

Бранден. Да не выиграл я, не выиграл. *(Портному.)* Что вы меня обмериваете? Что, вы мне гроб хотите заказать?

Обозленный, расталкивает толпу.

Писанли. Одно из двух. Если не Бранден, значит — Лево. Слушайте, господин Лево, вам не нужен толковый, талантливый, со средним и высшим образованием, непьющий приват-доцент на должность кассира? А то растащат все до копейки. Увидите, все растащат. У Бонура уже все порастаскали.

Лево. Опять на меня! При чем тут я?

Писанли. Если не вы, значит — Бранден!

Бранден. Бросьте эти дурацкие штуки. Нет у меня ни копейки!

Мадам Бранден. Где ж ты в таком случае пропадал?

Бранден молчит.

Мадам Лево. А где ты гулял, голубчик?

Лево молчит.

Писанли. Темнят, темнят! Скрывают! До чего люди стали хитры! Один из них безусловно выиграл!

О чем говорить! Снимайте обоих вместе. Потом в лаборатории разберете, кто из них настоящий.

Но политические враги не обнаруживают никакого желания приблизиться друг к другу. Писанли подталкивает их. Они упираются.

Кинооператор. Ближе, ближе! Я иначе не могу снимать.

Игра продолжается. Их сводят, они расходятся.

Лево *(шепотом жене)*. Зачем мне сниматься? Клянусь тебе, что я ничего не выиграл.

Мадам Лево. Значит, выиграл Бранден?

Лево. Значит, выиграл Бранден.

Мадам Лево. Теперь он нас погубит. Нужно мириться.

Лево. Я не буду мириться с этим негодяем.

Мадам Лево. Человек с пятью миллионами не бывает негодяем.

Шулер. Господин Бранден, снимайтесь, потом пойдем поиграем, у меня случайно с собой карты.

Бранден *(жене)*. Чего они меня толкают! Я ничего не выиграл. Ты-то мне можешь поверить.

Мадам Бранден. Какое несчастье! Значит, выиграл Лево?

Бранден. Только он. Он куда-то сегодня ездил.

Неожиданно улыбаясь, подходит к своему врагу.

Лево с искательной улыбкой, но немного неуверенно, тоже движется ему навстречу.

Кинооператор. Вот, вот, еще ближе, еще, еще!

Бывшие враги сходятся и здороваются с необыкновенной учтивостью.

Лево. Я давно хотел вам сказать...

Бранден. Я сам хотел...

Лево. Я давно уже мечтал...

Бранден. Вот именно мечтал...

Лево. Разве дело в миллионах, господин Бранден?..

Бранден. Дело в дружбе, господин Лево.

Лево. Золотые слова. Вы вообще оратор замечательный.

Бранден. Ну какой же я оратор! Вот вы оратор. Я помню, какую трогательную речь вы произ-

несли на открытии скорой помощи. Вас забросали венками.

Лево. Но ведь идея скорой помощи принадлежит вам, господин Бранден.

Бранден. Нет, нет, только не мне. Вам, исключительно вам, господин Лево.

Лево. Вы знаете, в последнее время мне как-то стали очень близки идеи вашей республиканско-радикальной партии. Даже ближе, чем идеи радикальных республиканцев, честное слово.

Бранден. Это просто удивительно. Со мной происходит то же самое.

В продолжение разговора они, взявшись под руки, прогуливаются. За ними неотступно следует толпа. Когда они останавливаются, останавливаются все. Только они начинают двигаться, за ними двигаются остальные. С последней репликой они, уступая место друг другу, входят в дверь «Веселой устрицы».

Толпа следует за ними, все рассаживаются за столиками.

На первом плане остается Писанли и шулер.

Писанли. Одно из двух — либо выиграл Лево, либо выиграл Бранден. Если выиграл Лево, это уже хорошо. А если выиграл Бранден, то это еще лучше.

Та же площадь между «Другом желудка» и «Веселой устрицей».

Посреди площади новый столб с большой таблицей:

**ОБЪЕДИНЕННАЯ СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ,
УЧРЕЖДЕННАЯ ТЩАНИЕМ ГГ. ЛЕВО И БРАНДЕНА**

Кошка г. Брандена и собака г. Лево кротко лакают из одной мисочки.

Старый Мак-Магон, заливаясь дружелюбным смехом, вместе с Тити вертит одну мороженицу.

На стене заведения Лево висит афиша:

***На выборах мэра голосуйте
за лучшего гражданина нашего города
г. Виктора Брандена.
Это вам говорит старик Лево.***

Огюст Лево.

Рядом с ней другая афиша:

ГРАЖДАНЕ!

***Если вам дорого благо общества,
голосуйте только за старика Лево.***

Виктор Бранден.

Предводимая любительским оркестром, направляется в мэрию свадебная процессия Андре и Люси.

Молодые люди счастливы.

Бережно поддерживая друг друга, за ними идут государственные мужи.

Писанли — шафер.

На лицах жен государственных мужей можно легко прочесть, что обе они довольны выгодной сделкой.

Идут расфуфыренные гости.

Кинооператоры снимают торжество.

Репортер делает заметки в записной книжке.

Процессия входит в здание мэрии.

Площадь совершенно пуста.

Раздаются громкие и разнообразные звуки автомобильных сигналов, и на площадь быстро въезжают четыре автомобиля.

В первом из них, длинной и дорогой легковой машине, развалившись на роскошном сиденье, полулежит с сигарой в зубах уже известный нам мелкий парижский служащий, выигравший пять миллионов франков. Он во фраке и цилиндре. (Так и ехал.)

Второй автомобиль, небольшой автокар, битком набит парижскими [.?.], вывезенными, как видно, целиком из какого-нибудь кабаре.

В третьей машине, грузовике, помещается походный бар со стойкой. Там сидят скучающий гарсон с подносом и салфеткой и бармен, сбивающий коктейли.

В четвертой машине сидит негритянский джаз из шести человек.

Кортеж останавливается у бензиновых колонок.

Шоферы гудят, вызывая людей, но никто не появляется.

Миллионер *(кричит)*. Гарсон!

Гарсон сейчас же выскакивает из грузовика и мчится с бокалом шампанского.

Миллионер выпивает шампанское, вылезает из машины и начинает разгуливать по площади небрежно-развинченной походкой.

Шоферы гудят. Никто не выходит.

Девушки щебечут в своем автокаре.

Но вот двери мэрии открываются, и оттуда появляется процессия. Впереди — молодые. За ними — Лево и Бранден.

Миллионер с трудом прилажививает к глазу монокль и презрительно смотрит на процессию.

Миллионер. Гарсон!

Гарсон немедленно подносит шампанское.

Миллионер. Здоровье новобрачных! *(Пьет.)* Горько.

Молодые целуются.

Миллионер *(кричит)*. Джаз!

Негры играют.

Миллионер. А теперь танцы. У нас на каждой остановке танцы. Уже шесть раз после Парижа танцевали. Могу я себе позволить!..

Девушки отплясывают.

Жители города поражены до глубины души.

Миллионер. По местам!

Гарсон и девушки занимают места.

Шоферы кончают набирать бензин.

Миллионер *(обернувшись с подножки автомобиля)*. Что это за город такой странный?

Писанли *(почтительно приближаясь)*. Бург-сюр-Орм, ваше высокопревосходительство.

Миллионер. З-знакомое наз-звание. Что-то я про него слышал. Он чем-нибудь прославился?

Писанли. А как же. Ведь тут человек выиграл пять миллионов и пожелал остаться неизвестным.

Миллионер. Что? Что? *(Вспоминает.)* Бург-сюр-Орм!.. А-а-а... *(Заливается страшным смехом. Это почти припадок.)* Вспомнил! Поздравляю вас! Человек, пожелавший остаться неизвестным, это я! Пять миллионов — это тоже я. Правда, уже осталось четыре, но это чепуха. А что касается города, то я пошутил, господа. Неужели вы приняли всерьез? Могу я себе позволить невинную шутку?

Мэры каменеют.

В толпе — смятенье. Кинематографисты бросаются снимать миллионера.

Шулер вскакивает на подножку.

Шулер. Разрешите представиться. Граф Пикардийский, последний отпрыск благородного рода.

Миллионер. Ах, как я рад, граф! *(Жмет ему руку.)* Я так давно хотел познакомиться с настоящим аристократом и именно графом. Едем со мной! А, граф! Едем! По дороге поиграем в картишки. А? Едем! Я угощаю.

Шулер ловко и бесшумно, как хищник, прыгает в машину.

Играет джаз.

Миллионер машет на прощанье рукой.

Машины трогаются.

Кинооператоры приспособили в качестве передвижки скорую помощь Лево и катят за миллионером, бешено крутя ручки аппаратов.

Блестящее видение скрывается.

Лево и Бранден все в том же горестном окаменении.

Лево *(Брандену)*. Значит, вы не выиграли?

Бранден. Позвольте, ведь вы же выиграли!

Лево. Если вы не ездили в Париж за выигрышем, то где вы были?

Бранден. А вы где были, если не ездили в Париж?

Появляется полицейский с Лилиан и вором, у которого в руках две пары штанов.

Бранден. Мои брюки!

Лево. Мои брюки!

Полицейский отдает каждому по паре.

Мадам Бранден. Так вот где ты был!

Бранден *(Лево)*. Так вот где вы были!

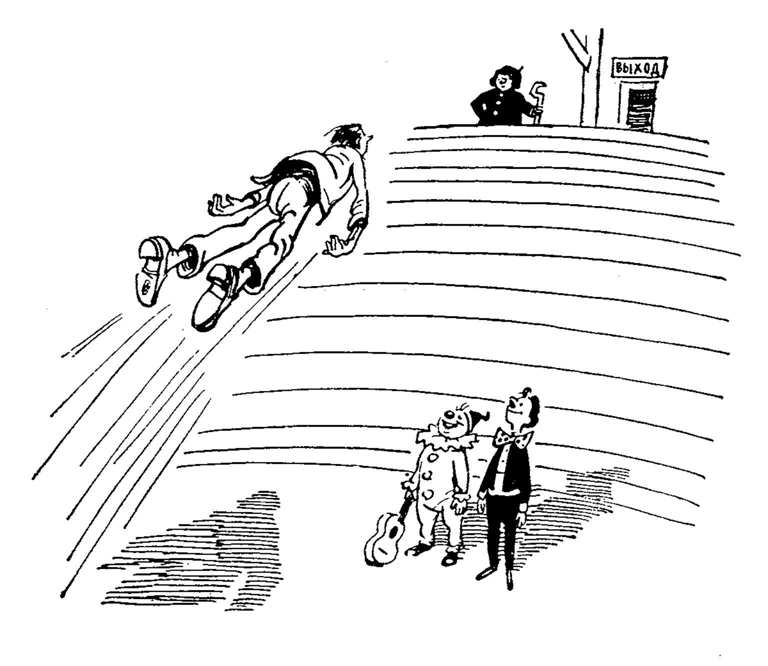
Лево *(Брандену)*. А вы где были?

Мадам Лево *(мужу)*. Нет, ты лучше скажи, где ты был?

Бранден машинально запускает руку в карман штанов и находит там донос, написанный Лево.

Аналогичный донос Лево находит в своем кармане.

Б р а н д е н. Это вы писали?
Л е в о. А это вы писали?
Б р а н д е н. Мерзавец!
Л е в о. Негодяй!
Оба хватаются за сердце.
Жены их растаскивают.
Тити дает пинок Мак-Магону.
Старик успевает дать сдачи.
Собака Лево гонится за кошкой Брандена.
Война возобновляется по всей линии.



ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА

По небу, над крышами города, летят детские воздушные шарики. Они летят один за другим. Их становится все больше и больше.

Прохожие удивленно следят за их полетом.

Шары вылетают из-за деревьев бульвара.

На бульваре молодой ИТР Скамейкин ощипывает большую гроздь воздушных детских шаров. Шары улетают. Он гадает. Бормочет то с надеждой, то с отчаянием:

— Любит! Не любит. Любит. Не любит. Лю-бит. Не лю-бит. Ура, любит!

Бросается он со всех ног с бульвара.

К зданию цирка подъезжает такси. У главного входа толпится народ. Люди торопятся к вечернему представлению.

Висит огромная афиша с изображением красавицы и надписью:

АМЕРИКАНСКИЙ АТТРАКЦИОН
„ПОЛЕТ НА ЛУНУ“
АЛИНА И ФРАНЦ
Первое представление

Из такси высаживается Скамейкин с букетом в руках. Делает жест женщине-шоферу подождать и устремляется в артистический подъезд.

Кулисы цирка во время вечернего представления. Гимнасты перед выходом выгибаются, разминая тело. С арены слабо доносится музыка. У входа в конюшню стоит директор цирка Людвиг Осипович. Перед ним «неустрашимый капитан» Язычников со своей говорящей собакой. И капитан и собака представляют собой фигуры весьма печальные.

Капитан. Пожалейте собачку, товарищ директор. Дайте собачке дебют.

Директор. Не дам.

Капитан. Я же мировой аттракцион. Меня же в Саратове на афише вот такими буквами печатали. *(Показывает, какими буквами его печатали в Саратове.)* «Неустрашимый капитан» Язычников и его говорящая собака Брунгильда».

Директор. Отстаньте вы от меня с вашим барбосом.

Капитан. Зачем же обижать собачку? Ее саратовская общественность на руках носила. Разве станет саратовская общественность простого барбоса на руках носить.

Директор. У вашей собаки невыдержанный репертуар. Можете понять? Не современный, не зовущий, не мобилизующий.

Капитан. Товарищ директор. Она же всего три слова говорит.

Директор. Да, но какие три слова! «Люблю», «елки-палки» и «фининспектор». Вы просто хочете меня погубить. Это беззубое зубоскальство! Нет, такой мелкобуржуазной собаке нужно дать по рукам!

Капитан. Собаке по рукам?

Директор. Да, да. По лапам. И покуда у нее не будет наш, созвучный, злободневный репертуар, я ее на арену не выпущу.

Появляется запыхавшийся Скамейкин и, отпихнув капитана, подступает к директору.

Скамейкин (*торопливо*). Скорей, скорей, меня ждет такси. Понимаете? Счетчик стучит. Каждая минута стоит гривенник. Так что давайте кончим наконец это дело.

Директор. Что вы от меня все хочете?

Скамейкин. Я прошу руки вашей дочери. И давайте поскорей, потому что я за ней приехал в такси. А счетчик стучит. А денег кот наплакал.

Директор. Значит, если у вас стучит такси, я должен вам отдать в разгаре сезона мою дочь, лучшую наездницу. А если у вас будет стучать пароход, я должен буду отдать вам весь балет?! Так, по-вашему?

Капитан. Пожалейте собачку, товарищ директор. Зайдите в сущность вопроса.

Скамейкин. Я не могу ждать ни минуты. Вы хотите, чтобы меня шофер искалечил?

Директор хватается за голову и начинает отступать.

Капитан с собакой и Скамейкин наседают на него.

Капитан. Не мучьте собаку, товарищ директор. Дайте собаке дебют!

Скамейкин. Меня такси ждет. Я специально отпуск взял, чтобы жениться, а вы мне срываете свадьбу.

Директор отступает к своему кабинету, неожиданно скрывается там и захлопывает за собой дверь.

Скамейкин стучится в дверь. Из кабинета слышится гневное рычание директора.

В дверь робко стучит «неустрашимый капитан» и царапается собака. Новое рычание директора.

Быстро подходит Мартынов. В руке у него чемодан. Он явно с вокзала. Стучится в кабинет.

В кабинете раздается грохот, дверь распахивается и в [1 неразобр.] появляется совершенно разъяренный директор.

При виде Мартынова ужасающая улыбка на его лице превращается в лучезарную. Он обнимает Мартынова, целует его и тащит в кабинет.

Дверь снова закрывается.

Капитан покорно садится у двери сторожить директора. Собачка устраивается у его ног.

Скамейкин мечется со своим букетом. На секунду лицо его искажается страхом.

Перед цирком стоит такси. Женщина-шофер дремлет. Счетчик мелодично стучит. Он показывает шестнадцать руб. пятьдесят коп.

(С этой минуты действия Скамейкина иногда сопровождаются нежной музыкой, изображающей стук счетчика.)

Скамейкин устремляется в проход, ведущий на арену, где стоит униформа.

На арене предмет его любви — наездница Раечка делает вольтнус. Номер обычный: толстая белая лошадь с широкой спиной, и на лошади цирковая красотка с гримасой счастья на лице.

Скамейкин «переживает». Он закрывает глаза, восхищается, неистово хлопает, призывая взглядами соседей присоединиться к этим восторгам. Публика равнодушна.

Скамейкин бросает на арену букет.

Раечка, окончив номер, появляется за кулисами.

Скамейкин хватает ее за руку и тащит за собой.

Скамейкин. Скорей, скорей!

Раечка. Что за паника?

Скамейкин. Кошечка, я специально взял отпуск, чтобы жениться. Сейчас каждая минута буквально драгоценна.

Раечка. Ты в самом деле меня любишь?

Скамейкин. Люблю, люблю.

Раечка. И я тебе в самом деле дорога?

Скамейкин. О! Безумно дорога! Каждая минута стоит гривенник.

Раечка. Как это вдруг все... так... сразу?

Скамейкин. Цыпа, едем! Я так люблю тебя, что не могу ждать ни минуты.

Раечка. Но все-таки ты хотя бы расскажи, как мы будем жить.

Скамейкин. О, мы будем жить замечательно. Я — ИТР, состою в ИТС, служу в НКПС, имею ЗР, записался в РЖСКТ — одним словом, едем.

Раечка. Хорошо. Только сначала я должна переодеться.

Скамейкин. А такси?

Раечка. Такси подождет. *(Запирается в своей уборной.)*

Скамейкин. Такси подождет! Начнется, кажется, медовый месяц в милиции.

Скамейкин лихорадочно считает деньги.

Скамейкин. Двенадцать рублей. Что будет? *(Задумывается.)*

Мелодия счетчика.

На арене устанавливают аппаратуру аттракциона «Полет на луну». Участник полета мистер Франц Кнейшиц в халате поверх трико лично проверяет установку. Это очень вежливый человек. Когда он чего-нибудь просит во время подготовительной работы,— например, получше закрепить трос,— он обязательнейшим образом улыбается, за все благодарит, раздает маленькие грошовые подарочки — какие-то нового образца запонки, булавки, резиновые фокусы и тому подобное. Его карманы набиты этой дрянью.

Он уходит за кулисы.

Дается полный свет. На арену выходит шпрех-шталмейстер, человек в визитке и со стоячим крахмальным воротником. Говорит отвратительным насморочным голосом, каким принято говорить в цирке.

Шпрех-шталмейстер. Первое выступление

знаменитых американских артистов Алины и Франца в их знаменитом номере «Полет на луну».

Музыка. Выход Алины и Франца в полном блеске прожекторов и костюмов.

В боковом проходе появляются полускрытые портьерой директор и Мартынов.

Директор. Ну как? Хороша птичка?

Мартынов. Ого!

С профессиональным интересом следит за тем, как Алина раскланивается с публикой. Красавица горда и неприступна. Кнейшиц, напротив, сияет. Его стиль — «глубоко свой парень».

Директор. А сколько валюты стоит мне эта птичка. Две тысячи долларов в месяц, плюс гостиница. Только сегодня я отвалил Алине, этому летающему крокодилу, тысячу долларов. Ах, сколько можно было бы на эти деньги накупить зверей. Жирафы, гуси, антилопы...

Мартынов. Погоди, дай посмотреть.

Директор. ...Зебры, слоны, удавы, змеи! Такое перо вставил бы Гагенбеху.

Мартынов уже не слушает. Он увлечен зрелищем. Посредине арены стоит огромная пушка, направленная жерлом к куполу. Кнейшиц вкладывает Алину в пушку, как снаряд. Затем скрывается в ней сам.

Алина по пояс высовывается из жерла пушки. Она поет песенку на английском языке. Содержание песенки: «На земле для меня нет счастья, и я покидаю ее и отправляюсь на луну».

Происходит выстрел. Алина взлетает кверху и, сделав сальто в воздухе, попадает на площадочку, которая приводит в движение механизм и производит новый выстрел из пушки. На этот раз из жерла вылетает Кнейшиц и попадает на площадку, расположенную над первой. Снова приводится в движение механизм, который подбрасывает Алину с ее площадки под самый купол. Алина пробивает насквозь луну из папиросной бумаги и оказывается на самой верхней площадке, скрытой до сих пор луной.

Аплодисменты. Овация.

Директор. Ну?

Мартынов. Хорошая работа.

Директор. Сам знаю, что хорошая. Но ведь это же валюта! Валюта плюс гостиница. А мне нужен такой самый номер, только без валюты. И минус гостиница. Можешь сделать такой?

Мартынов аплодирует Алине, которая по веревке спускается из-под купола.

Мартынов. Ты, я вижу, не дурак.

Директор. У-у, я очень умный. Ну, так как же? Сделаешь? Мы же должны все своими руками из своих материалов. На настоящем этапе...

Мартынов. Что ты меня агитируешь? Что я тебе, интурист? Я думаю, сделать можно. Попробую.

Директор. Ну! В самом деле? Честное слово? Дай я тебя поцелую. От имени дирекции *(целует)*. От имени месткома *(целует)*. От имени организованного зрителя *(целует)*. От имени валютного управления Наркомфина!..

Мартынов. Ты подожди целоваться. Ты мне найди сначала другую такую Алину.

Директор. Верно, верно. Кто ж у нас в штате? *(Загибает пальцы.)* Горбова в Казани, Рачковская не годится. Перлова не годится. Никого нет.

Мартынов вынимает записную книжечку и зарисовывает внешний вид пушки.

Возвращающийся с арены Кнейшиц подозрительно заглядывает через плечо Мартынова. Мартынов, вовремя это заметивший, переворачивает листок и рисует профиль Алины. Кнейшиц криво улыбается. И снова идет раскланиваться.

Алина и расточающий улыбки Кнейшиц проходят каждый в свою уборную. Кнейшиц галантно пропускает Алину вперед.

У подъезда такси. Счетчик показывает тридцать пять рублей. Женщина-шофер уже не сводит глаз с артистического подъезда.

У дверей Раечкиной уборной мечется Скамейкин. Он лихорадочно считает деньги. Музыка выстукивающего таксометра. В кошельке все те же двенадцать рублей.

По цирковому коридору, мимо клоунской бутафории, тумб для дрессированных животных, мимо пожарного и музыкальных сатириков, перед которыми везут пианино на колесиках, отчаянно жестикулируя, идут директор и Мартынов. За ними плетется «неустрашимый капитан» со своей собачкой.

Кнейшиц, уже в обычном костюме, выходит из дверей своей уборной, останавливает проходящего мимо шпрех-шталмейстера и, обаятельно улыбаясь, вручает ему подарочек — открытку с выпуклым изображением кошечки; если кошечку придавить пальцем, раздается мяуканье. Шпрех-шталмейстер потрясен.

Кнейшиц, продолжая улыбаться, входит в уборную Алины.

Лицо его тотчас же изменяет свое выражение. Оно делается наглым и мрачным.

Алина, заканчивающая свой туалет, боязливо оборачивается. Сейчас она тоже уже не та, какой казалась на людях — милое, нежное и совсем не гордое лицо.

Кнейшиц *(повелительно)*. Money! [1]

Алина с досадой, но покорно вынимает из ящика деньги и кладет их на стол.

Кнейшиц. This is not all. Where is the rest? [2]

Алина. It's impossible! I can't bear it! [3]

Кнейшиц. Money!

С силой хватает ее за руку. Отбирает оставшиеся деньги.

Алина *(вырываясь)*. What do you want? Why do you hate me? [4]

Кнейшиц. I love you [5].

Хочет ее обнять. Алина с отвращением отталкивает его руками. Борьба.

---

[1] Деньги! (Здесь и далее перевод с англ.— прим. ред.)
[2] Это не все. Где остальные?
[3] Это невозможно! У меня больше нет!
[4] Что вы хотите? Почему вы ненавидите меня?
[5] Я люблю вас.

Скамейкин и Раечка с чемоданом и картонкой, взявшись за руки, бегут по коридору.

Внезапно дорогу им загораживает директор с Мартыновым.

Директор. Стоп, стоп.

Мартынов *(не сводя глаз с Раечки)*. Позвольте, позвольте, а твоя Раечка нам не подойдет? Она девушка способная.

Директор. Способная? Правда? Вся в папу. А?

Раечка и Скамейкин, ничего не понимая, топчутся на месте.

Мартынов *(со всех сторон оглядывая Раечку и даже поворачивая ее руками)*. Как будто бы немного толстовата.

Директор. Ты находишь? А вот мы ее посадим на диету, она у нас живо похудеет.

Скамейкин *(нахально)*. Пардон, что это все значит? Почему Раечка должна худеть. Я именно люблю толстеньких.

Директор *(не обращая внимания)*. Так берем Райку. Великолепно. *(Раечке.)* Будешь делать с Мартыновым полет на луну, вроде Алины.

Мартынов. Даже лучше назвать «Полет в стратосферу».

Раечка. Я? Полет на луну! В стратосферу!

Бросается к отцу на шею.

Скамейкин. А как же я?

Директор. Что вы?

Скамейкин. Я же специально отпуск взял, чтобы жениться. Ведь нас такси ждет. Счетчик стучит.

Директор. Ну и пусть стучит.

Раечка *(торжественно)*. Милый Ваня, я жертвую любовью для искусства.

Скамейкин плачет.

Раечка. Что ж ты ревешь? Тогда я тоже буду реветь. *(Плачет.)* Через год я буду знаменитая, и мы тогда поженимся.

Директор. Слышали? Через год.

Скамейкин. Но ведь у меня такси стучит.

Директор. Постучит год, и все уладится.

Неожиданно для всех Скамейкин делает скачок в сторону и убегает с необыкновенной быстротой.

Оставшиеся с удивлением осматриваются. Мимо них громадная, величественная и молчаливая, медленно проходит женщина-шофер с гаечным ключом в руках.

Директор, Мартынов и Раечка провожают ее глазами. Готовится расправа над Скамейкиным.

Преследование Скамейкина по пустому цирку. Скамейкин пробегает по трибунам, прыгает в ложи, на секунду с обезумевшим от страха лицом появляется в оркестре. И повсюду неотступно движется за ним шоферша с смертоносным гаечным ключом в руках.

Наконец Скамейкин прячется в оставшейся на арене пушке.

Снова в уборной Алины.

Алина в слезах сидит за своим туалетным столом.

Кнейшиц сердито ходит по комнате.

Стук в дверь.

Кнейшиц немедленно преображается. Он снова становится добродушным малым. Алина вытирает слезы и поспешно пудрится.

Входят директор, Мартынов и Раечка. За ними пытается проникнуть «неустрашимый капитан» с собакой, но директор успевает незаметно его вытолкнуть. Вошедшие не могут не заметить, что между Алиной и Кнейшицем что-то произошло. Поэтому натянутость.

Д и р е к т о р. Позвольте вам представить. Мартынов. Один из лучших наших цирковых артистов.

К н е й ш и ц. Я довольно очень рад meet mr. Martinov, please[1].

Алина подает Мартынову руку. Он пожимает ее и видит, что рука над кистью покрыта синяками.

Заметив это, Алина отдергивает руку. Алина и Мартынов встречаются взглядами.

---

[1] познакомиться с мистером Мартыновым.

Директор (*держит себя с иностранцами неестественно вежливо и, как ему кажется, дипломатично*). Разрешите от имени дирекции пригласить вас на ужин, имеющий быть сейчас в ресторанном зале отеля «Монополь».

Кнейшиц. Позвольте восблагодарить вас. Госпожа Алина будет весьма рада. Я буду готов через пять минут.

Уходит.

Директор (*Мартынову*). Ну, как тебе нравится эта акула капитала?

Мартынов. Ты с ума сошел.

Директор. Да она ни слова по-русски не понимает.

Директор улыбается Алине, Алина улыбается Мартынову, Мартынов бросает великосветские взгляды на Раечку. Все беспрерывно обмениваются поклонами.

Директор. Ты, Мартынов, за ней поухаживай. Это нашему делу не повредит. Может быть, узнаешь какие-нибудь детали аттракциона.

Внезапно Алина разражается русской речью, измененной почти до неузнаваемости английским акцентом.

Алина. Чемодан. Здравствуйте. Спасибо. Извошник.

Все смеются. Алина смеется и сама.

Женщина-шофер бродит по галерке в поисках Скамейкина.

Кнейшиц на полуосвещенной арене проверяет аппаратуру, прежде чем закрыть ее брезентом.

Он нажимает рычаг пушки.

Выстрел. Из пушки с ужасным криком вылетает Скамейкин, описывает громадную кривую и попадает на галерку, прямо в объятия шоферши. Кнейшиц поражен.

Шоферша несет Скамейкина на руках, как котенка.

Скамейкин. Куда вы меня несете?

Шоферша. В милицию.

Скамейкин. Ей-богу, я заплачу. Честное слово.

В конце концов я не уклоняюсь. Поедем сейчас на Арбат, к моим знакомым. Я у них займу денег и вам отдам.

Шоферша нерешительно опускает Скамейкина на землю, но все-таки придерживает его рукой.

Шоферша. Честное слово?

Скамейкин. Честное слово Скамейкина. Только на Арбат.

Служащий цирка переводит рубильники на распределительной доске. Одна за другой тухнут лампы.

Цирк погружается во мрак.

Музыка, построенная на мотиве счетчика. Под эту музыку идет следующая сцена.

Такси Скамейкина останавливается перед домом. Скамейкин выскакивает из машины и хочет идти наверх один, но шоферша уже ничему не верит и отправляется вместе с ним.

Таксометр показывает восемьдесят пять рублей.

Скамейкин и шоферша входят с черного хода в большую коммунальную квартиру. Проходят через кухню, где задыхается последний примус. Войдя в коридор, Скамейкин стучится в дверь, но на двери висит приколотая булавкой бумажка:

«Уехал в Тулу. Буду через два дня. Ключ у Клавдии Константиновны».

Скамейкин вбирает голову в плечи, трусливо оборачивается и сталкивается с непреклонным взглядом шоферши. Лик ее ужасен. Она похожа на Петра Великого во время Полтавской битвы.

Такси подъезжает к другому дому.

Таксометр показывает сто один руб. шестьдесят коп.

Скамейкин бьется в запертую дверь. Никто не отпирает. Едут дальше.

В комнате скамейкинского знакомого. Стоит знакомый, студенческого вида молодой человек, и выворачивает карманы. Скамейкин стоит перед ним на коленях. Шоферша стоит в дверях, скрестив на груди могучие руки.

Скамейкин и шоферша выходят из дома.

Скамейкин робко заглядывает в таксометр.

Таксометр показывает сто двадцать пять рублей.

Скамейкин падает без чувств на руки шоферши.

Она кладет его в машину, и они катят дальше под все усиливающуюся музыку счетчика. Эта мелодия переходит в музыку большого гремучего ресторанного оркестра.

Ужин в большом зале ресторана «Монополь». Большой джаз, фонтан, шелковые абажуры, танцующие пары, одним словом висячие сады Семирамиды в Москве с подачей крепких напитков. За столиком ужинают Алина, Раечка, Мартынов, Кнейшиц и директор.

Раечка придвигает к себе блюдо с громадной котлетой.

Директор *(отодвигая блюдо)*. Этого тебе нельзя.

Предлагает блюдо Алине.

Раечка берет салат.

Мартынов. Этого тебе нельзя. *(Любезно пододвигает салат Алине.)*

Раечка готова зареветь.

Кнейшиц. Такая правда прекрасная красивая девушка. Зачем ей правда нельзя немножко кушать?

Директор. Ни под каким видом. Доктор, доктор запретил.

Поспешно очищает столик вокруг Раечки.

Официант подает ей стакан чаю и одинокий сухарик на блюдечке. Раечка оскорблена.

Мартынов зарисовывает в книжечку голову Алины.

Алина наклоняется к нему, чтобы заглянуть в книжечку. Он быстро переворачивает листик, и Алина видит пушку. Мартынов рисует целую карикатуру. Тут и Алина, вылетающая из пушки, и аплодирующая публика, и Кнейшиц. Алина, наклонившись к Мартынову и смеясь, следит за его работой.

Кнейшиц приглашает ее танцевать. Алина отказывается.

Кнейшиц приглашает Раечку.

Они танцуют.

Во время танца Кнейшиц не спускает глаз с Алины и Мартынова.

Он танцует автоматически. Когда Алина слишком близко наклоняется к Мартынову, он даже останавливается. Это уже ревность.

Оркестр смолкает.

Кнейшиц и Раечка идут к столу.

Кнейшиц останавливается за спиной Алины и Мартынова, которые увлечены чтением вслух меню на английском и русском языках.

Происходит своеобразное изучение русского языка.

Алина *(читает)*. Salad «Spring».

Мартынов. Салат «Весна».

Алина. Са-лат «Весна».

Мартынов. Мне нравится «Весна».

Алина. What does «мне нравится» mean?

Мартынов изображает, что это означает: возводит глаза к небу, преувеличенно страстно прижимает руку к сердцу.

Алина смотрит на него, подняв брови, и никак не может понять. Наконец догадывается.

Алина. А-а-а. I like it. Мне нравится. I like salad. Мне нравится салат.

Мартынов *(поправляет ее произношение)*. Мне нравится салат.

Кнейшиц с неожиданной грубостью отстраняет Мартынова.

Кнейшиц. Мне тоже нравится салат, господин Мартынов.

Мартынов вскакивает.

Мужчины стоят друг против друга, готовые схватиться. Алина легко вскрикивает.

Директор встает с места.

Раечка, пользуясь смятением, быстро набивает рот едой.

Люди, сидящие за соседними столиками, оглядываются. Происходит общее движение.

В тот миг, когда столкновение кажется уже неминуемым, на лице Кнейшица появляется чарующая улыбка.

Он вынимает из жилетного кармана автомати-

ский карандашик и с поклоном преподносит его Мартынову.

Все приходит в норму. Скопившееся в зале электричество разрядилось. Висевшая в воздухе пощечина улетучилась.

Гордец Мартынов, не желая остаться в долгу, дарит Кнейшицу брелок, изображающий свинку.

Кнейшиц еще более любезно подносит Мартынову маленькую стальную рулетку.

Мартынов дарит Кнейшицу коробку папирос.

Кнейшиц Мартынову — трубку.

Мартынов Кнейшицу — часы.

Кнейшиц озадачен. У него истощился запас подарков. Он дарит Мартынову только что полученный от него брелок. Мартынов дарит Кнейшицу его же карандашик. В результате возвращают друг другу все подарки и остаются при своих.

Раечка с полным ртом таращит глаза от удивления.

В ресторан, шатаясь, входит бледный, изнуренный Скамейкин. За ним по пятам следует шоферша с неизменным гаечным ключом.

Скамейкин подсаживается к столику директора.

Шоферша *(мрачно)*. Уплатить надо, гражданин.

Скамейкин *(оттягивая час расплаты, с деланной развязностью)*. Сейчас, сейчас. Познакомьтесь, пожалуйста, мой лучший друг... э-э-э... гражданка...

Шоферша *(басом)*. Ковальчук.

Здоровается со всеми за руку.

В это время Скамейкин пытается скрыться в толпе танцующих.

Шоферша бежит за ним, настигает его у фонтана и тащит к выходу.

Скамейкин, чтобы скрыть свой позор, делает вид, что танцует с шофершей.

Это — душераздирающая сцена. Она, хотя и идет под фокстрот, но напоминает танец апашей. Шоферша обеими руками держит Скамейкина за горло. Он болезненно улыбается и делает ногами па.

С дикой страстью она бросает его на пол. Он бодро вскакивает, делая вид, что так задумано.

Наконец она уволакивает его с собой.

Директор с гостями выходят из ресторана.

Скамейкин гостеприимно распахивает дверцу машины.

Все общество садится.

Скамейкин захлопывает за ними дверцу и удирает.

Расплачиваясь, директор видит на счетчике громадную цифру — сто шестьдесят семь рублей.

Мартынов в своем номере.

Он рисует Алину.

Весь стол и даже ковер на полу завалены изображениями Алины и пушки.

Видны ноги медленно расхаживающего по комнате человека.

Слышится его голос, раздельно диктующий:

— Чайник и чашка сто-ят на сто-ле. Написали? На сто-ле.

Ноги на мгновение останавливаются и снова начинают двигаться.

Голос продолжает:

— Пе-тя, Ми-ша и Ма-ша пошли в лес за гри-бами. За гри-ба-ми. Написали?

Аппарат открывает Мартынова, который дает урок русского языка Алине. В руках у него учебник. На диване сидит Кнейшиц, с нескрываемым отвращением наблюдающий эту сцену.

Алина склонилась над своими добросовестными каракулями.

Мартынов. А ну покажите, что вы написали?

Нагибается над диктовкой. Алина вопросительно смотрит на него.

Мартынов (*незаметно гладит ее руку*). Ничего. Удовлетворительно.

Снова начинается диктант.

Мартынов. Про-ле-тариат ...ведет борь-бу с капи-та-лом.

Кнейшиц морщится. Ему надоело сидеть, надоело ждать, надоело следить за Мартыновым и Алиной.

Он безнадежно машет рукой и уходит.

Мартынов *(радостно)*. С ка-пи-та-лом. Написали?

Начинает быстрее ходить по комнате. На секунду останавливается за спиной Алины.

Мартынов. Я, кажется, полюбил одну женщину.

Алина *(добросовестно пишет и повторяет)*. Я, кажется, полюбил... Что это полюбил?

Мартынов. Прошедшее время от глагола любить. Понимаете? Человек полюбил. Он уже раньше полюбил. Вчера, или позавчера, или полгода тому назад...

Алина. А сейчас, теперь он уже не любит?

Мартынов. Как не любит! Именно любит. Прошедшее время — Present perfect: я полюбил, настоящее время — Present tense: я люблю. Понимаете. Я полюбил и люблю. И буду любить. Это уже будущее время... Future.

Берет Алину за руку.

Раздается детский плач. Алина меняется в лице.

Мартынов. Что это? Тут плачет какой-то ребенок.

Алина. Нет тут, здесь нет никакого ребенка. Это, наверно, я думаю, на улице.

Мартынов. Что с вами?

Алина. Ничего. Будем писать еще. *(Читает.)* «Я, кажется, полюбил одну женщину».

Мартынов. Даже наверно полюбил, поскольку мне не изменяет память.

Мартынов хочет обнять Алину. Входит Кнейшиц. Мартынов отскакивает от Алины.

Кнейшиц. Я вижу, ваши успехи довольно порядочно велики?

Мартынов молча дарит ему кустарную матрешку, прощается с Алиной и уходит.

Кнейшиц. Я требую, чтобы вы больше не встречались с Мартыновым.

Алина. Это, наконец, невозможно. Вы не имеете на меня никаких прав.

Кнейшиц. Вы, кажется, позволяете себе кричать на меня? Вы забываетесь! Пусть дураки думают, что я жалкий партнер и раб летающей Алины. Хозяин

здесь я! Не забудьте, что я знаю о вас то, чего никто не знает.

Снова слышится детский плач. Алина бросается в соседнюю комнату.

Кнейшиц (*вдогонку*). Прошу это помнить.

Арена цирка днем во время репетиции.

Наверху на трапециях тренируется Раечка.

Внизу столик и большие десятичные весы.

Внизу, за столиком, на котором разложен чертеж пушки, сидит Мартынов и что-то вычисляет. Директор нервно похаживает вокруг.

Тут же на барьере сидит печальный капитан со своей Брунгильдой.

Капитан. Товарищ директор, собачка скучает без репертуара.

Директор. А почему я не скучаю без репертуара?

Капитан. Вы ж не собака.

Директор. Я не собака! Я еще хуже, чем собака. Я треугольник. Секретаря ячейки послали на учебу, а председателя месткома бросили в шахту, теперь я за всех.

Появляется Скамейкин с коробкой конфет.

Скамейкин. Какой ужас! Бросили человека в шахту.

Директор. Ну да, в шахту. На культработу.

Капитан. Пожалейте собачку.

Директор. Да уж пожалел, пожалел, уже заказал репертуар для вашей дворняги.

Капитан оживает.

Скамейкин. Отдайте мне мою Раечку, мою птичку. Будьте человеком!

Директор. Да я уж вам объяснял, что я не человек, а треугольник, а поскольку я треугольник, я не могу разбазаривать артистов.

Скамейкин. Но поймите же, что я вступаю в роковой возраст. Мне надо жениться. Понимаете? Необходимо.

Капитан (*отталкивая его от директора*). Женитесь на ком-нибудь из кордебалета.

Скамейкин. Я уже предлагал. Кордебалет не хочет.

В это время Раечка спускается сверху. Скамейкин подносит ей конфеты. Раечка начинает их есть. Мартынов встает из-за стола с чертежом в руках.

Мартынов. Ну, вычислил. Человек, попадающий на первую площадку *(показывает на чертеж)*, должен весить не больше, чем пятьдесят шесть кило.

Директор. Райка, полезай на весы.

Раечка, жуя конфеты, становится на весы.

Все толпятся вокруг. Мартынов накладывает гири. Наконец утиные носики весов выравниваются. Общий крик ужаса. Директор хватается за голову.

Директор. Пятьдесят де-вять кило!! Зарезали! Убили! Повесили!!

Вырывает из рук Раечки коробку с конфетами и кидается на Скамейкина.

Директор. Это штуки Скамейкина. Вот кто с утра до вечера носит конфеты! Погубили! А все было так хорошо! Заказали пушку, сделали капиталовложения. И вот на тебе — три лишних кило!

В ярости швыряет коробку на арену. Собака ест конфеты из раскрывшейся коробки.

Мартынов. Вот что, Райка, с сегодняшнего дня никаких конфет, никаких пирожных. Прогулки на велосипеде и строжайшая диета. Иначе никакого полета в стратосферу у нас не выйдет.

Директор *(ярится)*. Не есть, не пить, не курить, не плевать!

Раечка. Честное слово, я похудею.

Скамейкин. Не смей худеть! Ты знаешь мои вкусы!

На арене появляются три мрачные фигуры: Бука, Бузя и Бума — бригада малых форм.

Директор. Наконец-то! Пушкин, Гоголь и Толстой из ГОМЭЦа. Почему вы вчера не принесли репертуар?

Бука. У нас болела голова.

Директор. Как, у всех троих сразу болела голова?

Бука. А почему бы нет. Мы пишем втроем, и голова у нас болит втроем. Правда, бояре?

Директор. Ну ладно. Давайте, что у вас там?

Бука передает ему большую рукопись. Директор читает.

Директор. «Побольше штреков, шахт и лав, гав-гав, гав-гав, гав-гав». Что это такое?

Бука. Репертуар для собаки.

Директор. Вот это для собаки? Сорок страниц на машинке? Что вы думаете, собака вам научный доклад будет делать?

Бука. А почему бы и нет?

Директор. Да, но ведь это же все-таки собака, так сказать, хунд. Она не может сорок страниц на машинке.

Бука. То есть как это не может? Идеологии в двух словах не бывает. Маркс написал три тома, а мы уложили все это в сорок страниц. И ему еще не нравится.

Капитан. У собаки свои запросы.

Бука. Пожалуйста, мы учли собачью специфику. Вот! *(Вырывает у директора рукопись и читает.)* «Разрушим старый мир р-р-р, р-р-р». Чем плохо? А вот еще: «Построим новый мир, р-р-р, р-р-р».

Директор. Брунгильда этого не может. Она собака.

Бука. В таком случае это чуждая нам собака.

Директор. Сколько раз я говорил себе не давать авансов разным проходимцам.

Бука. Аванс, аванс! Мы вам можем бросить в лицо ваши жалкие деньги.

Директор. Мне? В лицо?

Бука. Да. Вам.

Директор. Пожалуйста. Бросайте.

Бука. И бросим. Бояре, бросим?

Директор. Что ж вы не бросаете?

Бука. Сейчас бросим.

Бригада совещается, производит складчину и передает деньги Буке.

Бука торжественно выходит на середину арены и швыряет деньги в лицо директору.

Директор собирает деньги и подсчитывает их.

Директор. Что вы мне бросили в лицо. Две-

надцать рублей? А взяли у меня пятьсот?! Сейчас же бросьте мне в лицо остальные! Слышите?

Бука. Мы бросим вам в лицо остальные через две недели.

Директор. Жулики!

Капитан. Брунгильда! Куси их! Куси!

Бригада *(хором)*. Это бандитизм!

Удирают. Директор и капитан с собакой гонятся за ними.

Крик, лай.

Директор сидит за письменным столом в своем кабинете.

Мартынов сидит на диване. Входит униформа.

Униформа. Товарищ директор, Гаврилиос заболел. *(Уходит.)*

Директор. Заболел? Здравствуйте, я ваша тетя! Как я теперь дам программу без жонглера? Значит, мне самому кидать шарики? Хорошо. Вспомню старину. Буду кидать. Вот я уже не треугольник. Вот я уже четырехугольник. *(Загибает пальцы.)* Директор, местком, ячейка и жонглер. Но ничего, у меня сегодня хороший день.

Подходит к Мартынову и целует его.

Директор. От имени валютного управления Наркомфина.

Мартынов печально глядит на два плаката, висящие на стене:

СЕГОДНЯ **последнее выступление** **АМЕРИКАНСКИХ АРТИСТОВ** Алины и Франца «Полет на луну»

и

ВПЕРВЫЕ ЗАВТРА В МОСКВЕ **новый советский аттракцион** «ПОЛЕТ В СТРАТОСФЕРУ»

Директор обнимает Мартынова. Мартынов вяло отбивается. Входит Кнейшиц. Холодно взглянув на Мартынова, он подсаживается к столу директора.

Кнейшиц. Мы завтра уезжаем, господин директор.

Услышав эту фразу, Мартынов хватается за шапку и быстро покидает комнату.

Кнейшиц беспокойно глядит ему вслед и делает попытку подняться.

Директор. Я вас слушаю, господин Кнейшиц. Что вы хотите мне сообщить?

Кнейшиц поднимается и делает шаг к двери.

Кнейшиц. Да нет... я... так.. До свиданья, господин директор.

Директор *(выходит из-за стола и благодушно берет Кнейшица под руку)*. Понимаете, господин Кнейшиц...

Мартынов громадными прыжками поднимается по лестнице гостиницы, где живет Алина.

Кабинет директора.

Директор. У вас был отличный номер, прекрасный аттракцион.

Кнейшиц делает вежливую попытку вырваться. Директор берет его за пуговицу.

Директор. Понимаете, сейчас мы сделали такой номер сами. Своими руками, из своих материалов.

Кнейшиц *(хочет уйти)*. Да, да, это очень интересно. *(Беспокойно оглядывается.)*

Мартынов в номере Алины. Обнимает ее.

Мартынов. Решайте. Завтра будет уже поздно.

Кабинет директора.

Директор *(держа Кнейшица за пуговицу)*. Понимаете, а на освобождающуюся валюту я накуплю хищников. *(Отрывает пуговицу.)* Простите.

Кнейшиц *(нетерпеливо)*. Пожалуйста, пожалуйста. Очень интересно.

Директор *(берется за вторую пуговицу)*. Во-первых, у меня будет слон, потом роскошный удав... Понимаете?..

Комната Алины. Продолжительный поцелуй.

Кабинет директора.

Директор *(не выпуская Кнейшица)*. Но это все чепуха, господин Кнейшиц... Понимаете, я собираюсь строить новый цирк! *(Отрывает вторую пуговицу.)* Пардон. Понимаете, новый цирк!

Кнейшиц. Очень, очень интересно. *(Рвется.)*

Комната Алины. Поцелуй продолжается.

Кабинет директора.

Директор *(держит Кнейшица за третью и последнюю пуговицу)*. Понимаете, и тогда я...

Кнейшиц вырывается и убегает.

В руке директора остается пуговица. Он удивленно ее рассматривает.

Кнейшиц быстро идет по коридору гостиницы.

Из номера Алины выбегает радостный Мартынов.

Мартынов и Кнейшиц сталкиваются лицом к лицу. Секунду они смотрят друг на друга. Расходятся.

По лицу Мартынова Кнейшиц видит, что произошло то, чего он больше всего опасался.

Вне себя Кнейшиц врывается в комнату Алины.

Кнейшиц. Он опять был у вас!

Алина. Я выхожу за него замуж.

Кнейшиц *(в ярости)*. Что?! *(Старается овладеть собой, хочет застегнуть пиджак, но все пуговицы оторваны.)* Очень, очень интересно.

Алина. Ну поймите, я вас не люблю. Отпустите меня. Все равно я никогда не буду вашей женой.

Кнейшиц. Женой? Таких, как вы, не берут в жены! Я все расскажу вашему Мартынову.

Алина. Ну что вы хотите от меня? Я подчиняюсь вам во всем. Я отдаю вам все мои деньги. Чего еще вам нужно?

Кнейшиц. Мне нужны вы!

Алина. Этого никогда не будет.

Кнейшиц. Хорошо же!

Выбегает в соседнюю комнату и сейчас же появляется снова, волоча за собой маленького негритянского мальчика. Алина бросается к мальчику.

Кнейшиц. Женщине, у которой есть черный ребенок, не место в цивилизованном обществе. Вас отовсюду выгонят. Вам никто не подаст руки. Вам останется один путь — на улицу.

Алина. Пожалейте меня.

Кнейшиц. Откажитесь от Мартынова. Мы завтра уедем, и вы все забудете.

Алина. Я не могу.

Кнейшиц. В таком случае он узнает все еще до конца сегодняшнего представления.

Алина. Он мне все простит. Он любит меня.

Кнейшиц. Любит? Прежде всего у него белая кожа. Он станет вас презирать.

Алина плачет. Звонок телефона. Кнейшиц подходит.

Кнейшиц. Алло! Уже началось первое отделение? Мы выезжаем.

Алина и Кнейшиц едут в автомобиле, не глядя друг на друга.

В цирке идет представление.

Кордебалет готовится к выходу в своих уборных.

Директор на арене заканчивает номер жонглера, которого он заменил.

Уходит с арены под жиденькие аплодисменты.

Раечка в цирковой конюшне. Мыкается, не может найти себе места. Замечает униформу с подносом в руках.

Раечка *(оживляясь)*. Что это у вас?

Униформа. Морковка. Если кто желает покормить ученого ослика или зебру — штучка десять копеек.

Раечка. Ой, до чего люблю осликов. Дайте две штучки!

Ест морковку.

Раечка. Ах, как вкусно! Еще пять штук для зебры. *(Ест.)* Скажите, а слон ест морковку?

Униформа. Как же! Едят.

Раечка. Дайте сто штук. Для слона.

Жадно набивает рот.

За этим занятием ее застает Скамейкин.

Скамейкин. Раечка, птичка, ты ж себя губишь!

Раечка приходит в ярость.

Раечка. Не хочу быть птичкой, хочу кушать, лопать, есть мясо, рыбу, пирожные, конфеты! И убирайтесь вы все вон. Я тебя ненавижу. *(Топает ногами.)*

Скамейкин трусливо ретируется. Вид у него такой: «Пожалуйста! Не хотите — не надо. Я со своей красотой нигде не пропаду». Видит Алину, печально идущую в свою уборную, и сразу устремляется к ней.

Скамейкин. Какая красота! Дурак я буду...

Подходит к Алине и начинает разговор, почти поет. Во время разговора Скамейкин следует за Алиной.

— Скажите, вы хотели бы жить с любимым существом где-нибудь на краю света, в палатке, в пустыне, среди львов и лишений?

Алина *(мечтательно)*. На краю света?

Скамейкин *(осторожно)*. Ну, можно не на самом краю.

Алина. В палатке?

Скамейкин. Можно, конечно, и не в палатке. Можно в [1 неразобр.].

Алина. Среди лишений?..

Скамейкин. Ну, не особенных уж там лишений! Все-таки я ИТР, состою в ИТС, имею ЗР...

Издали эту сцену наблюдает Раечка.

Алина *(еще более мечтательно)*. С любимым существом...

Она вздыхает, входит к себе в уборную и захлопывает дверь перед самым носом Скамейкина.

Скамейкин. Дошло! Ах, жалко, такси нет. Сейчас бы ее увез.

Уходит, потирая руки. Проходя мимо Раечки, гордо надувается.

Уборная Алины. Она пишет письмо, заглядывает в англо-русский словарь. Алина полуодета в цирковой костюм.

Разозленный директор, снимая одной рукой костюм жонглера, а другой держа журнал, мечется за кулисами. Обращается к толпящимся в ожидании выхода артистам.

Директор. Ну, товарищи, меня взяли за хобот. Пожалуйста, читайте, седьмая строка сверху.

На экране журнальная страница.

«В то время как организованный зритель приходит в цирк, чтобы проработать в занимательной форме ряд актуальных вопросов, ему подсовывают балет, состоящий не из пожилых трудящихся женщин, типичных для нашей эпохи, а из молодых и даже красивых женщин (!). Надо покончить с этой нездоровой эротикой. Интересно знать, куда смотрит треугольник цирка?»

Голос директора читает вслух последнюю фразу заметки: «Такому треугольнику надо дать по рукам».

Капитан *(злорадно)*. По лапам!

Директор. Мне по лапам?

Брунгильда радостно лает.

Входит балет, готовый к выходу. Директор в ужасе осматривает его.

Директор. Погиб, пропал! Как на подбор, одна красивей другой! *(Фигуранткам.)* Вы что, с ума посходили. Разве это нужно организованному зрителю? Очень ему нужны на данном этапе эти конечности и выпуклости.

Скамейкин лицемерно вздыхает.

Директор. Убрать все это. Чтобы ко второму отделению не было никакой нездоровой эротики.

Балет понуро уходит.

Вбегает униформа.

Униформа. Товарищ директор, у капитана Гарибальди грипп. Лежит.

Директор. Опять грипп! Я знаю этот грипп! Со-

рок градусов! Знаю я, где он лежит: под забором. Ну, что ж, сам буду львов укрощать! Сколько их там? Сто львов? Пожалуйста! Хоть сто двадцать! Вот я уже не треугольник и не четырехугольник, а пятиугольник. *(Делает руками какие-то геометрические жесты.)* Пифагоровы штаны на все стороны равны.

Приоткрывается дверь. Алина выглядывает из своей уборной с письмом в руках. Она манит к себе пальцем униформу.

Алина. Сейчас же найдите товарища Мартынова и передайте ему это письмо.

Униформа принимает письмо.

Эту сцену видит Кнейшиц, выглядывающий из соседней уборной.

Как только Алина закрывает свою дверь, Кнейшиц выходит и отбирает письмо у униформы.

Кнейшиц. Я передам господину Мартынову.

Возвращается к себе в уборную, вскрывает конверт и читает письмо.

Текст письма:

«Вам могут сказать обо мне ужасные слова. Я не стану оправдываться. Нам необходимо сейчас же встретиться. Ждите меня у левой кулисы. Я на краю гибели. Мне угрожает опасность от человека, навязывающего мне свою любовь. Знайте, что я люблю только вас. Ваша на всю жизнь *Алина*».

Кнейшиц быстро вкладывает письмо в новый конверт.

Кнейшиц выходит из уборной и присматривается к проходящим по своим делам артистам. Видит Скамейкина. Он с довольно легкомысленным видом посылает воздушные поцелуи женщине-великану, которая возвращается с арены под хлопки публики.

Алина в ожидании взволнованно ходит по своей уборной.

Кнейшиц принимает решение, подходит к Скамейкину и, двусмысленно улыбаясь, подает ему письмо.

Скамейкин читает письмо.

Пока он с глубочайшим вниманием разбирает каракули Алины, проходящие на арену гладиаторы, могучие, грудастые, золоченые, в мантиях и касках, все по очереди толкают его. Но Скамейкин, потрясенный запиской, ничего не замечает.

Скамейкин. «Знайте, что я люблю только вас». Она меня любит. Меня любит иностранка.

На арене гремят аплодисменты, которыми публика встречает гладиаторов.

Торжественный марш гладиаторов.

Под эту ободряющую музыку Скамейкин за кулисами шагает с видом победителя, страшно выгнув грудь.

Скамейкин. «Ждите меня у левой кулисы». А где левая кулиса? Ага! Если эта правая, значит это левая! *(Поворачивается.)* А если это левая, то эта правая. Какая странная архитектура! Там, где лево, там право, где право, там лево. Прямо диалектический материализм.

Сзади к нему подходит Раечка и закрывает руками глаза.

Скамейкин. Птичка? Кошечка? Алиночка?

Раечка *(отнимая руки)*. Что? Какая Алиночка?

Скамейкин. Ой! Это досадная опечатка, Раечка! Ей-богу! *(Скороговоркой.)* Я люблю только тебя. Тебе могут сказать обо мне ужасные слова. Я не стану оправдываться. Я твой на всю жизнь.

Пока он горячится, размахивает руками, из его кармана выпадает наспех засунутое письмо. Раечка сейчас же его подбирает и начинает читать.

В это время на арене гладиаторы делают свой главный номер. Музыка умолкает, раздается барабанная дробь. Гладиатор на вытянутой руке держит всю свою семью.

Под эту леденящую дробь Раечка прочитывает все письмо.

Скамейкин, трясясь, ждет своей участи.

Дробь усиливается.

Раечка с размаху дает Скамейкину пощечину. Это действие совпадает с последним ударом барабана. Взрыв аплодисментов.

Скамейкин машинально раскланивается.

Скамейкин. Пардон, я не понимаю.

Раечка. Я люблю только вас. Ваша на всю жизнь. Алина. *(Снова дает ему пощечину.)* Теперь понятно?

Скамейкин. Вот теперь понятно. Так бы сразу и сказала.

В помещении цирковой бутафорской, уткнув лицо в письмо Алины, плачет Раечка. Вбегает веселый и возбужденный Мартынов. Он хватает Раечку в объятия.

Мартынов. Ну, поздравь меня, детка. Сбылась мечта идиота. Я женюсь. Старый седой барбос Мартынов женится. Понимаешь ты это? Прелестнейшие в мире ручки возьмут старого пса Мартынова за седые уши, прелестнейшие в мире губы поцелуют его в холодный нос и нежнейший голос с чарующим американским акцентом скажет: «Я люблю только тебя». А?

Раечка поднимает заплаканные глаза.

Раечка. Кто же это?

Мартынов. Алина.

Раечка. Алина. Поздравляю. *(Передает Мартынову записку.)* Надень на свой холодный нос очки, развесь свои седые длинные уши и прочти.

Мартынов *(читает)*. Кому это?

Раечка. Моему Скамейкину от твоей Алины.

Мартынов *(перечитывает)*. «Мне угрожает опасность от человека, навязывающего мне свою любовь».

Раечка. Ты знаешь этого человека? Он в самом деле такой мерзавец?

Мартынов. Хуже. Доверчивый дурак.

Директор за кулисами. Одной рукой он натягивает на себя мундир укротителя львов, в другой держит журнал. Служители расставляют решетки для коридора, по которому львы пройдут на арену.

Директор. Где балет? Опять меня взяли за хобот! Я, дурак, читал седьмую строку сверху, а надо было читать седьмую строку снизу.

На экране текст новой цитаты.

«От цирка зритель требует здоровой бодрости, здоровой жизнерадостности и здоровой эротики. Мы не монахи!»

Директор. Они не монахи! А я что, архиерей, митрополит, патриарх Тихон!

С ужасом смотрит на спускающийся с лестницы «идеологический балет».

Директор. Вы что, спятили? Это же заседание месткома, а не балет! Где конечности, где выпуклости?

Скамейкин лицемерно вздыхает.

Директор. Немедленно переодеться. Прекратить это издевательство над организованным зрителем. Они не монахи, не патриархи.

Балет удаляется. Служители продолжают устанавливать решетчатый львиный коридор, ведущий на арену. В этом коридоре топчется Скамейкин.

Звонок к очередному номеру.

Пробегает директор в полном обмундировании укротителя, с пистолетом в руке. Несколько человек в униформе пробегают за ним с шестом в руках.

На арене шпрех-шталмейстер.

Шпрех-шталмейстер. Сейчас выступит мировой капитан Гарибальди. Сто львов сто.

Скамейкин блуждает в львином коридоре.

Скамейкин. Право это лево, лево это право. Я, кажется, не опоздал.

Замечает, что огражден со всех сторон решетками.

Скамейкин. Что это за прутики?

Шпрех-шталмейстер. Как вы сюда попали?

Скамейкин. У меня здесь будет интересное свиданье.

Шпрех-шталмейстер. Интересное свиданье? Здесь сейчас пройдут львы.

Скамейкин. Что?

Шпрех-шталмейстер. Пройдут львы. Сто львов.

Скамейкин. Сто львов! *(Мечется.)* А-а-а...

Шпрех-шталмейстер *(отчаянно)*. Не выпускайте львов! Человек в клетке!

Слышится рыканье.

Униформа. Львы спущены!

Начинается бодрый марш. Раздается общий вопль ужаса. Прибегает Раечка.

Раечка. Негодяй! Кого ты здесь дожидаешься у левой кулисы?

Скамейкин. Львов, Раечка, львов. Спасите меня.

Рыканье львов усиливается. Скамейкин бежит на арену, в клетку, чтоб хоть на мгновение оттянуть час своей гибели. Зритель видит только действие, происходящее за кулисами.

Под музыку вслед за Скамейкиным ужасающей походкой пробегают львы.

С арены доносятся крики женщин и плач детей.

Новое и страшное рыканье львов.

На арену спешит с пистолетом директор.

Раечка. Они разорвут его на части!

Внезапно с арены доносится взрыв рукоплесканий.

Поджав хвосты, львы бегут назад. За ними гонится обезумевший Скамейкин.

Скамейкин. Пошли вон! Брысь! Кш-ш! Пшли, пшли!

Публика ревет. Скамейкин выбегает на арену, делает комплимент. Возвращается за кулисы. За ним бежит директор.

Директор *(плачущим голосом)*. Разве можно на львов топать ногами! Это же цари пустыни, кровожадные хищники, питающиеся только сырым человеческим мясом! С ними надо лаской!

Директор ласкает льва.

Директор. Обидели тебя, бедного! Злой дядя обидел!

Решетки разбирают. На сцену везут пушку для аттракциона «Полет на луну».

Появляется готовая к выходу Алина. Она нетерпеливо оглядывается, ища Мартынова.

Мартынов идет сквозь толпу артистов, низко опустив голову.

Алина бросается к нему.

Алина. Вам уже успели все рассказать?

М а р т ы н о в *(показывает письмо)*. Это писали вы?

А л и н а. Я думала...

М а р т ы н о в. Я вас презираю.

Бросает письмо в лицо Алине. Общий переполох среди присутствующих.

А л и н а. Неужели и вы считаете, что это преступление?

Мартынов, не отвечая, уходит.

Лицо Алины. На этом кадре голос шпрех-шталмейстера:

«Последнее выступление знаменитых американских артистов Алины и Франца перед отъездом из СССР».

Аплодисменты.

Кнейшиц подает Алине руку. Они идут на арену.

Начинается вальс.

Номер гостиницы, в котором живет Алина.

Грустная и худая, она распихивает свои вещи по чемоданам.

Неожиданно открывается дверь.

Драматическое появление Раечки перед Алиной.

Р а е ч к а. Отдайте мне моего Скамейкина.

Алина удивленно подымает голову.

Р а е ч к а. Я знаю. Вы хотите увезти его в Америку. Вы купили его своей валютой.

Алина пожимает плечами.

А л и н а *(презрительно)*. I don't understand. What want you? [1]

Р а е ч к а *(ревет)*. Что вы там лопочете? Вы поступали со мной не по-товарищески, по-свински. Так среди артистов не делают. Зачем вы написали ему письмо?

А л и н а. Письмо? Мартынову?

Р а е ч к а. Какому там Мартынову? Скамейкину!

А л и н а. Я ничего не писала Скамейкину.

Р а е ч к а. Я сама держала ваше письмо в руках.

[1] Я не понимаю. Что вы хотите?

Алина (*устало*). Дорогая девочка, я писала только Мартынову. И я, кажется, напрасно это сделала.

Раечка. Мартынову?

Исчезает с такой же быстротой, с какой появилась.

Алина еще более рассеянно наклоняется над своими чемоданами.

Представление в цирке уже началось

Антракт.

На арене монтируют установку для советского аттракциона «Полет в стратосферу».

За директором по-прежнему плетется капитан со своей собакой. Директор взволнованно засматривает на арену.

На арене Мартынов в халате проверяет установку для полета.

Мартынов видит Раечку, которая усиленно делает ему знаки.

Он подходит к ней.

Мартынов сбрасывает халат и, надевая пальто прямо на цирковой костюм, бросается из цирка на улицу.

Директор хватается за голову и бежит за Мартыновым.

В автомобиль перед гостиницей садятся Алина под вуалью, Кнейшиц и пожилая няня с ребенком, закутанным так, что не видно его лица. Во вторую машину грузят чемоданы.

Машины трогаются.

Раечка в цирке ищет Скамейкина.

Находит его. Он сидит, пригорюнившись, на трамплине. При виде Раечки на его лице изображается ужас. И даже когда счастливая девушка уже целует его, он все еще трусливо и недоверчиво мигает глазами.

Мартынов как вкопанный стоит посреди комнаты, где жила Алина.

Никого нет. На полу валяются газетные бумажки, веревочки, всякая чепуха, остающаяся после отъезда.

Мартынов смотрит на часы и устремляется к выходу. Наталкивается в дверях на директора, который преграждает ему дорогу.

Мартынов. Пусти! Я еще успею на вокзал.

Директор сразу становится на колени.

Директор. Что ты делаешь? Ведь первый дебют. Не как человек прошу, как директор и видный общественник. Ну, пожалуйста. *(Осторожно ударяется лбом о пол.)* Хочешь, я могу еще раз?

Мартынов улыбается.

Директор. Вот уже лучше. В конце концов, что такое любовь? Любовь — это чудное мгновенье. А тут цирк, серьезное дело, трехчасовая программа, гала-спектакль, конюшня, хищники, контрамарки, касса. Ну!

Заметив на лице Мартынова нерешительность, хватает его за руку и увлекает за собой.

Перрон.

В спальный вагон входят уезжающие американские артисты.

Кнейшиц глядит победителем.

Скамейкин и Раечка целуются взасос.

Каждый поцелуй Раечка заедает пирожным.

Поцелуй — пирожное. Пирожное — поцелуй.

Публика, которой надоело ждать, стучит ногами и аплодирует.

Прощальный свисток локомотива. Сейчас поезд уйдет.

Вальс.

На арену выходят Мартынов и Раечка.

В последнюю минуту Алина выскакивает из вагона и бежит по перрону к выходу.

Поезд трогается.

Кнейшиц хватает ребенка и на ходу спрыгивает со ступеньки.

Он догоняет Алину. Но она уже успела сесть в машину.

Кнейшиц садится в другой автомобиль.

Машины с большой скоростью едут друг за другом.

Алина в цирке смотрит из-за портьеры на работу Мартынова и Раечки.

Полет.

Происходит катастрофа.

После выстрела Раечка вылетает из пушки и попадает на свою площадку. Происходит второй выстрел, из пушки вылетает Мартынов, но на свою площадку он не попадает. Он летит гораздо выше ее.

Громкие крики. В публике люди отворачиваются. Раечка замерла на своей площадке. Громкий вопль Алины. Мартынов стремительно падает вниз, но успевает ухватиться за предохранительную веревку. Все-таки он с большой силой сваливается на арену. Сейчас же вскакивает. Он цел.

Публика еще ничего не разобрала, смятение продолжается.

Алина бежит на арену и обнимает Мартынова.

Директор *(кричит)*. Музыку! Музыку!

Музыка расстроенно играет. Раечка, виновато улыбаясь, покидает арену. За кулисами ее встречает змеиный взгляд папочки.

Директор. Вон! Обжора! Назад в наездницы! В конюшню!

Раечка спасается от разъяренного отца.

В цирк вбегает Кнейшиц с черным ребенком.

Первое, что он видит, это обнявшиеся Алина и Мартынов.

Кнейшиц. Ах, вот как! Хорошо, вы добились своего.

Он выволакивает мальчика на середину арены. Мальчик плачет.

Кнейшиц *(обращается ко всему цирку)*. Господа, эта женщина...

Алина. Только не это. Умоляю вас. Не губите меня. *(Цепляется за него.)*

Кнейшиц (*отбрасывает ее*). Господа, отойдите от этой твари. Она была женой негра.

Алина закрывает лицо руками.

Весь цирк давно уже стоит на ногах.

Кнейшиц. У нее есть черный ребенок.

Он подымает ребенка высоко в воздух и показывает.

Ребенок плачет. Общее молчание.

Директор. Ну, и что же вы хочете?

Кнейшиц. Черный ребенок. У женщины белой расы черный ребенок. Ей не место в цивилизованном обществе.

Фигурантка. Ребеночек! Мальчик или девочка?

Алина (*сквозь слезы*). Мальчик.

Кнейшиц. Ей не место среди нас.

Директор. Он дурак! Политграмоты не знает.

Все начинают смеяться. Смех разрастается. Алина отнимает руки от лица и с недоумением оглядывается вокруг.

Кнейшиц. Почему вы смеетесь, господа?

Директор. Вы что хочете, чтоб мы плакали?

Алина. Что это?

Директор отбирает у Кнейшица ребенка, целует его.

Директор. Это значит, мой бедный шестидюймовый снарядик, что в нашей стране любят всех ребятишек. Не делают никакой разницы между беленькими и черненькими. Рожайте себе на здоровье сколько хочете — белых, черных, синих, красных, хоть голубых, хоть фиолетовых, хоть розовых в полоску, хоть серых в яблочках. Пожалуйста. Будьте здоровы.

Алина. И Мартынов тоже так думает?

Мартынов. У нас сто шестьдесят миллионов так думают. Вы уезжаете, Алина?

Алина. Нет, я остаюсь здесь навсегда.

Директор. И будете делать полет в стратосферу?

Алина. Да!

Директор (*ликуя*). Вот видишь, Мартынов. Я говорил тебе, что любовь это великое, могучее общественно полезное чувство. (*Возглашает.*) Товарищи, полет в стратосферу со-сто-ится. Прошу занять места.

Отправляется за кулисы и вытаскивает оттуда «неустрашимого капитана».

Директор. Иди, иди, займи публику на десять минут. Валяй. Все тебе дам. Вот такими буквами буду печатать.

Капитан и его собака, дорвавшиеся наконец до публики, делают чудеса. Собака прыгает через руку и громко кричит:

— Люблю! Елки-палки! Фининспектор!

Полет в стратосферу возобновляется с участием Алины. Песенка Алины на русском языке. Полет заканчивается тем, что Алина спускается из-под купола на громадном парашюте. На земле парашют ее накрывает и превращается в громадную юбку, из-под которой возникает кордебалет с воздушными шариками.

Танец.

Шарики подымаются в воздух и взлетают под крышу, где на вышке для прожекторов притаились, обнявшись, Скамейкин и Раечка.

ПРИМЕЧАНИЯ

РАССКАЗЫ И ФЕЛЬЕТОНЫ (1932—1937)[1]

Рассказы и фельетоны И. Ильфа и Е. Петрова, представленные в этом томе, относятся к наиболее зрелому для творчества сатириков периоду их соавторства. В 1932 году, после длительного перерыва, Ильф и Петров вновь пришли работать в газету. Это событие имело принципиальное значение для всего дальнейшего творчества писателей. В набросках к книге Е. Петрова «Мой друг Ильф» есть запись: «Трудности работы в газете. Многие не понимали. Спрашивали — зачем вы это делаете? Напишите опять что-нибудь смешное. А ведь все, что было отпущено нам в жизни смешного, мы уже написали». И далее: «...Писать смешно становилось все труднее. Юмор очень ценный металл, и наши прииски были уже опустошены» (ЦГАЛИ, 1821, 43) [2].

В приведенных словах наряду с признанием объективных причин ряда трудностей, которые встали перед сатириками в новый период их деятельности, содержится и доля шутки. Безусловно, работа в газете, тем более в «Правде» с ее многомиллионной аудиторией, предъявляла к писателям новые, повышенные требования. Но было бы несправедливо считать, что она повлекла за собой умаление в их творчестве комического начала. Заслуга И. Ильфа и Е. Петрова состояла в том, что они четко определили характер своей новой деятельности и привели в соответствие с ним ресурсы комического. Значительное место в их творчестве стали теперь занимать резкие сатирические тона.

Произведения писателей печатаются в «Литературной газете», «Советском искусстве», «Киногазете», «Комсомольской правде». С конца 1932 года Ильф и Петров становятся постоянными сотрудниками «Правды».

---

[1] Примечания к рассказам и фельетонам (1932—1937) написаны Л. Ф. Ершовым.

[2] (ЦГАЛИ, 1821, 43) — Центральный государственный архив литературы и искусства, фонд 1821, единица хранения 43. Далее для краткости везде будет принято такое обозначение.

Начало выступлений писателей в «Литературной газете» («Когда уходят капитаны», 17 апреля 1932 г.) по времени почти совпадает с опубликованием постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (23 апреля).

Ликвидация РАПП имела для Ильфа и Петрова чрезвычайно важное значение. Рапповская критика замалчивала произведения Ильфа и Петрова. В статье «Старое и новое» А. Фадеев писал, что талантливая работа ряда писателей, не включенных в «систему» РАПП, в том числе Ильфа и Петрова, «сопровождалась или гробовым молчанием, или незначительной рецензией, затеривающейся среди других» («Литературная газета», 1932, № 47, 17 октября). Высказывались суждения, в которых сатирическая литература сводилась до уровня мелкого, второстепенного жанра. В ироническом вступлении к фельетону «Листок из альбома» Ильф и Петров писали: «Теперь уже окончательно выяснилось, что юмор — это не ведущий жанр». «Толстые» журналы не печатали произведений Ильфа и Петрова. Невнимание критики к творчеству и других сатириков и юмористов, в частности Зощенко, отмечалось Ильфом и Петровым в фельетоне «Литературный трамвай» («А про Зощенко все еще ничего не пишут»).

Сатирики откликнулись на постановление ЦК партии циклом фельетонов на литературные темы, в которых очень остро и злободневно ставились вопросы литературной жизни, критиковались рапповские методы руководства литературой.

Эти фельетоны в течение года (до апреля 1933 г.) публиковались в «Литературной газете» под рубрикой: «Уголок изящной словесности». Впервые такая рубрика появилась еще в журнале «Чудак», где под ней был напечатан фельетон «Волшебная палка», о диспуте в Политехническом музее на тему «Нужна ли нам советская сатира?» (см. примечания ко II тому наст. Собр. соч.). Суждения о прямом отрицании сатиры в советской литературе неоднократно высказывались в критике на всем протяжении 20-х годов и вызывали многочисленные диспуты. Отголоски этой дискуссии мы находим в ряде фельетонов Ильфа и Петрова о литературе («Под сенью изящной словесности», «Листок из альбома», «Литературный трамвай»). Однако возрождение отдела под названием «Уголок изящной словесности» в «Литературной газете» совсем не означало возвращения к старой чудаковской традиции. Отныне меняется не только псевдоним (вместо Дон-Бузильо — Холодный философ), но сам тон, направленность и жанр фельетонов Ильфа и Петрова. От фельетонов-рецензий авторы перешли

к фельетонам обобщенного характера. От высмеивания отдельных неудачных антихудожественных спектаклей и фильмов к постановке и решению важных художественно-эстетических и этических проблем литературы и искусства. То, что было кратко заявлено в пародийно-иронических отступлениях «Золотого теленка» (литгруппа «Стальное вымя», рецепты «торжественного комплекта» Остапа Бендера) на страницах «Литературной газеты», получило развернутое воплощение в целой серии из четырнадцати фельетонов. Сатирики выступают против критиков-вульгаризаторов, оценивавших творчество писателей по формуле «союзник или враг» («Отдайте ему курсив»), против ханжества в литературе и искусстве («Саванарыло»), против литературного приспособленчества («Когда уходят капитаны») и т. д. Ильф и Петров говорили о постановлении ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», как о событии огромной важности для советской литературы.

Современная критика отмечала высокие достоинства выступлений Ильфа и Петрова по вопросам литературы и искусства «В литературных делах,— писал Л. Никулин,— очень хорошо разбирается популярный «Холодный философ»... Всех сочинителей литературных шаржей и эпиграмм побивает Холодный философ. И побивает тем, что его фельетоны имеют значение и интерес не для небольшого числа читателей-писателей, а для любого советского читателя» («Литературная газета», 1932, № 38, 23 августа).

Одновременно с активным участием в газетах Ильф и Петров не прекращали своего сотрудничества в «тонких» журналах «Огонек» и «Крокодил». В начале 30-х годов выходило пять изданий «Крокодила»: московское, ленинградское, украинское, урало-сибирское и основное (т. е. всесоюзное). Это был самый боевой и распространенный сатирико-юмористический журнал, тираж которого доходил до пятисот тысяч экземпляров. В журнале печатались такие писатели и поэты, как В. Лебедев-Кумач, М. Зощенко, А. Архангельский, Ю. Олеша, В. Катаев, Л. Ленч, В. Ардов, Л. Лагин, Г. Рыклин и др. Однако к середине 30-х годов «Крокодил» в публицистическом и в художественном отношении потерял ту остроту, которая была присуща ему в конце 20-х — начале 30-х годов. Тираж снизился более чем в два раза. Только с назначением в начале 1934 года М. Кольцова главным редактором журнала положение заметно поправилось.

В рассказах и фельетонах, напечатанных в «Крокодиле» (1932—1936), Ильф и Петров отчасти продолжили разговор, на-

чатый еще в «Уголке изящной словесности». Но круг тем был расширен, писатели чаще стали обращаться к отдельным отрицательным явлениям нашего быта («Лентяй», «Интриги»), а также к сатирическому изображению зарубежной буржуазной действительности («Колумб причаливает к берегу»).

Вершиной творчества Ильфа и Петрова в области малых жанров являются фельетоны и рассказы, систематически публиковавшиеся в «Правде» с конца 1932 по 1937 год. Они составляют и количественно (около сорока) основную часть их произведений этих лет (вместе с книгой очерков «Одноэтажная Америка»). Приход Ильфа и Петрова в «Правду» был связан с расширением диапазона их фельетонной работы.

В фельетонах «Литературной газеты» удар направлялся против бюрократизма, приспособленчества, ханжества и других отрицательных явлений только в сфере литературы и искусства. Работа в «Правде» необычайно расширила круг тем, повлекла за собой открытие новых сторон жизни, раздвинула жанровые границы произведений Ильфа и Петрова.

Произведения писателей в «Правде» адресовались прямо к массовому читателю. Ничто не ускользало от внимания сатириков — начиная от внешнего облика советского человека и кончая проблемами новой культуры и этики. Беря конкретную бытовую тему, фельетонисты метили и попадали в распространенное явление, выступали не только против единичного факта, а против его типической сущности.

«Работа в «Правде»,— отметил тогда же В. Катаев,— дала Ильфу — Петрову миллионную аудиторию, а вместе с тем внутреннюю содержательность и глубину» («Правда», 1937, № 103, 14 апреля).

Сами авторы относились к этой работе как к делу большого общественного значения. В своих воспоминаниях Петров записывает: «Работа в «Правде». Ильф всегда очень волновался по поводу общественных и литературных дел. С утра мы всегда начинали об этом разговор...» И далее: «Жизнь требовала от писателя непосредственного участия. Мы с упорством продолжали работать в «Правде». Вообще очень равнодушные к критике, мы сердились, что наша газетная работа остается незамеченной у критики. Зато нас утешало отношение к ней читателя» (ЦГАЛИ, 1821, 43).

Критика тех лет отмечала:

«Каждый из фельетонов И. Ильфа и Евг. Петрова, опубликованных в «Правде», вызвал многочисленный отклик читателей.

Одни дополняют писателей и иллюстрируют разработанную ими тему новыми примерами. Другие просят разъяснений. Третьи присоединяются к авторским выводам, никаких дополнений они не вносят, никакие сомнения их не терзают, а просто они считают, что «все правильно», и благодарят за доставленное удовольствие» (А. Эрлих, «Разгром равнодушных», «Художественная литература», 1933, № 5, стр. 15).

Когда Ильф и Петров пришли в «Правду», М. Кольцов уже двенадцать лет работал в этой газете и был признанным мастером советского фельетона. Тем не менее Ильф и Петров выработали и утвердили на страницах «Правды» свой тип фельетона.

Фельетоны М. Кольцова при всей обобщающей силе его выводов строились, как правило, на основе прямого разоблачения. Это был публицистический фельетон, в котором в своеобразном сплаве явственно выступали черты очерка и проблемной статьи.

Ильф и Петров развивали преимущественно тип так называемого беллетризованного фельетона, близкого по форме к фельетонам, создававшимся в 20-е годы В. Лебедевым-Кумачом и А. Зоричем. Этот тип фельетона претерпел в творчестве сатириков определенную эволюцию.

В фельетонах «Веселящаяся единица», «Человек с гусем», «Безмятежная тумба», «Костяная нога» и др. сатирики добились органического единства публицистических и беллетристических элементов. Однако в середине 30-х годов Ильф и Петров все чаще отходят от формы беллетризованного фельетона. Сами авторы определяя, например, жанровое своеобразие фельетона «Мать» назвали его статьей. Действительно, и спокойные заглавия, и скромно выраженная ирония, и вся структура таких произведений, как «Мать», «Старики», «Чувство меры» и т. д., свидетельствовали о том, что перед нами скорее статьи с фельетонными элементами, нежели собственно фельетоны. В таких фельетонах как «Дело студента Сверановского», «В защиту прокурора», статейно-публицистическая аргументация почти полностью вытеснила беллетристические элементы. Отход от формы беллетризованного фельетона объясняется тем, что работа в «Правде», огромный резонанс произведений Ильфа и Петрова заставляли их искать наиболее действенную форму вмешательства в жизнь и отклика на общественные явления.

На страницах «Правды» Ильф и Петров публиковали также произведения, выдержанные в лирико-юмористическом ключе («М», «Чудесные гости», и др.). В сатирическом отделе «Правды»

«Шутки в сторону» (ранее такой же отдел существовал в «Огоньке») печатались «маленькие фельетоны» Ильфа и Петрова вместе с произведениями такого же жанра, принадлежащими перу М. Кольцова, Г. Рыклина и др.

Начиная со второй половины 30-х годов, в «Правде» появляются рассказы Ильфа и Петрова со значительно изменившейся внутренней структурой. Существо этой эволюции заключалось во введении в традиционную форму сатирической новеллы положительного героя. В связи с этим функция изобличения переходила от авторов к передовому советскому человеку («Последняя встреча», «Разносторонний человек» и др.).

С 1933 по 1937 год было издано девять сборников рассказов, фельетонов, статей и очерков Ильфа и Петрова: «Как создавался Робинзон» — три издания («Молодая гвардия», М. 1933, «Советская литература», М. 1933, «Советский писатель», М. 1935); «Равнодушие», (Б-ка «Огонек», М. 1933); «Сильное чувство» (Б-ка «Огонек», М. 1933); «Директивный бантик» (Б-ка «Огонек», М. 1934); «Безмятежная тумба» (Б-ка «Огонек», М. 1935); «Чувство меры» (Б-ка «Огонек», М. 1935); «Чудесные гости» (Б-ка «Крокодила», М. 1935); «Поездки и встречи» (Б-ка «Огонек», М. 1936); «Тоня» («Советский писатель», М. 1937).

Выход этих сборников привлек внимание читателей и критики. Особенной популярностью пользовалась книга «Как создавался Робинзон». В ней авторы тематически разделили свои произведения на четыре раздела: «Под сенью изящной словесности» — куда вошли фельетоны о литературе, «Искусство для Главискусства», объединивший фельетоны о театре, кино, цирке, эстраде и т. д., «Мы пируем» — раздел фельетонов на широкую общественную тематику и цикл «Комические рассказы».

Высокую оценку творчество Ильфа и Петрова получило на Первом Всесоюзном съезде советских писателей. Меткие слова и образы из их произведений упоминались в речах делегатов съезда.

Подводя итоги деятельности сатириков в газете, современная критика писала:

«Работа в «Правде» расширила сатирический диапазон Ильфа и Петрова, придала их творчеству больше силы, меткости, страстности... Читатель и раньше любил Ильфа и Петрова, но после «правдистских» фельетонов он стал больше ценить их. Общественное значение Ильфа и Петрова выросло в глазах читателя» (Е. Добин, «Охотники за микробами — Ильф и Петров», «Звезда», 1938, № 12, стр. 251).

В 1938—1939 годах в издательстве «Советский писатель» вышло четырехтомное собрание сочинений Ильфа и Петрова. В третьем томе авторы дифференцировали свои произведения 30-х годов: одни отнеся к фельетонам, другие к рассказам. На самом деле все обстояло сложнее. Обобщенность образов отрицательных героев, насыщенность фельетонов элементами лаконичного, но яркого социально-психологического анализа, использование композиционных и стилистических приемов новеллы — все это способствовало формированию в читательском представлении такого ощущения, что перед ним не столько фельетон, сколько рассказ. Конкретный повод забывался, суть же типического отрицательного явления прояснялась и надолго оставалась в сознании, закрепленная оригинальным художественным образом, приобретавшим нарицательное значение («веселящаяся единица», «костяная нога», «безмятежная тумба», «человек из ведомости», «крепкий парень»). Не случайно в современной писателям критике многие сатирические произведения Ильфа и Петрова малой формы квалифицировались термином «фельетон-рассказ».

Рассказы и фельетоны этого тома датируются по первой публикации и располагаются в хронологическом порядке. В произведениях, ранее включавшихся в сборник «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935, авторами указана дата и место первой публикации.

В Собрании сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939, эта датировка сохраняется. Авторская датировка некоторых произведений неточна и исправляется, так как установлена более ранняя или более поздняя дата первой публикации. Такие случаи особо оговариваются.

Произведения, вошедшие в III том Собрания сочинений в четырех томах, «Советский писатель», М. 1939, авторы распределили по жанрам. Редакция, как правило, сохранила это авторское распределение. Подпись под произведениями приводится в примечаниях только в случае употребления авторами псевдонимов (кроме И. Ильф и Е. Петров). Тексты произведений, входящих в этот том, сверены со всеми прижизненными публикациями.

РАССКАЗЫ

Здесь нагружают корабль.— Впервые опубликован в журнале «Крокодил», 1932, № 11. Подпись: Ф. Толстоевский.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании и в сборнике «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935, рассказ ошибочно датирован 1933 годом.

Бронированное место.— Впервые опубликован в журнале «Крокодил», 1932, № 24. Подпись: Ф. Толстоевский.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании и в сборнике «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935, рассказ ошибочно датирован 1933 годом.

Клооп.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1932, № 339, 9 декабря.

Печатается по тексту сборника «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935.

В этом же номере газеты четвертую страницу занимал листок Центральной Контрольной Комиссии и Рабоче-Крестьянской Инспекции, в котором говорилось о необходимости сокращения раздутых учрежденческих штатов и улучшении качества работы советского аппарата.

По поводу этой новеллы-фельетона в «Правду» и в адрес Ильфа и Петрова поступали письма читателей с просьбой разъяснить его содержание. Критика отмечала: «Беда не только в том, что многие читатели не поняли фельетона. Ошибка авторов — ошибка литературного приема. Фельетон разработан так, что типическое исключение звучит, как типическое правило» (А. Эрлих, «Разгром равнодушных», «Художественная литература», 1933, № 5, стр. 16).

Счастливый отец.— Впервые опубликован в журнале «Крокодил», 1933, в дополнительном номере, вышедшем со специальным назначением между № 29 и № 30 и называвшемся «Крокодил» — авиации».

Редколлегия журнала извещала, что средства от продажи этого номера пойдут на постройку аэроплана «Крокодил», который войдет в эскадрилью имени М. Горького.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании и в сборнике «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935, рассказ ошибочно датируется 1934 годом.

Разговоры за чайным столом.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1934, № 138, 21 мая.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

В рассказе речь идет о педологических извращениях в практике школьного преподавания. Он является откликом Ильфа и Петрова на постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 года «О структуре начальной и средней школы в СССР», «О преподавании гражданской истории в школах СССР» и «О преподавании географии в начальной и средней школе СССР». В постановлениях говорилось о введении общего типа образовательной школы для всего Советского Союза: начальной, неполной средней и средней. Группы переименовывались в классы, нулевая группа — в приготовительный класс. Критиковалось преподавание в школах за то, что «связное изложение гражданской истории» подменяется «отвлеченными социологическими схемами», а «преподавание географии... страдает существенными недостатками, крупнейшими из которых являются отвлеченность и сухость изложения, недостаточность физико-географического материала, слабая ориентировка по карте, перегрузка преподавания и учебников по географии статистико-экономическим материалом и общими схемами, вследствие чего учащиеся выходят из школы, не обладая зачастую элементарными географическими познаниями».

Чудесные гости.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1934, № 176, 28 июня.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

ЦУНХУ — Центральное управление народнохозяйственного учета.

Рассказ дал название отдельному сборнику рассказов и фельетонов Ильфа и Петрова.

Появление в печати сборников «Чудесные гости» и «Директивный бантик», содержащих произведения, которые сами авторы порой не знали, как точно определить (рассказ или фельетон), дало возможность критике поставить вопрос об эволюции в советской сатире художественно-публицистических жанров, об их взаимопроникновении и обогащении. В частности, со статьей «Комическая новелла» выступил Б. Бегак, который так писал на затронутую выше тему:

«Ильф и Петров работают на злободневном материале. Остроту их новелл-фельетонов определяет внимательная обработка социально острой фабулы разнообразными методами иронии и контраста. Новелла может вырасти на материале злобы дня, но только уменье поднять этот материал до уровня художественного обобщения делает ее новеллой» («Вечерняя Москва», 1934, № 201, 1 сентября).

Разносторонний человек.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1934, № 305, 4 ноября.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

ЦЕКУБУ — Центральная комиссия по улучшению быта ученых.

Собачий холод.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1935, № 9, 9 января.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, том III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании рассказ датируется 1934 годом.

В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранится письмо зоотехника А. И. Горбуновой к авторам: «Сегодня пришла почта, получила «Правду» и с большим удовольствием прочла «Собачий холод». Мы, таежники, живя далеко от города, не имеем возможности пользоваться литературой, а поэтому получить «Правду» или «Известия» с литературным очерком для нас кусочек радости» (ЦГАЛИ, 1821, 151).

Последняя встреча.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1935, № 33, 3 февраля.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании рассказ датируется 1934 годом.

В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранится рукопись этого рассказа под первоначальным названием «Человек без профессии» (ЦГАЛИ, 1821, 69).

Широкий размах.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1935, № 101, 12 апреля.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании рассказ датируется 1934 годом.

Лентяй.— Впервые опубликован в журнале «Крокодил», 1935, № 12.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании рассказ датируется 1934 годом.

Интриги.— Впервые опубликован в журнале «Крокодил», 1935, № 26—27.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании рассказ датируется 1934 годом.

Колумб причаливает к берегу.— Опубликован в журнале «Крокодил», 1936, № 20.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

Рассказ написан Ильфом и Петровым во время путешествия по Америке. В письме к жене от 25 октября 1935 года Ильф сообщал: «Написали фельетон для американского журнала, довольно смешной. Называется он «Колумб причаливает к берегу» (письмо хранится у М. Н. Ильф).

Добродушный Курятников.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1936, № 341, 12 декабря.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

ФЕЛЬЕТОНЫ, СТАТЬИ, РЕЧИ

В золотом переплете.— Впервые опубликован в газете «Советское искусство», 1932, № 4, 20 января. Подпись: Ф. Толстоевский.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании и в сборнике «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935, фельетон датирован 1931 годом.

Критика фельетона направлена главным образом в адрес издательства «Academia», которое выпустило в конце 20-х — начале 30-х годов ряд дореволюционных мемуаров историко-культурного характера. Зачастую незначительное содержание этих книг резко контрастировало с внешним помпезным оформлением.

Мне хочется ехать.— Впервые опубликован в журнале «Огонек», 1932, № 3. Подпись: Ф. Толстоевский. Это был специальный номер журнала, целиком посвященный работе советского железнодорожного транспорта. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Огонек».

Сделал свое дело и уходи. — Впервые опубликован в газете «Советское искусство», 1932, № 6, 2 февраля. Подпись: Ф. Толстоевский. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту газеты «Советское искусство».

Человек в бутсах.— Впервые опубликован в газете «Советское искусство», 1932, № 9, 21 февраля. Подпись: Ф. Толстоевский.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании и в сборнике «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935, фельетон датирован 1931 годом.

В этом же номере газеты была опубликована редакционная заметка «Наперекор здравому смыслу», в которой говорилось о провалившейся попытке организации театра технической пропаганды по методу Ряжского. Первая же работа этого театра — спектакль «Автомобиль», где актеры выступали в роли лекторов-популяризаторов, получила отрицательную оценку зрителей.

Пятая проблема.— Впервые опубликован в «Кино-газете», 1932, № 11, 6 марта. Подпись: Ф. Толстоевский. С подзаголовком «Роман-хроника».

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

ВАПП — Всесоюзная ассоциация пролетарских писателей.

Горю — и не сгораю.— Впервые опубликован в журнале «Крокодил», 1932, № 10. Подпись: Ф. Толстоевский.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании и в сборнике «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935, фельетон датирован 1931 годом.

Когда уходят капитаны.— Впервые опубликован в «Литературной газете», 1932, № 18, 17 апреля, под рубрикой «Уголок изящной словесности». Подпись: Холодный философ.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

Сквозь коридорный бред.— Впервые опубликован в журнале «Огонек», 1932, № 11. Подпись: Ф. Толстоевский.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании и в сборнике «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935. фельетон ошибочно датируется 1933 годом.

АРРК — Ассоциация работников революционной кинематографии.

Детей надо любить.— Впервые опубликован в «Литературной газете», 1932, № 19, 23 апреля, под рубрикой «Уголок изящной словесности». Подпись: Холодный философ.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании и в сборнике «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935, фельетон ошибочно датируется 1933 годом.

Четыре свиданья.— Впервые опубликован в журнале «Крокодил», 1932, № 12 (московское издание). Подпись: Ф. Толстоевский. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Крокодил».

Великий канцелярский шлях.— Впервые опубликован в «Литературной газете», 1932, № 20, 5 мая, под рубрикой «Уголок изящной словесности». Подпись: Холодный философ.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

РЖСКТ — Рабочее жилищно-строительное кооперативное товарищество.

Идеологическая пеня.— Впервые опубликован в «Литературной газете», 1932, № 21, 12 мая, под рубрикой «Уголок изящной словесности». Подпись: Холодный философ.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранится рукопись этого фельетона под первоначальным названием «Искусство отмежевательного приспособления» (ЦГАЛИ, 1821, 68).

Рождение ангела.— Впервые опубликован в журнале «Крокодил», 1932, № 13. Подпись: Ф. Толстоевский.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

П ы т к а р о с к о ш ь ю.— Впервые опубликован в журнале «Крокодил», 1932, № 14. Подпись: Ф. Толстоевский.

Печатается по тексту сборника «Как создавался Робинзон», «Советская литература», М. 1933.

О т д а й т е е м у к у р с и в.— Впервые опубликован в «Литературной газете», 1932, № 24, 29 мая, под рубрикой «Уголок изящной словесности». Подпись: Холодный философ.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

В статьях «Литературной газеты» и «Советского искусства» начала 30-х годов (особенно сильно проявлялась эта черта в выступлениях проработочного характера) бросается в глаза обильное, чрезмерное пользование курсивом. Часто авторы, не умея логически убедить читателя, злоупотребляли подобным внешним способом аргументации.

Я, в о б щ е м, н е п и с а т е л ь.— Впервые опубликован в журнале «Крокодил», 1932, № 15—16, под заглавием «Литературная отмычка». Подпись: Ф. Толстоевский. Это был юбилейный номер журнала, посвященный десятилетию «Крокодила». Под названием: «Я, в общем, не писатель» впервые вошел в сборник «Как создавался Робинзон», «Молодая гвардия», М. 1933.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании и в сборнике «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935, фельетон ошибочно датируется 1933 годом.

Х о т е л о с ь б о л т а т ь.— Впервые опубликован в журнале «Крокодил», 1932, № 18. Подпись: Ф. Толстоевский.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

Л и т е р а т у р н ы й т р а м в а й.— Впервые опубликован в «Литературной газете», 1932, № 36, 11 августа, под рубрикой «Уголок изящной словесности». Подпись: Холодный философ.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании и в сборнике «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935, фельетон ошибочно датируется 1933 годом.

Под сенью изящной словесности.— Впервые опубликован в «Литературной газете», 1932, № 38, 23 августа. Фельетон не переиздавался. Печатается по тексту «Литературной газеты».

В этом номере газеты вся третья полоса была посвящена творчеству Ильфа и Петрова (статьи А. Селивановского «Смех Ильфа и Петрова», Л. Никулина «О месте в «литературном трамвае» и библиография основных изданий Ильфа и Петрова).

Это произведение дало название циклу фельетонов о литературе, вошедших в сборник «Как создавался Робинзон».

Джон Дос Пассос — американский писатель.

Королевская лилия.— Впервые опубликован в журнале «Огонек», 1932, № 25.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании фельетон датируется 1931 годом. В сборнике «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935, ошибочно указана дата и место первой публикации фельетона (1931, «Советское искусство»).

В журнальной публикации фельетону предшествовал эпиграф: «Ситро подам, как шампанское» (Объявление ресторатора)».

Мы уже не дети.— Впервые опубликован в «Литературной газете», 1932, № 47, 17 октября, под рубрикой «Уголок изящной словесности». Подпись: Холодный философ.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

Саванарыло.— Впервые опубликован в «Литературной газете», 1932, № 48, 23 октября, под рубрикой «Уголок изящной словесности». Подпись: Холодный философ.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании и в сборнике «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935, фельетон ошибочно датируется 1933 годом.

Как создавался Робинзон.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1932, № 298, 27 октября, с подзаголовком «Рассказ».

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании и в сборнике «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935, фельетон ошибочно датирован 1933 годом.

Это произведение является первым выступлением Ильфа и Петрова в «Правде».

Фельетон дал название первому сборнику фельетонов и рассказов Ильфа и Петрова.

«Зауряд-известность».— Впервые опубликован в газете «Советское искусство», 1932, № 50—51, 4 ноября. Подпись: Ф. Толстоевский. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту газеты «Советское искусство».

Веселящаяся единица.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1932, № 312, 12 ноября.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании и в сборнике «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935, фельетон ошибочно датируется 1933 годом.

Равнодушие.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1932, № 331, 1 декабря.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании и в сборнике «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935. фельетон ошибочно датируется 1933 годом.

Это произведение вызвало широкий отклик у читателей. Письма к авторам по поводу этого фельетона хранятся в ЦГАЛИ (1821, 153 и 155).

Фабрика «Союзфильм» заключила с Ильфом и Петровым договор на написание сценария под названием «Равнодушие» (ЦГАЛИ, 1821, 10).

Фельетон дал название сборнику фельетонов и рассказов Ильфа и Петрова.

Головой упираясь в солнце.— Впервые опубликован в «Литературной газете», 1933, № 3, 17 января, под рубрикой «Уголок изящной словесности». Подпись: Холодный философ.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

Человек с гусем.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1933, № 18, 18 января.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранится рукопись этого фельетона под первоначальным названием «Жизнь по блату» (ЦГАЛИ, 1821, 58).

ЗРК — закрытый рабочий кооператив.

ГОРТ — городской отдел распределения товаров.

Листок из альбома.— Впервые опубликован в «Литературной газете», 1933, № 14, 23 марта, под рубрикой «Уголок изящной словесности». Подпись: Холодный философ. Фельетон не переиздавался. Печатается по тексту «Литературной газеты».

Настоящий фельетон намеренно стилизован авторами под разрозненные листки из альбома с той целью, чтобы полнее охватить сумму вопросов, поднятых в материалах II пленума оргкомитета Союза советских писателей. Пленум состоялся 12—19 февраля 1933 года. Фельетон «Листок из альбома» представляет собой отклик на итоги этого пленума, еще одну попытку сатириков включиться в большой разговор «о методах ведения советского литературного хозяйства».

Необыкновенные страдания директора завода.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1933, № 84, 26 марта.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранится копия заключения Военного прокурора морских сил Черного моря, направленная в редакцию «Правды», в связи с выяснением фактов, приведенных в фельетоне (ЦГАЛИ, 1821, 11).

Чаша веселья.— Впервые опубликован в «Литературной газете», 1933, № 16, 5 апреля, под рубрикой «Уголок изящной словесности». Подпись: Холодный философ.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

Честное сердце болельщика.— Впервые опубликован в журнале «Крокодил», 1933, № 14. Под названием «Милые люди» напечатан в журнале «Крокодил», 1935, № 13—14.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

Бродят по городу старухи.— Впервые опубликован в газете «Комсомольская правда», 1933, № 140, 18 июня.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

Техника на грани фантастики.— Впервые опубликован в журнале «Крокодил», 1933, № 17. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Крокодил».

Для полноты счастья.— Впервые опубликован в журнале «30 дней», 1933, № 6.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

ВСФК — Всесоюзный совет физической культуры.

Журналист Ошейников.— Впервые опубликован в «Литературной газете», 1937, № 25, 10 мая. Написан в 1933 году. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту «Литературной газеты».

Директивный бантик.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1934, № 77, 19 марта.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, том III, «Советский писатель», М. 1939.

В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранится телеграмма, присланная Ильфу и Петрову после опубликования фельетона и подписанная начальником Главного управления швейной промышленности и начальником торгового управления Народного комиссариата легкой промышленности СССР. В телеграмме Ильфа и Петрова приглашают посетить московские швейные фабрики «для ознакомления с качеством пошивки и фасонами выпускаемых изделий» (ЦГАЛИ, 1821, 11).

Фельетон дал название сборнику рассказов и фельетонов Ильфа и Петрова.

Любовь должна быть обоюдной.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1934, № 108, 19 апреля.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

В «Правде» за несколько месяцев до появления этого фельетона были опубликованы три статьи М. Горького «Открытое письмо А. С. Серафимовичу» (14 февраля), «О бойкости» (28 февраля) и «О языке» (18 марта). Статьи объединялись одной темой

и получили широкий отклик в писательских и читательских кругах. М. Горький резко выступил против засорения русского языка областными речениями, против халтуры и брака в творчестве, ратовал за всемерное повышение чувства ответственности у писателей перед народом, за постоянное совершенствование художественного мастерства. В сообщении от редакции «Правды» к статье «О языке» говорилось:

«А. М. Горький в своих последних статьях вполне своевременно поднял вопросы исключительной важности — вопросы качества советской художественной литературы, в частности литературного языка. Партия и правительство, вся советская страна ставят и решают сейчас все вопросы социалистического строительства под знаком борьбы за качество. В промышленности и в сельском хозяйстве, в области культуры и управления государством — повсюду мы ставим перед всеми участниками социалистической стройки требования высокого качества работы.

Эти требования должны быть предъявлены и к писателям, ко всей нашей художественной литературе...»

Фельетон И. Ильфа и Е. Петрова — художественно-публицистический отклик сатириков на статьи М. Горького и призыв «Правды».

Рецепт спокойной жизни.— Впервые опубликован в журнале «Крокодил», 1934, № 13.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

Костяная нога.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1934, № 136, 19 мая.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

Дух наживы.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1934, № 189, 11 июля, под рубрикой «Маленький фельетон». Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту газеты «Правда».

Рочдельские пионеры — основатели первого рабочего кооперативного потребительского общества, учрежденного в 1844 году в городе Рочдейле (Англия) группой рабочих-ткачей.

У самовара.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1934, № 263, 23 сентября.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании фельетон ошибочно датируется 1935 годом.

Черное море волнуется.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1934, № 272, 2 октября. Фельетон не переиздавался. Печатается по тексту газеты «Правда».

Дневная гостиница.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1934, № 291, 21 октября.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании фельетон ошибочно датируется 1935 годом.

Безмятежная тумба.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1934, № 330, 1 декабря.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании фельетон ошибочно датируется 1935 годом.

Фельетон дал название сборнику рассказов и фельетонов Ильфа и Петрова.

Кипучая жизнь.— Впервые опубликован в книге «Парад бессмертных», издание «Правды», М. 1934, (Б-ка «Крокодила»). Сборник имел подзаголовок: «Художественно-оптимистический альманах «Крокодила», посвященный съезду писателей вообще и литературе и ее последствиям в частности. Составлен по наблюдениям, первоисточникам, а также по слухам».

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании и в сборнике «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935, фельетон ошибочно датируется 1935 годом.

Россия-Го.— Впервые опубликован в сборнике И. Ильфа и Е. Петрова «Директивный бантик» (Б-ка «Огонек»), Журнально-газетное объединение, М. 1934.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

Название фельетона саркастически пародирует наименование марионеточного государства Маньчжоу-Го, образованного в 1932 году и державшегося на штыках японской оккупационной армии.

В 1933 году авторы совершили поездку за границу по маршруту: Одесса, Стамбул, Пирей, Афины, Неаполь, Рим, Вена,

Париж, Варшава. О своих впечатлениях они рассказали на вечере, устроенном «Комсомольской правдой» («Штрихи современной Европы», «Комсомольская правда», 1934, № 41, 16 февраля). Некоторые впечатления от пребывания авторов в Париже легли в основу этого фельетона.

На купоросном фронте.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1935, № 17, 17 января.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

«М».— Впервые опубликован в газете «Правда», 1935, № 38, 8 февраля, в подборке материалов о московском метрополитене. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту газеты «Правда».

Театральная история.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1935, № 119, 30 апреля.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

«33 обморока» — спектакль из водевилей А. П. Чехова.

Дело студента Сверановского.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1935, № 133, 16 мая.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

17 мая 1935 года в «Правде», в разделе «По следам материалов «Правды», в заметке «Дело студента Сверановского» сообщалось, что 16 мая состоялось заседание президиума Московского городского суда, на котором было сделано сообщение о фельетоне Ильфа и Петрова. Суд принял постановление, в последнем пункте которого было сказано: «Просить редакцию газеты «Правды» опубликовать в очередном номере «Правды», что фельетон И. Ильфа и Е. Петрова «Дело студента Сверановского» полностью подтвердился».

ЧКЗ — член коллегии защиты.

Ф. Н. Плевако — русский буржуазный адвокат и судебный оратор.

И. Д. Брауде — видный советский адвокат.

Старики.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1935, № 135, 18 мая.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, том III, «Советский писатель», М. 1939.

Чувство меры.—Впервые опубликован в газете «Правда», 1935, № 144, 27 мая.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

Фельетон дал название сборнику рассказов и фельетонов Ильфа и Петрова.

Мать.— Впервые опубликована в газете «Правда», 1935, № 155, 7 июня.

Текст сопровождался припиской: «Гонорар за настоящую статью вносим в фонд строительства самолетов-гигантов». Статья не переиздавалась.

Печатается по тексту газеты «Правда».

В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранятся письма читателей к Ильфу и Петрову по поводу этой статьи (ЦГАЛИ, 1821, 153).

В защиту прокурора.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1935, № 194, 16 июля.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранится рукопись этого фельетона под первоначальным названием «История несчастной Марии Пронько» (ЦГАЛИ, 1821, 59).

Отец и сын.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1935, № 250, 10 сентября, под рубрикой «Маленький фельетон». Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту газеты «Правда».

11 сентября 1935 года в «Правде» в разделе «По следам материалов «Правды» в заметке «Отец и сын» говорилось: «Под этим заголовком в «Правде» 10 сентября напечатан фельетон И. Ильфа и Е. Петрова о студенте Окуне, которого исключили из Ростовского института инженеров транспорта за то, что его отец был под судом. Центральный отдел по подготовке кадров при НКПС сообщает, что им дано распоряжение Ростовскому институту немедленно восстановить тов. Окуня в правах студента и выплатить ему стипендию».

Часы и люди.— Впервые опубликован в газете «Правда», 1937, № 81, 23 марта.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939.

В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранится много писем читателей, отозвавшихся на публикацию этого фельетона (ЦГАЛИ, 1821, 150 и 151).

Писатель должен писать.— Впервые опубликована одновременно в «Литературной газете», 1937, № 18, 6 апреля, и в газете «Известия», 1937, № 83, 6 апреля (текст сокращен).

Это произведение — стенограмма речи, произнесенной 3 апреля 1937 года Е. Петровым от имени обоих авторов на общемосковском собрании писателей. Речь не переиздавалась.

Печатается по тексту «Литературной газеты».

ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ[1]

На протяжении совместной десятилетней творческой деятельности Ильф и Петров неоднократно обращались к драматургическим жанрам, к работе для театра и кино. Они написали водевиль «Сильное чувство» (1933), в соавторстве с В. Катаевым пьесу-обозрение «Под куполом цирка» (1933) и сатирическую комедию «Богатая невеста» (1936). Для кино были написаны четыре сценария: «Барак» (1931), «Однажды летом» (1932), по заказу французской кинофирмы «Софар» сценарий звукового фильма (1933) и «Под куполом цирка» (1935). Фильм «Барак» был поставлен в 1931 году Н. М. Горчаковым и М. М. Яншиным. Сценарий хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ, 1821, 45). В 1932 году Ильф и Петров закончили и сдали в Союзфильм кинокомедию «Однажды летом» (сценарий напечатан в журнале «Красная новь», 1932, № 8). Однако съемки фильма бесконечно откладывались, картина вышла на экраны только в 1936 году (режиссеры Х. М. Шмайн и И. В. Ильинский).

В Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ, 1821, 8) хранится либретто обозрения И. Ильфа, Е. Петрова и М. Вольпина «Путешествие в неведомую страну» (1930), а также планы и наброски неосуществленных пьес и сценариев. В 1935 году, находясь в Голливуде, Ильф и Петров сочинили для известного американского кинорежиссера Льюиса Майльстона, постановщика фильма «На Западном фронте без перемен», либретто кинокомедии. 15 декабря 1935 года Ильф писал

[1] Примечания к драматургическим произведениям написаны Б. Е. Галановым.

жене, что замысел будущего сценария очень понравился Майльстону, и коротко рассказывал о нем: «Действие происходит в Америке, в замке, который богатый американец купил во Франции и перевез к себе в родной штат»[1]. 22 декабря Ильф сообщал, что либретто уже написано и что оно заняло двадцать две страницы. Согласно договоренности с авторами Майльстон получил право на основании представленного либретто написать сценарий фильма. Дальнейшая судьба либретто Ильфа и Петрова неизвестна.

Сильное чувство.— Впервые опубликован в журнале «30 дней», 1933, № 5.

Современная критика отмечала черты сходства водевиля «Сильное чувство» с водевилем А. П. Чехова «Свадьба».

«Водевиль «Сильное чувство» — вариант чеховской «Свадьбы», в котором роль генерала играет иностранец» (А. Роскин, «Мастера фельетона», «Художественная литература», 1935, № 8, стр. 7).

В «Сильном чувстве» Ильф и Петров вновь обращаются к теме сатирического разоблачения мещан и обывателей, низкопоклонствующих перед всем иностранным. Классический образ Эллочки Щукиной, возникший в романе «Двенадцать стульев», был первым в целой галерее молодых «людоедов», подобных Рите и Чуланову, которых сатирики не раз обличали в своих произведениях: Ильф в фельетоне «Молодые дамы» (1929), Петров — в фельетоне «День мадам Белополякиной» (1929), вместе они в повести «Светлая личность» (1928), где появляется семейство Браков, которое, как и «общество» из водевиля «Сильное чувство», умело «жить и веселиться по-заграничному», а за чайным столом говорить о новой заграничной моде «пудриться не пудрой, а тальком».

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, том III, «Советский писатель», М. 1939.

Сценарий звукового кинофильма.— Впервые опубликован в журнале «Искусство кино», 1961, № 2. Сценарий был написан в декабре 1933 года в Париже. При жизни авторов не печатался.

В 1933 году Ильф и Петров вместе с моряками на кораблях Черноморского флота посетили с визитом дружбы Грецию и Италию. Из Рима они уже вдвоем возвращались на родину через Вену, Париж, Варшаву. В Париже они задержались и по заказу

---

[1] Письма И. Ильфа, цитаты из которых приводятся в тексте примечаний, хранятся у его жены М. Н. Ильф.

французской кинофирмы «Софар» написали сценарий звукового фильма.

Ильф и Петров работали над новым сценарием десять дней. В письме к жене от 22 декабря 1933 года Ильф сообщал: «Мой день такой. Несколько дней (10) были скучны — утром работа, потом торжественный обед, потом работа, и все. Теперь я уже свободен. С сегодняшнего утра. Доволен, конечно, ужасно. Сценарий вчера сдавали. Он понравился, смеялись очень, падали со стульев... Уговаривают нас еще остаться... В общем, имени мы не посрамили».

В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранится отношение Полномочного представительства СССР во Франции Министерству иностранных дел Франции с просьбой продлить И. Ильфу и Е. Петрову визу на пребывание во Франции до 25 января 1934 года, «чтобы дать им возможность закончить работу согласно контракту, заключенному с кинофирмой «Софар» (ЦГАЛИ, 1821, 23).

Фильм по сценарию Ильфа и Петрова поставлен не был.

Работая над парижским сценарием, Ильф и Петров использовали некоторые ранние свои заготовки. Так, например, комический эпизод с платочком, который в самом начале сценария девушка роняет на колени молодому человеку, вырос из записи, сделанной Ильфом в своей записной книжке еще в 1930 году: «Молодой человек в трамвае, девушка и платок» (ЦГАЛИ, 1821, 125).

Характерно, что, изобразив быт и нравы маленького, провинциального французского городка, Ильф и Петров удачно продолжили традиции целого ряда французских комедийных фильмов 30-х годов и в какой-то степени предвосхитили появление фильмов более позднего времени. Вспомним хотя бы известную советским зрителям талантливую французскую сатирическую комедию «Скандал в Клошмерле».

Рукопись сценария отсутствует.

Печатается по черновому варианту машинописной копии, хранящейся у М. Н. Ильф. Этот текст не был подготовлен авторами для печати. В оригинале есть фразы с пропусками слов. В этих случаях в тексте ставится знак вопроса в прямых скобках [.?.]

Под куполом цирка.— Публикуется впервые. Создан в 1935 году И. Ильфом, Е. Петровым и В. Катаевым на основе их одноименной пьесы.

Премьера пьесы состоялась 23 декабря 1934 года в московском театре Мюзик-Холл. Критика охарактеризовала ее как удач-

ную попытку создать оригинальный советский спектакль-обозрение. 27 декабря 1934 года А. Гарри писал в газете «Известия», что пьеса «Под куполом цирка» помогает вытеснить из репертуара московского Мюзик-Холла традиции буржуазного ревю.

Сюжетная схема пьесы без сколько-нибудь существенных исправлений была перенесена в сценарий Ильфа, Петрова и Катаева. Остались неизменными конфликты. Большинство действующих лиц также перешло из пьесы в сценарий, иногда только сменив фамилии.

По сценарию Ильфа, Петрова и Катаева режиссер Г. Александров поставил кинофильм «Цирк». Во время съемок Ильф и Петров находились в Америке. Писатели вернулись на родину только в конце февраля 1936 года, а 28 января «Комсомольская правда» сообщала, что «режиссер Г. Александров уже закончил съемки картины и приступил к ее монтажу».

Многие изменения и переделки, внесенные режиссером в фильм без ведома авторов, Ильф, Петров и Катаев не приняли. В мае 1936 года фильм вышел на экраны без упоминания имени сценаристов.

Фильм «Цирк» имел большой и заслуженный успех. Его живой, неподдельный юмор был высоко оценен зрителями и критикой. В статье «Новые комедии на экране» Д. Заславский писал 15 мая 1936 года в «Правде»: «Картина построена на том же сценическом и литературном материале, что и постановка в Мюзик-Холле «Под куполом цирка»... В простой, невзыскательной форме, доступной для самых широких кругов зрителей, комедия доносит большие идеи интернациональной солидарности...»

В рецензии на кинофильм, опубликованной в «Известиях» 23 мая 1936 года, братья Тур писали: «Как разительно отличается эта комедия от бесконечной вереницы бездумных заграничных «комедий», полных водевильной чепухи и пафоса подзатыльников! «Цирк» — умная комедия, адресованная к интеллекту и чувству советского зрителя».

В истории развития советской кинокомедии фильм «Цирк» сыграл значительную роль.

Печатается по тексту рукописи, хранящейся в Центральном государственном архиве литературы и искусства (1821, 47). В рукописи есть неразобранные слова. На их месте в тексте ставится [1 неразобр.], где цифры обозначают количество неразобранных слов.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

ФЕЛЬЕТОНЫ, СТАТЬИ, РЕЧИ

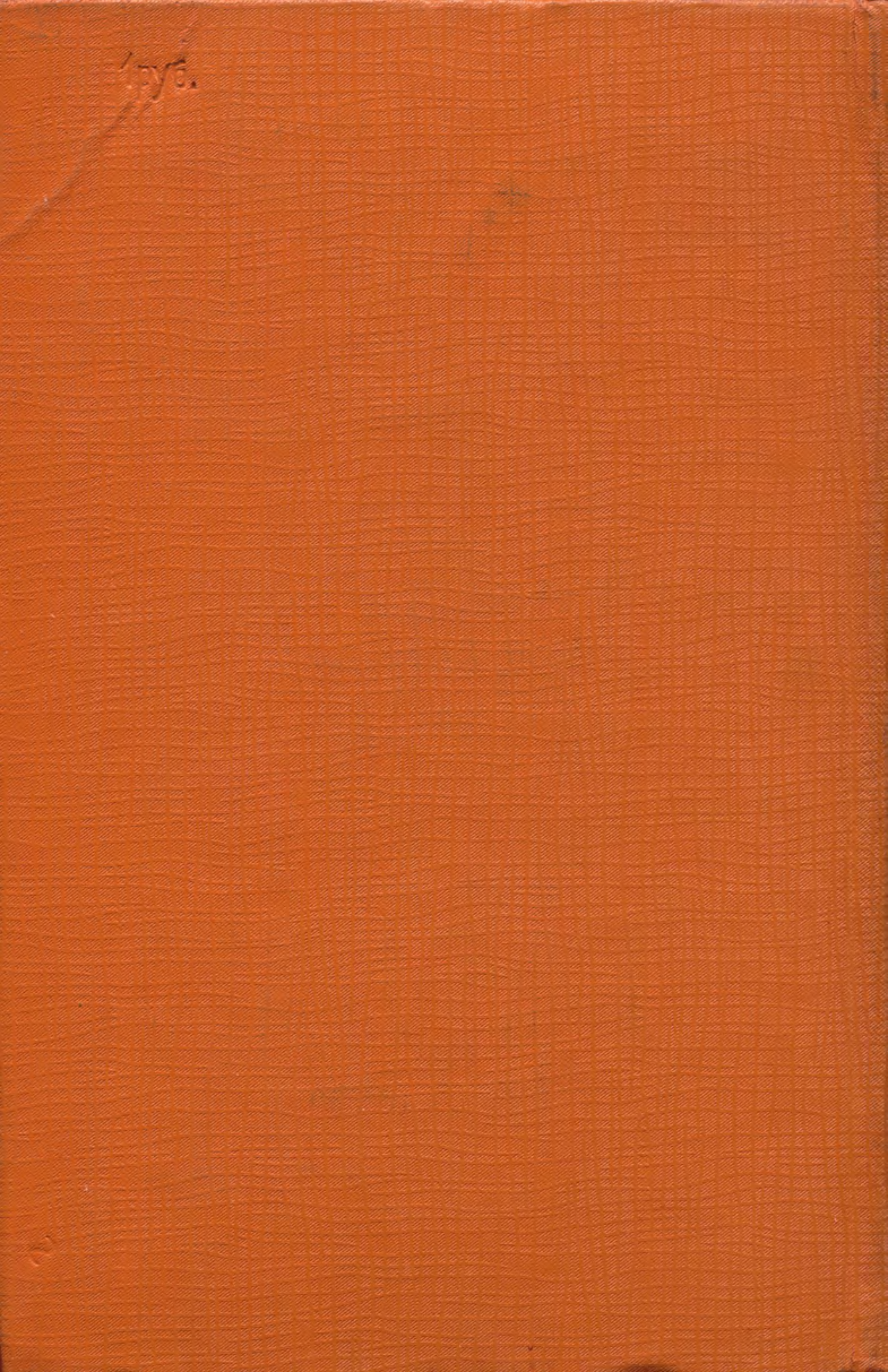
ИЛЬЯ АРНОЛЬДОВИЧ ИЛЬФ
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ ПЕТРОВ
Собрание сочинений, т. 3

Редакторы *И. Израильская* и *В. Буланова*
Художественный редактор *С. Данилов*
Технический редактор *Л. Сутина*
Корректор *М. Фридкина*

Сдано в набор 20/VI 1961 г.
Подписано в печать 9/X 1961 г. А 08744
Бумага 84 × 108[1]/32. 17 печ. л. = 27,88 усл. печ. л., 23,46 уч.-изд л. Тираж 300 000 (150 001—300 000). Заказ № 3046. Цена 1 руб.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Типография «Красный пролетарий»
Госполитиздата
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.




И. ИЛЬФ
Е. ПЕТРОВ
3